



Это книга, в которой я лично всегда нуждался,
но на появление которой не надеялся, считал, что все
это погребено навсегда под тяжестью нашей трагедии.
И я благодарен ее автору за то, что она нашла
и собрала все то, что мы сейчас прочли. За то,
что она отняла эту часть нашего прошлого у небытия.

НАУМ КОРЖАВИН

Наталья
Громова

Ноев ковчег писателей

Эвакуация 1941–1945

Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата

СоРрvJ

Table of Contents

[Annotation](#)

[Наталья Громова Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата](#)

[Предисловие](#)

[Москва. Начало войны](#)

[Бомбежки](#)

[Цветаева. Попытка отъезда](#)

[Москва-река Кама 8 августа](#)

[Чистополь. Елабуга. 6 июля – 18 августа](#)

[Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут](#)

[Елабуга. 18-24 августа](#)

[Рассказ Либединской о Нине Саконской](#)

[Чистополь Цветаевой 24-28 августа](#)

[Без меня Мур будет пристроен... 28-31 августа](#)

[31 августа](#)

[Разговор с Вадимом Сикорским](#)

[Похороны эвакуированных](#)

[Отражение гибели Цветаевой](#)

[Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года](#)

[Москва. Осень 1941 года Сентябрь-октябрь](#)

[Осень в Москве: Луговские. Белкина](#)

[Второй вал эвакуации Казанский вокзал](#)

[Поезд “Москва – Ташкент”](#)

[Поезд \(продолжение\) Фронт – эвакуация](#)

[Москва. 16 октября](#)

[Москва – Казань – Чистополь. Октябрь – ноябрь](#)

[Ташкент. Конец 1941-го начало 1942 года](#)

[Ташкентский мир. Расселение писателей](#)

[Горький запах эвакуации](#)

[“В этой комнате колдунья до меня жила одна...”](#)

[Опыт бедственного счастья](#)

[Сказка о сне](#)

[Смерть матери Луговских. Начало – середина 1942 года](#)

[Назначенный круг](#)

[Жизнь двора на Жуковской](#)

[Дзидра Тубельская. Влада Уборевич](#)

[Пушкинская улица – Первомайская улица. Алексей Толстой и другие](#)

[Каморка Георгия \(Мур\) Эфрона](#)

[Чужое](#)

[Пайки](#)

[Оставленные вещи](#)

[Распределитель](#)

[Алайский рынок](#)
[Прогулки по городу](#)
[Ноев ковчег. Улица Карла Маркса, 7](#)
[Болезни. Кривотолки. Расставания](#)
[Чуковские](#)
[Мария Белкина и Анатолий Тарасенков](#)
[Разговоры. Настроения. Слухи](#)
[Ташкент – Чистополь](#)
[Чистополь. Конец 1941–1942. Пастернак. Опыт эвакуации](#)
[Интернат. Дети](#)
[Гибель детей](#)
[На фронт](#)
[Зима 1941/42 года](#)
[Валентин Парнах](#)
[Яков Кейхауз](#)
[Федин. Леонов. Пастернак. Попытка дружбы. Весна 1942](#)
[Асеев и сестры Синяковы](#)
[Чистополь. Семья Авдеевых](#)
[Чудо Марии Петровых](#)
[Быт Чистополя. Голоса обитателей Лето 1942 года](#)
[Пастернак и Марика Гонты. Между Чистополем, Елабугой и Москвой](#)
[Осень 1942 года](#)
[Елабуга: Саконская Лозинский](#)
[Письмо Ярополка Семенова Пастернаку](#)
[Конец 1941 – начало 1942 года. Картины Москвы](#)
[Другая Москва. Середина – конец 1942 года](#)
[Пастернак в Москве Осень 1942 года](#)
[Алма-Ата. “Голливуд на границе Китая”](#)
[Город снов](#)
[Сергей Ермолинский](#)
[Воробьиная ночь](#)
[Новый 1943-й](#)
[Константин Симонов](#)
[Расставание](#)
[На балахане Ахматовой. Середина – конец 1943 года](#)
[Ксения Некрасова](#)
[Ахматова и Луговской](#)
[Лестница. Вторая половина 1943 года](#)
[Дети и подростки](#)
[Братья Айтаковы](#)
[Жалобы Фадееву](#)
[В ожидании вызова. Конец 1943 – начало 1944 года](#)
[Перед отъездом из Чистополя](#)
[Кама – Москва. 25 июня 1943 года](#)
[Большие надежды](#)

[Реакция власти на свободу](#)

[Возвращение Мура Фронт](#)

[Эпилог: ташкентцы и чистопольцы](#)

[Ахматова](#)

[Елена Булгакова](#)

[Татьяна Луговская](#)

[Владимир Луговской](#)

[Мария Белкина](#)

[Приложение Вокруг Чистополя – Елабуги](#)

[Рассказ Л. Б. Либединской о проводах Цветаевой](#)

[Из архива М. И. Белкиной](#)

[Из архива Н. Коваленковой \(Алигер\)](#)

[Из архива Даниила Григорьевича Санникова Вокруг Ташкента и](#)

[Алма-Аты](#)

[Иллюстрации](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)

[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)

[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)

[165](#)
[166](#)
[167](#)
[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)
[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)
[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)
[187](#)
[188](#)
[189](#)
[190](#)
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)
[195](#)
[196](#)
[197](#)
[198](#)
[199](#)
[200](#)
[201](#)
[202](#)
[203](#)
[204](#)
[205](#)
[206](#)
[207](#)
[208](#)
[209](#)

[210](#)
[211](#)
[212](#)
[213](#)
[214](#)
[215](#)
[216](#)
[217](#)
[218](#)
[219](#)
[220](#)
[221](#)
[222](#)
[223](#)
[224](#)
[225](#)
[226](#)
[227](#)
[228](#)
[229](#)
[230](#)
[231](#)
[232](#)
[233](#)
[234](#)
[235](#)
[236](#)
[237](#)
[238](#)
[239](#)
[240](#)
[241](#)
[242](#)
[243](#)
[244](#)
[245](#)
[246](#)
[247](#)
[248](#)
[249](#)
[250](#)
[251](#)
[252](#)
[253](#)
[254](#)

[255](#)
[256](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[261](#)
[262](#)
[263](#)
[264](#)
[265](#)
[266](#)
[267](#)
[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)
[273](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)
[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)
[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)
[299](#)

[300](#)
[301](#)
[302](#)
[303](#)
[304](#)
[305](#)
[306](#)
[307](#)
[308](#)
[309](#)
[310](#)
[311](#)
[312](#)
[313](#)
[314](#)
[315](#)
[316](#)
[317](#)
[318](#)
[319](#)
[320](#)
[321](#)
[322](#)
[323](#)
[324](#)
[325](#)
[326](#)
[327](#)
[328](#)
[329](#)
[330](#)
[331](#)
[332](#)
[333](#)
[334](#)
[335](#)
[336](#)
[337](#)
[338](#)
[339](#)
[340](#)
[341](#)
[342](#)
[343](#)
[344](#)

[345](#)
[346](#)
[347](#)
[348](#)
[349](#)
[350](#)
[351](#)
[352](#)
[353](#)
[354](#)
[355](#)
[356](#)
[357](#)
[358](#)
[359](#)
[360](#)
[361](#)
[362](#)
[363](#)
[364](#)
[365](#)
[366](#)
[367](#)
[368](#)
[369](#)
[370](#)
[371](#)
[372](#)
[373](#)
[374](#)
[375](#)
[376](#)
[377](#)
[378](#)
[379](#)
[380](#)
[381](#)
[382](#)
[383](#)
[384](#)
[385](#)
[386](#)
[387](#)
[388](#)
[389](#)

[390](#)
[391](#)
[392](#)
[393](#)
[394](#)
[395](#)
[396](#)
[397](#)
[398](#)
[399](#)
[400](#)
[401](#)
[402](#)
[403](#)
[404](#)
[405](#)
[406](#)
[407](#)
[408](#)
[409](#)
[410](#)
[411](#)
[412](#)
[413](#)
[414](#)
[415](#)
[416](#)
[417](#)
[418](#)
[419](#)
[420](#)
[421](#)
[422](#)
[423](#)
[424](#)
[425](#)
[426](#)
[427](#)
[428](#)
[429](#)
[430](#)
[431](#)
[432](#)
[433](#)
[434](#)

[435](#)
[436](#)
[437](#)
[438](#)
[439](#)
[440](#)
[441](#)
[442](#)
[443](#)
[444](#)
[445](#)
[446](#)
[447](#)
[448](#)
[449](#)
[450](#)
[451](#)
[452](#)
[453](#)
[454](#)
[455](#)
[456](#)
[457](#)
[458](#)
[459](#)
[460](#)
[461](#)
[462](#)
[463](#)
[464](#)
[465](#)
[466](#)
[467](#)
[468](#)
[469](#)
[470](#)
[471](#)
[472](#)
[473](#)
[474](#)
[475](#)
[476](#)
[477](#)
[478](#)
[479](#)

[480](#)
[481](#)
[482](#)
[483](#)
[484](#)
[485](#)
[486](#)
[487](#)
[488](#)
[489](#)
[490](#)
[491](#)
[492](#)
[493](#)
[494](#)
[495](#)
[496](#)
[497](#)
[498](#)
[499](#)
[500](#)
[501](#)
[502](#)
[503](#)
[504](#)
[505](#)
[506](#)
[507](#)
[508](#)
[509](#)
[510](#)
[511](#)
[512](#)
[513](#)
[514](#)
[515](#)
[516](#)
[517](#)
[518](#)
[519](#)
[520](#)
[521](#)
[522](#)
[523](#)
[524](#)

[525](#)
[526](#)
[527](#)
[528](#)
[529](#)
[530](#)
[531](#)
[532](#)
[533](#)
[534](#)
[535](#)
[536](#)
[537](#)

Annotation

Второе издание книги Натальи Громовой посвящено малоисследованным страницам эвакуации во время Великой Отечественной войны – судьбам писателей и драмам их семей. Эвакуация открыла для многих литераторов дух глубинки, провинции, а в Ташкенте и Алма-Ате – особый мир Востока. Жизнь в Ноевом ковчеге, как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах их книг и записных книжек. В этой книге возникает множество писательских лиц – от знаменитых Цветаевой, Пастернака, Чуковского, Федина и Леонова и многих других до совсем забытых Якова Кейхауза или Ярополка Семенова. Книга основана на дневниковых записях, письмах, мемуарах и устных рассказах свидетелей тех лет. Читатель сможет увидеть бытовое, житейское, непарадное лицо войны.

Наталья Громова

**Ноев ковчег писателей. Эвакуация
1941-1945. Чистополь. Елабуга.
Ташкент. Алма-Ата**

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко В книге использованы фотографии из архива автора.

Автор благодарит за предоставленные фотоматериалы наследников Г.Л. Козловской, музеи Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и Марины Цветаевой в Елабуге

© Н. Громова, 2008, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019 Издательство CORPUS ®

Предисловие

В этом издании объединены и дополнены два документальных повествования о писательской эвакуации: ташкентской и чистопольской. Книга “Все в чужое глядят окно...” была посвящена пребыванию писателей и их семей в Ташкенте и Алма-Ате, “Дальний Чистополь на Каме...” – о жизни в Чистополе и Елабуге.

Книги основывались на личных воспоминаниях и семейных архивах, что позволило поднять большой пласт частных сюжетов, вписанных в общую историю эвакуации и вызвавших большой интерес к этой теме. По книге о ташкентской эвакуации были сняты два документальных фильма.

История СССР полна самых невероятных мифов. И, конечно же, огромная доля в их создании принадлежит советским писателям, художникам и поэтам. Но за официозом газетных страниц, за лакировкой прошлого всегда можно различить подспудную, тайную жизнь, запечатленную в дневниках, письмах, устных преданиях и рассказах.

История жизни отдельного человека когда-то сложится воедино из разрозненных сюжетов, позволит увидеть неофициальное, живое лицо нашей общей истории.

Советские литераторы, режиссеры – во многом осколки прежней русской интеллигенции, оставшейся в живых после катастрофы 1930-х годов, – с началом войны испытали множество противоречивых чувств. Тут было и облегчение, и страх, и даже чувство раскаяния за вольное или невольное соучастие в государственном терроре. Кто погиб в ополчении, кто приобрел авторитет и известность, проходя тяготы войны, те же, кто оказался в эвакуации, почувствовали вдали от власти раскрепощение, вернулись к своей подлинной писательской работе.

Эвакуация была так же трагична, как и война; вывозили детей, больных, стариков; люди голодали, умирали вдали от дома. В городах и поселках, куда их привозили, было тяжело. Местные жители, лишенные средств, сами годами жившие впроголодь, теснившиеся большими семьями в уплотненных квартирах или домах, по разнарядке обязаны были подселать огромный поток беженцев в свои дома, а порой и освобождать приезжим комнаты, ютись в углах. И все-таки как могли – помогали, кормили, селили.

Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

Чистополь, или Чистое поле, был назван в память о сожженном поселении, основанном в XVIII веке беглыми крестьянами. Солдаты по царскому указу пришли сюда и выжгли дома и постройки, сделанные руками тех, кто бежал в поисках свободы. И стало на том месте – Чистое поле. Часть слова “поль” (как в словах “Петрополь”, “Акрополь”) напоминает не об античном происхождении города, а о горькой драме,

разыгравшейся на его месте. Спустя два века город вновь принял бегущих от войны и бомбежек писателей и их детей.

Чистополь – маленький провинциальный городишко, стоящий на Каме. Ряд ровных, под прямым углом расчерченных улиц с двухэтажными домиками. Как и все окрестные городки, Чистополь летом – пыльный и сухой, осенью – непролазный из-за размытых дорог, зимой – иногда до самых крыш в сугробах.

В военное лето 1941 года для одних писателей он стал перевалочным пунктом – они устраивали свои семьи и уходили на фронт, для других – почти на два года домом, для третьих – местом упокоения. Эвакуация осталась в памяти писателей очень разной.

Часто было так, что советские литераторы оказывались на войне и в эвакуации лицом к лицу со страной, которую не знали, или стали забывать, какая она на самом деле... Многие испытали шок, кто-то изменился, кто-то стал писать после войны совсем по-другому.

Цветаева, несмотря на краткий отрезок жизни в эвакуации, оставила след в памяти многих литераторов. О ней говорили, ей сострадали, сообщали в письмах о ее гибели. Некоторые литераторы прочитали ее трагедию как вызов и своей заброшенности, отсутствие опеки государства. Цветаева никогда не надеялась на подобную заботу. Многие из тех, кто оказался в Чистополе в июле-августе – а это были в основном женщины с детьми, – встретили Марину Цветаеву с сыном на пароходе или услышали о ее гибели в сентябре, когда новость долетела из Елабуги. Попутчики Цветаевой сошли в Чистополе, но так как он был переполнен, московский Литфонд рекомендовал беженцам отправляться дальше – в Елабугу. И они отправились..

Пастернак, о котором много будет рассказано в этом повествовании, оказался в Чистополе в середине октября, когда Цветаевой уже не было в живых. Это стало роковым *размино-вением* двух близких людей и поэтов, также она *разминулась* в Чистополе с Тарковским и Ахматовой, приехавшими сюда в октябре.

В отличие от большинства писателей, драматично переживавших события войны и свой исход из Москвы, Пастернак отнесся к войне и эвакуации как к новому духовному опыту. Даже в самые ужасные годы в его голосе звучала предельная откровенность и искренность. Пастернак о Чистополе говорил с нежностью как о “городке детского и писательского поселения, который благодаря этому казался посвященным детству и сосредоточенью”.

Со вторым, более мощным потоком эвакуированных писателей, принятых в октябре, когда Москва готовилась к сдаче, в Чистополе помимо Б. Пастернака, окажутся А. Фадеев, А. Арбузов, Вс. Багрицкий, В. Билль-Белоцерковский, Г. Винокур, С. Галкин, С. Гехт, А. Гладков, М. Зенкевич, Л. Леонов, В. Парнах, Д. Петровский, М. Петровых, А. Тарковский, К. Федин и многие другие... Кто-то устроит семью и уйдет на фронт, а кто-то проживет в Чистополе вплоть до лета 1943 года.

Поток эвакуированных шел в Куйбышев (Самару), Киров, Казань, Чистополь, Свердловск, Пермь (Молотов) и Ташкент. Правительственных и партийных чиновников расселяли в Куйбышеве, где уже все было готово для приема и самого вождя. В Куйбышев был отправлен МХАТ – ведущий государственный театр. В Кирове оказались московские и ленинградские драматические и оперные театры. Восток, Азия казались более безопасными. Однако чем напряженнее складывалась обстановка на фронте, тем острее ощущалось, как ослабевали нити, связывающие Среднюю Азию и Россию.

Стали слышны разговоры о том, что дальнейшее поражение на фронтах может привести к превращению Узбекистана в англо-американскую колонию. И что тогда? Как узбеки отнесутся к лавине беженцев из России? Настроение было мрачным.

В Ташкент тоже было эвакуировано множество известных людей; их горести, переживания, большие и маленькие трагедии становились достоянием всей колонии, напоминая огромную коммунальную квартиру. Жизнь на виду, порой скверная, а порой очень теплая и человеческая, пронесла – как на карусели трехлетнего совместного бытования – людей благородных и трусливых, честных и мошенников. Война и эвакуация сдвинули с места многие судьбы, обнажили в людях скрытую природу. Рушились на глазах ложные репутации, возникали – подлинные. Потеря близких, любовь и измены, болезни, смерти, самоубийства, гибель на фронте – все эти реальные события во многом освободили людей от тяжелой лжи, в которой пребывала страна в конце 1930-х годов.

В далеком восточном городе, за тысячи километров от Москвы, в самом начале войны многие испытали непривычное для советских людей чувство отчужденности от страны, которая все прежнее время жестко держала их в повиновении.

Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и наконец остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были самостоятельно не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом, получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия...

Ташкент принял большое количество писателей, ученых, актеров с их семьями, разместили их в частных домах и в официальных зданиях – на улице Карла Маркса, где стояло здание Совнаркома, на Пушкинской улице, где часть ученых, писателей и актеров поселили в

четырёхэтажном здании управления ГУЛАГа, на Первомайской улице, расположенной по соседству, где был Союз писателей Узбекистана, и на улице Жуковской.

Здесь жили А. Толстой и К. Чуковский, его дочь Л. Чуковская, А. Ахматова, драматург И. Шток, Ф. Раневская, Н. Мандельштам, семья Луговского (поэт, его мать и сестра), Е. Булгакова, писатель В. Лидин, поэт С. Городецкий с семьей, литературоведы М. и Т. Цявловские, Д. Благой, Л. Бродский, В. Жирмунский, драматург Н. Погодин, писатели Н. Вирта, И. Лежнев, критик К. Зелинский, М. Белкина и многие другие.

Ташкент, его улицы, дома, дворы, деревья, комнаты, уголки, лестницы – это тот “сор”, из которого сложилось художественное пространство: стихи, строфы эпилога “Поэмы без героя” Ахматовой, книга исповедальных поэм “Середина века” Луговского, другие мемуарные и документальные тексты.

Жизнь эвакуации сохранилась в дневниках, в записных книжках, в поэтических строфах дневникового характера. Каждый фрагмент писем, записок, стихов раскрывает причудливую картину жизни города, его случайных обитателей, занесенных сюда ветром войны.

Большим подспорьем в создании этой книги стал сборник “Чистопольские страницы”, где история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей, а также богатый материал из семейных архивов Луговского (ныне архив В. Седова), Л. Голубкиной (Луговской), М. Белкиной (Тарасенковой), Л. Либединской, А. Коваленковой (Алигер).

В этой работе приводится много новых документов периода войны из архивов РГАЛИ и семейных архивов, а также устных рассказов участников событий.

Москва. Начало войны

22 июня 1941 года для большинства людей Советского Союза кончилось привычное течение времени. Жизнь пошла рывками: от одной сводки информбюро до другой, от одного объявления воздушной тревоги до другого, от ожидания фронтового треугольника до получения похоронки...

Большинство современников рассказывают, что в день начала войны не было страха, ужаса, отчаяния – напротив, многие ощутили подъем и облегчение от того, что война, о которой столько времени говорили, настала и наконец все разрешится. Правда, этот порыв испытывала по большей части молодежь – старшее поколение молчало.

Многие поэты и писатели с 23 июня были прикомандированы к фронтовым газетам и незамедлительно туда отправились.

На митинг, собравшийся в Союзе писателей, народу пришло немного. Вел его Александр Фадеев. Вспоминают, что зал был полупустой, заполненный малознакомыми людьми. Выступающие говорили напряженно. Неловкость была связана с тем, что несколько лет говорили о дружбе с Германией. Выступил какой-то старый писатель. “Мы будем его бить, бить, как карточного шулера, затесавшегося в благородное общество, – витийствует старик. – Мы будем его бить канделябрами... Фадеев смущен”^[1], – писал литературный критик Борис Рунин.

Вышел Михаил Левилов, автор книги о Свифте. Он рассказал о том, чем грозит фашизм культуре. Его речь резко отличалась от казенных речей предыдущих ораторов. Она была живой и умной. В ту же ночь его арестовали. Ему предъявили обвинение в шпионаже “в пользу Великобритании, неопровержимо доказанном посещением гробницы Свифта в соборе Святого ЕЕатрика в Дублине”, за что он был приговорен к расстрелу.

В зале сидели его ученики по Литинституту (он вел семинар прозы и художественного перевода) Даниил Данин, Маргарита Алигер, Мария Белкина, Михаил Матусовский. Они вместе учились и дружили. В той же компании были Евгений Долматовский, Константин Симонов, Наталья Соколова и многие другие. Это поколение оказалось в центре войны. Мария Белкина описала начало войны и эвакуации в книге о Марине Цветаевой “Скращение судеб”, к которой мы будем обращаться, прибегнем и к ее устным рассказам.

Неожиданно оказалось, что в книге Бориса Рунина и рассказе Марии Белкиной есть пересекающиеся сюжеты. Когда митинг в Союзе писателей закончился, каждый из них, повинаясь какому-то внутреннему импульсу, отправился к немецкому посольству в Леонтьевском переулке. Это был красивый двухэтажный особняк. Белкина увидела, что перед ним стоит автомобиль с включенным мотором, а в окне посольства мечется какая-то фигура и жжет бумаги. Напротив дома стояли люди. Они приходили сюда сами, неорганизованно. Маленького роста, похожий на мальчика милиционер, охранявший посольство, бегал перед собравшимися и жалобно повторял: “Граждане, не нарушайте! Граждане, не нарушайте!” А старушка сказала: “Какой маленький, к земле пригнется, и пуля его не заметит”. Белкину поразило, что никто не кричал, не ругался. Все стояли молча и смотрели.

Туда же пошли и ее товарищи по институту:

... Вместе с Алигер и Матусовским – пошли в Леонтьевский переулок к зданию германского посольства, – писал Борис Рунин. – Не помню

уже, что нас побудило туда отправиться, но один эпизод, относящийся к этому походу, запечатлелся в моей памяти.

К зданию посольства подъезжает “эмка”, и сотрудники госбезопасности насильно высаживают из нее молодую женщину, стараясь сунуть ей в руку маленький чемоданчик. Женщина же упирается и всячески норовит от чемоданчика избавиться – мол, он к ней не имеет отношения. Кончается эта немая и таинственная сцена тем, что и женщину, и чемоданчик все-таки вталкивают в дом^[2].

Каждый увидел что-то свое. Что это означало, так и осталось непонятным.

В период больших бедствий люди, как рыбы в океане или птицы в огромной стае, начинают подчиняться неким общим знакам, которые пытаются распознать. Сначала за них они принимают голос власти, но чем дольше длится бедствие, тем очевиднее, что речь идет о каком-то общем внутреннем голосе народа.

Город начал меняться с первого дня войны. В тот же день вечером, вспоминала Белкина:

...мы с Тарасенковым поехали к его матери, она жила на 3-й Тверской-Ямской. Мы ехали в неосвещенном трамвае, кондукторша все время сморкалась и принимала деньги на ощупь и отрывала билеты на ощупь. И все почему-то говорили вполголоса... И темный трамвай несся по темным улицам, непрерывно звеня, давая знать о себе пешеходам. И не светилось ни одно окно, и не горел ни один фонарь. Знакомые улицы не узнавались, и казалось, что это был не город, а макет города, мертвый макет, с пустыми, ненаселенными домами, и синие лампочки, уже ввинченные дворниками в номерные знаки на домах, еще больше подчеркивали пустынность и нереальность города и нас самих. И только назойливые трамвайные звонки, и гудки автомобилей, и резкие сигналы санитарных эвакомашин напоминали о том, что это не макет, не сцена, не спектакль, что это жизнь! Иная, совсем иная жизнь, к которой надо приспособляться и привыкать^[3].

6 июля 1941 года отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань, Берсут и Чистополь. Пионерлагерь и детсад Литфонда увезли из Подмосковья, многих родителей не успели предупредить, и те не знали, что их дети отправлены на Каму. Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

С первой партией писательских детей (тех, что не были в лагере), эвакуированных в начале июля, выехала Тамара Иванова, жена Всеволода Иванова. Она несколько дней провела в Моссовете, чтобы выбить два вагона, которые тут же пошли в Казань. Все решалось, как всегда, на личных договоренностях.

Тамару Иванову, жену Всеволода Иванова, звали “женщина-танк”. Эта рослая громкоголосая красавица, презиращая хлюпиков, рохлей, людей, не умеющих отстаивать свои требования, была невероятно деловой и невероятно пробивной.

Если она на чем-нибудь настаивала, отказать ей было просто невозможно. Она сокрушала учреждения и людей, как самый настоящий танк^[4].

Несмотря на то, что матерям разрешалось сопровождать детей только до трех лет, она в последнюю минуту впрыгнула в отходящий поезд и уехала вместе с ними. Многие дети из-за запрета оказывались под присмотром других матерей, а у тех были собственные дети. Старшие девочки и мальчики как умели опекали младших. Зинаида Пастернак, жена Бориса Пастернака, выехала с маленьким Леней и Стасиком в составе первых двухсот человек, оставив старшего больного Адика в туберкулезном санатории.

Из Москвы и Ленинграда эвакуированных направляли в основном в восточные районы страны. Большинство писателей было эвакуировано в Казань, где собирались организовать выездной Союз писателей, но так как эвакуировались семьи, то колония постепенно переехала в Чистополь, где был интернат для детей писателей, а тем, кому не хватало места, – преимущественно в Елабугу, Набережные Челны и далее вниз по Каме.

Дети все прибывали, а персонала не было.

11 июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и “писательская рота”. На фронт забрали тех, кого не мобилизовали в первые дни – белобилетников, освобожденных от воинской повинности по возрасту или состоянию здоровья. Шел Даниил Данин, который не мог обойтись без очков, маленький Рувим Фраерман, уже пожилой редактор “Огонька” Ефим Зозуля и многие другие – в очках с толстыми стеклами, туберкулезные, немолодые. Целое подразделение составляли писатели.

Уходили – в прямом значении этого слова: в пешем строю, по Волоколамскому шоссе, на запад, – писал Борис Рунин. – <...> Нас было примерно девяносто человек – прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, вступивших в ополчение через оборонную комиссию Союза писателей. В одном строю шагали и уже маститые, такие как Юрий Либединский, Степан Злобин, Бела Иллеш, Рувим Фраерман, Павел Бляхин, и мало кому известные в ту пору писатели, как Александр Бек или Эммануил Казакевич^[5].

Мария Белкина, угнетенная зрелищем шествия немолодых, нездоровых ополченцев-писателей (она говорила, что там были полуслепые, больные, пожилые), влетела в Союз писателей и сказала секретарю парткома Хвалебновой, которая участвовала в

формировании писательской роты, что те вряд ли выживут и что они могли бы как-нибудь по-другому выполнить долг перед родиной. Но та жестко ответила, что на фронт они пошли добровольно, и пригрозила, чтобы она следила за тем, что говорит. Мария Иосифовна была на последнем месяце беременности, и, возможно, поэтому ее не отправили куда следует.

По предположению Бориса Бунина, одного из участников писательской роты, мобилизация таких ополченцев была еще и чистой писательских рядов, избавлением от старой интеллигенции. Что и произошло. В живых осталась только половина из ушедших тогда писателей.

Бомбежки

Никто не ожидал, что уже через месяц немцы начнут бомбить Москву. Первые бомбежки начались в ночь с 21 на 22 июля и продолжались до осени 1942 года почти каждый день. Дом писателей в Лаврушинском переулке был своего рода “младшим братом” Дома на набережной – оба стояли на берегу Москвы-реки, переглядываясь с Кремлем. Правда, писательский дом был задвинут в переулок Замоскворечья ближе к Третьяковской галерее. Большинство писателей были соседями по дому – здесь жили в разное время: К. Паустовский, М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, В. Шкловский, И. Ильф, Е. Петров, Д. Благой, М. Голодный, А. Барто, И. Уткин, С. Кирсанов, Н. Погодин, Ю. Олеша, И. Сельвинский, В. Луговской и другие. Отсюда они выехали – кто в эвакуацию, кто на фронт.

Теперь Москву бомбили каждый день, два раза в день, с чисто немецкой пунктуальностью, кажется, в двенадцать и в восемь вечера, точно уже не припомню. Все ждали этого часа, нервничали, поглядывая на часы, посматривая на “черную тарелку”, которая неумолимо объявляла: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” А затем следовал утробный вой сирены. В Москве складывался особый военный быт: магазины закрывались рано, метро переставало работать в шесть-семь часов вечера, и станции и тоннели превращались в бомбоубежища. Но еще загодя тянулись к метро вереницы людей, и у входа выстраивались длинные очереди. Дети с самодельными рюкзаками за спиной, в которых лежала одежда – ведь можно было вернуться домой и не застать своего дома; матери тащили большие мешки и сумки с подушками, с одеялами, чтобы удобнее устроить на ночь детей на шпалах между рельсами. Плелись старики, кого-то катили в инвалидной коляске, даже на носилках несли. Кто-то тащил чемоданы, кто-то связки книг, мужичонка шагал с тулупом и

валенками под мышкой; тулуп на шпалы, валенки под голову, с удобством устроится и на зиму сбережет^[6].

В июле 1941-го в Москве создавались группы самообороны жилых домов, учреждений и предприятий. Одна такая группа создавалась на двести – пятьсот человек населения. Если дом был большой, то такую группу должен был организовать каждый подъезд.

С 23 июля начались дежурства на крышах в писательском доме. Борис Пастернак после первого ночного дежурства 24 июля 1941 года признавался жене, уехавшей с детьми в Чистополь:

Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, так же, как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера <...> был в Москве на крыше < Лаврушинского, 17> вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой^[7].

Эту же бомбежку описал Всеволод Иванов из окон своей квартиры:

И вот я видел это впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты – осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло, – и поднялось пламя. Самолеты – серебряные, словно изнутри освещенные, – бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища – сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад недалеко от Дома Правительства (Дома на набережной. – Н. Г.) – и в 1 час приблизительно послышался треск. <...> Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство – смерти? – влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9-м этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты^[8].

Сам же Шкловский тоже оставил воспоминание о тех днях:

Мы встретились на чердаке. Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. <...> Сидел я на чердаке; мне очень хотелось спать; я солдат, у меня такая привычка – при бомбежке, если я не занят, спать. У ног спала очень любящая меня маленькая белая собачка с очень плохим характером – Амка. Звонко откупориваясь, стреляли зенитки. Всеволод сказал мне:

– А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами.

Он был спокоен, круглолиц, печален.

Однажды бомба прошла через наш дом.

Небольшая.

Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Паустовского.

Когда днем Паустовский вошел в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень желтая канарейка и пела.

Пропевши песню, она упала и умерла: она переоценила свои силы.

Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет.

В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволоду, и брал у него книги, и слушал радио с плохими вестями”^[9].

Паустовский переехал из разбомбленной квартиры на дачу к Федину в Переделкино, затем уехал в Чистополь, а потом в Алма-Ату.

В одну из ночей, – писал Пастернак в письме к своей двоюродной сестре, – как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 11-этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли^[10].

В начале августа был разрушен дом писателей в Лаврушинском переулке. Об этом подробно написано в воспоминаниях А. Эрлиха:

Ноющий, подобно осиному гуду, стон моторов, рыскающих в недостижимой для глаз и для зенитного огня высоте, нестерпимый свист и вой тяжелых фугасок, каждая из которых, казалось, летела прямо на наши головы, удары и взрывы, так ощутимо сотрясавшие воздух, измучили нас. Двое были ушиблены воздушной волной. Один потерял от слишком длительного нервного напряжения власть над собой – зубы его неудержимо и дробно стучали, он сел возле большой бочки с заготовленной водой и, уткнувшись в нее лицом, стонал сквозь крепко сомкнутый рот. Все остальные “пожарники”-писатели оставались на своих постах. Но многие были уже так измучены, что вряд ли годились в дело. Необходимо было свежее подкрепление. Петров спустился в бомбоубежище подобрать там в помощь человек семь-восемь. Вскоре он вернулся с подкреплением. Но, как это часто бывает во время налетов, вдруг наступила глубокая тишина. Молчали зенитки, не слышно было больше ни гула, ни свиста, ни разрывов. Мы снова видели над собой мирные, спокойно помигивающие звезды. Может быть, с минуты на минуту по радио объявят долгожданный отбой? <...> По-прежнему было тихо над ночной Москвой. Я отправился на девятый этаж, где всегда в часы налета были открыты обе квартиры, расположенные друг против друга на площадке. Длинные пожарные шланги были привинчены к водопроводным кранам в этих квартирах. Надо было проверить, в порядке ли трубы, не откажет ли водоснабжение в случае необходимости.

В одной квартире жил знаменитый немецкий писатель-антифашист Эрих Вайнерт. Еще издали, с площадки, я увидел его в глубине

квартиры – он не спустился в тот вечер в бомбоубежище, – я спросил по-немецки, есть ли вода в системе? Вайнерт ответил, что есть. Другая квартира – К. Г. Паустовского – пустовала: сам писатель находился на Южном фронте корреспондентом от ТАСС, а семья была эвакуирована в Чистополь. <... >

Вскоре мы уже хорошо знали, какие беды наделали две фугаски, почти одновременно сброшенные над нами. Одна угодила в самый дом и, пробив по пути два железобетонных перекрытия, разорвалась на пятом этаже... Изуродованная, дымилась щебнем и пылью квартира Паустовского. Такие же разрушения видели мы и в квартирах ниже по этажам, от девятого до пятого включительно. В одной из них разрывом полутонной бомбы снесена была капитальная стена, за зубчатыми остатками которой открылась смежная, из соседнего подъезда, квартира писателя Л. Никулина.

Вторая бомба разорвалась во дворе, причинив еще больше бед: осколками ее были убиты наповал трое и тяжело ранены четверо дежурных из соседнего дома.

Весь двор был засыпан мельчайшими осколками стекол, вылетевших из всех прилегающих окон.

Над городом снова ныли в незримой высоте реющие самолеты, и опять падали с возрастающими, душу ледящими свистом и гулом тяжелые бомбы. Началась новая волна налета^[11].

В неопубликованной поэме Луговского “Москва. Бомбардировочные ночи” – картина тех дней.

На крышу вызывают командира
Посреди летающих ракет,
Трассирующих пуль и пулеметов
Стоят, раздвинув ночь, прожектора,
Какой простор, какие песни неба!
То вспыхивает, то замрет Москва.
И зажигалки малые, расплавясь,
Текут, белея, по железным крышам.
Кругом меня стоит веселый ад,
Тот фейерверк блистающей природы,
Та вспышка непонятных, мертвых сил.
Пронзающие ночь, бегут ракеты.
Коричневое облако разрыва
Подкидывает ночь. И язычки
Паршивые снуют по сизым крышам.
Отсюда видно все. Лежит Москва,
Безмолвная, зенитками одета,
Колышутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На затемненных крышах в чехарду.

В первые же дни войны НКВД принимает решение – маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”^[12].

Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит... В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.

Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкино.

Цветаева. Попытка отъезда

У многих людей дома почти целиком разрушены, – пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. – 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше^[13].

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет

вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.

Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

Попомню я русскую интеллигенцию <...>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет^[14].

Счет к интеллигенции – по его мнению, это мечущиеся советские писатели – он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим мать.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.

Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовалой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком

должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

Москва-река Кама 8 августа

8 августа Борис Пастернак вместе с Виктором Боковым (он отправлял вещи для своей семьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован стараниями той же Тамары Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани и провожала Цветаеву вместе с Львом Александровичем Бруни. Она вспоминала, что из знакомых там оказался и Илья Эренбург. Она настаивала, что Оренбург был точно. Сама ушла раньше, так как торопилась в госпиталь. А Лев Бруни сказал ей, что поедет домой на машине Оренбурга.

Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. При полной собственной растерянности, непонимании, как поступить, положение усугублялось раздражением сына, уставшего от смены решений, от ее неуверенности. Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно. “Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит заботиться о комфорте – комфорт не русский продукт”^[15]. Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын детской писательницы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе.

Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.

Берта Михайловна Горелик, жена писателя и журналиста Иосифа Горелика^[16], была хирургом, а потому военнообязанной. 8 августа она оказалась в числе тех, кто плыл на пароходе вместе с Мариной

Цветаевой и ее сыном. Отправив маленького, четырехлетнего, сына в Берсут, через месяц решила забрать его в Москву.

Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, спрашивается, где они. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь.

23 июня 1941 года ей необходимо было явиться в часть к 5 часам утра.

В пять часов мальчик еще спал, – рассказывала Берта Михайловна, – моя приятельница осталась у меня ночевать, я должна была все узнать, как меня мобилизуют, я была капитаном медицинской службы. Ни свет ни заря я примчалась туда, где моя часть. Это оказалась школа, вышел сторож:

– Что, милая, пришла-то?

Я говорю:

– Вот моя часть...

– Да она уехала в три часа ночи.

– Как уехала?

– Да так, уехала.

Я говорю: как же мне быть? Ведь скажут, что я дезертировала. Меня обуял ужас. Я стала его просить подписать бумагу, что была здесь.

– Я сторож, что я могу подписывать? Идите в военкомат.

В пять утра ни живая ни мертвая пришла домой, была счастлива, что вернулась еще раз к ребенку. Он меня увидел и закричал:

– Мамочка, ты уже не едешь на фронт, тебя не убьют!

Моя приятельница принесла мне булку, тогда она называлась французской, и огурец – в повестке было написано взять с собой питание. Дома у меня ничего не было...

Иду в военкомат, он с девяти часов работает. Меня приняли абсолютно спокойно, понимали, что идет этот чертов бедлам. Они мне говорят: идите и работайте, когда понадобится, вызовем.

Была такая растерянность, люди не знали, что делать, бегали, магазины уже были пустые, все расхватали... Я все время боялась за ребенка, ведь бомбили каждый день. Ночью вставали и таскали его в убежище, а на каждого входившего мужчину он кричал: “Это Гитлер?”

И вот как-то пришел муж и сказал, что эвакуируют писательский детский сад. И предложил мне отправить его вместе с другими детьми. Я согласилась.

А когда отправляла, то буквально отдирала от себя, уже тогда поняла, что совершила чудовищную вещь. Пришла домой и сказала мужу: что же мы наделали!

Там ехали женщины с детьми, были мамы рядом, а мой – один. Он так кричал:

– Я буду ходить в бомбоубежище, мамочка, не отдавай меня!

Берта Горелик вспоминала:

12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву. Та была бледная, серого цвета, волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах... Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда она приедет хлопотать в Литфонд о возможности жить и работать в Чистополе.

Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она – нет.

Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе. – “Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть”. Я ей говорю: ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что, существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила: “Кому теперь нужны мои стихи?” Я ей сказала: “Вы знаете, я, конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду всего на две недели”.

Главные разговоры на пароходе: где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:

В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)^[17].

Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было отправлено письмо в Казань в Союз писателей Татарии.

В Горьком пересели на “Советскую Чувашию”. И пароход двинулся дальше.

И все-таки в те дни вряд ли кто-то обращал внимание на невысокую седую женщину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось в стороны от Москвы.

Чистополь. Елабуга. 6 июля - 18 августа

Чистополь наполнялся эвакуированными с начала июля 1941 года. Приплывали по Каме.

Перед нами – крутой берег, – писала одна из эвакуированных. – Вверх идет дорога, по которой предстоит подняться в город – старинный, в прошлом – купеческий, с собором, лабазами, толстостенными жилищами, выбеленными до голубизны, крытым рынком, городским садом, мебельной и трикотажной фабриками, двухэтажными домами – в центре и одноэтажными, в три оконца, с палисадниками и крылечками, нарядными и попроще, приветливыми и угрюмыми – на всех остальных улицах, разбегавшихся вправо и влево от улицы Володарского^[18].

Уезжавшие в самом начале июля прибыли сначала в Казань. Там на первых беженцев смотрели с сочувствием и удивлением.

В Чистополь эвакуировали московский часовой завод, который стал производить военную продукцию. Население росло с фантастической быстротой. Люди питались в основном продуктами с рынка. Нашествие эвакуированных привело к тому, что цены взлетели во много раз, – это не могло не раздражать местных жителей.

Мы, приехав в июле-августе 41-го, – писала Наталья Соколова, – еще увидели докарточные пустоватые продуктовые магазины примерно в том виде, в каком они были до объявления войны (потом они превратились в распределители). Белый хлеб выпекали не каждый день, иногда неделями шел один черный, к этому в городе привыкли. Мяса в магазинах до войны почти не было, если было – одни кости. Дефицитов вообще в тридцатых хватало. Самым главным дефицитом являлся сахар, его не “выкидывали” на прилавки годами (да, да, не месяцами, а годами!). Детям был неизвестен вкус сахара, выручал мед. Здешние женщины позднее нам говорили: “Мы сахар увидели в войну, по карточкам. Пусть немного, но дают, великое дело”^[19].

Берта Горелик говорила, что некоторые писательские жены вообще потеряли чувство реальности. Многие просто не понимали, куда приехали, половина из них потом бежала в Ташкент. Но в первые месяцы эвакуации они скупали на рынке все, что можно. Из Москвы везли большие суммы денег, которые не снились местным жителям. Для некоторых не было предела, не останавливали никакие цены. Бочками скупали мед. Бывало так, что их даже избивали.

К началу августа детский лагерь в Берсоте был переполнен. Лидия Чуковская, оказавшаяся здесь в июле, уже не смогла пристроить туда

детей; на это рассчитывала: там кормили. Она писала родителям в Москву: “Сейчас живем в общежитии, по 12 человек в комнате...”^[20]

Хозяева плохо берут женщин с детьми. Кроме того, хозяева смотрят и на то, как устроены эвакуированные, чтобы воспользоваться их дровами или даже частью пайка. Такие, как Чуковская, были “неперспективны”.

“Комнаты и особенно дрова здесь очень дороги, а зимою будут морозы сорокаградусные, с ветром. Все пытаются раздобыть работу, но ни педагогам, ни литераторам здесь работы не найти; требуются шоферы, вязальщицы снопов и подавальщицы”^[21], – писала Лидия Корнеевна. Для горсовета такой наплыв эвакуированных стал полной неожиданностью.

Получалось, что одни могли работать в музее, на радио или в газете, а другие искали возможность устроиться в столовую. В колхозе, который находился на краю города, собирали турнепс. За эту работу не платили, но кормили гороховым супом.

Забытый драматург Николай Глебович Виноградов-Мамонт, приплывший в Чистополь 6 августа на пароходе, вел подробный дневник, который позволяет восстановить быт эвакуированных в городке до начала 1942 года. Так как детей у них с женой не было, их приезд и поиск жилья несколько отличался от тягот Лидии Чуковской. Виноградов-Мамонт пишет о своих скитаниях:

7 августа <... > по дороге в гостиницу я заходил почти в каждый дом в поисках комнаты. Жалкие лачуги, крохотные комнатки – и все проходные! <... > Зашел я в райком ВКП(б). Зав<едующий> агит<ацией> проп<агандой> Шильников приветливо встретил, обещал дать лекции и позвонить Тверяковой о комнате. <...> На обратном пути мы встретили Б <илля>-Белоцерковского. Он в унынии, ибо безнадежно болен <...>. Вернулись в номер – и вдруг запылало небо от грозных молний. Громовой раскат – и хлынул дождь... Чистополь нам нравится. Свежий, легкий воздух, напоенный запахами трав, умиротворяющая тишина, синее, суровое небо, красавица Кама, – как это необычно для нас, проживших безвыездно в шумной Москве столько лет. Мы мечтали о природе – и вот она, природа!^[22]

“Безнадежно больной” драматург Билль-Белоцерковский доживет до 1970-х годов. Его сын Вадим Белоцерковский, попавший в Чистополь подростком, писал в воспоминаниях, что отец был возмущен, как и многие другие писатели, развитием войны, которое грозило полной катастрофой стране.

Жизнь в глухой провинции потрясала своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной – иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в XIX век, если не дальше. Старые деревянные осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин,

водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой – часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом: с помощью зазубренной железяки – кресала, кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня^[23].

Вернемся к хронике Виноградова-Мамонта, она позволяет увидеть ту жизнь непосредственно.

8 августа. Пятница <... > Зайдя в горсовет, узнали, что нам предоставляют комнату на Октябрьской ул., 54. Приходим – комната в 4 метра! Но изолированная. Взглянули на хозяев: учитель Афанасьев – коммунист, жена его, мальчик 13 л<ет> и девочка 15 лет. Хозяева понравились... Предгорсовета Тверякова дала мне лошадь, и мы перебрались из гостиницы на новое логово <...>. Хозяева пригласили нас пить чай, то есть воду горячую из самовара. Мы беседовали”^[24].

Многие были уверены, что до зимы вернутся в Москву. Виноградову-Мамонту очень повезло – его взяли директором в местный музей. В те дни, когда пароход с Цветаевой и Муром приближался к берегам Чистополя, этот странный человек писал в дневнике:

14 августа. Выяснилось, что директора музея нет, – у меня появилось желание получить это место. Боже! Нежели мне придется служить – мне, свободному гражданину, поэту, проводившему свое время за письменным столом <...>.

16 августа. Суббота. <...> В 9 ч. был в РОНО. Познакомили меня с науч<ным> сотрудником музея Г. И. Кудрявцевым и назначили директором музея.

Итак, я – музейный работник с окладом в 450 руб. <... > При музее старинная историческая библиотека. Порылся в библиотеке и возрадовался. Есть “История” С.М. Соловьева, Лависс, Рамес – много ценных и важных редкостных книг!

То-то будет раздолье – сидеть и читать^[25].

10 августа в Парке культуры писатели провели первый вечер встречи эвакуированных с местными жителями, прошел концерт с выступлением разных знаменитостей. Были Асеев, Исаковский, Тренев, мать и сестры Маяковского.

Виноградов-Мамонт вел вечер, а после него повздорил с А. Степановой; он едко пишет о своих впечатлениях от выступлений коллег. “Поэты произвели на меня, как обычно, мелкое впечатление – и мелкими дарованиями, и невежеством. Это поденщина, а не

художники. Асеев – выше других. Но нет взлета вдохновения. Он – раб Маяковского, благоговейно служащий своему господину!”^[26]

К середине августа жить в Чистополе уже было практически негде, все было занято. Однако поразительнее всего то, что, когда на город будет наплыв октябрьских беженцев, им каким-то образом найдут место в переполненном Чистополе.

Галина Алперс, жена театрального критика Бориса Алперса, плывшая на том же пароходе, что и Цветаева, писала, что их с матерью на берег выпускать не хотели, но она сказала, что в Чистополе находится ее сестра (так называла она свою подругу) Елену Санникову и они будут жить у нее.

На пристани всех встречал поэт и переводчик Сергей Обрадович. Было это 17 августа.

Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут

Берте Горелик удалось выйти в Чистополе.

В городе на пристань пришел поэт Обрадович и сказал, что на берег выходят только теща Всеволода Иванова и жены членов Союза писателей.

Я заплакала, ведь я приехала за ребенком. Но все-таки подошла к нему.

– Я на берег выхожу, вероятно, не запрещенный мне берег, я приехала за сыном и дальше никуда не поеду.

Там была моя приятельница, она с мужем уехала раньше. Много писателей стояло. Асеев, писатели с женами. Моя подруга кинулась ко мне, а я говорю:

– Я приехала за Игорьком.

Но мне сказали, что все дети в Берсоте.

– А что это такое? – спросила я.

– Это дачное место.

Она мне объяснила, что здесь живет председатель горсовета, молодая чудесная женщина. Надо к ней зайти. В это время Елизавета Эмильевна, жена Бредедя, кинулась ко мне.

– Я хочу с вами, где вы будете жить?

Я снова ей говорю, что приехала взять сына. Но она уже ко мне привязалась. Тогда я ей сказала, что иду к председательнице.

Зашла, у меня уже полные глаза слез, настроение кошмарное. А она запирает дверь. Я ее спрашиваю: зачем дверь запираете? Она мне отвечает, что у нее забрали последнего врача. В городе – ни одного. Я

ей говорю, что все напрасно, я приехала не жить здесь, а забрать своего ребенка.

Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит:

– Ну, тогда я открою глаза. Сколько лет вашему ребенку?

– Четыре года.

– В Москву без пропусков не пускают, а вы ехали 12 дней.

Я ни газет, ничего не видела.

– Матерей, – говорит она, – имеющих детей до семи лет, на фронт не берут, а только используют в тылу, и поэтому вы уехать не можете. Вы мне нужны здесь. Больница без врачей, поликлиника без врачей, самострелы без врачей. В общем, кошмар. Я вас устрою. Не волнуйтесь. Я поняла, что положение серьезное.

Тогда я вспомнила, что Бределына просила меня за себя, и сказала:

– Вот эта женщина, я ее даже толком не знаю, я с ней познакомилась на пароходе, мне известны передачи ее мужа Вилли Бределя – антифашиста, а лично я ее не знаю.

– Я вас устрою к одной женщине, – сказала начальница, – она получила похоронку, у нее трое детей.

– Но я не знаю, как я могу здесь остаться, ведь меня военкомат отпустил только на две недели, я же военнообязанная, а здесь госпиталей нет.

– Завтра пойдите в военкомат, встаньте на учет, военкоматы есть везде. Вам паек дадут, – объясняет мне она.

– Мне не до пайка, ребенка надо увидеть.

Начальница при мне позвонила какой-то женщине.

– Ее надо устроить к Нюре, еще с одной женщиной. У нее ничего нет.

Я с чемоданчиком, сама в носочках, в костюме. Ни вещей, ничего, ни белья, ни теплого пальто. Поехала на две недели за ребенком. Думала, возьму и вернусь. Ну, в общем, я там застряла.

Я работала. Первый больной ко мне поступил – ему лошадь копытом разможила лицо. Это было месиво.

На следующий день утром в шесть часов утра помчалась на пристань. В девять зашла во двор, столы с грязной посудой, жара, летают синие мухи, и вдруг из дома выбегает женщина с криком:

– Как вы сюда попали! Инфекцию, заразу принесли.

Я ей спокойно отвечаю:

– Зараза на ваших столах. Посмотрите. Ведь мухи у вас, грязная посуда. Вы на меня не кричите, я врач, я приехала сюда за ребенком.

– Дети еще спят! – кричит она. – Они еще не завтракали. Я сама была как помешанная, хотя и молодая, энергичная, но попала куда-то между войной и ребенком. Мне вывели моего ребенка. Жара была страшная. Он стоял передо мной в пижаме. Из всех вещей у него один костюмчик летний остался. Все разворовали. По его стриженной головке ползали вши. Когда его вывели, он неуверенно меня спросил:

- Мамочка? – Он меня не узнал.
- Сынок, дорогой, – заплакала я.

Он мне говорит:

- Мамочка, ты не уедешь?! Ты меня не оставишь? Ты меня заберешь?

- Да, я тебя заберу.

В течение всего дня, пока я его вечером не уложила, он держал меня за руку.

Я начала работать с первого же дня. Утром обход, больница, потом прием в поликлинике, так как врачей нет. Потом – комиссия по трудфронту, я говорила, что надо было всех писательских жен освобождать, так как они были ни к чему не пригодны, не привыкли без домработниц одеваться, не знали, как вымыться; грязные, неприспособленные. Жили сначала в школе, а вода была на улице. Ходили по чистопольской грязи в туфлях на высоких каблуках. В комиссии фельдшер сказал:

- Вы уже всех подряд освобождаете.

Я отвечаю:

- Да, они ничего не могут с маникюром в полях. Если послать их на трудфронт, то они там заболеют и умрут. Они просто не понимали, куда приехали.

А работать приходилось день и ночь. Самострелы. Острые заболевания, трудфронт, больница. Но потом, через очень короткое время, приехала жена Исаковского, она была терапевт, и сразу стала помогать.

Жили мы у простой женщины Нюры, которая приняла меня и Бредель. Как-то она сказала про Бредельну:

- Она жидовка.
- Да это я жидовка, Нюр, а не она.
- Нет, ты работяга, – говорит она...

Тот человек, которому я зашила лицо, принес мне поросенка. Он ввалился с ним прямо в кабинет, я кричала ужасно:

- Вы с ума сошли! Поросенок! Негигиенично.

И выгнала его.

Пришла вечером домой, Нюра говорит мне:

- Вот поросенок принесли! Это хабар. Ты работаешь как вол.

Меня военкомат снабжал, и я кормила ее семью, детей. Одной восемь, другим десять и двенадцать. Замечательные девочки, работящие, я приносила еду и все, что мне давали.

Сына забирала к себе, кормила. А Бредельна брала мальчика, но никогда его не кормила. Она ела, а он смотрел ей в рот:

- Иди, руки мой.

Он моет руки.

А она ему:

- Грязно, поди мой еще.

И все. И не кормит.

Я говорю:

– Почему вы его не кормите, он же бледный, худой. В интернате же воруют, детям мало что достается.

Она мне отвечает:

– Вы русские, у вас всегда беспорядок, а у нас, немцев, – дисциплина. Он пусть там ест, а дома ему не положено.

Я говорю мальчику шепотом:

– Ты приходи, когда мама стоит в очереди за газетами.

Она больше ничего делать не умела, вязала и газеты читала. Первое время я за ней ухаживала, она говорила, что она больна. Ей было сорок лет, и я думала, что она уже старая. Кормила, чтоб ее поддерживать. А потом поняла, что не надо, с какой стати.

Я ей как-то сказала:

– Если антифашисты такие, то какие же фашисты!

Тем, кто был вместе с детьми, повезло больше. С начала июля в Берсуте работала Зинаида Пастернак. Гедда Шор, дочь музыканта Александра Шора, была в старшей группе в детском лагере.

До осени мы жили в Берсуте, – вспоминала она, – замечательно красивом месте на берегу Камы, в санатории с несколькими небольшими корпусами. Одновременно с нами приехали в Берсут жены писателей с маленькими детьми. Я была совершенно ошеломлена, узнав, что среди малышей – четырехлетний Ленечка Пастернак. Таскала его на руках, играла с ним и мечтала, чтобы он достался мне: дело в том, что нас, старших девочек, “прикрепляли” к матерям с малышами в качестве помощниц – нянек. Мечтала я о Ленечке, конечно, втайне, и он мне не достался...

Достались мне братья Ардовы: маленький трогательный Боря и пятилетний большеглазый Миша. Их мать, Нина Антоновна Ольшевская, вскоре полностью завоевала мое сердце^[27].

Елена Левина, дочь писателя Бориса Левина, вспоминала:

Нас долго расселяли, переводили из палаты в палату, но в конце концов я стала жить с Таней Беленькой, Эрой Росиной и Лялей Маркиш. Таню и Эру я знала давно, еще по пионерлагерю, а вот Ляля приехала из Киева. Она любила рисовать. У Эры в ноябре погибнут папа и мама, защищая Москву. Тогда, летом, этого невозможно было и предвидеть. Ее папа, Самуил Росин, вступил в ополчение, в роту, состоящую из писателей. Он был талантливый еврейский поэт, лирик. Накануне войны написал пророческие строчки: “Умру я в самой гуще боя, оставшись юным навсегда”. А мама повезла продовольствие в ту самую “писательскую роту”, где шли бои, под самую Вязьму. Оттуда они оба уже не вернулись.

В другом большом корпусе находилась столовая, к ней примыкала застекленная терраса. Там стоял рояль, была сцена. Детский сад и мамы с малышами жили отдельно. Девочки двенадцати-тринадцати лет

помогали мамашам в основном гулять с детьми, словом, освобождать им руки. Еще девочки чистили картошку для столовой. У мальчиков тоже были свои обязанности: снабжать всех водой, доставать бревна, прибившиеся к берегу, и колоть дрова для кухни. Воду привозили в бочках на телеге. Мне поручили нянчить Илюшу Петрова, а также Мишу и Борю Ардовых. Особенно нежно я относилась к Боре, так как его называли в честь моего папы, к тому же он был бледненький и слабенький, а Миша, наоборот, крепкий и загорелый, носил желтую курточку и напоминал итальянского мальчика. Их старший брат по матери Алеша Баталов тоже нам помогал, кроме того, он еще привозил для всех воду, в бочке на лошади. Илюша Петров был светленький карапузик в черных бархатных штанишках. Ему было около двух лет. Обычно Валентина Леонтьевна (его мама) возилась с ним сама или поручала старшему брату Пете. Их отец писатель Евгений Петров, в то время редактор “Огонька”, постоянно выезжал на фронт как военный корреспондент. Мы катали детей на лодке и с кормы полоскали пеленки^[28].

С годовалой девочкой Таней была Маргарита Алигер:

Мы жили в одной комнате с Ниной Ольшевой, актрисой Театра Красной Армии, женой писателя В. Е. Ардова, близким другом Ахматовой, – в их доме мы и познакомились с нею. Мы жили в одной комнате, Нина с двумя младшими сынишками (старший, Алеша – нынешний актер Алексей Баталов, – жил в лагере) и я с дочкой, и, чем могли, помогали друг другу. Уставали мы за день отчаянно, но вечером, уложив детей и убедившись в том, что они заснули, мы спускались к Каме и, стирая пеленки, читали на память любимые стихи, вспоминали интересные и смешные истории, отдыхали душой, как умели, – это было необходимо, как еда, как сон^[29].

Маргарита скоро уедет в Москву, это было еще возможно, а ребенка оставит с матерью в Набережных Челнах.

Никто не знает, сколько длиться войне, что кого ждет впереди. И главный, октябрьский исход из столицы еще впереди. На дворе лето. Дети в пионерском лагере, кажется, скоро кошмар закончится и все вернутся в Москву.

Елабуга. 18-24 августа

В Чистополе на той остановке, о которой шла речь выше, на пароход поднялись женщины, ехавшие в Берсут в детский лагерь. Они уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь, говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там и все устроится. Как известно из воспоминаний Л. К. Чуковской, Флора Лейтес, жена

критика Лейтеса, которая работала в интернате в Берсоте, обещала похлопотать о прописке и дать Цветаевой телеграмму. Но телеграмму в Елабугу так и не дала, не знала, как ответить Цветаевой об отказе. Итак, 17 августа Цветаева с сыном высадились на берег. Плыли они десять дней, что, конечно же, немало.

Первое, что они увидели в Елабуге, была старая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На холмистых пыльных улицах расползающиеся старые не то избушки, не то сараи. Заборы – кривые, косые – серее серого. Весь город был похож на одинокую улицу на холме, с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в которых – горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. Знала ли Цветаева, что в городе когда-то жил художник Шишкин, кавалерист-девица Дурова?

Над Елабугой, на горе – Чертово городище. Его когда-то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары. Сооружение из плоских камней словно перемигивается с тремя соборами, стоящими по другую сторону. По одну сторону – черт, по другую – Бог. Так Цветаева сюда и пришла, увидев то и другое, так и ушла: перед ее недолгим убежищем – домом Бродельщиковых – невдалеке Покровский собор. С Покровского бульвара в Москве – к Покровскому собору в Елабуге.

С парохода всех ведут в библиотечный техникум. “Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню”^[30], – замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур записал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими. Вадим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: “Давайте поселимся вместе, пусть мальчики подружатся”. Однако не вышло. Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Как писала Лидия Либединская, вспоминая их прогулку с Крученых, накануне войны Цветаева предлагала заниматься с ней французским – пусть и бесплатно.

В этот день они ждут телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе Асеева и Тренева в прописке. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву это может убить; приедет и устроится сама.

20 августа. Телеграммы все еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась своими опасениями относительно того, что на любом месте потребуют документы, заполнения анкеты, что приведет к излишнему интересу к ее особе.

В этот же день Мур пишет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специальная комната, где

сидели люди из органов; это помнят все, кто жил в советские времена. Наверное, когда она рассказывала какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языками владеет, ее автоматически направили в такую комнату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъясняться по-немецки. Несомненно, в этой конторе был необходим человек, владеющий языком, тем более что в Елабуге готовились организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Тем более мы знаем из дневников Мура, что Марина Ивановна сама пошла в горсовет в поисках работы, сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский в Елабуге был не нужен.

Надо отдать должное Муру, 16-летнему подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки, канцелярии – любые места, где есть хоть какая-нибудь надежда получить место. “Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого”^[31], – пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще нет.

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом, радость от этой должности, отданной 19-летнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих заведующих посадили. Наверное, это назначение не обошлось без энергичного участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была переводчицей, автором многих советских песен.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняется – за это платят гроши. Нина Саконская, еще одна дама, с которой ехали на пароходе, устраивается учительницей пения. Заметим, что для Цветаевой и Мура не видно никаких перспектив.

Как это получается? Приехали вместе, с взрослыми сыновьями, казалось, у всех одни и те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на пароходе в разговорах о возможной работе маячила какая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались, по сути, лишенными какого-либо будущего в Елабуге. В эвакуации, особенно ближе к зиме, необходимость быть как-то устроенными, иметь денежный аттестат для каждой семьи было вопросом жизни и смерти.

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но тогда ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И Вадим Сикорский, пожалуй, последний из живущих свидетелей, в своих воспоминаниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи туманны, основаны на дневниках матери, которая была с Цветаевой в Елабуге только до катастрофы.

Главный свидетель тех дней – Н.П. Саконская – умерла в 1951 году, не оставив воспоминаний, но о ней речь еще впереди.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно запишет: “Самое ужасное то, что во всем этом есть трагичность, все это отдает мелодрамой, которую я ненавижу”^[32]. Комнаты распределяет горсовет, куда определяют, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие комнаты будут отданы семьям и профессорам Ленинградского университета, которые прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с университетом приедет сын Алексея Толстого Никита Толстой, а затем к нему – в середине января 1942 года – отец его жены, Михаил Лозинский, который всю войну будет переводить в Елабуге “Божественную комедию”.

21 августа Цветаева и ее сын наконец переезжают в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10. Им отвели часть горницы, отделенную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской, так как двери в комнату не было, можно было попасть в пяти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев была Бродельщиковы.

Мура раздражает все: комната, город, улица и уже новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа они заняты с матерью поиском работы, переживанием новых обстоятельств. Они решают, что пора ехать в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи так и остались на пристани – нераспакованные. Напомним, что долгожданная телеграмма от Лейтес так и не была получена.

Цветаева панически боялась что-либо предпринимать сама – так видно по всем ее решениям: их определяли самые разные люди, которые оказывались в тот момент поблизости. Она сама писала о потере воли. Все, что происходит с ней теперь, можно определить только так.

24 августа. Цветаева отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на советы которой все время ссылается Мур. Куда она девается в Чистополе – неясно. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для продажи. “Настроение у нее, – пишет Мур после ее отъезда, – самоубийственное: «Деньги тают, работы нет»”^[33].

В Елабуге со всеми мальчиками остается их попутчица Нина Саконская, детская писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину грядущая катастрофа заденет непосредственно. Пытаясь узнать о ней поподробнее, я столкнулась с любопытными фактами.

Рассказ Либединской о Нине Саконской

Нину Саконскую с детства хорошо знала Лидия Либединская, с ней дружила с бакинских времен ее мать поэтесса-футуристка Татьяна Вечорка. В Баку в начале 20-х годов Саконская подружилась с дочерью Вячеслава Иванова – Лидией, обе они занимались музыкой. Там она встретилась с Алексеем Крученых. В своих альбомах, где он хранил всевозможные автографы, есть особый альбом Саконской с множеством писем, стихами декадентского склада. Их названия поражают: “Смерть”, “Морг”, “Мертвячки” и т. д.

Между Саконской и Крученых был роман, который то прерывался, то начинался вновь. В 1928 году она кокетливо написала ему: “Буду твоей вечной невестой”. Муж – Соколовский, от которого был сын Саша, – очень быстро исчез из ее жизни. Вот как рассказывала о ней Либединская.

Фамилия ее была Грушман. Это была довольно обеспеченная семья. Саконская посылала свои фотографии в Париж на конкурс красоты и даже получила приз. В Москве жили рядом: мы на Воротниковском, а они – в Колобовском. У нее, кстати, была какая-то детская повесть о скрипачах, где был описан домик, прямо напротив ее дома, там, где церковь. Она поддерживала близкие отношения с композиторами. Когда мы у них бывали, там всегда был композитор Листов, там он играл “В парке Чаир” и “Тачанку”. На ее застольях все было очень элегантно сделано, какие-то тортинки, было очень красиво. В 1942 году, осенью, когда она вернулась из Елабуги, мне было ни до кого, ни до Цветаевой, ни до Саконской. Я ушла к Либединскому, не знала, как быть, где жить...

Я ее встретила на улице, в нашем Дегтярном переулке, я шла с Малой Дмитровки, а она – к себе домой. Она сказала, что была у мамы, только что приехала. Что Цветаева покончила с собой. Но это мы уже знали.

Чистополь Цветаевой 24-28 августа

23 августа Виноградов-Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской жизни: “А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяжелая будет зима!”

Все эти дни по городу в грязи по колено тяжело идут толпы плачущих женщин и детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова с писателями, в Доме культуры решили ставить 25 августа “Любовь Яровую” Тренева.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако у нее мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бредель.

Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним пароходом. Я уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понимала, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъездом зашла в дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула ее и сказала:

– Купите у меня за сто рублей.

Я была поражена.

– Да что вы говорите, сто рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зима ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та купила.

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья Тренева (Павленко) упоминает о вязании: “И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем”^[34]. Софка – это Софья Долматовская, жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс. Они были знакомы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом с ней (одна из них была Санникова), что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чем потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать – пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то женщины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из положения. Но столовая откроется только в октябре. Итак, та встреча на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетется судьба этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца молва отнесет к той встрече, к отражению в ее судьбе гибели Цветаевой. Подруга Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой в боковую улицу, взявшись за руки.

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит Наталье Соколовой (Типот) в письме к Марии Белкиной, которое она

послала ей после выхода книги “Скрещение судеб”. Она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер (дочерью Веры Инбер). Именно у них Цветаева провела одну из тех августовских ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: “Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением”^[35].

Значит, все-таки выходит, что ночь, проведенная в доме матери Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после того уличного разговора о столовой для писателей.

– Ты же помнишь войну? – говорила Гаузнер Наталье Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Валентин Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребятишек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относила Пастернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место посудомойки на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?

И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева ночевала у них, она все повторяла: “Если меня не будет, они о Муре позаботятся”. Это было вроде навязчивой идеи. “Должны позаботиться, не могут не позаботиться”. “Мур без меня будет пристроен”^[36].

Меньше всего Цветаевой был свойственен прагматический подход; мысль о том, чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда что-то выносить, вряд ли приходила ей в голову. Место посудомойки было самым ничтожным по ее представлениям, и она была готова на него.

Какой бы унижительной ни казалась нам сегодня та записка, которую Цветаева написала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так-то просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хотелось многим. Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы нет?

Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны Навашиной, жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л. К. Чуковской, которая утверждала, что ночевала она у Навашиной в общежитии. Однако у Паустовского в 20-х числах августа уже была комната, которая соседствовала с Асеевской. Это подтверждается в письме критика А. Дермана к И. Новикову, который поселился в ней после отъезда Паустовского в Алма-Ату:

Мы в Чистополе с 3 августа. Довольно много времени в усилиях устроиться, долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло.

Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко мне перешла принадлежавшая ему комната, отличная, необыкновенная, теплая, в центре. Сосед мой по комнате – Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и дорогой^[37].

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Паустовских в те дни, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Этим, по всей видимости, объясняется перемена в поведении поэта.

Асеев вместе с Треневым сначала, как мы помним, не подписали Флоре Лейтес, которая пыталась вызвать Цветаеву из Елабуги, разрешение на ее прописку. А когда лично встретился с ней, то дал разрешение, но не устное, а письменное. На собрание Асеев не пошел, но прислал записку с согласием о прописке Цветаевой. Тренев полностью остался при своем.

В письмах А. Н. Зенкевич к мужу говорится, что 10 августа в Чистополь в военной форме прибыл К. Г. Паустовский. Несколько месяцев войны он был в Одессе, пытаясь организовать фронтовую газету, затем вернулся в Москву, где в самом начале августа обнаружил (как уже говорилось выше) свой подъезд в Лаврушенском переулке разбомбленным и, пожив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы потому, что вошел в Совет по делам эвакуированных. Но почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашиной, где был Паустовский?^[38]

Ксения Синякова, комнаты которой соседствовали с навашинскими, говорила потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в Чистополе и что они ее принимали. Ксения подчеркивала: хорошо принимали. Может быть, это общение и подтолкнуло Цветаеву завещать сына Асееву и сестрам Синяковым.

Паустовский, как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя. А свою комнату Паустовский и Навашина передали близкому другу – “старик” Дерману, с которым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так он и оказался рядом с Асеевым. Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходило собрание в парткоме, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно уверена, что Марина Ивановна пропишется в городе.

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, – писала она в очерке “Предсмертие”. – <...> Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали

справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой^[39].

С Чуковской Цветаева сидела в коридоре и ожидала, пока закончится партийное собрание, где решалась ее судьба. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она была парторгом писательской организации Чистополя) и сказала, что ей нечего волноваться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один Тренев, все остальные согласны. С Чуковской они пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шнейдеру^[40], где та читала стихи, хотела вернуться к ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как выяснилось сейчас, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье^[41], с которым приятельствовала в 1940 году в Голицыне. В письме из Израиля его внука Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, пишет:

Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого зрительного образа не сохранилось, я и понятия не имела, кто это, осталось только общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастья, а я, сама в то время несчастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала^[42].

Это выяснилось вскользь, почти случайно, сам Ноях Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 августа, в последний день, когда Цветаева находилась в Чистополе.

Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками за спинами шагали к пристани. Кое-кто из них на руках нес детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятшек, <... > рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть может, в последний раз^[43].

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В 1920-е годы она с лихвой приняла все, что только можно, – голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя снова эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила ее купить билет на пароход. Было много пьяных, она боялась их. Можно только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: “Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного”.

И еще. После выхода книги о Чистополе пришло письмо из Израиля от дочки Елизаветы Лойтер М. И. Ковальской; рассказывая о своей маме, она делает уточнение к рассказу о встрече с Цветаевой. “Когда мама встретилась с Цветаевой, она везла в Казань к главному врачу Юру Барта, у которого был поражен глаз, который, насколько помню, не удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М. И. обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани. Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его”.

Без меня Мур будет пристроен... 28-31 августа

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возможный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался выписаться из военкомата. 30 августа все изменилось. Точно так же было в Москве: казалось бы, они все определили, решили, и вдруг все рушилось в последний момент.

Вчера к вечеру мать еще решила ехать завтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда – там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали, что “ils ne laisseront pas tomber”^[44] мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать – как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы

ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама^[45].

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчитывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел идти в школу в Чистополе – это был его главный аргумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уютный уголок, который та сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветаевой; в закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой.

Вышитое на сатине, тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа – кончается жизнь. Поэтому на всех ручных коврах есть такой завиток. Саконская рассказывала, что Цветаевой оно очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать.

Напомним еще раз: Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно.

Дневники Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в те дни рядом с Цветаевой. Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-что о них удалось узнать. Все-таки какие-никакие, но рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было множество прежних общих знакомых. Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского университета, может быть, их и имели в виду Саконская и Ржановская, когда говорили о преподавании среди писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о том, что они встречали, разговаривали, общались с несчастной женщиной; в воспоминаниях многие полагают, что это была Цветаева. Однако вполне возможно, что они спустя годы, припоминая те дни, любую растерянную эвакуированную женщину ретроспективно могли счесть Цветаевой.

Писатели в этом смысле более надежный народ хотя бы потому, что они пусть отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например, Берта Горелик.

Валентина Марковна Ржановская жила на Тойминской улице, в доме №1, ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналистом, работал в газете “Фронтовик”. А Михаил Борисович Загорский был в 1930-е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие театральную жизнь, в том числе

и еврейских театров ГОСЕТ, “Габима” и других, часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер все в том же 1951 году, когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

31 августа

Итак, судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя. Как это ни печально, но скорее всего такая возможность, пусть в запале, пусть в ссоре, накануне могла ими обсуждаться. Мур пишет в дневнике, что последние дни мать просила освободить ее, говорила о самоубийстве. И главное, на что хотелось бы обратить внимание. Много говорилось о предсмертной записке родным, записке Асееву, но записка писателям, на мой взгляд, не до конца осмыслена.

<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довести в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет.* Адр<ес> Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Цветаева пишет именно елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их позаботиться о мальчике, посадить его на пароход. Кроме того, она просит себя похоронить. Судя по всему, они выполнили просьбу Цветаевой, но мы знаем об этом ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю поездку в Чистополь, при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих. О том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось неоднократно, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и напишет в письме о ее страдании накануне гибели.

О самоубийстве уже написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, кто ее нашел, кто вынул из петли, это уже стало областью мифов; как проходили похороны, где оказалась могила. Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними, можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окружали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала она свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский, цитируя свои записи, говорит, что 31 августа он сидел в кинотеатре и смотрел фильм «Троза», и после вопля Катерины и молний на экране вдруг раздался женский крик: «Сикорский!» Сикорский пишет: «Я бросился к выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Марина Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и наткнулся...»»^[46]

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь последующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в больнице, где взял свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он пишет, что Марина Ивановна была «в полном здравии в момент самоубийства», то скорее всего имеет в виду результаты медицинского освидетельствования, которые были указаны в справке из больницы.

Через день – 2 сентября – ее хоронили. «Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище»^[47]. Скорее всего, ее хоронили Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские...

В поисках Загорского я стала смотреть в РГАЛИ по указателю его переписку военного времени. Обнаружилось одно письмо от мая 1942 года писателю В. Г. Лидину. Поразило, что Ржановская тоже пишет В. Г. Лидину в начале 1942 года. Возникла надежда: вдруг они что-то напишут ему о Цветаевой, хотя бы не напрямую, намеками. Оказалось, все значительно проще. М. Загорский писал Лидину как знаменитому книголюбу о том, что до него дошли сведения, что в его квартире на Малой Бронной прорвало батареи и там могла погибнуть ценная коллекция книг XVIII века по театру и литературе, а также коллекция гравюр. Письмо Ржановской было приложено к письмам мужа, который находился на фронте и через Елабугу посылал в Москву свои очерки.

Однако есть другие странные следы тех дней. После долгих разысканий я вдруг осознала, что почти наверняка никто не станет рассказывать, как все было в Елабуге, а если кто и рассказывал, то это еще хранится на дне семейных архивов. Об этом много говорили, но писали мимоходом.

Итак, в 1942 году М. Загорский, взволнованный гибелью в Москве своей коллекции, умоляет Фадеева вызвать его хотя бы в командировку. Напомним, что выехать из эвакуации было гораздо тяжелее, чем отправиться туда. «Если Вы будете медлить, –

обращается он к Фадееву, – то в Елабуге погибнет третий из членов писателей, погибнет зря...”^[48] Интересно, что Загорский считал Цветаеву членом Союза писателей. Что же касается еще одной смерти в Елабуге, то об этом еще будет рассказано. Мария Гонта, сценаристка и переводчица, приехавшая в Елабугу уже после смерти Цветаевой, умоляя Фадеева вызволить ее, пишет:

Здесь люди живут весом и ценой дыма, пролитой воды, тряпки, микроскопическими, молекулярными интересами, достойными каких-то одноклеточных, если бы природа не позволила себе шутку – дать им слово. Здесь легко умереть, как умерла Цветаева^[49].

По этим письмам видно, что смерть Цветаевой стала в каком-то смысле разменной монетой для тех писателей, что застряли в эвакуации. Но так это видится только на внешнем уровне; если заглянуть глубже, то понимаешь, что Цветаева вдруг воплотила для них обездоленность и затравленность маленького советского писателя, забытого государством. И хотя ее судьба являла полную противоположность такой мысли, всем было важно другое – написать, сказать, выкрикнуть: посмотрите, до чего нас довели! Такое прочтение ее гибели теми, кто находился рядом, честно говоря, меня поразило. Однако если вспомнить, как десяток лет кормили, пестовали, хотя и сажали, но и награждали советских писателей (больших и маленьких), невольно поймешь их почти детскую обиду на государство. А воплощал его в те годы Александр Фадеев, который и получал эти жалобы и стенания.

Итак, уезжая в Чистополь, Мур писал, что простился с Загорскими, Сикорским и Лелькой (Соколовским).

Разговор с Вадимом Сикорским

Конечно, хотелось расспросить фактически единственного оставшегося свидетеля тех дней – Вадима Сикорского, однако, судя по его собственным воспоминаниям, трудно было надеяться на что-то новое. Но случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура; она попросила разрешения мне поговорить с ним. Он был доброжелателен, но вопросы принимал в штыки, говоря, что давно уже все рассказал.

Мур был замкнутым, молчун. Я вообще не знал, что он такой. Я был потрясен, когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой... умный, все понимает. Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева... она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже не представлял, что она такой поэт. Она мне читала свою поэму “Царь-девица”. Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как

поэта только спустя 8 лет. И был буквально потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего интересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Я: Вы ее хоронили?

Он: Почему вы спрашиваете? *(После паузы.)* Можете считать, что меня там не было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму был. Пил тогда очень. Я: В дневниках Мура написано, будто бы Цветаева хотела, чтобы вы жили вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

Он: *(Смеется.)* Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздражали, честно скажу. Особенно когда в моем присутствии говорили по-французски. Мне казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не понимаю... В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся...

Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота. Меня комиссовали. Хотели снова забрать в армию, но я был по здоровью не годен. Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели, будет интересно. А оказалась страшная дыра... Вы знаете, я вспоминать об этом не могу... Мне плохо, когда вспоминаю... Вот Аля – другое дело, с ней мы с мамой много общались.

Похороны эвакуированных

*Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту.*

Борис Пастернак

Разговор о могиле Цветаевой начался очень скоро.

В начале 1942 года в Елабуге на той же Тойминской улице, где жила Ржановская, поселилась близкая приятельница Пастернака Мария Гонта, о которой говорилось в предыдущей главе.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак просил ее: “Напишите, в каком состоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест или камень, или надпись, или какой-нибудь отличительный знак?”^[50] Марика отвечает 12 октября 1942 года: “О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, и с

некоторой вероятностью положили камень”^[51]. Как всегда бывает, письма, в котором Марика собиралась особо сообщить о Марине, не сохранилось.

Итак, решила узнать, кто такой Добычин и когда его похоронили. Выяснилось все довольно скоро. В письме в Союз писателей на имя Фадеева жена Н. Е. Добычина З. Серякова пишет: “Первого октября мой муж умер, пролежав пять месяцев в больнице, я осталась в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в Москве”^[52]. А 9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржановская, то есть те же люди, что были возле Мура в те последние дни, просят руководство Союза писателей дать разрешение жене Добычина на въезд в Москву, чтобы позволить ей разбирать архив мужа.

Тот Добычин, как удалось выяснить, – переводчик с ойранского (!), то есть с алтайского языка. Пекутся о его жене, архиве. А вот письмо М. Загорского в Союз писателей, Л. Скосыреву от 15 октября 1942 года: “С сожалением начинаю свое письмо печальной вестью: 1 октября умер Н.Е. Добычин. Сегодня мы его хоронили. Вот уже вторая потеря, первой была Марина Цветаева. Из членов Союза оказались здесь всего трое: я, Марголис и Зелинский. Н. П. Саконская уехала в Москву... ”^[53] Но есть одно несчастье, произошедшее спустя два месяца после гибели Марины Цветаевой, – самоубийство Елены Санниковой. Эта история общеизвестна, но картина ее похорон вдруг высветила в каком-то смысле и погребение Цветаевой. Санникова погибла в октябре, забегая вперед, придется рассказать о ней именно здесь.

Известие о смерти Цветаевой пришло вместе с Муром, приплывшем в Чистополь. И вот наш чистопольский хроникер Виноградов-Мамонт фиксирует:

4 сентября. <...> Утром пришло известие: мне перевели из Москвы 100 руб<лей>... Денег на почте я не получил, ибо в кассе – пусто <...>. (Там от одной писательницы узнал, что Марина Цветаева повесилась.) Веселый, солнечный день, и темно-синяя (“сапфирная”) Кама <...>.

В этой записи особенно поразителен конец. Не надо думать, что хроникер – человек недобрый. Спустя два месяца он поведет себя наилучшим образом.

25 октября. Суббота. <...> В четвертом часу я заезжал в столовую – узнать новости. Сел с Арским за столик – глотать “шрапнель” <кашу>. Вдруг приходит женщина и просит кого-нибудь из писателей помочь перенести труп Елены Санниковой (Обрадович сказал мне утром, что она повесилась), жены Григория Санникова – поэта. Никто из писателей не пошел. Я не считал возможным отказать в такой просьбе. Пришел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней труп, накрытый простыней. Дали мне ее паспорт. Я взглянул на карточку – и узнал в ней

даму, которая 4 сентября сообщила мне: “Марина Цветаева повесилась”^[54].

Прервем запись. Все-таки жизненная драматургия невероятна. Ведь кто-то другой мог рассказать Виноградову-Мамонту о Цветаевой, не Санникова.

Итак, продолжаем.

Мне пришлось сопровождать труп в морг. Я попросил Нейштадт, жену переводчика, сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница был учитель, хозяин квартиры, где жила Санникова. Оказалось, что она боялась нищеты. Получая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а иногда безрассудно их тратила – и потом приходила в Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщиной. Вчера вечером принесли ей повестку, отправляли в колхоз. А утром она повесилась на печной отдушине, поджав ноги.

<...> Мальчик, сын, 14 лет обнаружил труп. С учителем мы в темноте (был шестой час вечера) проехали, утопая в грязи, на кладбище. Не нашли ворота. Объехали кругом и потом между могил – провезли свою колымагу до морга (то есть простой избы – мертвецкой). По дороге лицо покойницы открывалось, и я задерживал простыню. У морга я с учителем переложил труп на носилки и внес в морг, где положили рядом с голым трупом какого-то мужчины... Сколько раз я встречался с поэтом, и он не знал, какую услугу суждено мне было оказать его жене. Поехали обратно, в полной темноте, оставив позади и морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались песни^[55].

Вот так в городе, где у Санниковой было много знакомых, вез ее в морг чужой человек.

Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы, все время повторяла: “Как мы переживем зиму? Детей нечем кормить, они замерзнут, лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться”. В отделе народного образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Видно, как все похоже: гибель, ее мотивы. Это и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под воздействием Марины Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала:

Из-за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все пуговицы, лицо – белое, как бумага.

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. – И пошла дальше^[56].

Хоронили на чистопольском кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена Галина, Виноградов-Мамонт и Ольга Дзюбинская.

Сыну Елены Санниковой не удалось спустя годы разыскать могилу матери, несмотря на то, что, когда отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на кладбище. Время стерло все следы.

И прежде чем закончить историю с Еленой (Беллой) Санниковой (девичья фамилия которой было Назарбемян), хотелось бы напомнить ее романтическую историю. В начале века она была одной из первых петербургских красавиц. Ее называли грузинской княжной Беллой. В 1912 году в Териоках был организован летний театр, Мейерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин, художницы Бебутова, Яковлева и Белла Назарбемян, которой был увлечен художник Сапунов, ушли на лодке в море.

Скоро, в ту же ночь, – писал А. А. Мгебров, – разыгралась страшная трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка каким-то образом перевернулась, и в то время как все держались за нее, крича о помощи, Сапунов незаметно для других исчез и утонул... Никогда я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса^[57].

Сапунова море вернуло через одиннадцать дней. Говорили, что он хотел утонуть из-за любви к Белле.

27 октября Виноградов-Мамонт записывает: “Рассказал Д. Петровскому, Арскому, Обрадовичу, Далецкому и Шевцову свою историю с Санниковой <...>”^[58]

О могиле же Цветаевой разговор шел всю войну и после. Уже в 1948 году Пастернак писал В. Авдееву о том, что необходимо продолжить поиски.

Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой, < может > быть, у Вас там есть знакомые и Вы что-нибудь знаете по этому поводу.

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом. И так все в жизни^[59].

Отражение гибели Цветаевой

Как уже говорилось выше, Мур приехал в Чистополь и рассказал о смерти матери. Наталья Соколова в письме Белкиной вспоминала, что в те дни, когда Мур (хоронил!?) мать, в Елабуге оказался Юрий Оснос, в

то время муж Жанны Гаузнер, критик. Они встретились на пристани. Мур писал, что тот помог ему таскать вещи, покупать билеты. Ехали они вместе.

Хорошо, что я с ним поехал. Пароход “Москва” был битком набит <...> эвакуированными, мобилизованными, все это воняло и кричало, и сесть туда не пришлось – не пускали. <... > Приехав в Чистополь, я позавтракал у Осноса и пошел к Асеевым¹.

Наталья Соколова вспоминает то же самое: “Оснос, вернувшись из поездки, привез растерянного Мура на нашу квартиру, помог ему дотащить вещи – знаменитый чемодан с рукописями матери и весь остальной скарб”^{[60] [61]}.

Мы оставим на некоторое время Мура. В данном случае он был источником вести, которая за очень небольшое время стала циркулировать по всему писательскому сообществу. Никто не знал подробностей, да и писать развернуто, как уже говорилось, не решались.

Лидия Чуковская писала отцу: “Сегодня 4/IX. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась”^[62].

Мария Белкина 10 сентября сообщала А. Тарасенкову в Ленинград, где он находился вместе с другими писателями: “Марина Ивановна – стала уже историей литературы. Она умерла. Как мне всегда казалось, она умрет не просто. У нее была слишком трудная жизнь, видно, она под конец не выдержала. Я видела ее перед отъездом”^[63]. Через некоторое время последовало другое письмо, где говорилось, что Цветаева умерла как герой Л. Толстого “Поликушка”. Так она намекала мужу на обстоятельства ее гибели.

Сама Белкина получила известие от С. Вишневецкой (жены Вс. Вишневецкого), та пришла навещать ее в роддом и сказала презрительно, что, в то время как вся страна воюет, Цветаева нашла время повеситься.

Интересно, что и Пастернак 10 сентября написал знаменитое письмо жене:

Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о “посторонних” заботах! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интел <лигентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим друг <им> причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине

души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!^[64]

С Муром они встретятся через месяц в Москве.

В записных книжках от 15 сентября Гладков пишет: “Слухи о смерти Долматовского, <...> о самоубийстве М. Цветаевой. Наши войска оставили Кременчуг”^[65].

Самоубийство Цветаевой переживалось и осмыслялось, видимо, всю войну и потом, но до нас дошли обрывки фраз и письменных свидетельств, которых было очень немного. Сикорская писала в дневнике, что получила письмо из Елабуги от Саконской и побежала с ним Союз писателей. Там даже создали комиссию, дабы найти могилу. Свидетельство выглядит невероятно. Просматривая бумаги Союза писателей, связанные с эвакуацией писателей в Чистополь, я не нашла ни одной официальной с упоминанием имени Цветаевой. Может быть, еще найдется.

Но самое странное, что след от того самоубийства остался в жизни Саконской и ее сына Лельки. Известно, что мальчики Вадим Сикорский, Александр Соколовский и Георгий Эфрон с недовольством смотрели на свое елабужское заточение. Еще на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура произошло еще одно трагическое событие. Когда матери не было дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть ее на своей шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала вынимать юношу из петли. Последствия этой истории сказались на ее здоровье, Нина Саконская до конца дней не оправилась; вернулась в Москву горбатенькой. Прожила недолго, до 1951 года. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, отсутствие воспоминаний о тех днях.

Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года

Начало сентября 1941 года. Идут дожди, на улицах Чистополя непролазная грязь. Калош нигде не продают.

Мур идет к Асееву, который потрясен смертью Цветаевой. Но тут же он сообщает Муру, что вынужден ехать в Москву, поэтому взять его к себе не может. Судя по дневникам нашего хроникера Виноградова-Мамонта, 15 сентября тот встречает сестер Синяковых, которые приглашают его в гости к Асееву.

По набережной Камы дошли до Соборного спуска. Сели на паром <...>. На носу сидели три женщины с узелками шиповника. Разговорились. Оказалось, это – сестры Оксаны Асеевой. Живут они <в

Москве > в Скатерном < переулке >, 22!!! Против нас! Я поведал им о своей встрече с В. Хлебниковым <в Пятигорске 1921 года, осенью >. Зашло солнце. Мы высадились на берег. Поднялись в гору. Н. Н. Асеев утром работает и нигде не показывался. Чистополь ему нравится. Адрес его – ул. Володарского, 69. Мы получили приглашение к Асеевым и непременно воспользуемся^[66].

Асеев оставался в Чистополе и делал все, чтобы пристроить Мура в интернат. Однако это было непросто, за интернат надо было платить, а Асеев вовсе не хотел брать оплату на себя. Он уговаривает юношу ехать в Москву в Литфонд с письмом. Неизвестно, знал ли Асеев о том, что в Москве уже никого не прописывают. Эвакуированных прикрепляли к тому месту, куда они выезжали.

“От Асеева веет мертвечиной”, – вдруг записывает Мур. “Как скучно живут Асеевы! У него – хоть поэзия, а у ней и у сестер – только разговоры на всевозможные темы”^[67].

К и сентября все меняется, директор интерната Хохлов получает телеграмму из Москвы, что Мура можно зачислить, ему даже предлагается материальная помощь. В глазах Чистополя – Асеев главный благодетель, он помогает мальчику. Воспоминания об Асееве у чистопольцев сходятся почти у всех в одном: он старался что-то делать. Но несчастье – скупая жена, Оксана Синякова, жадность ее была общеизвестна. Ее замечали многие. Гладков вспоминал, как зимой голодала семья сестры Оксаны Веры Синяковой и Семена Гехта, он ходил по рынку, пытаясь продать белье своей жены, и там же ходил и Асеев, скупавший разные вещи за бесценку. Оксана тяжело восприняла такую обузу, как Мур. Берта Горелик спустя годы, после смерти Асеева, была лечащим врачом Оксаны Асеевой и говорила, что ее квартира была очень запущена, а под матрасом после ее смерти нашли пачки денег...

Наталья Соколова вспоминала о Муре в Чистополе:

В этот период несколько раз заходил к Жанне и Юре, я его видела, разговаривала с ним <...>. Это был высокий красивый юноша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и очень светлыми глазами. “Настоящий ариец”, как кто-то о нем шутя сказал. Аккуратный, подтянутый, вещи на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фамильярности, панибратству, похлопыванию по плечу. Он казался замкнутым, холодным, пожалуй, даже высокомерным, но это, очевидно, было у него защитное – пусть не смеют жалеть, сочувствовать, оплакивать его горькое сиротство. Холодность, сдержанность были, конечно же, продиктованы гордостью, самолюбием^[68].

А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в сентябре 1941 года в Москву близкому приятелю – писателю М. А. Левашову:

Милый Гулливер! <...> Живем мы хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные, половина татар. Скучать некогда. Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.

Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает ее великолепные стихи. Ее сын здесь живет в общежитии пионеров^[69].

Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем вспоминали многие. Трагическая судьба гениальной матери, его облик, так непохожий на окружающих – все привлекало к нему внимание взрослых, мальчиков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в старшей группе школы-интерната, вспоминала, что влюбилась в него с первого взгляда.

Шел сентябрь сорок первого. Мы с Юрой Арго гуляли по Чистополю. <...> Мы с Юрой дружно смеялись, подходя к интернату. И тут я увидела идущего впереди нас молодого человека, незнакомого и явно нездешнего. Трудно понять, как я, глядя ему в затылок, сразу напавал влюбилась. “Кто это?” – испуганно спросила Юру. “Как, разве ты не знаешь? Цветаева... Елабуга... Ее сын Мур...” Дальше я уже ничего не слышала. Мы продолжали идти вслед за Муром, расстояние между нами не сокращалось <...>.

В Чистополе Мур прожил недолго. Добрая Анна Зиновьевна Стонова, старший педагог интерната, стараясь как можно скорей приобщить Мура к интернатской жизни, устроила своеобразные смотрины. Собрала всех старших девочек и пригласила Мура. Все чувствовали себя неловко и натянуто, общего разговора не получалось. Мур высокомерно молчал. Пытаясь спасти положение, Анна Зиновьевна сказала: “Мур, почитайте нам стихи вашей матери”. – “Я их не знаю”, – ледяным тоном ответил Мур, даже с каким-то вызовом. Между смертью Цветаевой и предложением, сделанным ее сыну, – “почитать стихи” – прошло всего несколько дней. Стонова не совершила бы такой бестактности, если бы не была сбита с толку самим Муром: его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось, перед нами сидел не осиротевший (так страшно) мальчик, а самоуверенный красавец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя смотреть... Стонова обращалась к нему на “вы”. Это было беспрецедентно: всем детям говорили “ты”. Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учителя, говорящего с королем-школьником: “Ваше Величество, Вы еще не приготовили уроки”.

Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми. Красота Мура была прежде всего красотой породы. Он был высок ростом, великолепно сложен. Большелобый и большеглазый, смотрел как-то чересчур прямо и беспощадно. Потом уже поняла: это был взгляд “рокового мужчины”, каковым он и был, должен был стать – кстати говоря, без всяких кавычек. Сегодня назвала бы его римлянином. Было в его взгляде много ума, надменности и силы. Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно. Это прошло бы с возрастом. Тогда я только невнятно чувствовала, теперь знаю: достоинство, трансформированное несчастьем, часто выглядит

высокомерием. (Все эти рассуждения не имеют никакого отношения к высокомерию злокачественному – уделу низкопробных душ нуворишей, сливколизателей и снобов.)

В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все, от мала до велика, слушали сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это “так”, – я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала. Узнала Мура, но не нашла слово. Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастье, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен.

Все это сегодняшние мысли. А тогда... Мур стоял под репродуктором в коридоре, прислонившись к стене, подавшись корпусом вперед, обе руки заведя за спину. Взгляд исподлобья, слушающий. Высокие брови, подпирающие тяжелый лоб. Стоя у противоположной стены узкого коридора напротив Мура, я смотрела на него: светлые глаза в черном ободке – как мишень, подумала я и страшно испугалась возникшего сравнения. Мур изумлял меня выбором своих общений со сверстниками: какое-то нарочитое упрощение, прямая ориентация на “спортсмедные лбы”. Один-единственный раз я видела, как он смеется^[70].

Те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром, как он сам об этом пишет, там было множество детей знаменитостей. Дети Зинаиды Пастернак – Леня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы не потерять музыкальную форму.

Жизнь интерната только налаживается: средства, власть Хохлова – директора дома. Спустя несколько месяцев, в начале 1942 года, мальчики-подростки напишут горестное письмо

Фадееву в Москву о внутренней жизни детского учреждения; письмо коллективного Ваньки Жукова. А пока директор Литфонда Хмара предлагает Муру выехать в Москву. Рассказывает, что там открыты школы, говорит, что Союз писателей непременно ему поможет.

Дневники Мура можно было бы в традиции XVIII века назвать “Необычайная жизнь и злоключения Георгия Эфрона, сына знаменитого поэта Марины Цветаевой и неудачного агента советской разведки Сергея Эфрона, его приключения, рассказанные им самим”.

Трудно представить, что претерпел 16-летний подросток на дорогах эвакуации и войны. Выехал из Москвы в августе; тяжкий путь до Елабуги, где пережил смерть матери; приехал в Чистополь; затем попал снова в Москву до начала октября, когда все оттуда бежали, “добрые” дяди из писателей и писательского окружения послали его

туда, чтобы он не мозолил глаза в Чистополе; Москва и через две недели эвакуация в Ташкент; унижительная тяжкая жизнь в Средней Азии, и снова Москва; три месяца учебы в Литинституте; фронт и гибель... Все, что можно было пройти, он прошел.

А Чистополь в эти дни озабочен заготовкой дров. Сводками информбюро. Хроникер Виноградов-Мамонт пишет в дневниках:

18 сентября. Четверг. <... > Целый день прошел в суете. Дрова, дрова и дрова – вот что в мыслях и “в ногах”, ибо ногами измерил пол-Чистополя по разным учреждениям. В 5 ч. у моего окна постоял Д. В. Петровский. Собирается в Казань – тоже хлопотать о дровах для Литфонда <...>. Днем шел дождь – я ходил в белых брюках – как гусь! Но гусиное настроение мое объясняется просто – жалею суконные брюки! Холод завернул такой, что хоть печку топи. Чистопольцы уже вытащили теплые вещи. Словом – зима на носу. Ну, что ж.

19 сентября. Пятница. Проснулся в шестом часу. Радио прохрипело: “Ожесточенные бои под Киевом... Противник прорвался на окраине Киева...” Тяжелые известия... Открыл окно: на улице холод, дождь, грязь. <... > Утром ходил в музей, на лесопильный завод, рассказал там о московских бомбежках <... > в горсовете у Тверяковой, в банке, в райкоме (шел разговор о сборе теплых вещей для Кр<асной> Армии). Вернулся домой в три часа и опять разговаривал о форсунках, опилках и других “дровяных” материях <...>. В 6 ч. пошел на собрание “руководителей учреждений”. Увидел секретаря райкома Воробьева, плотного, широкоплечего человека с бритой головой. Говорил повелительно, с нервом <...>. Сообщили о выдаче сахара, о теплых вещах, о дровах и пр. Словом, я вхожу в “государственную” работу <... >.

22 сентября. Понедельник. В 6 ч. узнал о сдаче Киева <...>, а в 8 ч. побрел на лесопильный завод. Мне сегодня повезло: лесопильный завод заключил со мной договор на 100 возов опилок. Разговорились с бухгалтером Рыбиным, узнал, что он – преображенец, солдат первой роты. Предались военным воспоминаниям. В награду Рыбин продал мне, однополчанину, кубометр дров <...>. На улице встретил Л.К. Чуковскую, она сказала, что ночью мимо Чистополя проплывут семьи ленинградских писателей. Я попросил узнать о жене Илюши Груздева – Татьяне Кирилловне. И совершенно забыл узнать о судьбе Анны Дм. Радловой.

23 сентября. Вторник. <...> Город волнуется из-за сахарной истории: везли нам баржу с сахаром и конфетами, но утопили у самого Чистополя. Итак, мы снова без сахара! <...> В музее беседовал с самоучкой-художником Макаровым. Он рассказал нам о жизни колхозной <...>. Вдруг постучал в окно Д. В. Петровский. Он только что вернулся из Казани. Обещали ему 4000 кубометров дров и столовую для Литфонда. Поднимал вопрос о журнале лит. художественном.

Ярославский якобы вызывает Асеева в Москву. Зато сюда переезжает К.А. Федин <...>^[71].

Итак, мы с Муром временно покидаем Чистополь. Асеев останется, а юноша поплывет пароходом до Казани, оттуда – поездом в Москву. При нем чемоданы с рукописями матери, вещи. Многое из вещей он продал сестрам Синяковым, но все равно кое-что осталось. Перед отъездом Асеев читал мальчику главы своей поэмы о начале войны. О путешествии в эвакуацию. Мур в дневнике записал, что она ему понравилась.

Тел неоплаканных груди,
Дум недодуманных дни, —
люди не любят чуда:
горы немытой посуды,
суды и пересуды,
страхи да слухи одни.
Так же стригут бородки,
так же влекут кули,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
словно война – вдали.

Война влияла на советскую интеллигенцию. Писатели и поэты уже забыли, как выглядит Россия. И вдруг в эвакуации они буквально упали на землю, ощутили под ногами засасывающую, чавкающую грязь.

Сборник стихов Николая Асеева об эвакуации 1941-го был назван клеветническим и в конце 1943 года был подвергнут жесточайшему разному в ЦК ВКП(б).

В конце сентября Наталья Соколова и Жанна Гаузнер с сумками, кастрюльками и бидонами шли за литфондовским питанием. Встретили Мура, который сказал им, что собирается ехать в Москву. Узнал у Жанны адрес общих знакомых. Далее Наталья Соколова писала:

Мур простился с нами, перешел через улицу, меся вязкую грязь проезжей части, потом зашагал по деревянным мосткам, которые в Чистополе заменяли тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный, с высоко вскинутой головой и прищуренными глазами, он, казалось, не замечал одноэтажных деревянных домов с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесовых ворот, замурзанных ребятишек, которые гоняли в большой луже самодельный плотик, бабьей очереди с ведрами у водопроводной колонки. Жанна сказала с каким-то печальным недоумением: “Европеец, а вон куда занесло. Кто бы мог предсказать... И один. Совсем один”^[72].

Здесь нельзя не отметить, что и Жанна Гаузнер долго была парижанкой, она выросла и была воспитана в Париже, в двадцатилетнем возрасте приехала в Москву к матери Вере Инбер.

Москва. Осень 1941 года Сентябрь-октябрь

В те дни, когда погибла Цветаева и эта новость докатилась до Москвы, бурно обсуждали еще одно событие – исчезновение Фадеева и его предполагаемое снятие с должности секретаря Союза писателей. Пастернак пересказывает жене самую мягкую версию.

Да, последняя новость – лишился всех своих постов твой друг и любимец Фадеев, хотя мне-то его по-человечески и дружески очень жаль. Он приехал с фронта, запил и пропал на 16 дней. Я думаю, такие вещи не случайны и ему самому, наверное, захотелось расстаться с обузами и фальшивым положением своих последних лет. Я не знаю, кто будет вместо него по Союзу, но в Информбюро (нечто вроде центральной цензуры и инстанции, которая распределяет печатный материал для Союза и за границы) вместо него будет Афиногенов. Нас (меня, Костю, Всеволода Иванова и кое-кого еще) привлекут к более тесному сотрудничеству. В Москве сейчас совершенно спокойно, несравнимо с тем, что месяц назад^[73].

Пастернак думал, что такое поведение Фадеева связано с угрызениями совести; он всегда пытался видеть в любом человеке те же побуждения, что и в себе.

До Чистополя новость доходит спустя две недели в абсолютно искаженном виде. Там уже как случившийся факт обсуждается новость о снятии Фадеева с должности секретаря ССП и исключении его из партии за непробудное пьянство. Однако Фадеева никто не исключал. 23 сентября вышло постановление политбюро о его наказании с объявлением выговора и указанием на то, что если повторятся его попойки, будет поставлен вопрос о “более серьезном взыскании”. Фадеева оставили в покое; пьянство в верхах большим пороком не считалось. Сам же Фадеев, по всей видимости, пережил тяжкий стресс, побывав на передовой.

Кирпотин, крайне недоброжелательно относящийся к Фадееву, писал жене: “Фадеева сняли с работы в Информбюро. Человек, экстренно вызванный с фронта, имея поручение, пропал больше чем на неделю. По причине известной писательской болезни”^[74].

Первые дни войны потрясали многих, возвращение назад в московский быт было очень тяжелым. Однако Пастернака Кирпотин очень хвалил. “Пастернак, с которым житейски, в быту не встречаемся,

мне в эти дни очень нравится. И представь себе, и стихи написал «идеологически выдержанные», хорошие, искренние, в которых все же некоторые редакторы пугаются”^[75].

В это же время настигает несчастье Маргариту Алигер, ее друзья переживают одну трагическую новость за другой. В первые месяцы войны погиб ее муж – композитор Константин Макаров. Вера Инбер в военных дневниках пишет 15 сентября:

Поехали в город к Тарасенкову, в газету Балтфлота. Только поднялись наверх – тревога. Входит краснофлотец и говорит:

– Приказано всем идти в укрытие.

Мы двинулись по коридору В этот миг задрожал дом: бомба упала рядом, в Апраксином дворе. В убежище, в углу, под сводами Росси, Тарасенков разостлал свою шинель. Мы сели. Он вытащил из кармана пачку писем жены и стал мне читать. И удивительно, просто невероятно было слышать слова нежности и любви под гул и взрывы. Между прочим, жена сообщает, что муж Маргариты Алигер убит, а сама она вернулась в Москву^[76].

А в конце сентября Ахматова на самолете отправляется в Москву. Ее должна была сопровождать Ольга Берггольц, но не смогла, и рядом оказалась писательница Н. А. Никитич-Никитюк, которая в своем письме к Фадееву упоминает это обстоятельство: “30 сентября 1941 года Ахматова и я из Ленинграда прилетели в Москву. Остановились мы у С. Я. Маршака, и там мы с вами встречались”^[77]. Значит, Фадееву, по всей видимости, было поручено опекать Ахматову.

Потом несколько дней Ахматова жила у сестры Ольги Берггольц – Муси, о чем существует несколько интересных свидетельств. Лидия Либединская передавала рассказ своего будущего мужа Юрия Либединского, который 5 октября должен был ехать на фронт в газету, к которой был прикомандирован. Он зашел к своей прежней жене – Мусе (они были в добрых отношениях). Она была актриса и в тот момент получила паек овощами. В ее квартире в Староконюшенном сидела, завернувшись в шаль, Ахматова, а вокруг нее лежали овощи. Репа, картошка, свекла, капуста и т. д. Ахматова была похожа на богиню плодородия. С ней пришел повидаться Пастернак. Перед тем он был в тире, на занятиях по обороне. Был радостный, очень возбужденно повторял, что стрелял и все время попадал в яблочко. Потом, когда он ушел, Ахматова сказала, что Пастернаку всегда четыре с половиной года.

Маргарита Алигер рассказывала эту же историю более подробно.

Эвакуированная из Ленинграда, она остановилась в Москве у знакомой молодой актрисы. Актриса в составе фронтовой бригады часто выезжала на концерты в подмосковные воинские части, в колхозы и совхозы, которые расплачивались с артистами натурой –

овощами. Квартира была завалена кочанами свежей капусты, картошкой, тыквами, морковью и свеклой, и среди всех этих натюрмортов Анна Андреевна, чувствуя себя, как всегда, непринужденно, принимала своих гостей. Часто бывал Пастернак, как и все, потрясенный грозными событиями, много пишущий. На даче, где он жил, стояла воинская часть, и он был крайне увлечен непосредственным общением с молодыми военными людьми, много о них думал, часто рассказывал. Однажды приехал в крайнем возбуждении. Оказалось, что после учебной стрельбы знакомый командир разрешил и ему пострелять и поставил отметку “отлично”. Пастернак оказался метким стрелком. (Не тогда ли родились у него строки: “Он еще не старик и укор молодежи, а его дробовик лет на двадцать моложе”.) Он был так горд своим успехом, что о чем бы ни заходила речь, снова и снова возвращался к нему. Прощаясь, он еще раз похвастался, и Анна Андреевна ласково поддержала его: “Да, да, это замечательно!” А едва затворив за ним дверь, добавила: “Всегда четыре с половиной года!” Несколькими годами раньше она уже сказала то же самое:

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном.
В пространстве новом отраженных строф,
– Он награжден каким-то вечным детством...^[78]

Эмма Герштейн тот же сюжет рассказывала так:

В последние дни пребывания Анны Андреевны в Москве <...> я застала ее уже на Кисловке в квартире сестры Ольги Берггольц. Было много народу. Пришел и Пастернак. Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса: “Человека забыли”. Это означало: “Я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои”^[79].

Мур оказался в Москве в начале октября. Он встретился с Пастернаком, о чем они говорили – неизвестно. Скорее всего, Пастернак пытался говорить с ним о последних днях Цветаевой. Несколько раз Мур встречался с Оренбургом, тот был мрачен, объяснял, что ему ни в коем случае нельзя было возвращаться в Москву.

Осень в Москве: Луговские. Белкина

Семья Луговских сначала не собиралась уезжать из Москвы. Татьяна Луговская писала своему другу драматургу Леониду Малюгину

в Киров, куда уже были эвакуированы московские и ленинградские театры:

Спасибо вам, милый мой, за письма (и письмо и открытку я получила одновременно). Признаюсь, я поплакала изрядно и оттого, что вы нашлись, и оттого, что вы думаете обо мне и даже заботитесь.

Я отвыкла от поддержки и очень нуждаюсь в ней. Вы поддержали меня. Буду писать очень коротко – вот моя жизнь. <...> Брат лежит в больнице с больной ногой, и все заботы о моей бедной маме уже очень давно лежат на мне. К этому примешиваются еще разные меркантильные дела – ибо брат не работает совсем очень давно. Не работаю и я, как вы, наверное, успели догадаться. Я пожила с матерью на Лаврушинском, но путешествия с седьмого этажа с разбитой старухой оказались делом нелегким, и я изловчилась и перевезла ее на дачу, тут, по крайней мере, нет седьмого этажа. Это путешествие произошло около 1 августа, и с тех пор я веду жизнь довольно бездомную и тяжелую – в буквальном смысле слова, – потому что все для мамы я вожу из Москвы. Я все-таки вам скажу, что все было бы прекрасно, если бы я могла работать, и я горько жалуясь, что болезнь мамы не дает мне возможности для этого.

Спасибо за приглашение приехать в Киров, но тут у меня очень много людей, которые погибли без меня, везти же их с собой нет никакой физической возможности и материальной. Да и бессмысленно, мать моя все равно помрет дорогой, а я ее люблю.

К тому же и оставить Москву я не в силах – этот город проявил больше выдержки и спокойствия, чем я могла думать. Мне, как старой москвичке, это особенно дорого.

И спустя еще две недели:

У меня все по-прежнему. Конечно, очень хочется пережить войну и умереть от старости. Но ничего не попишешь – время суровое, и надо к нему приноровиться. И я приноравливаюсь. Человек привыкает ко всему, а если у него есть хоть на копейку мужества и если он любит свой народ, он просто обязан вести себя достойно и спокойно^[80].

С Малюгиным они были связаны до войны подробной перепиской, он жил в Ленинграде, она – в Москве. Его чувство к ней было безответным, она же к нему питала лишь нежное дружеское расположение.

В начале июля в Москву с Северо-Западного фронта неожиданно вернулся поэт Владимир Луговской, который был отправлен туда для работы во фронтовой газете. Поезд, в котором он ехал на фронт, был разбомблен в районе Пскова. Он пробирался через перекореженное железо, сквозь разорванные тела убитых и раненых, там были женщины и дети.

Спустя несколько лет после того, как вышла первая книга о ташкентской эвакуации, мне попала в руки часть выброшенного на свалку архива Рудольфа Бершадского. В крохотной тетрадке

известный в те времена газетчик, направляющийся на фронт, описывал свою встречу 7 июля во Пскове с Луговским.

Встретил вчера Луговского, – писал он. – Ему исполнилось вчера 40 лет. Он обрюзглый, потный (капли крупные), несет валерианкой за версту.

Сказал мне, что пофанфаронил в день объявления войны, сообщив в НКО, что “с сего дня здоров”. А вообще – “органически не переношу воздушных бомбардировок”^[81].

Бершадский написал о нем еще несколько строк: безглаголиво и отстраненно. Запомним это. С таким отношением тех, кто прошел войну, Луговскому придется жить все долгие годы войны и точить себя до самой смерти.

С фронта он попал в Кунцевскую больницу. Депрессия, потеря жизненных сил, потеря себя. В осенние дни в больнице он записывал свои мысли в маленьких книжечках.

Все небо в искрах и вспышках. Стекло скрежетание юнкерсов. Ракета. Могучие старые сосны. Падающие ветки. Убежище. Три цвета труб. Приезд Л. Бутылка вина. Концерт... Шторы. Странный свет в окнах... Пруды. Брошенные дорожки. Зенитные батареи. Правительственные дачи пусты. Неуют. Занавески. Запертые ворота. Собаки. Все больше и больше осень. После бомбежки, сбитые сучья, мертвые совы. Все ближе... Звонки после бомбежки... Отбой. Почти рассвет. Лампа под кроватью. Любимые книги... Маленький, условный мир вещей. Цветы в вазах. Светает. Скрежет сосен, и выходит силуэт из мрака. Вечером снова. Юнкерсы. Скрежетание. Удар, и в бледном небе последние разрывы... Прощание на обрыве. Моя экзальтация, смешная трагичность. Нет библиотеки. Все, что было счастьем, кажется пустым. Серые деревья. Древний, древний путь журавлей на юг. Над Москвой-рекой с крутизны ее обрывов, над заливными лугами летят косяки к теплым морям, а мне-то... и кто меня благословивший на это. Неужели... Все заросло, забыто и заброшено^[82].

Мария Белкина проводила Тарасенкова на фронт приблизительно в те же дни, когда уходил и Луговской, – 26 июня 1941 года.

До поезда я его не проводила, – писала она. – Когда мы поднялись из метро на площадь трех вокзалов, нас сразило зрелище – казалось, мы раздвоились, растроились, расчленились, расдесятерились!.. Повсюду – у метро, и у вокзалов, и на тротуарах, и на мостовой – стояли пары он-она, прижавшись друг к другу, обхватив друг друга, неподвижные, немые, были брюхатые, и дети, которые цеплялись за полы отцовских пиджаков. Казалось, шла киносъемка и статисты были расставлены для массовой... Дальше меня Тарасенков не пустил – в августе я должна была родить^[83].

Анатолий Тарасенков, литературный критик, ответственный секретарь журнала “Знамя”, был прикомандирован к Балтийскому флоту. После тяжелых боев под Таллином он вместе с группой писателей

оказался в блокадном Ленинграде, где была создана оперативная группа при Политуправлении Балтфлота, руководимая Вс. Вишневским, в которой состояли Николай Чуковский, Александр Крон и многие другие писатели. В их задачу входило поддерживать дух блокадного Ленинграда патриотическими стихами и статьями в газете. В феврале 1942 года он от голода заболел дистрофией, в госпитале его немного привели в себя. Всю войну он провел в Ленинграде и на Ленинградском фронте.

Мария Белкина до родов ездила за город в Переделкино на оставленную дачу Всеволода Вишневского и писала мужу на Ленинградский фронт. Уезжать она не собиралась, и Цветаева, с которой они случайно встретились в те дни, удивлялась ее хладнокровию.

Живу на даче у Всеволода, – писала она мужу на фронт, – дни непохожи на ночи... Белка рыжая, пушистая, раскачивалась на елке, такая – “невозмутимая природа, красую вечною сияет”. Кошка [так называли в семье мать Белкиной. – *Н. Г.*] город совсем не переносит, а я люблю его, такая чудесная военная Москва. Но здесь я отдыхаю – удивительно успокаивает природа. Езжу через день, либо на машине кто подвезет, либо поездом с отцом, у него за плечами рюкзак – возит продукты. Живем налегке – ничего с собой не взяла на дачу, только продукты. Приезжаешь в город, бежишь домой – радостно издали видеть наше дерево – оно стоит сторожем... <...> Вначале она [мать] психовала, посылала нас в метро – теперь привыкла. Все привыкли, стали спокойнее. Борис Леонидович дежурит на крыше и, по его словам, ловит “зажигательные бомбы”. Его вторая жена на Волге, он ездит к первой, у него уже сын призывник, уже побывал под Смоленском. Борис Леонидович шлет тебе привет, он ужасно смешной, посвящает меня в свои семейные дела, он ездит в город скромненько в поезде, а шикарный Костя – только на машине, дают же на бензин!

Твои товарищи по перу почти все в военной форме. Видела Степана Щипачева, он приезжал. Гольцев был в Москве, сейчас Симонов – везет же некоторым женам! Коля Вирта приехал из Ленинграда, где сидел в “Астории”, а в Москве получил первое боевое крещение. <...> Интересная какая жизнь, думала ли я в тот дождливый последний день до войны, что столько ночей буду проводить на даче. У Бориса Леонидовича смешная собака, как только раздается сигнал тревоги, она бежит в щель<...> ^[84].

Щели – это узкие ямы, вырытые в земле, – укрытие от бомбежек. Мария Иосифовна рассказывала, как местные переделкинские собаки, заслышав вой самолетов, тут же неслись в щели.

Сын Пастернака, Евгений Борисович, был отправлен вместе со своим курсом под Смоленск на рытье окопов, но фронт так стремительно приблизился, что студенты едва успели на разбитых

электричках добраться до Москвы. “Шикарный Костя” – изменяющийся на глазах соученик, Константин Симонов.

Мария Белкина никуда не собиралась ехать до последнего дня. Правда, за несколько дней до рождения сына 18 августа 1941-го в письме Тарасенкову на фронт (он всячески уговаривает ее уехать) она все-таки рассматривает вариант поездки в Чистополь, потому что там две подруги – Софа Долматовская и Маргарита Алигер. Она предполагает взять себе маленькую дочь Алигер – Татьяну.

Милый песик! Опять пишу, не застала т. Рудного. Вызвонила Россельса, он только что отправил свою семью в Чистополь, где теперь Софа, Маргоша. Это очень маленький городок на Каме, 100 км от Казани, работу там найти нельзя, жизнь пока дешева. Я совсем не знаю, куда ехать. Билеты я смогу достать через коменданта и в Куйбышев, и в Чистополь. Не имея от тебя стандартной справки, ехать в Чистополь нельзя ни в коем случае, так как там крохотный городок и делать нечего. Имея на руках справку, буду жить со своей матерью и Танькой, проживать 800 р., т. к. меньше 900 р. твоей матери хотеть нельзя. Но долго ли я смогу вынести без работы – 24 свободных часа, без писем, не доходят, – трудно. Отец тогда будет жить у Шуры в Чапаевске. <... > Адрес литфондовских жен? Чистополь ТАССР. Почта востребования – Долматовская, Алигер, может быть я^[85].

Всех рожениц отправляли на Арбат в роддом им. Грауэрмана, но рядом с ним все время разрывались бомбы. Он только чудом остался цел. В результате Белкиной пришлось рожать в Кремлевке, куда отправляли всех без разбора, так как “кремлевские жены” уже давно были в эвакуации. Сын родился в конце августа, а к началу октября Москва все более превращалась в осажденную со всех сторон крепость. Власть вела подспудную работу, готовилась сдача города. Все говорили о том, что не сегодня завтра в Москве будут немцы, а 12 октября, вспоминала Белкина, ее вызвали запиской в Союз писателей и предупредили, что сейчас есть возможность уехать нормально с ребенком и стариками.

Началась суэта. Срочные сборы. Перед отъездом из Москвы она отправляет последнюю открытку своему мужу из их дома на Большой Конюшковской улице. Ощущение катастрофы. Того, что никогда им не вернуться к тому, что было:

Вот и все! Последний раз написала милое слово, милый адрес под старым тополем... Ну что ж... 13-го очень тяжелый день, все силы, какие были возможны... <... > Как сжимались зубы, как хочется взять винтовку. М<ожет> б<ыть>, Митька спасает мне жизнь, если бы не он, осталась бы драться за счастье людей, за разбитую молодость, за несчастную старость. Как хорошо было жить... Последний раз сижу за своим столом, в своей комнате, что впереди... и так я уезжаю на край света <...>. Последние впечатления о клубе, пьяный “Белеет парус одинокий” целует мне руки и говорит какие-то странные вещи, а рядом

сумасшедший Володя Л<уговской>. Милый Павлик целует, Илюша Файнберг, Маргоша – попозже они приедут ко мне. Уже “ко мне” – куда ко мне?! Ташкент – вокзал?! Все страшно быстро, за один день! 3 часа ночи, гора вещей, забитые шкапы... <...> Как далеко мы будем друг от друга... еще один раз тебя увидеть. Привет Коле <Михайловскому>, его жену везут в Ташкент. Вот и все... Маша^[86].

Спустя годы Мария Белкина вспоминала тот день, 13 октября, описанный в открытке:

Весь день я провела в Союзе в очереди за билетами, – писала Белкина, – оформляла эвакуационные документы, а ночью жгла письма. Их был целый мешок, писем писателей к Тарасенкову. Вишневский до самой смерти не простил мне, что я сожгла все его восклицательные знаки и многозначительные многоточия, которые в таком изобилии были рассыпаны в каждом его письме с финского фронта, а информации в этих письмах было не больше, чем в передовице “Правды”... Получив все, что требовалось мне и моим старикам для отъезда, я решила зайти купить что-нибудь в дорогу в буфете ДСП – так назывался клуб писателей на Поварской. В дубовом зале бывшей масонской ложи свет не горел, у плохо освещенного буфета стояли писатель Катаев и Володя Луговской, последний подошел ко мне, обнял. “Это что – твоя новая блядь?” – спросил Катаев. “На колени перед ней! Как ты смеешь?! Она только недавно сына родила в бомбоубежище! Это жена Тарасенкова”. Катаев стал целовать меня. Оба они не очень твердо держались на ногах. В растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках, и рано поутру уходит эшелон в Ташкент, а я все не могу понять – надо ли?.. “Надо! – не дав мне договорить, кричал Луговской. – Надо! Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом эсэсовцев обслуживать! Я тебя именем Толи заклинаю, уезжай!..” И Катаев вторил ему: “Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках...”^[87]

Москва в дни первых месяцев войны, как писал в дневнике Вс. Иванов, была похожа на развороченный муравейник.

Закрасили голубым звезды Кремля, из Василия Блаженного в подвалы уносят иконы. <...> На улице заговорило радио и уменьшилась маршировка. По-прежнему жара. Летают хлопья сгоревшей бумаги – в доме есть горячая вода, т<ак> к<ак>, чтобы освободить подвалы для убежищ, жгут архивы^[88].

Москва постепенно пустела. Но главный кошмар был впереди – с 14 по 18 октября город пребывал в панике. Оставшиеся москвичи, кто с презрением, кто с тоской, а кто с облегчением, смотрели вслед бежавшим из города.

Второй вал эвакуации Казанский вокзал

*Я выжал сердце горстью на ладонь.
И что же увидал? Немножко горя
И очень много страха и стыда
За тех людей, что, словно цепь, стояли,
Прижавшись лбами к окнам коридора,
И за себя, несущегося ночью
По стыкам рельс усталых на Восток.*

Владимир Луговской Первая свеча

Писатели собирались в эвакуацию. Каждый день уходили эшелоны. В городе сжигались документы, пепел носился по улицам. Среди этого хаоса ходил Мур Эфрон, который еще и октября пытался прописаться в Москве. Но все вокруг уезжают. И неожиданно с ним происходит то же самое, что несколько месяцев назад было с матерью.

Не хочу ехать в Ташкент, потому что не знаю, что меня там ждет. Что со мною происходит? Каждое принимаемое мною решение автоматически подвергается автокритике, и притом столь безжалостной, что немедленно превращается в решение, диаметрально противоположное первому. Мое положение трагично. Оно трагично из-за страшной внутренней опустошенности, которой я страдаю. Конечно, это – трагедия. Не знаю, что думать, как решать, что говорить. Мысли о самоубийстве, о смерти как о самом достойном, лучшем выходе из проклятого “тупика”, о котором писала М. И.^[89]

Но тогда он обвинял ее, что она не знает, как себя вести, меняет решение каждый час. А теперь с ним происходило то же самое, и он с ужасом отмечал, что теперь ответственность за любое решение лежала на нем одном и давила его непомерным грузом.

14 октября 1941 года вышло несколько поездов из Москвы. На вокзале творилось нечто ужасное. Огромная вокзальная площадь была заполнена людьми и вещами. Общее настроение тех дней – “Москва сбесилась”.

Мария Белкина вспоминала:

Огромная вокзальная площадь была забита людьми, вещами; машины, непрерывно гудя, с трудом пробирались к подъездам. Та самая площадь трех вокзалов, с которой я недавно провожала Тарасенкова в Ленинград. Но с Ленинградского вокзала уже никто не

уезжал! С него некуда было уезжать... Все уезжали с Ярославского или – как мы – с Казанского. Мелькали знакомые лица. Уезжали актеры, писатели, киношники: Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь Орлова (я случайно окажусь с ними в одном вагоне). Все пробежали мимо, торопились, кто-то плакал, кто-то кого-то искал, кто-то кого-то окликал, какой-то актер волок огромный сундук и вдруг, взглянув на часы, бросил его и побежал на перрон с одним портфелем, а парни-призывники, обритые наголо, с тощими котомками, смеялись над ним. Подкатывали шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками – дипломатический корпус покидал Москву. И кто-то из знакомых на ходу успел мне шепнуть: правительство эвакуируется, Калинина видели в вагоне!..

А я стояла под мокрым, липким снегом, который все сыпал и сыпал, застилая все густой пеленой, закрывая от меня последнее видение живой Москвы. Стояла в луже в промокших башмаках, в тяжелой намокшей шубе, держа на руках сына, завернутого в белую козью шкурку, стояла в полном оцепенении, отупении посреди горы наваленных на тротуаре чьих-то чужих и своих чемоданов, и, когда у меня окончательно занемели руки, я положила сына на высокий тюк и услышала крик: – Барышня, барышня, что вы делаете, вы же так ребенка удушите – вы положили его лицом вниз!¹

“Вокзал и круговерть чужого горя, / Отчаяньем отмеченные лица, / Удары чемоданов трехпудовых. /Сумятица... / И женщину выносят / Парализованную на носилках”, – писал Луговской в поэме “Первая свеча”, документально воспроизводя все, что происходило в тот день.

Татьяна Луговская вспоминала о том, сколь неожиданным был их отъезд.

14 октября 1941 года в 6 часов утра, после бомбежки, позвонил Фадеев и сказал, что Володя, в числе многих других писателей, должен сегодня покинуть Москву (брат ночевал в редакции “Правды”, и говорила с Фадеевым я).

– Саша, – сказала я, – а как же мама?

– Поедет и мама, – твердо заявил он.

– Но ведь Володя не справится с мамой, он сам болен...

– С ним поедешь ты, Таня, и Поля (домработница). Я вас включил в список. Такова необходимость. Я сам приеду с каретой Красного Креста перевозить маму на вокзал и внесу ее в поезд. Собирайте вещи. Через два часа вы должны быть готовы. Все. – Он положил трубку.

И действительно приехал. И действительно внес на руках в вагон маму...

Маму положили в мягком вагоне, а мы – Володя, я, Поля (Саша сказал, что она моя тетя) – ехали в жестком. Но я была все время с мамой, все десять дней почти не спала, разве что прикорну у нее в ногах. Мы ехали в купе с Уткиным – он был ранен, и с ним ехала его

мама. Мягкий вагон был один на весь состав. В этом составе ехали деятели искусств и ученые.

Мамочка лежала красивая, в чистых подушках – мы с Полей об этом заботились – и всем кивала – здоровалась. Любовь Петровна Орлова была от нее в восторге^[90].

Потом Фадеев, отправлявший в те памятные дни писателей, был заподозрен в том, что бежал вместе с “паникерами”. Он вынужден был оправдываться в докладной записке в ЦК, в нервной интонации которой чувствуется напряжение тех дней. Фадеев объяснял свой отъезд приказом ЦК и Комиссии по эвакуации для организации групп информбюро в Казани, Чистополе, Куйбышеве и Свердловске. Но, видимо, наверху царила такая неразбериха, что никто не помнил, кто какие указания отдавал.

Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, – писал в докладной записке в ЦК Фадеев, – распространяется в настоящее время сплетня, будто Фадеев “самовольно” оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы.

Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:

<...>

Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября (за исключением Лебедева-Кумача – он еще 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался, – Бахметьева, Сейфуллиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова – по их личной вине). <... >

За 14 и 15 октября и в ночь с 15-го на 16-е организованным и неорганизованным путем выехала примерно половина этих людей. <... > – Объясняя, где какие группы информбюро были созданы и куда поехали какие писатели, Фадеев иронизировал: – Писатели с семьями (в большинстве старики, больные и пожилые, но в известной части и перетрусившие “работоспособные”) поехали в Ташкент, Алма-Ату и города Сибири^[91].

Далее он объясняет ЦК, что за годы работы секретарем Союза писателей у него образовалось много литературных противников, которые и хотят выдать его сейчас за “паникера”.

Действительно, осенью 1941 года А. Фадеев со своей женой, актрисой МХАТа Ангелиной Степановой, оказался в Чистополе, где прожил около трех недель в конце октября – начале ноября.

Таким образом, в Москве в писательской организации не осталось никого из обладавших правом принимать решения. Пошел слух, что Фадеев попал в опалу, и ему пришлось оправдываться.

Провожала Луговских и Тамара Груберт, первая жена Луговского. Сама же она оставалась в Москве, с Бахрушинским музеем. После их отъезда она писала в письме Татьяне Луговской:

Татьянушка милая! Невеселое будет мое письмо. Проводив вас, Гриша взял бюллетень, а когда 16-го пошел на фабрику, оказалось, что она выехала. Т<ак> к<ак> в эти дни Москва совершенно “сдана”, сбесилась, то он, не дожидаясь билета, ушел с расчетом где-нибудь сесть на поезд. От него еще никаких вестей нет. Я его перед отъездом не видела (вернее, перед уходом). <...> На даче оставаться стало опасно. Главная база – метро, а вообще сейчас не страшнее, чем в июльские дни бомбардировки. Нам, москвичам, это уже стало привычно, но то, что пришлось пережить с 15–18 окт<ября>, – никогда не забудется. Такой стыд, такое негодование и такое разочарование. Поистине “утраченные иллюзии”. Отголоски ты найдешь в газетах, но это капли в море по сравнению с впечатлениями очевидца^[92].

Григорий Широков, первый муж Татьяны Луговской, был помощником режиссера и работал на “Мосфильме”. Он даже не знал, что киностудия выехала из Москвы. Паника была такая, что решения принимались “с колес”. Ему надо было своим ходом добираться до Алма-Аты.

И еще одна женщина провожала Луговских – мать его второй дочери, Милы, Ирина Соломоновна Голубкина. Она писала ему с дороги в Среднюю Азию, куда они ехали с дочкой, что с болью в сердце вспоминает ужасный тот отъезд. И что не представляет, что всех их ждет.

Драматизм момента для Луговского был еще в том, что в одном вагоне с ним ехала Елена Сергеевна Булгакова, с которой они жестоко поссорились в сентябрьские дни. Фадеев ее устроил в эвакуацию.

Она даже ехала в мягком вагоне в одном купе с Софой Магарилл, – рассказывала Татьяна Луговская. – Та была так хороша! Ходила в стеганом халате длинном и со свечой в старинном подсвечнике.

Вот откуда образ свечи в Володиной поэме! Саша Фадеев ее (Е. С. Булгакову. – Н. Г.) провожал на вокзале. “Сердечный, славный друг, червонный козырь”^[93].

Софа Магарилл – красавица, жена Козинцева, – в Алма-Ате Татьяна Луговская подружится с ней, и Софа сыграет большую роль в ее судьбе, даже не подозревая об этом. Но, к сожалению, назад в Москву она не вернется, в 1943 году умрет от брюшного тифа.

Язвительно был описан в “Первой свече” Фадеев в образе друга-разлучника. (Здесь приводится наиболее жесткий вариант поэмы.)

В то утро я, как должно, уезжал

Из матушки Москвы, согласно плана —

Большой и страшный, в мертвой синеве

Подглазников, я сплюнул на пороге

Жилища своего и укатил

Тю-тю, как говорится, по дорожке,
Набитой выше горла поездами,
Железной, безысходной, столбовой. <...>
Я вышел. По случайности была
Со мною, мертвым, в том же эшелоне
Знакомая одна, в большой, широкой
Медвяной куньей шубке. Рядом – друг,
Седеющий и милый от притворства.
Но что-то слишком медлили они,
Друг с друга глаз дремучих не спуская.
Он мужественным был, я – полумертвым, —
И коготочком стучала она
В холодное окно. А я все видел.
Все медлили они, передавая
Друг другу знаки горя и разлуки:
Три пальца, а потом четыре пальца,
И накрест пальцы, может быть, квадраты
Из пальцев, и кивок, и поцелуй
Через стекло. И важно он ходил,
Веселый, славный друг мой, словно козырь.

Поезд

“Москва – Ташкент”

Поезд шел на восток. Мария Белкина посылала из поезда открытки мужу каждый день. Так они договорились, надеясь, что хотя бы одна найдет его. Открытки, письма приходили спустя месяцы пачками, сбивалось время, нарушался масштаб событий.

Милый мой, родной! – писала Мария Белкина. – Еду в Ташкент. Вот и все... Начинаю новую жизнь, без иллюзий и надежд. <...> Я уеду от тебя очень далеко, но мне кажется, так надо. Ведь у меня Митька. Сколько омерзительного эгоизма “жителей” вокруг. Полон вагон киношников – сволочи. Первый раз вчера поговорили по-человечески, зашли военные. Всю штатскую сволочь ненавижу, она меня тоже. Говорила с Зощенко и Козинцевым о Ленинграде. В Ташкенте мало хорошего меня ждет. <...> Переехали Волгу, долго смотрела на тот берег... Казань, переехали границу... Ну что ж. Выехала 14-го, проедем еще дней шесть... <...> Завидую вам, уважаю вас, все мысли с вами.

<...> Пошлость, мерзость, можно задохнуться... Привет всем славным защитникам города Ленинграда. Крепко обнимаю. Маша^[94].

Ее ожесточение против киношников было связано с тем, что они резко отличались от всех и поведением, и внешним видом. Яркие чемоданы с заграничными наклейками, легкая, светская болтовня – все это резко контрастировало с тем, что жило и двигалось за пределами поезда. Но главное – в ней говорила непримиримость молодости и то, что она из всех сил рвалась на фронт.

Татьяна Луговская, которая была здесь же, вспоминала:

Ехали в купе с Уткиным, его мамой-старухой и женой, вроде бы женой. Мы с ней по очереди спали на верхней полке. А Володя с Пролей ехали в другом вагоне. Поля приходила с подкладным судном, завернув его, никто и не знал. Володя все время стоял у окна с Зоценко, они говорили обо всем и так откровенно, что я пугалась^[95].

Зоценко потом писал в письме к Сталину, что его несправедливо обвиняют в том, что он бежал из блокадного Ленинграда, на самом деле его буквально силой усадили в самолет и вынудили вылететь из города. Он был мрачен, об этом вспоминают все. Луговской в записных книжках пишет про “мертвое лицо Зоценко”.

И снова открытка с дороги. М. Белкина – А. Тарасенкову:

14.10.41. Раменское. Итак, мой родной, еду. 36 часов на ногах. Сейчас лежу. Мне всегда везет в последнюю минуту. Деньги получила накануне отъезда. До последней минуты была уверена, что еду в “телячьем”, а оказалась вместе со знатью в мягком. Ты понимаешь, что это для меня, и даже мама со мной, я отдохну. Митька лежит – кошка (мама) сделала ему удобный уголок, и он храпит. Ему не очень нравится тряска. Какое у него длинное путешествие. Ну что же, так надо. Папа едет в жестком, хорошо устроился. В общем, все хорошо, но сколько стоило нервов, и теперь стало легче – оторвались. <...> В вагоне премьерная публика... Эйзенштейны, Л. Орлова и другие.

Низко летят ястребки... Киношники сволочи – Бурденко, Комаров едут в жестком, а мальчишки в мягком. С одним поругалась. Рядом Туся Луговская везет разбитую параличом мать. Стояли сейчас опять в поле, выносила Митьку гулять. Кончаю писать 15-го, поезд идет, проехали опасные места. <...> Связь с тобой потеряна. Увы, я не киношница и очень все переживаю. Привет Всеволоду и Коле. Маша^[96].

Они оказались в одном вагоне поезда – М. Белкина и давний друг А. Тарасенкова Владимир Луговской, с которым они были дружны еще с юности, а последние годы вместе работали в “Знамени”. Белкина хорошо знала его по Литинституту, который окончила незадолго до войны. Луговской вел там поэтический семинар.

Как правило, они открывали все праздничные вечера в институте – их вальсирующая пара. Она была высокая и прекрасно танцевала, он тоже – высокий и элегантный. Она, смеясь, рассказывала, что их

выбрало институтское начальство, потому что они подходили друг другу по росту.

Теперь же Луговской был совсем другим, он ехал в эвакуацию в состоянии тяжелой депрессии; с ним были смертельно больная парализованная мать и сестра Татьяна – театральная художница, младшая в семье, которая стала их основной опорой.

Татьяна Луговская и Мария Белкина подружились в поезде. Когда-то, в 1920-е годы, Анатолий Тарасенков учился в подмосковной колонии, директором которой был отец Татьяны и Владимира Луговских, Александр Федорович, преподаватель литературы. Тарасенков был юношески влюблен в Таню, а с Володей дружил с тех самых лет.

Луговской послал с дороги дочери Маше (в семье ее звали Муха) в чистопольский интернат открытку.

Милая, родная моя дочка! Я и бабушка уехали в Ташкент. Сколько времени мы там пробудем – неизвестно. Сейчас наш поезд стоит в Куйбышеве. Я слышал от мамы, что ты скучаешь, волнуешься. Я тебе буду писать все время, а если переменится адрес твой или мой – мы сейчас же друг другу об этом сообщим. Поздравляю тебя с днем рождения, грустно, что не могу подарить тебе ничего. Сейчас суровое военное время – ты уже не маленькая девочка – держись крепче. Я тебя очень люблю, очень помню. Буду надеяться, что мы скоро увидимся. <... > Целую тебя тысячу раз – милая, любимая Муха. Твой Папа^[97].

Поезд шел долго. В коридорах – нескончаемые разговоры о войне, ее начале, ее возможном конце. Говорили тихо, полупшепотом. Времени было много. Поезд шел одиннадцать дней. Татьяна Луговская вспоминала:

У нас был общий котел, что-то варили. Всем заправляла Орлова, ее на каждой станции встречали, даже на маленьких. Она тогда была очень популярна. И что-то давали – крупу, муку, наверное^[98].

А Мария Белкина, напротив, была полна негодования по поводу знаменитостей.

Я совсем стала больная, морально меня отравила война – я не могу видеть огни за окном и пустые разговоры киношников, я только думаю о фронте и ее страшном исчадье – войне. <... > Поезд полон громких имен, поругалась с двумя – один оказался Пудовкиным, другой – Эрмлером. Чудные старички, академики... <...> Если бы не Митька, я ушла бы на фронт или пустила бы пулю в лоб... Россия... а кругом бабенки вроде Л. Орловой хохочут, говорят пошлости, и модные пижоны тащат сундуки... Почему так должно быть?! Как тоскливо... <... > Маша^[99].

Ключевыми словами ее открыток и писем станут именно эти – “стала больная”, “морально отравила война”. Она говорила, что какое-то время в начале войны чувствовала помутнение сознания, потерянность, депрессию. Оттого столько резких, часто

несправедливых слов. Спустя годы о том же путешествии она напишет гораздо теплее.

Наш эшелон шел одиннадцать дней, но мне повезло, я попала в привилегированный эшелон – увозили из Москвы Академию наук, и самым старым в поезде был президент академии Владимир Леонтьевич Комаров, самым молодым – Митька Тарасенков, ему было шесть недель. В нашем вагоне был собран весь цвет тогдашней кинематографии: Эйзенштейн, Пудовкин, Трауберг, Рошаль, Александров, Любовь Орлова, и проводник на остановках хвастался, что вон сколько пассажиров перевозил на своем веку, но такого, чтобы ехали вместе и сам “Броненосец «Потемкин»”, и “Юность Максима”, и “Веселые ребята”, и “Цирк”, еще не бывало! Главное, конечно, были “Цирк” и “Веселые ребята”. За одну улыбку Орловой и за песенку, спетую ею, начальник станции был готов сделать все, что мог; правда, мог он не так уж много, но все же добывался откуда-то давно списанный, старый, пыхтящий, дымящий паровоз, и нас с запасных путей, на которых мы бы простояли неведомо сколько, дотягивали до следующей станции, а там повторялось все сызнова. И, должно быть, по селектору передавалось, что именно в нашем вагоне едет Любовь Орлова, потому что на полустанке, где поезд задерживался на минуту, даже ночью проводника атаковали молодые любители кино, умоляя показать Анюту из “Веселых ребят”, Дуню из “Волги-Волги”, Марион из “Цирка”! Так, благодаря Орловой (киношники ехали в Алма-Ату и где-то в Азии нас покинули), мы добрались до Ташкента за одиннадцать дней. А в общежитии пединститута, где нас сначала разместили и куда каждый день прибывали москвичи с фабрик, заводов, из Военной академии имени Фрунзе, мы узнали, что тащились их эшелоны по двадцать пять, а то и тридцать дней^[100].

Хроника путешествия продолжала писаться в ее открытках.

Милый, родной! Еду в Ташкент. Еду уже 6 дней. Еще не проехала половины пути. Но мне все равно, если бы сказали ехать месяц – так месяц, два – так два. Все корабли сожжены... Возврата к старому нет. Впереди ничего нет... Стихи, вырезки все со мной, но наши вещи, старый дом, под тополем, оставлен. Как бы хотелось поджечь... Еду с Зошенко, Луговским, последний совсем болен. Гуляю с Митькой в Оренбурге. <...> Еду степью, безбрежной. Киргизы, верблюды. Пожелтевшие степи... Азия... Выехала из Москвы 14-го утром, был снег, слякоть, мерзли в шубе. Сейчас солнце, тепло. Проехали половину пути, торопиться не хочется, ждет мало радости. Как далеко от тебя и до фронта... Но так должно быть. Тяжело... Ждут, наверное, бараки, Союз писателей не позаботился... Обогнал нас поезд с Виртой и Афиногеновыми – им-то там будет хорошо. <...> Книги остались в шкафах, завалила их журналами, забила гвоздями. Все осталось в старом доме, как было. <...> Володя Луг<овской> совсем стал психопатом... Любовь Орлова, Эйзенштейн, Бурденко... Все могло бы

быть забавным, если бы не было трудным. Ужасно, но надо заниматься бытом в Ташкенте, завидую вам, вы какие-то очищенные^[101].

Афиногеновы – это семья драматурга, жена Дженни и ее мать. А сам Афиногенов – человек странной судьбы: в свое время он был одним из руководителей РАППа, его пьесы ставили в пример М. Булгакову, потом – опала, одиночество, ожидание тюрьмы и гибели, и вдруг – внезапное прощение от высшего руководства. А 29 октября 1941 года на Старой площади возле здания ЦК он будет убит разрывом бомбы. “А его мать <... > будет эвакуирована в Ташкент и там станет нянчить моего сына, и у меня не хватит мужества сказать ей о гибели ее сына...”^[102], – писала в своей книге Мария Белкина.

Милый Толя. Еду уже девятые сутки. И каждый день пишу тебе и разбрасываю <...> по станциям письма к тебе. За окном тянется степь голая, бесприютная... Сыр-Дарья течет скудная, медленная... Долго смотрела на Волгу, казалось, переехала границу... М<ожет> б<ыть>, завтра будем в Ташкенте. Там уже Вирта и другие знатные. <...> Все мысли, все слова остались в Москве, в Ленинграде. Еду как мумия, из которой вынули душу и сердце... Далеко ты теперь от меня. Маша^[103].

Эта открытка была надписана рукою Татьяны Луговской: “Толя, целую тебя. Туся”. Рядом стояли две буквы – “В. Л.”! На большее Владимир Луговской не решался, он не представлял, как к нему отнесется старый друг.

Поезд (продолжение) Фронт - эвакуация

Моральное противостояние фронта и тыла, фронта и эвакуации, воюющих мужчин и тех тыловых крыс, которых, как считали фронтовики, они закрывают своими спинами, было так же остро в писательской среде, как и во всем советском обществе тех лет.

Среди писателей были воюющие и те, кто лишь изредка появлялись в расположении войск, пописывали отчеты и статьи в газеты; были те, кто погибал на передовой и в блокадном Ленинграде, и те, кто навещал время от времени погибающий от голода и холода город. Потом были уравнены все. В письме к Марии Белкиной в Ташкент от 30 ноября 1941 года Тарасенков писал:

Сообщи о друзьях, кто где? Маргарита уже с тобой? Крепко целуй ее. Где Пастернак, Асмус, Лапин, Хацревин? Ходит слух о гибели Долматовского. Правда ли это? Только псевдодрузьям – беглецам типа Вирты – Луговского – Соболева приветов не передавай. После войны выгоним их из ССП^[104].

Пастернак поедет в Чистополь, двух писателей, Лапина и Хацревина, убьют на фронте, а Долматовскому удастся выйти живым из окружения, однако слухи о его предполагаемой гибели обойдут писательское сообщество.

Натяжение “фронт – эвакуация” уже хорошо видно из текста письма из блокадного Ленинграда. Вирта и Соболев фронт посетили и превратились в писателей, прошедших войну, а Луговского возмущенное общественное мнение тех лет называло трусом, дезертиром в глаза. Когда на всех фронтах произошел перелом, ему стали активно предлагать вылететь – “приобщиться” к военным победам, он наотрез отказался. Был сознательный выбор – оставаться вне войны и пройти то, что выпало на его долю, до конца.

В те долгие дни Луговской рассказал Марии Белкиной откровенно все, что с ним случилось на войне. Он выбрал для исповеди женщину, которая недавно проводила мужа на фронт, оставшись с грудным ребенком на руках, ни минуты не сомневающуюся в том, что место мужчины на фронте. Он открывается ей, обнажая душу.

Он много раз возвращался к своей исповеди, – рассказывала Белкина. – Главное, что он пытался донести до меня, – это ощущение, что тот шок, катастрофа изменили его абсолютно. Он не знал, что с собой делать дальше, как ему быть с собой таким, каким он стал теперь. Он словно перешел на какой-то другой уровень и, оглядываясь, не узнавал все то, что раньше окружало его. Я не жалела его, этот красивый человек вообще не мог вызывать жалости, я вдруг как-то глубинно стала понимать, что бывает и такое. Я, которая кричала всем и каждому – на фронт, на фронт, вдруг остановилась перед неведомым для меня. Я как-то вся стала внутренне сострадать его беде. Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представить его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло все внешнее, наигрыш, актерство – он ведь и всегда немного актерствовал, позировал – и вдруг нет ничего. Белый лист, надо начинать жить сначала. А как жить?

Конечно, он держал в сознании, и что она жена Тарасенкова, и что она связана со многими общими друзьями из литературного мира; он чувствовал, что, пробившись к ней, будет услышан и ими. Но ему были нужны ее лицо, ее глаза. Ему хотелось быть услышанным той, которая не испытывает к нему никаких особых чувств и даже осуждает его.

Спустя некоторое время, уже находясь в Ташкенте, Луговской записал в своем дневнике: “Величие унижения, ибо в нем огромное расвобождение”.

Потом в поэме “Алайский рынок” родился образ Нищего поэта, просящего на базаре милостыню у тех, кто помнит его стихи, его выступления на сцене. И вот он освободился от всего прежнего, от дешевого опыта, от лжи, от позы, от всего материального

благополучия. Это настоящий юродивый: “Моя надежда только отрицанье, – говорит он. – Как завтра я унижусь, непонятно”.

26 декабря 1941 года друг Луговского по восточным походам 1930-х годов, Всеволод Иванов, находящийся здесь же, в Ташкенте, писал ему:

Дорогой Володя! Берестинский любезно хотел присовокупить меня к тому урегулированию вопроса об военнообязанных. Уф! Официальные фразы для меня все равно что питаться саксаулом.

Словом, если ты имеешь возможность сообщить мне что-либо об этом, сообщи. Я здоров; хотя и принимаю лекарство. Но это потому, что мне трудно писать большие повести – а она большая, а меня все время тербят, – гр-м статьи!.. Молись обо мне, грешном! Всеволод <Иванов>. Ташкентец!^[105]

А 2 января 1942 года в ташкентской больнице Луговской был снят с армейского учета по болезни. Ольга Грудцова в своих воспоминаниях, которые были написаны в форме письма-исповеди, письма – любовного признания к умершему поэту, писала:

Тебе передали, что Сурков в Литературном институте сказал: Луговской на фронте заболел медвежьей болезнью. Как ты плакал! Мягкий, добрый, болезненно воспринимавший зло, ты не вынес грохота бомб, крови, тебя полуживого привезли с фронта. Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, ловкость, с которой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стены в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся и что это больнее, чем ошибиться в другом! Кто из них подумал, как тебя сжигал стыд и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они были довольны собой!^[106]

Москва. 16 октября

К началу октября почти все, кто собирался выехать, уже уехали. Но чем ближе немцы подходили к Москве, тем противоречивее вела себя власть. Граждан предупреждали: если они останутся, это будет означать, что они дожидаются немцев. Тех же, кто эвакуировался, презрительно звали дезертирами.

Все усугублялось тем, что ни радио, ни газеты не сообщали о том, что происходит на самом деле на фронтах, 4 октября газеты вышли с угрожающими заголовками, к примеру: “Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве.

Остановить и опрокинуть смертельного врага!" На улицах метет поземка.

На Центральном аэродроме Сталина постоянно ждал специальный самолет. На железнодорожной платформе вблизи завода "Серп и молот" находился специальный поезд для его эвакуации. В Куйбышеве для Сталина было подготовлено жилье в бывшем здании обкома. На берегу Волги отремонтировали несколько дач, под землей соорудили колоссальное бомбоубежище.

С первых же дней войны НКВД высылало заключенных подальше от фронта. Огромное количество составов с арестованными и ссыльными заняло железнодорожные ветки, необходимые для перевозки солдат и вооружения.

С конца сентября на Лубянке стали готовиться к подрывам, поджогам большого количества зданий. В документах ФСБ, ныне рассекреченных, приводятся списки объектов, подлежащих уничтожению в первую очередь. Правда, нигде не оговаривалось, что будет с людьми, которые останутся в домах. Единственное указание – не поджигать здания ночью, чтобы не было большой паники. К документу прилагались списки зданий НКВД:

...Дома №№ 2, 11, 12 в Лубянском квартале и по другим адресам в Москве (Бутырская, Таганская, Сухановская и Лефортовская тюрьмы); перечислены здания высших партийных органов; объекты военного ведомства (командные пункты по улице Кирова и у Белорусского вокзала, Военная академия им. Фрунзе, Военно-воздушная академия им. Жуковского); Дом правительства, Центральный телеграф, телеграфная станция и почтамт; наркоматы путей сообщения и тяжелой промышленности; торговые учреждения (ГУМ, Даниловский, Дзержинский и Таганский универмаги, магазин спецторга на Кузнецком мосту); гостиницы "Савой", "Ново-Московская" и "Селект". На каждом из указанных выше объектов для поджога здания предполагалось использование бидонов и бутылок с горючей смесью (от 2 до 6 бидонов, от 5 до 30 бутылок). По всем объектам были подготовлены бригады из сотрудников НКВД, саперов, пожарных, подрывников и бойцов истребительных отрядов¹.

В Измайловском парке группа, руководимая Павлом Судоплатовым и Зоей Рыбкиной (будущей писательницей Зоей Воскресенской), готовила к закладке боеприпасы по всему периметру парка. Кроме того, в городе оставляли диверсионно-террористические группы, которые под видом представителей самых разных слоев советского общества должны были осуществлять агентурные задания. Среди этих групп были и писатели, журналисты, художники, которые, видимо, уже до этого состояли на службе в НКВД. Например, в документах приводится некий агент Шорох: "Журналист, профессор литературы, бывший провокатор царской охраны; бывший белогвардейский журналист. Оставляется в тылу с разведывательными заданиями и

организации нелегальной антифашистской печати. Прикрытие – восстановление издательства Никитина, с женой которого он имеет соответствующую договоренность”^[107]. Кто это – установить не удалось.

16 октября по приговору тройки НКВД был расстрелян Сергей Эфрон, в списке он шел под номером один – отец Георгия Эфрона, блуждающего в это время по Москве. В этот день юноша видит и слышит то же, что и остальные:

Положение в Москве абсолютно непонятно. Черт и тот голову сломит: никто ничего не понимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же факты трех последних дней? Огромное количество людей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками. Десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50 % Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели минировать город и взорвать его из метро, до отступления. Теперь говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. Сегодня Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет Моссовета, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и ресторанам работать в обычном режиме. Что это означает? Говорят, что Большой театр, уехавший три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Писатели (союз) находятся в каких-то 50 км от Москвы, и их тоже бомбят. Президиум союза удрал, кто самолетом, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел ехать в Ташкент. Это безобразие. Кочетков не уехал. Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают людям, которые хотят идти на фронт защищать Москву: “Возвращайтесь и сидите дома”^[108].

28 октября он все-таки выезжает с Кочетковым в Ташкент. Так снова круто меняется его судьба.

По дорогам, ведущим на восток и юг, шли толпы с тюками, чемоданами, узлами. Остались записи о тех днях в дневниках простых москвичей:

Шестнадцатого октября шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького... Застава Ильича... По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: “Бей евреев!”^[109]

В тот день были отмечены случаи разграбления магазинов, нападения на продовольственные склады.

“Вечерняя Москва” рассказывала о расправе над беженцами в заметке “Перед лицом военного трибунала”. Утром 18 октября на окраине города проезжали грузовики с эвакуированными. Дворник

Абдрахманов с компанией напал на один такой грузовик. Хулиганы бросали в машину камни. Когда же машина остановилась, они вытащили из нее пассажиров, избили их и растащили вещи. Милиция с помощью граждан задержала пятнадцать бандитов. Зачинщиков нападения трибунал приговорил к расстрелу.

В эти октябрьские дни поступает требование ко многим гражданам Москвы уходить пешком из города. Об этом пишет в записных книжках А. Гладков. Арбузовская студия, где до последнего момента репетировали студийцы, успела устроиться в последний эшелон, уходящий от Союза писателей.

Не буду описывать тебе знаменитый день 16 октября, – писал А. Гладков брату, – когда в сводке Совинформбюро появилось сообщение о прорыве фронта под Москвой, – это тема для романа. Мне было предписано “эвакуироваться” с Союзом писателей, и в конце октября я после долгих обсуждений этого вопроса на семейном совете уехал вместе с Тоней и Арбузовым (с нами также были студийцы – Сева Багрицкий – сын поэта – весной 42-го г. он был убит на С[еверо] – з[ападно]м фронте, и Лева Тоом, сын критика Лидии Тоом) в последнем писательском эшелоне через Казань в Чистополь, избранный официально местопребыванием Союза писателей¹.

Тем временем те, кто застал Союз писателей, в эти дни были потрясены увиденным. Вот как передает Борис Рунин рассказ писателя Виктора Александровича Сытина о том, что он застал в Союзе писателей:

Окна в “доме Ростовых” были распахнуты настежь, в то время как входные двери оказались наспех заколочены досками. Приложив некоторые усилия и отодрав их, Сытин все-таки проник внутрь и застал там беспорядок, граничащий с хаосом. Повсюду пахло гарью, валялись клочки разорванных и полусожженных бумаг, осенний ветер ворошил на полу кучки пепла. Выдвинутые ящики столов, раскрытые шкафы, разбросанные папки – все в безлюдных помещениях союза свидетельствовало о поспешном уничтожении архивных материалов и текущей документации, о стремлении как можно скорее ликвидировать обширную писательскую канцелярию, предать огню бесчисленные протоколы, инструктивные письма, творческие отчеты, различные списки и т. д. Ведь союз уже тогда превратился в департамент по делам литературы.

Тем более удивляло полное отсутствие кого-либо из здешних сотрудников. Виктор Александрович тогда еще не знал о панике, охватившей Москву 16 октября, и о приказе, согласно которому руководство союза во главе с Фадеевым вынуждено было экстренно покинуть столицу^[110].

Большая часть писателей погибла под Смоленском, а Рунин попал вместе с несколькими товарищами в окружение под Вязьмой и три месяца шел к Москве. Днем, спасаясь в лесах и перелесках, обходя

населенные пункты, передвигались только ночью, питаясь кореньями и ягодами. По пути им попадались такие же, как они, полуголодные солдаты, выходящие из окружения. Иногда они шли вместе, иногда пути расходились. Кто-то напарывался на немцев и был убит. Дойти до своих было ужасно тяжело, но еще тяжелее было доказать своим, что ты не дезертир.

В эти же дни в Москве появился вышедший из окружения Даниил Данин (он тоже уходил 11 июля вместе с писательской ротой).

На одиннадцатый день выхода из окружения, – вспоминал он, – я добрался поздно вечером 15 октября 41-го до станции в Наро-Фоминске. Сел в последний поезд, шедший без огней, и затемно в 6 утра приехал в Москву. То был знаменитый “день патриотов”, когда тысячи учреждений, заводов, контор перестали работать и начали бежать на восток из Москвы. Потом рассказывали, что 16 октября наш вождь и учитель тоже рванул куда-то под Ногинск. Метро не работало – то ли еще, то ли уже. В слякотно-снежных предрассветных сумерках я пер от Киевского к Земляному валу пешком в разбитых фронтовых ботинках. Дома напугал своим появлением и видом няню, которая не знала, ни чем поить меня, ни чем кормить. По раннему часу дозвонился до брата Гриши. Он сказал, что их Шарикоподшипник эвакуируется в Куйбышев. Оставляю в стороне переживания. Часов в 9-10 утра пошел на Черкасский – в Гослитиздат, где были тогда редакции “Знамени” и “Красной нови”. По дороге на Маросейке побрился в пустой парикмахерской, вышел, не заплатив, и мастер не остановил меня, а уже в Гослите, доставая носовой платок, обнаружил в кармане белую салфетку из парикмахерской. Вот такая была всеотчужденность, такой лунатизм. В Гослите было пусто и все двери стояли настежь. На третьем этаже бродила по коридору женщина с толстой папкой в руках. Узнала меня, ни о чем не спрашивая, протянула тяжелую для ее рук папку, сказала, что это рукопись перевода “По ком звонит колокол”, сказала, что не может уйти, пока не препоручит кому-нибудь эту рукопись, просила меня спасти ее. Это была тихо-безумная Сабадаш – зав. редакцией “Знамени”. Я полчаса читал “Колокол”, ничего не чувствуя кроме счастья, что я в Москве^[111].

От трибунала Данина спас Оренбург.

Но даже в ЦК партии обстановка после бегства из Москвы была ужасная. Крупный чин НКВД в своем рапорте 20 октября 1941 года писал:

После эвакуации аппарата ЦК ВКП(б) охрана 1-го отдела НКВД произвела осмотр всего здания ЦК. В результате осмотра помещений обнаружено:

1. Ни одного работника ЦК ВКП(б), который мог бы привести все помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку, оставлено не было.

2. Все хозяйство: отопительная система, телефонная станция, холодильные установки, электрооборудование и т. п. оставлено без всякого присмотра.

3. Пожарная команда также полностью вывезена. Все противопожарное оборудование было разбросано.

4. Все противохимическое имущество, в том числе больше сотни противогазов “БС”, валялись на полу в комнатах.

5. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе и секретная, директивы ЦК ВКП(б) и другие документы.

6. Вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен кучами, не сожжен.

7. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем, 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей и других продуктов.

8. В кабинете тов. Жданова обнаружены пять совершенно секретных пакетов.

В настоящее время помещение приводится в порядок^[112].

Телефонная связь работала, и в учреждениях звенели звонки: суровые голоса называли фамилии некоторых сотрудников и объявляли “от имени органов”, что если эти лица к утру следующего дня не покинут Москвы, то будет считаться, что они ждут немцев. Желание остаться и разделить судьбу родного города воспринималось властью с раздраженным подозрением.

Восемнадцатилетний юноша, освобожденный от призыва, сын поэта и уже сам поэт Всеволод Багрицкий писал в дневниках о 16 октября:

Женщины в платках. Ни одного человека без свертка или рюкзака. Переполненные троллейбусы – люди ехали просто сзади, там, где свисают две веревки и лесенка ведет на крышу. Ободранные, небритые, ничего не понимающие бойцы. Метро, которое почему-то было закрыто. Санитарные машины, наполненные женщинами в пуховых платках, узлами, швейными машинами.

Мое путешествие будто бы пришло к концу. Я должен был уехать из Москвы на машине, но в связи с появлением нового, более реального плана вместе с Арбузовым и Гладковым отправился 22 октября на поезде в Казань. Передвигались мы довольно комфортабельно, ни разу не были подвергнуты бомбардировке. Хотя на каждой впереди следующей станции валялись остатки разрушенных вагонов. В общем, нам повезло. Сейчас нахожусь в Чистополе. В двадцати часах езды на пароходе от Казани. Приехал сюда я только вчера вечером. Но чувствую – тоска здесь невероятная. Найду ли я какую-нибудь работу? Пока живу в гостинице. Обедал я в отвратительной столовой.

Скоро начнется зима, навигация прекратится. И этот дрянной Чистополь вообще будет отрезан от мира. Картина безрадостная. Но жизнь есть жизнь^[113].

Такое отношение к городу было связано с ужасающим контрастом между московской и чистопольской реальностями.

Москва - Казань - Чистополь. Октябрь - ноябрь

Оказавшись в казанском поезде, Маргарита Алигер вспоминала, что Пастернак и Ахматова ехали в жестком вагоне в одном купе. Они держались просто и естественно, не суеились на фоне всеобщего смятения, были сдержанны. Алигер отмечает, что их присутствие неуловимо помогало другим.

В Казани Маргарита Алигер вместе с другими эвакуированными переехала с вокзала на пристань и оказалась в одной каюте с Ахматовой.

Весь вечер у нас было людно, – вспоминала она, – без конца пили чай из большого синего чайника, который я везла своим. Чай был без сахара, и хлеб был черный и сыроватый, но это было вкусно. Кто-то из женщин обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. “Это подарок Марины”, – сказала она, и все вдруг замолчали, и в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Волга или Кама?.. Кама... Елабуга... Марина Цветаева... Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как мы узнали о ее трагическом конце. “Нет в мире виноватых”, – сказал когда-то Шекспир. Но, может быть, тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав^[114].

Уже ушедшая Цветаева будет неоднократно появляться на дорогах Ахматовой. Она возникнет в Чистополе в рассказах Лидии Чуковской, появится в Ташкенте как тень, следующая за Муром. И каждый раз Ахматова будет отмечать пересечения, которые происходят на ее пути.

Продолжим цитату.

Наконец гости наши разошлись, и вот мы остались вдвоем и, устроившись на ночь, погасили огонь. Сразу стала слышна река за стенкой каюты и ритмичные сотрясения машины. Не помню, сколько мы пролежали молча, чувствуя, однако, что обе не спим, и вдруг Ахматова заговорила. Совсем по-другому, чем говорила она при свете дня и при людях. Совсем другим голосом, другим тоном. И совсем о другом. И словно бы не начав внезапно, а продолжая давно начатый разговор.

– Такая огромная страна... Такая огромная война... Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего

смысла... Она перевернет мир, эта война, переделает всю нашу жизнь... Да, да, и нашу жизнь – я именно это хотела сказать... Смотрите, как она срывает все покровы, стирает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди увидели, поняли, возненавидели, уничтожили... Такая война! И как она трезво и точно определяет, что к чему и кто, кто... Нет, нет, поверьте мне, это самая великая война в истории человечества... И уверяю вас, никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход. Единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы выиграем войну для того, чтобы люди жили в преображенном мире. Все страшное и гнусное в нем будет смыто кровью наших близких...

Я лежала, почти не дыша, боясь что-то пропустить, что-то не расслышать. Я понимала ее порыв – все, что она говорила, она говорила мне, она ведь знала, что мой муж убит. Но не только ко мне и не только к собственной душе была обращена ее взволнованная речь, полная внутренней убежденности и душевного жара. Она говорила со временем, с историей, с будущим.

За окном каюты шумела Волга, а может быть, уже и Кама, и шум воды удивительно сочетался с ночным голосом моей спутницы. В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг к другу, чем тогда, зимой сорокового, в крошечной комнате на Ордынке, но голос ее наполнял все вокруг, и я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. В ту ночь мы и познакомились по-настоящему. С той ночи я понимаю, сколь горячо и кровно жила она всем, чем жили все мы, ничем не защищенная от жизни, ничем не отгороженная от страдания людей. Но при этом она безошибочно знала, что может стать под ее пером стихами, а что стихами не станет, будучи даже самым искусным образом зарифмовано. И никогда не разрешала себе зряшной траты того драгоценного материала, из которого возникает истинная поэзия^[115].

В Чистополе Ахматова выйдет, а Алигер отправится к матери и дочке в Набережные Челны, чтобы через несколько месяцев вернуться в военную Москву. Ахматова же пойдет искать в незнакомом, перенаселенном Чистополе свою ленинградскую приятельницу Лидию Чуковскую.

Итак, Чистополь принял вторую волну эвакуированных, к которой совсем не был готов. Сюда к 10 октября дошла московская паника, которая взбудоражила тех, кто как-то свылся со своим положением. Хроникер Виноградов-Мамонт, выражая общее тревожное настроение в среде эвакуированных, писал:

9 октября. Четверг. Потрясло известие: бои за Вязьму, на брянском и мелитопольском направлении. Орел сдан! То есть угроза Москве, Донбассу и Кавказу... Встретил Л.М. Леонова, Ю.В. Никулина. Все

смущены, взбудоражены и напуганы сводкой. Раздумывают, не поехать ли дальше – за Урал, в Сибирь или в Среднюю Азию. <...> Любопытная подробность: все думают, что Гитлер придет и в Чистополь, и каждый по-своему “прогнозил”, разыгрывая будущий ход события.

13 октября. Понедельник. <...> в Казани вводится военное положение, <... > детей в школах предложено немедленно обучить ПВХО, <... > в Чистополе следует готовить щели.

15 октября. Среда. <...> Был я в профкоме писателей: картошка в воздухе, керосина нет, дрова будут только в том случае, если мы выделим 90 человек, способных за день погрузить 350 кубометров на баржу. <...> А где взять 90 человек? В. Смирнова рассказывала, будто Горький уже бомбят, в Казани – затемнение и грабежи ночные плюс голодовка. Но население чистопольское успокаивается, ибо все понимают, что ехать некуда. Л. Чуковская получила телеграмму от отца и Совнаркома о переезде в Ташкент.

16 октября. Четверг. Утром сводка впервые откровенно заявила: “Положение на западном фронте ухудшилось”. Прорыв. Итак, Москва уже под прямым ударом. Мы проснулись в 5 ч. 30 м. <...> В 12.30 неожиданно пришла к нам Л.К. Чуковская. Она сообщила, что Пастернак и Федин везут сюда теплые вещи и деньги. Просила достать дров. Тарле заказывает ей брошюру, и она думает взять Д. Давыдова. Я обещал помочь ей книгами. В Ташкент она ехать колеблется – боится дороги. Говорят, сюда приедет Ахматова. <... >

19 октября. Воскресенье. <... > Мария вернулась с базара и сообщила новости: приехали Ахматова, Федин и Б. Пастернак,

Т. В. Иванова. Со слов Т. В. Ивановой – В. В. рисует Москву в полной неожиданности и растерянности. На базаре многие москвичи распродают свои вещи. А что будет дальше? <...> По дороге встретили Образовича, Рудермана и Ю. Никулина. Оказывается, К. А. Федин сообщил: 1) Москва эвакуируется; 2) союз СП переехал в Казань, писатели – кто в Алма-Ату, кто в Ташкент, кто в Казань; 3) Большой, Малый, Камерный и, кажется, Вахтангова – уже в Казани <...>; 4) МХАТ уехал в Ташкент...^[116]

Ахматова приехала в Чистополь, ей удалось найти Лидию Чуковскую и поселиться у нее. Дорога ее измучила. Она рассказывала о блокаде Ленинграда, предполагая ужасные перспективы. В дневнике Л. К. Чуковская писала от 21 октября 1941 года:

Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой. Я прочла ей то, что записала 4.1X, сразу после известия о самоубийстве. Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне, когда вела ее к Шнейдерам.

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я

переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием^[117].

В городе идет движение людей. Одни решают остаться, другие собираются в Среднюю Азию и, в частности, в Ташкент. Приближение немцев к Москве делает уязвимой и Казань, а за ней и Каму. Остальные, устроив семьи в Чистополе, отправляются на фронт.

На собраниях, созываемых местной партийной организацией, пытаются убедить жителей, что Москва сдана не будет. Возникают вопросы о Казани, где уже был введен комендантский час, по городу ходили патрули. Но партийные органы объясняют, что это лишь затемнение, а не военное положение. Однако писатели не верят. Идут разговоры об отъезде.

Лидия Чуковская получает вызов от отца и решает, взяв с собой детей, ехать в Ташкент. С ней же отправляется и Анна Ахматова. Выезжают 24 октября, а 25-го – семья Вс. Иванова. Уезжает еще несколько семейств, что приводит писательскую колонию в раздражение, а порой вызывает даже злобу к отъезжающим.

В Казани, откуда эвакуированные отбывают в Ташкент, Ахматова и Чуковская встречают Фадеева, который был там по пути в Чистополь к семье.

Огромный зал Дома печати набит беженцами из Москвы. Спят на стульях – стулья стоят спинками друг к другу. Пустых мест нет. Мы с Идой уложили Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю – под стол, а сами сели на подоконник. Анна Андреевна лежала прямая, вытянувшись, с запавшими глазами и ртом, словно мертвая. Мне под утро какой-то военный уступил место на стульях. Я легла, но не спала. Когда рассвело, оказалось, что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев^[118].

Оставшимся в Чистополе все больше начинает казаться, что те, кто может устроиться, бежит от немцев, которые вот-вот будут здесь. Тем более слухи о том, что будто бы правительство оставило Москву, только-только достигли Чистополя. Сообщается также, что столица готовится к уличным боям.

Возможно, спешные отъезды и ожидание немцев в городе и явились последним толчком к самоубийству Елены Санниковой, которое произошло 25 октября 1941 года.

Вадим Белоцерковский писал нечто отличное от многих других воспоминаний. И речь, видимо, шла о самых напряженных днях.

Местное население относилось к нам, эвакуированным, с открытой враждебностью. Нас называли “выковыренными”. <...> Сильное беспокойство вызывали слухи о дезертирах, бежавших с фронта. В поисках дезертиров в дома по ночам стали врываться патрули НКВД.

Пришли и к нам и, несмотря на документы отца, устроили обыск, заглядывали под кровати^[119].

В опустевших соседних селах некому было убирать урожай, а первая военная осень выдалась дождливой. Женщины и дети старались погонять полуживых лошадей, но грязь была такой, что измученные лошади, надорвавшись, издыхали и падали на обочинах дороги.

Ташкент. Конец 1941-го начало 1942 года

Корней Иванович Чуковский, оказавшись в Ташкенте в октябре 1941 года, искренне восхищался открытым на старости лет восточным городом.

Я брожу по улицам, – писал он в дневнике, – словно слушаю музыку – так хороши эти аллеи тополей. Арыки и тысячи разнообразных мостиков через арыки, и перспективы одноэтажных домов, которые кажутся еще ниже оттого, что так высоки тополя, – и южная жизнь на улице, и милые учтивые узбеки, – и базары, где изюм и орехи, – и благодатное солнце, – отчего я не был здесь прежде – отчего не попал сюда до войны?

Он поселился на улице Гоголя, 56. “Белый двухэтажный дом.

В углу дверь в комнату, где живет семья <...>, в другом конце вход в кабинет Корнея Чуковского”, – вспоминал Валентин Берестов.

Живу в комнате, где, кроме двух геокарт, нет ничего. Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги – рвань случайная – тоска по детям. Окна во двор – во дворе около сотни ребят, с утра кричащих по-южному^[120].

9 ноября Чуковская с дочкой, племянником и с Ахматовой приехала в Ташкент. На вокзале их встречал К. И. Чуковский с машиной и отвез в гостиницу.

В архиве Луговского сохранилась записка:

Уваж. т. Коваленко.

Т. Чуковский берет кв. № 5 на Жуковской. Его квартиру на ул. К. Маркса надо отдать либо тов. Луговскому (5 ч.), или Файко – Леонидову (4 ч.), и веду смотреть келью (как сказал Чуковский) Ахматовой.

К тебе (?) Ник. Вирта^[121].

Этот текст, написанный карандашом на обрывке бумаги, фиксирует перемещения первых дней. Не совсем понятна форма подписи. Видимо, она означала некую шутливо-верно-подданническую манеру общения, в смысле – “к тебе” прибегаю и т. д. Коваленко, как указано в дневниках Чуковского, был управделами Совнаркома.

Вирта обращался к Коваленко, наверное, в конце ноября 1941 года, когда всю тасовалась колода квартир, углов, клетушек и, разумеется, учитывался определенный ранжир, по которому и происходило расселение.

Николай Вирта с первых же дней стал распорядителем жилья для ташкентских беженцев. Это был очень бойкий человек, на тот момент крупный советский писатель, который сумел в эту трудную пору сделаться для многих настоящим благодетелем.

Если бы не Николай Вирта, – писал в своих военных дневниках о дне отъезда из Москвы Корней Чуковский, – я застрял бы в толпе и никуда не уехал бы. Мария Борисовна (жена Чуковского. – *Н. Г.*) привезла вещи в машине, но я не мог найти ни вещей, ни машины. Но недаром Вирта был смолodu репортером и разъездным администратором каких-то провинциальных театров. Напористость, находчивость, пронырливость доходят у него до гениальности. Надев орден, он прошел к начальнику вокзала и сказал, что сопровождает члена правительства, имя которого не имеет права назвать, и что он требует, чтобы нас пропустили правительственным ходом. Ничего этого я не знал (“за члена правительства” он выдал меня) и с изумлением увидел, как передо мной и моими носильщиками раскрываются все двери. Вообще Вирта – человек потрясающей житейской пройдошливости. Отъехав от Москвы верст на тысячу, он навинтил себе на воротник еще одну шпалу и сам произвел себя в подполковники. Не зная еще, что всем писателям будет предложено вечером 14/X уехать из Москвы, он утром того же дня уговаривал при мне Афиногенова (у здания ЦК), чтобы тот помог ему удрать из Москвы (он военнообязанный). Афиногенов говорил:

– Но пойми же, Коля, это невозможно. Ты – военнообязанный. Лозовский включил тебя в список ближайших сотрудников Информбюро.

– Ну, Саша, ну, устрой как-нибудь... А за то я обещаю тебе, что я буду ухаживать в дороге за Ант. Вас. и Дженни. Ну, скажи, что у меня жена беременна и я должен ее сопровождать. (Жена у него отнюдь не беременна). <... >

И все же есть в нем что-то симпатичное, хотя он темный (в духовном отношении) человек. Ничего не читал, не любит ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив, неутомимо хлопочет (и не всегда о себе), не лишен литературных способностей (некоторые его корреспонденции отлично написаны), но вся его порода – хищническая. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть^[122].

К характеристике Корнея Ивановича можно добавить, что расторопность помогла Вирте во время войны слетать на Сталинградский фронт именно тогда, когда судьба окруженной дивизии Паулюса была решена – фельдмаршала немецкой армии

арестовали на глазах корреспондентов. Вирта присутствовал при сем знаменательном событии, за что и был награжден орденом. Он был обладателем четырех Сталинских премий, но после смерти Сталина фортуна отвернулась от него, Вирта был исключен из Союза писателей, как написано в одном из современных литературных словарей, “за то, что вел привилегированный образ жизни”.

Разным писателям полагалась и разная площадь... Место Ахматовой в советской литературе тех лет определялось той комнатухой – “кельей”, выделенной начальством в первый год ее пребывания в Ташкенте. В писательском доме на улице Карла Маркса, 7, она прожила с ноября 1941-го по конец мая 1943 года.

Это был ноябрь сорок первого года. Поздняя осень или зима ташкентски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет, пронизывающие сквозняки, – вспоминала Светлана Сомова, поэтесса, живущая в Ташкенте, которая вместе с Луговским участвовала в составлении поэтических сборников, в том числе и со стихами Ахматовой. – Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Там были отдельные комнаты, а не общежитие, как пишут в примечаниях к книге Ахматовой 1976 года. Непролазная грязь во дворе, слышный даже при закрытых окнах стрекот машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж, наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой^[123].

Дом этот стали называть то Олимпом, то Ноевым ковчегом, то вороньей слободкой, и совсем уже зло – лепрозорием. Конечно же, главной достопримечательностью его была Ахматова, поэтому и осталось много разнообразных описаний.

Этот небольшой двухэтажный дом стоял на площади, – писала Белкина, – подле здания Совнаркома, и вдоль тротуара мимо окон бежал арык, а над арыком разрослись деревья. Дом был специально освобожден для эвакуированных писателей и их семейств. В каждой комнате семья, а то и по две за перегородкой. И кто там только не обитал, в этом Ноевом ковчеге! Была семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера, запуганные, несчастные, плохо говорившие по-русски; был венгерский писатель Мадарас; был Сергей Городецкий, худой, длинный, похожий на облезшую старую борзую, он расхаживал в черном костюме с тросточкой, а его жена Нимфа, в просторечии Анна, любила сидеть на крылечке, распустив волосы^[124].

А сама комната Ахматовой, по описаниям Г. Козловской, которая пришла туда в первые дни после приезда, выглядела неуютно и мрачно.

Я оглядела конурку, в которой Ахматовой суждено было жить. В ней едва помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела (так что мне она

предложила сесть на постель). Посередине – маленькая, нетопленая печка-буржуйка, на которой стоял помятый железный чайник. Одинокaя кружка на выступе окошка “Кассы”. Кажется, был еще один ящик или что-то вроде того, на чем она могла есть^[125].

У композитора Козловского и его жены Анна Андреевна справляла Новый 1942-й год.

Ярким был праздник 1942 года. Мы вместе с Ахматовой были приглашены к Козловским, – вспоминал Евгений Пастернак, сын поэта Бориса Пастернака, который был в эвакуации подростком и учился в ташкентской школе, а затем в военном училище, – где был настоящий, сваренный мастером-узбеком плов, вино и закуски. Потом братья Козловские в четыре руки играли Вторую симфонию Бетховена. Просидели до утра, проводили Ахматову домой и пошли поздравлять соседей^[126].

В начале января Ахматова пустила в свою крохотную келью больную старуху М. М. Блюм, у которой умер в эвакуации муж. Блюмиха, как ее называли в доме, была вдовой того самого театрального Блюма, который нещадно травил и мучил М. А. Булгакова, нападал в печати на его пьесы. Об этом Ахматовой могла рассказать Елена Сергеевна Булгакова, но, наверное, это не изменило бы поведения Ахматовой. Сам Блюм умер безвестным в Ташкенте, а его сразу же оказавшаяся бездомной жена была на время пригрета Ахматовой. Анна Андреевна с легкостью раздавала деньги, еду, делила свой кров с любым, кто ее просил об этом. Когда в Ташкенте появилась бездомная, странная поэтесса Ксения Некрасова, то опять же она нашла приют в “келье”.

Через комнатку Ахматовой прошли почти все знаменитые и незначительные писатели и поэты.

Бывал здесь и Луговской. Он относился к ней с подчеркнутым почтением, иногда даже преувеличенно театрально целовал ей руки, глядел на нее, несмотря на свой огромный рост, снизу вверх. Она же с ним держалась величаво и просто. По воспоминаниям С. Сомовой, когда они шли рядом, возникало ощущение, что не она опирается на его руку, а наоборот, она, хрупкая и немолодая, поддерживает его.

В Москве на письменном столе в Лаврушинском переулке у Луговского стояла фотография Ахматовой 1920-х годов. Но в злополучном 1946 году, после выхода известного постановления, Елена Леонидовна, жена В. А., спрятала портрет Ахматовой, а на его месте поставила снимок химеры с собора Парижской Богоматери. Заметив подмену на письменном столе Луговского, язвительный Михаил Светлов воскликнул: “Боже мой, как изменилась Анна Андреевна!”

Тогда еще Елена Сергеевна Булгакова жила на кухне у Вирты на улице Жуковской во втором писательском доме, вспоминала Татьяна Луговская. Потом Елена Сергеевна с сыном Сережей поселилась в

комнатках на балахане, где с середины 1943 года, после ее отъезда, будет жить Анна Ахматова.

Раз она (Елена Сергеевна) позвала меня пить кофе с черным хлебом, я пришла, а там Анна Андреевна Ахматова. Она на меня не посмотрела даже, как будто меня нет. Лена нас познакомила, она едва кивнула. У меня кусок в горле застрял. Ахматова очень не любила, когда кто-то врывается. Потом я перестала ее бояться^[127].

Татьяна Луговская в холодные зимние дни таскала у богатых домовладельцев для Ахматовой дрова. Вокруг Анны Андреевны возникала особая атмосфера: каждый приходящий почитал за честь что-нибудь сделать для нее.

К Ахматовой по лесенке поднимались хорошо одетые, надушенные дамы, жены известных и не очень советских писателей, с котлетами, картошкой, сахаром – с дарами. Нарядные дамы порой выносили помойное ведро и приносили чистую воду. Бывали и такие дни, когда ее никто не посещал. И тогда она смиренно лежала на своей кушетке и ждала или нового посетителя, или голодной смерти.

Мария Белкина описывала, как это видела сама в их доме на улице Карла Маркса.

Как-то, когда Анны Андреевны не было дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера, с которым они вместе написали сценарий прогремевшего тогда фильма “Ленин в Октябре”. Это была очень роскошная, модно одетая женщина, особенно роскошная для Ташкента.

Под ярким японским зонтиком она прошла мимо арыка, мимо моих окон, где я в тени деревьев пасла сына. Она не застала Анны Андреевны и, возвращаясь назад, попросила меня передать ей сверток, предупредив, что если у меня есть кошка, чтобы я спрятала подальше, ибо это котлеты <...>.

Когда я поднялась к Анне Андреевне, она, как всегда, лежала на кровати, быть может, и стула-то в комнате не было, не помню. Кровать была железная, с проржавленными прутьями, – такие кровати добыли для нас из какого-то общежития, и мы были им рады. Я попала второй раз к Анне Андреевне – в первый раз она тоже лежала и, отложив книгу в сторону, выслушала меня. К нам тоже повадились цыгане, и одна цыганка, очень хорошенькая, молоденькая, пришла в пальто, накинутом на голое тело, она бежала от немцев из Молдавии. Мы тогда дали кто что мог и одели ее; от Анны Андреевны ей досталась ночная рубашка. И вот прошло дней десять, и эта же девочка-цыганка, запомнявав, должно быть, что была уже в нашем доме, снова появилась на пороге и снова под пальто была голая. Она нарвалась на мою мать, которая, отругав ее, прогнала, мне же велела быстро предупредить Анну Андреевну, а то та не разберется и опять что-нибудь даст этой вымогательнице. Анна Андреевна выслушала мой рассказ о цыганке, промолвила:

– Но у меня нет второй ночной рубашки...

На этот раз, когда я пришла со свертком от Златогоровой, Анна Андреевна лежала, закинув руки за голову, а на груди у нее была открыта записная книжка – я, должно быть, прервала ее работу.

– Опять цыганка? – сказала она, глядя в потолок.

Она лежала все в том черном платье с открытым вырезом и ниткой ожерелья на шее, босая, длинноногая, худая, с гордым профилем, знакомым по картинам и снимкам, запрокинув голову, закинув руки за голову, казалось, написанная на холсте черно-белыми красками, и за солдатской койкой – чудилось – не эта дощатая стена с обрывками грязных обоев, а гобелен с оленями и охотниками и под ней – не солдатская железная койка, белая софа...

Понимая, что Анна Андреевна может быть голодна, я хотела, чтобы она сразу обратила внимание на принесенный сверток, и что-то промямлила про съестное.

– Благодарю вас! – проговорила она, – положите, пожалуйста, на стол. – И, повернув ко мне голову, добавила: – Поэт, как и нищий, живет подавaniem, только поэт не просит!^[128]

“Советский или красный граф” Алексей Толстой, как его называли в писательских кругах, пытался помогать по-своему. Ахматова была польщена бурным выражением чувств с его стороны, принимала от него продукты, но и тяготилась шумными восторгами и непомерными похвалами.

Однажды Толстой решил провести Анну Андреевну в ее келье. Лестница, по которой надо было подниматься на второй этаж, была шаткая, валкая и разбитая, как вспоминала потом комендантша дома Полина Железнова.

Будучи грузным и не очень здоровым человеком, Толстой тяжело поднимался по лестнице, часто останавливался и тяжело дышал. За ним шли два сопровождающих товарища, нагруженные корзинами с продуктами.

Ахматова вышла к нему и сказала: “Здравствуйте, граф!” Он поцеловал ей руку, и они пошли к ней в комнату. Когда гости ушли, почти все продукты были розданы моментально^[129].

В марте 1942 года Алексей Толстой предложил Ахматовой переехать в дом академиков, но она отклонила это предложение. За комнату надо было платить 200 рублей, а таких денег у нее не было.

Лидия Чуковская писала в “Ташкентских тетрадях”:

Сообщила, что никуда не поедет. “Здесь я, платя 10 рублей за комнату, <могу> на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток. А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах”.

Весь дом ликует по поводу ее решения. Рассказывают, что Цявловский вдруг кинулся целовать ее руки, когда она несла выливать помои^[130].

В доме на Карла Маркса Ахматовой очень помогала по хозяйству жена драматурга Исидора Штока, до своего отъезда в середине 1942 года. И жена драматурга Радзинского, мать ныне известного писателя и драматурга Эдварда Радзинского, который с родителями тоже находился в Ташкенте. Радзинская постоянно отоваривала карточки, убиралась в ее комнате.

Шток и его жена были соседями Ахматовой по общежитию, слушателями ее поэм, помощниками в быту.

К тому же, – писала Л. Чуковская, – Исидор Владимирович, весельчак и остроумец, развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Когда Штоки уезжали, <...> Ахматова сделала им драгоценный подарок: собственноручно переписанный экземпляр “Поэмы без героя” 1942 года^[131].

Помощь Ахматовой, которая осуществлялась абсолютно добровольно многими ее почитателями, раздражала некоторых обитателей дома.

Оказывается, там есть целая когорта дам-вязалыщиц – во главе с мадам Лидиной, – вспоминала Лидия Корнеевна, – которые возмущены тем, что NN сама не бежит за пирожками, а ей радостно их приносят, что Цявловский носит ей обед, что Волькенштейн кипятит чайник и т. д. Стихов ее они не читали, лично с ней не знакомы, но рабы души не могут вынести, что кто-то кому-то оказывает почет без принуждения, по собственной воле^[132].

Распутывание отношений Ахматовой с близкими и дальними людьми будет перемежаться тяжелыми, а иногда смертельными болезнями. Все годы эвакуации она боролась со смертью, из лап которой чудом вырвалась, улетев из блокадного Ленинграда. Однако смерть подходила к ней очень близко во все годы жизни в эвакуации; два раза она тяжело болела тифом, потом скарлатиной и ангиной, и так почти до самого отъезда.

Жизнь, смерть, любовь, ненависть, ревность, зависть, злоба и доброта проявлялись в этом тесном человеческом и писательском мире почти ежедневно. Иногда все вдруг смешивалось, запутывалось... Нужна была определенная широта и мудрость, чтобы понять, что происходит с тем или иным человеком. Куда его несет. А менялись в те годы почти все. Можно сказать определенно, что входили в водоворот военных лет одни люди, а выходили совершенно другие. И те, кто умел сохранять доброту и великодушие, легче переносили несчастья. Откликались на беду, помогали, жалели. Но были такие, кто не допускал к себе жалости, не позволял себя жалеть; были высокомерны и горды, заносчивы, возможно, по юности или неопытности жили своей непонятной сложной внутренней жизнью, и молва бывала к ним беспощадна. Так было с Георгием Эфроном, который очень скоро станет одним из участников маленьких и больших драм и трагедий ташкентской эвакуации.

Ташкентский мир. Расселение писателей

В Ташкенте всех, кто ехал в их поезде, кроме режиссеров и актеров, следовавших далее, в Алма-Ату, сначала разместили в техникуме на Педагогической улице. Быстро сообразив, что скоро город будет буквально переполнен беженцами и жилье начнут “уплотнять”, Мария Белкина с родителями выбрали самую крохотную комнатку в общежитии.

Были заняты помещения институтов, школ, школы работали в три смены, институты теснились в одном здании, сливались учреждения, уплотнялись жилые дома. А эшелоны все шли и шли, и не только с плановыми эвакуированными, для которых Ташкент обязан был обеспечить жилье и помещение для предприятий, но в Ташкент еще устремилась масса людей самотеком, так называемых “диких”, бежавших от немцев, от бомбежек, от страха холодной военной зимы, голода.

В конце октября 1941 года жизнь города мало походила на военную. Вечерние улицы еще были ярко освещены.

По центральной улице по вечерам гулянье, шарканье ног по асфальту, журчанье воды в арыке, и из каких-то получастных ресторанчиков и кафе – музыка. Маленькие оркестрики – скрипка, виолончель, рояль, и кто-то, плохо справляясь с русскими словами, поет надрываясь под Лещенко – кумира белой эмиграции <...>. Это все больше еврей-музыканты, бежавшие от немцев из Прибалтики. А у кафе, ресторанчиков толкуются какие-то подозрительные личности в пестрых пиджаках ненашенского покроя на ватных плечах и предлагают паркеровские ручки, шелковые чулки-паутинки, золотые часы; говорят, у них можно купить даже кокаин и доллары^[133].

Татьяна Луговская и Мария Белкина после долгого и тяжелого пути в поезде, принарядившись, решили осмотреться в незнакомом городе, напоминавшем эмигрантский Стамбул. Название Ташкента “Стамбул для бедных” пустил находящийся здесь “красный граф” А. Н. Толстой, знающий не понаслышке, как выглядит эмигрантская жизнь.

В первые дни эвакуированных писателей кормили шашлыками на деревянных палочках-шампурах. Приезжие, особенно из блокадного Ленинграда, изумлялись этому так же, как и горевшим уличным фонарям или незатемненным окнам. Правда, вскоре многое переменилось. Фонари продолжали сиять, но появились продовольственные карточки, литеры, лимиты, а шашлыки сменили пирожки, начиненные требухой.

Беженцы метались в поисках комнат, углов, клетушек. Необходимо было расселяться и жить, но сколько: месяц, год, два?.. Многие буквально сидели на чемоданах и считали дни, когда можно будет вернуться в Москву. Скоро эвакуированных негде было расселять. Началось уплотнение, и все оказались друг у друга на голове. Мария Белкина успела предупредить Елену Сергеевну Булгакову, что надо занимать комнатку как можно меньше.

Местные жители, проживавшие в доме на улице Карла Маркса, 7, не без участия Вирты, разумеется, были выселены в приказном порядке. На их место поселили москвичей; конечно же, приехавшие не знали, какой ценой досталась им площадь.

Жены писателей, не дожидаясь машин, перевозивших вещи, размещались в доме по улице Карла Маркса. Марии Белкиной и ее семье полагалась большая комната в расчете на трех человек и ребенка. Но не случайно писательские жены советовали ей быстрее бежать и занимать площадь. Когда она пришла, то увидела, что в ее комнате уже расположилась красавица актриса – жена драматурга Е. Габриловича. Растерянная Маша закрыла дверь, села на ступеньки и заплакала; она не понимала, куда ей идти со старыми родителями и грудным ребенком.

Сбежались женщины и, видя творящуюся несправедливость, не долго думая, стали выбрасывать вещи из захваченной комнаты; Габрилович ужасно бранилась и кричала. Но они были непреклонны: “У нее, единственной среди нас, – грудной ребенок”. – “У меня тоже ребенок!” – кричала красавица, указывая на восьмилетнего сына. Это была единственная комната с отдельным входом, она была необходима Габрилович, потому что к ней часто приходили мужчины. В итоге их семьи оказались в смежных комнатах, разделенных тонкой дверью. У красавицы часто собирались актеры и актрисы, шла гульба, пили, веселились, ругались, оттуда слышались крики и брань. Пожилой отец Маши Белкиной, дабы охранить нравственность дочери, завешивал дверь ватным одеялом.

Но тогда, 4 декабря 1941 года, М. Белкина писала А. Тарасенкову на фронт:

Комната у меня лучшая в доме, и многие косятся на меня. Помог мне ее получить Вирта. Живет в этом доме К. Левин (жулик), Нович, семья Лидина (симпатичная), Ахматова (еще не знакомы), Городецкий (любит выпить) и другие. В другом особняке живут Вирта, Погодин, Уткин, Лежнев^[134].

Горький запах эвакуации

Еще до переселения на Жуковскую Луговские жили между общежитием и больницей, куда поместили разбитую параличом мать. Разумеется, состояние Татьяны Луговской было подавленным; она видела город только в первые дни, почти не воспринимала людей; в ташкентской больнице, где лежала мать, условия были тяжкие, огромное количество раненых; находиться возле больного, беспомощного человека было невозможно, негде было не только присесть, но даже встать. Было решено перевезти ее в дом на Жуковскую.

О своих бедах и радостях, о Ташкенте и Алма-Ате Татьяна Александровна рассказывала в письмах Леониду Малюгину.

Милый мой Леня, самый лучший из всех когда-нибудь существовавших на свете! <...> Вот я очутилась в Ташкенте. Я писала вам уже про дорогу, не хочется повторяться – тем более это до грусти стандартная и шаблонная история. Уехала в Ташкент, а не к вам (о чем частенько жалею) потому, что сюда можно было ехать организованно (с писателями и братом), а у матери за 2 дня до отъезда был второй удар – я везла ее заново парализованной. (Я не в силах была с ней ехать одна, а увозить ее мне приказали доктора.) Все остальное вы представляете сами. Мне же до сих пор непонятно, каким образом удалось в Москве внести ее в вагон, в этой толчее. Посадили нас Саша Фадеев и Гриша.

Потом мы пересаживались, потом пропал мой чемодан, потом захворал и заболел брат – словом, разная такая петрушка. Потом Ташкент. Потом была больница и в ней 3-й удар. И я жила с мамой там. С ней и еще с 25 человеками в небольшой палате № 1. (Нет ничего страшнее ташкентской больницы, наполненной беженцами.) И все ждала, что вот-вот она умрет, но она осталась жива, и я, простояв 2 суток в очереди за каретой “скорой помощи”, перевезла ее домой. В мой теперешний дом на Жуковскую. И коротаю с ней век. Бедная старуха – от нее осталось очень мало. Трудно и ей, и с ней. Вот и все. В общем, всякое было <...>.

Все-таки очень одиноко. Пожалуй, и трудновато бывает иногда. Я думаю так: если я не сдохну от сыпняка или голода – к чему есть все предпосылки, – значит, останусь жива. Вообще же я стала гораздо спокойнее, чем раньше – до войны. Потом, я теперь стала глава довольно большой семьи: двое болящих – мама и Володя, Поля, которая приехала с нами, и еще Любочка, с которой я побраталась здесь, в Ташкенте. Она – москвичка, и ей было совсем худо, и я взяла ее в сестрички, за что и вознаграждена судьбой, ибо это оказался очень большой души человек. Она не маленькая, даже старше меня, только очень была бедная.

Я даже нанялась на работу в здешний Дворец пионеров, только меня, наверное, выгонят, потому что я разрываюсь на части и работать

не успеваю. Город дикий, об этом в след<ующем> письме, а то завтра рано надо вставать. Есть здесь, кроме пыли, нечего^[135].

Интонация дневников, писем, записных книжек резко отличается от послевоенных воспоминаний о тех годах. Ностальгические нотки зазвучат потом, а в тот момент, судя по всему, состояние большинства эвакуированных в Ташкент было депрессивным.

Мария Иосифовна рассказывала, что, когда ей мимоходом напомнили про то, что до войны ей нравился роман Стейнбека “Гроздь гнева”, она была потрясена – самым напоминанием о жизни, которая была до войны. Состояние первых месяцев эвакуации, со всеми бедами, волнениями, смахивало на нервную болезнь с потерей памяти.

И Татьяна Луговская вначале увидела Ташкент как “город, созданный для погибания”; он не показался ей ни красивым, ни доброжелательным. Казалось, что все навеки заброшено в эту дыру – не будет ни Москвы, ни мирной жизни, ни прежних радостей, ни даже прежнего горя. Изменения коснулись всех, и никто не знал, каким он выйдет из испытания войной, эвакуацией, разлукой. Она была подавлена происходящим:

Очень трудно сейчас писать письма, трудно найти интонацию, за которую можно было бы спрятаться. Потом, очень много нужно описывать: как живешь, да что ешь, и про себя, и про всех других. Картина преступления ясна: совершена какая-то очередная блистательная глупость, и я (вы же знаете – как я легка на подъем!) очутилась в Ташкенте. Городе, где даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это скорее похоже на быстро стынувший столярный клей), городе, где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют “ага”, где про ваши родные ленинградские и московские края говорят – Россия (!), где гроб – один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я. Зачем, почему – совершенно не могу понять.

Живу как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное, а московские тревоги, все прочее вспоминаются каким-то очень содержательным событием в моей жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь этого города. Мне кажется, что я застряну здесь на всю жизнь. Леня, обещайте мне, что, когда кончится война и если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнусного города. Хорошо?

^[136]

Представить после московской жизни, относительно комфортной, что надо будет запасать дрова, выменивать на базаре вещи на продукты, выходить по вечерам на незнакомые улицы, где в подворотнях обитало несметное количество воров, нищих, цыган, было невозможно.

Луговских поселили в двух небольших комнатках во флигеле, примыкающем к основному особняку на улице Жуковской.

Наши комнаты, сделанные из каких-то сараев, но зато каждая имела свой выход во двор. Был еще и дом нормальный, каменный, с фасадом на улицу, но в нем жили люди привилегированные – Погодин, Вирта, Уткин. По этому главному дому и наши лачуги назывались – Жуковская, 54 ^[137].

Пытаясь обжить чужое пространство, в котором они оказались неизвестно на какое время, Татьяна Луговская относилась к новому дому как художник, создающий декорацию и костюмы из того, что буквально лежит под ногами. “Я навела уют, – рассказывала она, – купила на барахолке два бильярдных кия и повесила занавески из простынь, выкрасив их акрихином. Еще купила детскую пирамидку. У Поли был поклонник электромонтер, он сделал мне лампу из пирамидки”. Так возникли две милые маленькие комнатки, в которых потом, после отъезда Луговских в Москву, с конца ноября 1943 года станут жить Анна Ахматова и Надежда Мандельштам.

Ее воспоминания перекликались с нежными письмами к Малюгину, где она нарисовала ему незабываемый Ташкент.

В конце одного из писем она благодарила его: “Спасибо вам, Ленечка, за то, что вы думаете обо мне и заботитесь так трогательно, только это не нужно, я думаю, что я не пропаду” ^[138].

До войны он жил в Ленинграде, был театральным критиком и завлитом Большого драматического театра. Прославился неожиданно, написав во время войны пьесу “Старые друзья”, которая широко ставилась по всей стране. Был прославлен, а затем, когда во время травли критиков-“космополитов” заступился за своих друзей, несмотря на свое нееврейское происхождение, был ошельмован вместе с ними и изгнан с работы. Потом написал вдумчивую и тихую пьесу о Чехове и Лике Мизиновой “Насмешливое мое счастье”.

Юрий Трифонов, его близкий друг, после смерти этого скромного, но очень надежного человека написал: “Слова Чехова о его «насмешливом счастье» могли бы с такой же справедливостью относиться к Леониду Малюгину. И так же молча, без жалоб, с таким же упорным мужеством, как его любимый Антон Павлович, вынес Леонид Антонович годы борьбы со смертельным недугом” ^[139].

Татьяна Луговская стала тоже в каком-то смысле “его насмешливым счастьем”. Ее письма, ироничные, но теплые, излучали радость дружеской любви и признательности за все, что он для нее делал. С Малюгиным они были связаны до войны подробной перепиской, он жил в Ленинграде, она – в Москве. Его чувство к ней было безответным, она к нему питала лишь нежное дружеское расположение. Он умер холостым, не дожив до 60 лет, от рака, в 1963 году. Последний в своей жизни Новый год, убежав из больницы, справлял с Татьяной

Александровной и ее вторым мужем, своим близким другом Сергеем Ермолинским.

Всю войну он незаметно помогал Луговским, взяв их под свою опеку.

“В этой комнате колдунья до меня жила одна...”

*То горькая и злая,
То девочка, то словно зверь мохнатый,
То будто мудрость, даже состраданье,
То словно злоба в огненном свеченье,
То словно радость или вещей сон.*

Владимир Луговской. Крещенский вечерок

Прямо над комнатками Луговских находилась знаменитая балахана – комната с ведущей туда лестницей, заканчивающейся балкончиком. Там поселилась Елена Сергеевна Булгакова. Современники вспоминали, что дом на Жуковского, 54, состоял из нескольких построек – направо, налево, главный особняк и строение в глубине двора. К нему была пристроена снаружи деревянная лестница, ведущая наверх, на балахану. До того, как там поселилась Анна Андреевна, в доме уже жили писатели, в том числе Иосиф Уткин, Луговской, Погодин и другие.

Елена Сергеевна была дружна с Анной Андреевной еще с 1930-х годов. Ахматова любила талант Михаила Афанасьевича Булгакова, написала стихотворение на его смерть. В Ташкенте Елена Сергеевна многим давала читать роман “Мастер и Маргарита”. Алигер, со слов Раневской, писала о том, как Ахматова читала вслух куски романа Булгакова и повторяла: “Фаина, это гениально, он гений!”^[140]

С Луговскими в Ташкенте Елена Сергеевна одно время жила общей семьей.

Булгакова вошла в жизнь Луговского в конце 1940 года. Их история началась после того, как умер М. А. Булгаков. Елена Сергеевна оказалась в водовороте новых отношений, очень неровных, но на тот момент необходимых им обоим.

Володя жил под Москвой, – рассказывала Татьяна Александровна. – Кажется, это был сороковой год, да, сороковой. Он позвонил мне – приезжай и оденься получше. Я оделась – у меня были такие вставочки из органди. Все хорошо, но на лице выступили пятна – аллергия у меня

бывала, теперь уже нет. У него была комната большая. Пришел Маршак, сел под торшер, читал стихи. Он много знал наизусть. Бесконечно.

Потом Володя повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной. Она мне показалась очень старой. Ей было лет 50. Потом перестало так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман. Я ее понимаю. У нее в жизни образовалась такая дыра, ее нужно было чем-то заполнить^[141].

Елена Сергеевна очень тяжело пережила смерть мужа, Луговской не был и не мог стать заменой, занять место Булгакова не мог никто. Ей, видимо, просто нужен был талантливый и добрый человек, к которому можно было прислониться. Своим бесконечным обожанием В. А. покорила ее.

Дочь Луговского, Маша (Муха), которой было тогда десять лет, вспоминала, как увидела Елену Сергеевну первый раз. В конце сорокового года Луговской часто заходил к дочери в свою бывшую квартиру в Староконюшенном, где маленькая Муха жила с матерью. В тот день они пошли гулять и за разговорами оказались на Новодевичьем кладбище. Подошли к могиле Надежды Аллилуевой. Отец сказал ей, что, когда сюда приезжает Сталин посетить могилу жены, кладбище закрывается. Потом пошли вглубь по аллеям и на скамеечке увидели женщину, которая сидела возле могилы. Луговской сказал дочери, что это его знакомая, Елена Сергеевна Булгакова, и Муха поздоровалась с ней. Вместе они вышли с кладбища. Муха стеснялась незнакомой женщины и молча шла впереди, а Луговской с Еленой Сергеевной сзади о чем-то негромко разговаривали. Видимо, вспоминая о той встрече, в письмах из Ташкента отец часто передавал ей привет от Елены Сергеевны.

Опыт бедственного счастья

Луговской был красив, ярок и в то же время добр, мягок и податлив. Он нравился многим женщинам. Они любили его бесконечно. Остались сотни писем от тех, которые страдали, проклинали и все равно прощали его.

Его первое по-юношески сильное чувство было связано с именем Тамары Груберт. В 1918 году в Сергиево, недалеко от колонии, организованной отцом, спасавшим в Подмоскowie детей от голода, стоял туберкулезный санаторий, куда молодой Владимир Луговской бегал на свидания к дочери врача. Позже он посвятит ей первый сборник своих стихов “Мускул”. Эта юношеская любовь шла через испытания новой моралью: молодые люди менялись фамилиями,

утверждали, что свободны друг от друга, расставались, встречались, но после тяжелого кризиса в жизни поэта стали жить вместе. Тамара родила ему дочь Машу (Муху), но их брак просуществовал недолго.

Пианистка Сусанна Чернова, с которой он стал жить в начале 30-х годов, немного вздорная, но независимая женщина, не вынесла бесконечно сжигающей ревности и в усталом раздражении ушла из дома, от его легкомысленной ветреной жизни, от поклонниц, вечно осыпавших его письмами и фотографиями, от неопределенности, свойственной поэтам, тяжело отражающейся на совместном существовании. Луговской очень тосковал о ней, молил вернуться, но напрасно. Он посвятил ей лирический сборник стихов “Каспийское море”, свои лучшие лирические стихи; некоторые образы поэм из будущей книги “Середина века” были навеяны ее рассказами о детстве в Баку. Он тяжело пережил ее уход в конце 30-х годов.

Майя Луговская (Елена Леонидовна Быкова), с которой он свяжет свою жизнь после войны, на основании его рассказов, писем и своих догадок в частично опубликованных мемуарах выстроила свой образ Елены Сергеевны Булгаковой и ее отношений с Луговским.

Меньше года оставалось до начала войны. Измученная тяжелейшей, длительной болезнью мужа, пережившая его смерть, Е<лена> С<ергеевна> тогда как бы возрождалась к жизни. Она была еще хороша. Среди тех, кто окружал ее, появился и Луговской. Он был холост, свободен. Возник роман. Луговской влюбился в Елену Сергеевну. Повез в Ленинград, чтобы познакомить ее с Тихоновыми. Ироническая Мария Константиновна (жена Тихонова) как-то рассказывала мне потом, что Луговской, подобно тетереву, распускал перья, токуя перед Булгаковой. “Звал Инфанта. Ее, даму под пятьдесят”^[142].

Елена Сергеевна, как могла, поддерживала его, писала ему в начале войны нежные письма из Пестово, где находился дом отдыха МХАТа.

Вот Вам, милый Дима < Владимир >, мой адрес. Боюсь, что 19-го я в Москву не попаду, т<ак> к<ак> мне очень трудно далось мое путешествие сюда. Наш грузовик кидало из стороны в сторону по рытвинам и ухабам. Пылища стояла столбом до неба. Как всегда в жизни бывает, безумно пригодились те именно нелепые покупки, которые я сделала в Клязьме. Сергеевы трусы, например, я надела на голову и повязала той резинкой, о которой Вы меня с изумлением спрашивали, для чего она. Это спасло мою вымытую и причесанную голову Здесь либо грудные дети, либо матери их, либо старухи с клюками. Все эти категории ни к чему – в смысле разговорном, я понимаю.

Так что я целый день хожу, купаюсь, отдыхаю – все в полном одиночестве. Но это никогда не вредно.

Сергей зато нашел себе кучу мальчишек, с которыми и проводит целый день. Это хорошо. Он смягчился, стал милее. Я его заставляю все делать для себя самому.

Напишите мне о себе, Дима, о Кремлевке, о лечении, о работе, о решении наркомата относительно Вас. Жду ответа. Елена^[143].

Иногда они связывались через сестру Елены Сергеевны Ольгу Бокшанскую. Она с недоверием относилась к увлечению сестры. Умоляла ее сидеть в доме отдыха и не выезжать в Москву под бомбежки.

Милый Димочка, получила Ваше письмо, спасибо. Очень жалко, что Вас не было дома, когда я позвонила. Отсюда вообще нельзя было звонить несколько дней (и всегда трудно звонить), а тут вдруг я подошла к аппарату и меня сразу соединили с Вашей квартирой. Сегодня я была утром, как всегда, от 8 до 9 около телефона, но Вы почему-то не позвонили. Оля говорит, что, пока у меня нет службы в Москве, я должна жить здесь.

Вчера я говорила с одной знакомой, и она обещала помочь мне устроиться в “Мосфильме” на должность помощника режиссера. Посмотрим. Если не наврет, поступлю. Тогда перееду в Москву.

На этой неделе, кажется, оказии в Москву не будет. Поэтому вряд ли приеду на побывку. Если ты хочешь прийти сюда, надо из Калязина прийти пешком. Вот эта знакомая из “Мосфильма” вчера пришла за два часа. Возьми с собой паспорт, оденься полегче – в штатское. Позвони накануне, что выходишь, – пойду навстречу.

С собой ничего из еды не бери, устрою здесь.

Очень довольна, что ты начал лечиться и хочешь работать. Если действительно это сделаешь, будет очень хорошо.

Вот это и будет то, что я хочу, чтобы ты делал.

О том, права или не права, будем говорить лично, если ты придешь сюда скоро.

Сейчас пишу наспех, кругом народ – Оля уезжает. Хочу ей дать письмо. Получил ли мое письмо по почте? Написала 17-го. Будь здоров. Держись.

Целую тебя. Елена^[144].

Видимо, в августе 1941 года между ними произошла жестокая ссора. Причины ее неизвестны, но в архиве Луговского сохранилась записка без даты, но очень красноречивая.

Володя, я очень твердо говорю тебе, что мы расстаемся. Я много раз говорила это тебе, но поверь, что сейчас это – последний. Я не смогу быть с тобой. После вчерашнего. Так как разговор будет мучителен и бесцелен для обоих – я попросила Сашу, нашего с тобой друга, переговорить с тобой и передать это письмо. Может быть, когда все уляжется, мы и сможем увидаться, но сейчас не надо ни приходить, ни звонить. Пойми это. Лена^[145].

Татьяна Александровна вспоминала об этой истории, может быть, чересчур пристрастно, она вряд ли знала причину их ссоры: “А потом Елена Сергеевна с Володией поссорились, и она, назло ему, закрутила роман с Фадеевым”^[146].

Примирение произошло накануне Нового года, Луговской на писал ей не очень благозвучные, но искренние стихи. Они хранятся в архиве Е. С. Булгаковой в рукописном отделе РГБ.

Новогодние стихи ЕСБ <Елене Сергеевне Булгаковой>

Опять пришла пора
Рубить, пытать и жечь
Опять под топоры легко народам лечь
И все же я сижу,
юродивый, в бою,
И как снегирь гляжу
на родину свою.

Я женщину любил.
Она была горда
Над ней, как светлячок
Чуть теплилась звезда
Не важно, как мила
Она в те дни была —

Она была тепла
Как серая зола
И я остался сир
Как снеговой снегирь
Я с елки видел все, —
А с чем, скажите вы,
Я видел хуже Вас,
болельщики Москвы.
Довольно! Все пройдет
в очередной черед
Но человечество живет
не первый год
Не важно как гремит
громада батарей: —

Я вижу лишь людей
И творчество людей.
Не важно: все придет
К заветному концу,
Доверенные вновь железу и свинцу.
История пройдет
Как смена сил и рас

И, к счастью,
Не найдет среди живущих нас.
И все же
в этот час,
Когда встречаю год
И синий Орион
Летит на небосвод
Я вспоминаю ту,
Кто жизнь унес мою
Как маленький снаряд,
что всех страшней в бою.

В. Л. 30.12.1941. 5 часов^[147].

Сказка о сне

Елене Сергеевне посвящены несколько поэм книги “Середина века”, написанных в Ташкенте. Это апокалипсическая “Сказка о сне” (первоначально она называлась “Гибель вселенной”); “Крещенский вечерок”, действие которого происходило на знаменитой лестнице на балахану, потом неоднократно оживающей в стихах Ахматовой; “Первая свеча”, где описана история трагического отъезда из Москвы в эвакуацию. Почти все поэмы ташкентского периода были перепечатаны рукой Елены Сергеевны на машинке. Ее сыновья с нежностью, по-дружески относились к Луговскому, а Женя Шиловский писал ему с фронта очень теплые письма.

В поэме Луговского “Сказка о сне”, написанной под трагическим впечатлением начала войны, мистически преображена картина свидания поэта с некоей возлюбленной с чертами Е. С. Булгаковой.

Это последняя встреча влюбленных перед гибелью мира, перед катастрофой вселенского масштаба. Стрелки часов навсегда замерли на четырех часах – времени начала войны. Окна затемнены, звучит вой сирен воздушной тревоги. Все покидают дом. Остаются двое. В каждом из них продолжает жить погибающая вселенная.

В этой поэме была одна странная деталь. Влюбленные находились под пристальным взглядом кота в манжетах. Он ходит за ними из комнаты в комнату, все понимает, все оценивает... “Я оглянулся. Снизу шел, мурлыча, / Спокойный кот в сверкающих манжетах”. Они прощаются. Кот, “ощерясь, глядит в окно”. Несомненно, это был не

просто кот, образ перекликается и со знаменитым Бегемотом, а возможно, и самим Булгаковым.

Этот взгляд неотрывно преследовал Луговского всю историю его отношений с Еленой Сергеевной. Он читал “Мастера и Маргариту” после войны своей будущей жене Майе, с восторгом пересказывал страницы романа, но при этом не мог скрыть, что ревновал Маргариту к покойному Булгакову.

Я-то лично очень счастлива здесь, – пишет Елена Сергеевна Луговскому после возвращения в Москву в 1943 году, – и вот почему: здесь я знаю, что я Булгакова (пишу это, зная все отрицательное отношение Володи к этому афоризму), здесь у меня есть много друзей, здесь мой дом, мои – дорогие для меня – памятные книги, архив, рукописи, вещи, вся атмосфера жизни, без которой мне было очень тяжело в Ташкенте и которая меня поддерживает в Москве. Сейчас я погрузилась целиком в прошлое, я сижу часами над чтением тетрадей, писем, рассматриванием альбомов. Я – дома. Я не боюсь ничего^[148].

В архиве Луговского помимо фотографии Елены Сергеевны хранилась еще и фотография Булгакова, а одна из поэм “Середины века” первоначально была посвящена М. Б. (Михаилу Булгакову). Он преклонялся перед творчеством писателя и мучительно осознавал, что Елена Сергеевна при всем ее прекрасном к нему отношении, даже влюбленности, неуловима для него. В феврале 1943 года Елена Сергеевна, находясь в своей комнатке на балахане, записала увиденный ею сон о Булгакове:

Все так, как ты любил, как ты хотел всегда. Бедная обстановка, простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка. Кругом тишина, я одна. Это так редко бывает. Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне: громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то видное одному тебе. Они были даже еще больше, еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе был белый докторский халат, ты был доктором и принимал больных. А я ушла из дому после размолвки с тобой. Уже в коридоре я поняла, что мне будет очень грустно и что надо скорее вернуться к тебе. Я вызвала тебя, и где-то в уголке между шкафами, прячась от больных (пациентов), мы помирились. Ты ласково гладил меня. Я сказала: “Как же я буду жить без тебя?” – понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: “Ничего, иди, тебе будет теперь лучше”^[149].

Но в те, особенно тяжелые для семьи Луговских, ташкентские дни Елена Сергеевна, как могла, поддерживала их семью. Татьяна Александровна с благодарностью вспоминала ее фантастическое умение оказываться в нужное время в нужном месте. Многие ее считали богемной и светской дамой, но это было только внешнее впечатление. По воспоминаниям знавших ее тогда людей, ей ничего не стоило подоткнуть подол, взять ведро и спокойно вывезти любую грязь,

навести порядок. Татьяна Луговская вспоминала про первые ташкентские дни:

Приехали в Ташкент, нас уже встречала карета “скорой помощи”, маму отправили в больницу.

А потом, уже в больнице, с мамой случился еще один инсульт. Я приехала, она была без сознания, увидела меня (врачи мне до сих пор не верят), у нее что-то двинулось в глазах, сознание на миг проглянуло из мути, и она сказала: “Я – пропала!”

Я тогда осталась в больнице с ней, на папиросной коробке нацарапала записку Володе, чтобы он прислал мне подушку, и послала с кем-то. А на ночь в больнице никто из медперсонала не оставался. Я уже заснула, вдруг стук внизу. Я удивилась, спустилась, смотрю – сторож из проходной: “Иди, к тебе пришли”. И как сейчас вижу: маленькая будочка-проходная, козырек на улицу, под козырьком лампочка тусклая, и в этом свете стоит Елена Сергеевна с Сережей, своим сыном, ему тогда лет 15 было. Она мне принесла подушку, кофе в термосе, еще что-то. А идти далеко. Ташкент. Ночь. Три раза Елена Сергеевна мне очень помогла – при первом инсульте, в больнице и когда мама умерла – обмывать, собирать^[150].

Комната на балахане, в которой потом поселится Ахматова, становилась все уютнее; не случайно в ее стихотворном цикле “Новоселье” будет незримо присутствовать Елена Сергеевна.

Зоя Томашевская, близкая приятельница Анны Ахматовой, писала, что Елена Сергеевна была удивительной женщиной: она умела утешить, успокоить, внушить людям надежду и силу даже в самые страшные минуты жизни. Ахматова никогда не забывала ее доброты.

Смерть матери Луговских. Начало - середина 1942 года

*Ты, Азии земля, ты, прах сыпучий
Отживших беспощадных поколений,
Храни мою измученную мать.
Владимир Луговской.*

Смерть матери

“Вспомнил я все детство, и елку, и какие-то яблоневые сады, и собак, и юность мою, и зрелость”, – писал Луговской в горестные дни расставания с матерью.

У них были особые, очень близкие отношения. Татьяна Луговская в своей книге о детстве писала, что мама больше всех с детства любила Володю и это никого в семье не обижало.

Мать была самой большой любовью брата в жизни. Они были похожи, только она не поспевала за ним. Все в нем было крупнее. Поэтому она и умерла раньше времени. Душевно и физически устала. А по своему здоровью она могла бы прожить дольше^[151].

Но эта любовь, видимо, накладывала свой отпечаток на его отношения с женщинами и женами; он всегда жил вместе с матерью – и в квартире на Староконюшенном, и на Тверской, и в Лаврушинском. Как правило, сильная привязанность матери и сына мешает созданию того нормального притяжения, которое должно возникать между мужем и женой. Так и было в семье Луговского: и Тамара Груберт (его первая жена), и Сусанна Чернова (его вторая жена) были в трудных отношениях с Ольгой Михайловной. Это при том, что друзей и учеников Луговского она обожала, а они любили ее. Владимир был внутренне мягок, иногда даже слабохарактерен, о чем с двадцати лет писал в своих покаянных письмах к женам, но умел собираться, начинать все с нуля, принимая, как к твердыне, к матери.

Нет, мама, смерти! Нет!

Нельзя расстаться

С твоей походкой поутру за дверью,

С тобой, которой имя было – Ольга. <... >

Я через тысячи летящих поколений

Все от тебя схватил – движение, брови,

И голос мой, и поступь, и усталость.

Татьяна Александровна не раз рассказывала историю о том, что предшествовало тому, как их маму окончательно разбил паралич. Она воспринималась как новелла, законченный литературный сюжет.

Перед войной у мамочки случился первый инсульт, она потеряла речь. Володи не было, я его разыскивала и дозвонилась Елене Сергеевне Булгаковой. Она сразу примчалась, помогала мне делать все, самую грязную работу.

Потом мы мамочку выходили, она совсем почти восстановилась.

В лето войны мы жили на даче долго, очень трудно было ее вывезти в Москву.

Осень 1941 года. Я привезла маму с дачи с Хотьково, куда мы после тяжелой болезни спрятали ее от бомбежек. Привезла, потому что стало холодно, да и Хотьково уже начали бомбить, и в Москве находился брат после контузии, она о нем волновалась.

Приехали под вечер. Газ почему-то не горел, мы разожгли примус, вскипятили чайник. Квартира неубранная и нежилая, в одной из комнат живет чужая женщина, лишившаяся угла из-за бомбежки.

Затемненные окна, свет только от примуса, и наши огромные тени на потолке ее комнаты. Мама так была рада, что она дома, что мы снова вместе. Она сидела в кресле. Было тихо... Ждали бомбежки... И вдруг она запела (до этого около года она уже не пела, ей было запрещено, да и не могла она, голос пропал, было кровоизлияние в мозг). И вдруг запела, да так сильно, громко, молодо, как певала когда-то в давние дни... Мы все застыли и окаменели в тех позах, в которых нас застало ее пение... “О, весна прежних дней, светлые дни, вы навсегда уж прошли”, – пела она, и голос ее лился без усилий и заполнял не только комнату, но и всю квартиру. Остановить, прервать ее было страшной жестокостью. Творилось что-то важное, величественное, чего нельзя было прерывать.

Это было прощание с чем-то, утверждение чего-то значительного, вечного, что было важнее не только здоровья, но и жизни.

Отзвучала последняя нота арии, мама закрыла глаза и начала падать (точнее сползать) с кресла. Брат кинулся к ней, поднял. Мы перенесли ее на кровать. Она была парализована, недвижна и нема. Это был конец ее жизни.

Она прожила еще семь месяцев, но была уже другая. Такой, какой она была раньше, до этого пения, мы ее уже не видели. Дальше было только страдание и жалкое и мучительное существование. Жизнь ее кончилась на этой арии Массне. Кончилась на пении. Она уже перестала быть птицей. Больную и недвижимую мы потащили ее в Ташкент, так как брату было велено туда, и он не мог оставить мать одну в Москве^[152].

В записных книжках Луговской с горечью писал:

Ледяная ненависть и беспомощность... Крики матери за стеной. Синие ночи и подлость без границ. Раз ты пошел по этому крестному пути – должен все выдержать... Неумение жить и, вероятно, умереть. Тихие заводи доброты. Блистающая, подлая жизнь на маленьких кубометрах. Первые знаки весны – и снова смертный холод и мрак ночей. Зеленые тучи на Карла Маркса, и два стакана портвейна, и девушка под треп. Сыро, холодит... Черкасов. Желание сжечь Берлин. Первые фиалки^[153].

Главное ощущение от мира в те первые месяцы 1942 года – это холод и неустроенность. Для Луговского, как и для многих других, порвалась ткань существования и времени и оттуда, из продырявленного войной пространства, потянуло ледяным, мертвенным холодом. И тут же длинное и тягостное умирание самого родного ему человека. По-гамлетовски он восклицает:

Такое счастье умереть и сгнить,
Проникнуть в ледяной уют вселенной,
Назвать седую смерть освобождением
И получить, как в детстве, как на Пасхе,
На стуле возле маленькой кровати

Подарок, весь обернутый бумагой...

Опять прервалась связь времен... связующая нить. Видимо, со смертью каждого человека, так как через него протекает свой поток времени, рвется связь времен. Художники – своеобразные лекари времени, они зашивают эти прорехи в нашем мире. В ином же мире все непрерывно.

Бывает, что внутренние кризисы совпадают с внешними трагедиями. Для поэтов такие совпадения являются неопровержимыми знаками того, что судьба окликает их, обращает к глубинам своего трагического опыта. В записных книжках Луговской пытался нащупать точку опоры, равновесия.

Ничего не даст, ничего не получится. Именно этого мне не хватало. Именины подлецов. Вера в жесткие правила и людской порядок. <...> Мои робкие, каждый раз неверные движенья. Беспомощные глаза Е. С. (Елены Сергеевны. – *Н. Г.*) и ее гордость ребенка___Внутренний город души. Внутренний город Ташкент, невидимое царство. Дом Е(К. Уют каждого мгновения. Уют лампочки и стула, редакции и дерева, вечеринок и арыка. Человек создан все-таки для счастья^[154].

Уют, покой не только в тех незыблемых вещах и людях, оставшихся в Москве или умерших. Пока человек жив, он должен искать радость и тепло мира в жесте, взгляде, в своей, может даже неловкой, нежности к другому. В этих заметках чувствуешь, как человек словно заново учится ходить, держась за стены, как больно ему смотреть на свет, ведь он долго был почти ослепшим, как он вдыхает новые запахи, потому что он несколько месяцев ничего не чувствовал.

Милый Леня, – писала Татьяна Луговская в конце марта Малюгину, – вы меня зря хвалите за спокойствие – это просто смертельная усталость и обреченность и, главное, невозможность вести себя иначе при данных обстоятельствах. Пришлось хлебнуть горя за все это время всем. Я делаю с успехом тысячу вещей, которые принято называть самообладанием: работаю, пудрю нос (пока еще есть пудра), веселю и утешаю людей, навела даже бесподобный уют у себя в доме. Только все это чепуха, а душа отшиблена – у меня не хватает мужества заглядывать в будущее и заглядывать в глаза моей умирающей матери. Умирает она тяжело, мучительно, положение ее поистине ужасное – помимо всех ее болезней и страданий, у нее еще обнаружен рак. Кричит она, не замолкая ни на минуту (днем и ночью). А я, кажется, готова закопаться в землю, чтобы только не слышать этих душераздирающих воплей^[155].

Мать умерла в апреле 1942 года после четырехмесячных мучений, и их жизнь перевернулась. Возникло чувство пустоты и беспомощности. Работа, которую Луговскому предлагалось делать в Алма-Ате, стала его настоящим спасением. Вызов пришел накануне смерти матери.

6 апреля 1942 года Луговской получил телеграмму с кино-фабрики от Эйзенштейна: “Прошу приехать Алма-Ата подробно оговорить песни возможности текста сообщите срок выезда привет Эйзенштейн”^[156].

В Алма-Ате шла подготовка к съемкам фильма “Иван Грозный”, сдавались варианты сценария, трудности были с диалогами. Еще в конце 1930-х годов Эйзенштейн и Луговской удачно сотрудничали на картине “Александр Невский”, к которой поэт сочинял песни.

7 апреля, в день смерти матери, Луговской посылает ответную телеграмму: “Рад совместной работе ответ задерживался смертью моей матери посылаю письмо скоро выезжаю Луговской”.

После смерти матери он записал:

Комната страданий. Вот они и кончились. Вот и ушла твоя душа далеко в те края, которые остались позади, в мир всех прошлых движений и образов, распыленных в мировом пространстве и времени.

А она все вязала, вязала, все сучила, сучила пальцами на смертной постели. Расцветание мира. Она – плоть моя и передала мне плоть своей любви. Книги, письма. Пасхальный звон на небе “Слава в Вышних Мироносицы”^[157].

Эйзенштейн немедленно прислал телеграмму: “Искренне соболезную постигшем горе жду приезда привет Эйзенштейн”^[158].

7 апреля умерла мама, – писала Татьяна Александровна в письме. – Первый раз в жизни я видела, как умирает человек. Это очень тяжело и очень торжественно. 9-го мы ее похоронили, и сразу этот несчастный город стал мне родным. Обмыла, одела, положила в гроб, забила гроб и зарыла могилу— все своими руками. И на всю жизнь мне запомнилось ее строгое, красивое лицо.

Потом ясный день, дощатый гроб, тюльпаны и еще какие-то цветы, кажется вишня. Я нашла чудесное место на этом азиатском кладбище – совсем русское – просторное и тихое, тополь растет в ногах. Вот и все.

Вот и осталась я одна, и ничто уже меня не связывает, а как грустно, если бы вы знали, и как все безразлично. Вот и прошло детство, юность, да и молодость, пожалуй, на исходе”^[159].

И картина ее похорон на восточном кладбище в дни Пасхи из записных книжек Луговского:

Пасхальный звон на небе “Слава в Вышних Мироносицы”. Путь мимо винных киосков. Все расцвело в одно утро. Земные поклоны всей твоей жизни, большой, мудрой, полной страстей и задушевного жара. Улыбка, знающая все, видящая все. И меня, и все гадости мои, все строгое во мне и во всех. Азия. Верблюды. Кипень деревьев.

Кладбище, желтые трупы на досках. Все как в XVI веке. И все та же условная, чистая земля. Да будет все хорошо на ней, как в этот день весны. Церковь. Могила. Опустили. Пошли лопаты. Полетели цветы. Дай мне закрыть тебя землей, сыну твоему. А мы с тобой увидимся или разведемся навеки, и только изредка будем говорить друг с другом на языке мимо идущих людей, зверей, деревьев, трав. Только изредка.

А теперь прощай! Гимн земле и ее превращению... Гимн моему телу – звездной системе жизни. Вселенная – это гимн людских и ангельских существований. Это огромный чудовищный хор^[160].

Назначенный круг

Летом из Москвы Луговской получил письмо от Фадеева, которое было написано ранней весной 1942 года. Видимо, в Ташкент его привез Павел Антокольский. Луговской был очень растроган дружеским посланием. Луговской ответил ему. Оба письма приводятся полностью – в них наиболее полно представлена история каждого.

Фадеев – Луговскому
20 марта 1942 г.

Дорогой старик!

Я уже посылал тебе небольшое письмо почтой. Получил ли ты его? Меня на некоторое время подкосило крупозное воспаление легких. 23-й день я уже в кремлевской больнице, и это дает мне возможность написать тебе подлиннее.

Долго скитался я по Москве, не имея квартиры. Дом наш в Комсомольском отошел под военное ведомство. Оно им, правда, не воспользовалось, но дом не отапливается, и вещи мои были вывезены родственниками и знакомыми. Наконец, я притулился на Б. Левшинском переулке у Павлика Антокольского. Здесь, в маленьком уютном кабинетике, возле полки с хорошими книгами, на диване, слегка коротковатом для меня (так что ноги мои ночью покоятся на французских поэтах), я живу. С Павликом мы более или менее сошлись в Казани. Душа у меня к нему издавна лежит. В нем есть что-то душевное и благородное, без показного, – он очень застенчив, что очень талантливо изображает Ираклий Андроников, – он умен и эмоционален, талантлив и любит поэзию. Зоя очень мила и добра. Квартира у них теплая и какая-то по-особенному уютная. Выходит, мне там хорошо.

Коля Тихонов, вызванный на некоторое время из Ленинграда для одного задания поэтического характера, еще здесь, но скоро уедет, вернее – улетит. Старик прилетел очень худым и изможденным, ступал своими кривоватыми ногами в бурках не очень твердо – от изнуренности, но настроен исключительно светло и мужественно. Здесь мы его кормили и поили сколько могли. Вскоре он пополнел, посвежел, глаза его заблестали, и вскоре обнаружился все тот же не сгибающийся, смеющийся, рассказывающий все самое необыкновенное,

старый, седой дьявол. До моей болезни легких мы виделись почти ежедневно, хотя, правду говоря, времени для дружеских бесед стало очень мало. Он работал, как зверь, заполняя газеты и радио, а моя судьба уже известна. Но дней шесть-семь я болел гриппом, и тут мы немало почитали стихов в обществе Павлика и Зои, Риты Алигер и Виктора Гольцева (он приезжал на побывку с фронта и жил у Антокольского), Коли и меня. Самое забавное, что в течение 3 дней вся эта компания жила у Павлика веселой и дружной коммуной. Москва теперь совсем не такая, какой ты ее знал. Особенно интересной она была в первые дни нашего возвращения. Она еще хранила печать самых суровых дней обороны ее – была вся в баррикадах, заснеженная, многие дома стояли, как обледенелые глыбы. Потом она стала быстро заполняться народом, теплеть и расчищаться на глазах. Однако и сейчас она очень демократична, бобровых воротников почти не видать, много военных – нет коммерческих магазинов и ресторанов, атмосфера подтянутости и дисциплинированности. Но, боже, до чего Москва бывает хороша в солнечные морозные дни или лунные ночи – хочется бродить и бродить по ней без конца!

Как-то, выйдя от Павлика, я вспомнил, что рядом находится музей Голубкиной, и зашел туда. Дом был заморожен, вход открыт, я поднялся по лестнице, никем не встреченный. Интеллигентного вида пожилой мужчина, в потертой бобровой шапке, с бородкой, как у Луначарского, что-то делал среди заколоченных, с торчащей в щелях соломой, ящиков – руки у него были скрючены и синие от мороза. Я назвал себя, сказал, что я поклонник таланта Голубкиной, – он так и просиял! Выяснилось, что гипс и мрамор вывезли, а бронза была запакована в эти страшные ящики.

Я ушел с внезапно возникшей грустью в сердце, вызванной, должно быть, воспоминаниями о том, как мы ходили с тобой по этому музею в другие времена.

В эти суровые дни, когда все так заняты, напряжены, ожесточены, когда ложишься и встаешь с постели, измученный и озабоченный, воспоминания действуют с силой почти разящей. Во время моей болезни гриппом договорились с Алигер, как только поправлюсь, вместе съездить в Сокольники: мне нужно было узнать, куда эвакуировалась семья самого младшего моего брата (он тяжело ранен, лежит в госпитале в Пятигорске), а ей – навестить родню мужа, убитого на фронте. От круга пошли пешком по пятому Лучевому просеку. И вот я снова был у дачи, с которой у меня так много связано и где ты неоднократно гостил у меня зимой и где мы бродили летом. Забор был спален на топливо, лес вокруг сильно повырублен. Но все-таки это были те же Сокольники, чудесные, как юность. Потом мы подошли к тем местам, где однажды мы попивали с тобой чудесный кагор прямо из бочонка, а потом выяснилось, что родственники Алигер живут в тех же скорострой-ках на поле, мимо которых мы с тобой прошли, когда

ходили на могилу твоего отца. И вот тем же полем, но в снегу мы прошли к церкви на кладбище^[161].

День с утра был пасмурный, но тут разыгрался ветер. Церковь стояла такая же прекрасная, старинная, уходящая ввысь, со своими русскими крыльцами. Я долго лазил по снегу, проваливаясь иногда выше пояса, – все хотел найти могилу твоего отца. Но многие кресты целиком были под снегом (эта зима вообще очень снежная), а в некоторых местах из-за снега невозможно было пролезть. Так и не удалось мне найти могилу. Когда мы подошли к самой церкви, мы услышали, что там идет служба, – день был воскресный. У главного входа эти звуки стали особенно ясны – это была служба без пения, только голос священника явственно доносился из пустой и холодной церкви. На паперти внутри стояли нищие с клюками, и так все это необыкновенно было в современной Москве! Просто диву даешься, сколько вмещает в себя наша Россия! Пройдя через знакомую тебе деревушку, которая славилась в старой Москве своими ворами, мы вышли на шоссе, ведущее к сельскохозяйственной выставке. В это время выглянуло солнце, и кресты на церкви с их заиндедевскими цепями и заиндедевские ветви кладбищенских деревьев, выглядывавшие из-за крыш деревни, вдруг засверкали на солнце радостно и весело. Некоторое время мы еще видели эти кресты и деревья из окон троллейбуса, потом их не стало видно, но они навсегда остались в моем сердце.

Милый старик! Ты должен сделать все, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть. Это значит, что все физические и духовные силы нужно подчинить только этой задаче. Но для этого надо вернуть себе то моральное состояние, которое возникает у сильных людей, когда они вновь начинают верить в возможность добра и счастья. Мне кажется, таким ты был в Соснах. Это моральное состояние ты должен вернуть. Для этого ты должен ликвидировать абсолютно все, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания – женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые), посадить себя на режим, читать Джека Лондона и Стивенсона и больше гулять на воздухе.

Крепко жму твою руку. Поцелуй Ольгу Михайловну и мою незабвенную Туею. Сердечный привет Елене Сергеевне и Сережке, когда их увидишь.

Твой Пит Джонсон (эсквайр)^[162].

В ответном письме, отправленном, видимо, летом 1942 года, Луговской писал Фадееву:

Милый старик, любимый друг!

Получил твои письма одно за другим и был несказанно счастлив, обрадован, даже как-то восхищен – так они вовремя ко мне подоспели, так укрепили меня и поддержали. Первое письмо прочел вечером в Союзе, влезши на письменный стол, под лампочки (зрение у меня от

болезни совсем стало плохим). Второе прочли мне Туся и Елена Сергеевна, когда я лежал после паршивого припадка. В предбредовом состоянии (?) я увидел ясно, ясно и тебя, мой родной, и Сокольники и кресты, заиндевелившие на морозе. Было мне сладко и страшно грустно. Мудрую твою братскую заботу понимаю, принимаю от всей души, от всей моей жизни и благодарю тебя за нее. О твоей болезни я узнал от Ирины Вирта. Она сказала, что Фадеев “тяжело болен”. Я мучился неведением и все время думал, что же с моим эсквайром, какая у него напасть, выберется ли он. В самые наши светлые уфимские дни ты никогда не был так дорог, так близок мне, как теперь. С тобой – юность и стихи, веселье и горе, беседы до утра и родина.

Умерла мама. Умерла после трех месяцев страшных мучений. Как она кричала и плакала, как постепенно уходили клочки сознания! Было очень, очень трудно, но смерть как всегда неожиданна. Умерла она, как и отец, на третий день Пасхи и тополя уже распустились. Я тогда лежал больной наверху у Елены Сергеевны и только вечером спустился и сидел у маминого тела. Лежала она строгая, властная, умная. Сидел я и вспоминал всю жизнь, начиная от каких-то лошадок с мочальными хвостами, кончая ее муками, эвакуацией, столами и кашлем за стеной. И много я тогда думал о тебе, ведь она так тебя любила. Схоронили мы ее хорошо, светло. Были хорошие люди, солнце, синее, синее небо, цветы, тихий уголок на кладбище, совсем русский – церковь, кресты-голубцы. Сам я ее и закопал. Вот еще один огромный кусок жизни кончился. Поплакал я над ней и многое понял в своей жизни.

Что же сказать о себе? Состояние мое, говоря по-братски, тяжелое, трудное. Болезнь моя для санатория с белыми кроватями и разнообразными птичками, а не для сурового времени войны. Поэтому (плюс страшноватая обстановка дома) я до последнего времени чувствовал себя все хуже, стал закатывать припадки и испытывать чертовскую слабость. Последние месяцы мы вообще мало спали, а я находился где-то посередине между галлюцинациями и кошмаром. Теперь, особенно после твоих писем, в голове немного пояснело. Ты правильно понял, что различные фарисеи не прочь были “отравить мой бедный суп”, – как поется в старой узбекской песне. Наша московская “эмигранщина” – это зверье и скорпионы в банке. Живут здесь сплетнями, склоками и искренне радуются любой возможности подарить ближнему змею с розовым бантиком. Я человек вообще мнительный и самолюбивый, да к тому же псих и на каждую брехню – увы! – реагировал более чем болезненно. Устраиваться я не умею, просить ничего не просил, и было мне туговато. Ни к кому не ходил, не кланялся. Одно хорошо, что узбекские писатели очень сердечно ко мне относились. А здесь шла борьба за власть, пытались создать новые Афины, поливали грязью и наш Союз, и местный Союз, собирали подписи, писали петиции и проч. и проч. Я в этом участия не принимал и не был причислен к аристократам духа. Один только граф вылил на

тебя минимум ассенизационный обоз. Это было для меня противно и паскудно. Теперь, конечно, времена уже не те: все мальчики приутихли, канделябры погасли, Афины не получились. Мне же помогли (опять-таки узбеки и Союз), прикрепили к хорошему распреду и столовой. Когда хоронили маму, Союз трогательно обо мне позаботился, помог, поддержал. Спасибо моим азиатам! Поэзию они любят, а спесивых литераторов – не очень. А ну их, к черту!

Стал лечиться. Вина довольно давно не вкушал. Промаялся недели полторы, было мне очень худо с ногами и головой, но сейчас только страшная слабость и чувство безотчетного страха – все от истощения нервной системы. Отпустил себе усики самого неприятного вида и хожу, опираясь на палку, сделанную мной из бильярдного кия. Во всяком случае, работать стало мне легче, хотя вообще работаю с трудом, преодолевая слабость, но упорно. Так вот теперь о работе. Работаю над второй книгой “Жизни” (очень медленно). Написал целый ряд лирических и даже философических стихотворений. Про самое последнее из них – “Троя” – Елена Сергеевна хорошо сказала: “Ничего не понимаю, но очень красиво”.

Написал и выпускаю книжечку агит. стихов. Печатал их здесь в газетах. Сделал ряд радиопередач, писал для радио. Редактировал в издательстве. Вместе с Вс. Ивановым работаю над “Историей пограничных войск Ср. Азии” – дело приятное и знакомое. Написал заявку на короткометражку, эскизное либретто сценария о пограничниках. Теперь буду работать над песнями и текстом к фильму “Иван Грозный”. Эйзенштейн заказал. Поеду на два дня в Алма-Ату к нему. Может быть, кино вывезет, а то материально – неважно. Еще раз повторяю – голова дурная, работать трудно.

После двух совещаний в ЦК у Юсупова, на котором выступал, я настрочил длиннущее письмо в ЦК о постановке агитпроп-работы в Узбекистане.

Трогательно ко мне относится Гафур-Гулям, который, кстати, чудесный поэт, брат по духу. Абсолютный дервиш и очень нежно тебя любит. Очень хорош рыжий Мишка Брестинский, Леонидов.

Здесь тепло, не очень голодно, зимой и весной шли тысячепудовые дожди, и я хоть и нахожусь в каком-то беспомощном состоянии, в каком-то – как бы это выразиться? – полусне, но все же известную пользу-то приношу. После окончания работы с пограничниками мне, по совету врачей, конечно, надо будет еще отлежаться дома. Не знаю, получил ли ты мое письмо, в котором я писал, что меня вовсе сняли с военного учета по здешней пуровской перерегистрации. Все же, если обстоятельства позволят, я сделаю все, чтобы не быть вечно в инвалидном состоянии.

Перспективы и планы мои сводятся к тому, чтобы пока быть здесь, лечиться, выбираться из оцепенелого и дикого состояния и работать, работать, не сдаваться. Глупо то, что, нуждаясь в постоянной опеке,

сознание как-то деформировалось и самые простые практические вопросы вырастают в горы и снежные хребты, и, например, 24-часовая поездка в Алма-Ату кажется мне бесконечно трудной и мучительной. Ночью вскакиваю весь мокрый от ледяного пота и зажигаю свет. Темноты же не выношу совсем. стакан вина же оглушает, и я мгновенно выпадаю из сознания. Поэтому после одного обеда у пограничников, кончившегося тем, что я чуть не свернул себе мозги, я решил в компаниях не бывать. Вообще теперь стараюсь находиться дома.

Советы твои – правильные, добрые, мужские. Ты, эсквайр, много, очень много сделал для меня в жизни, и твоя забота, твоя братская, верная помощь в самые трудные минуты держала и держит меня в этом лучшем из миров.

Еще раз повторяю, что письма твои и все то, что ты передал мне с друзьями, оказали мне поддержку необычайную и даже труднообъяснимую. Ты, наверное, ходишь худой после болезни с поднятым потертым бобровым воротником и трешь уши, и смотришь на все медвежачьими глазками. Я знаю каждое твое движение и интонацию. Вот приходишь ты в музей Голубкиной, а вокруг ящики, за стеной мороз, Москва. А помнишь Крым, шторма, фонари на молу, таверну, чебуреки, ветер в ущелье “Конька-Горбунка”. Все, все это – жизнь, это живет как самое лучшее в душе, как чувство, смысл и содержание жизни. Я думаю, что это называется чувством родины, до такой степени ты мне близок.

“Ты меня, родной, не выдавал.

Никому и я тебя не продал”.

(“Конек-Горбунок”)

Ты как-то сглаживал мои нелепости, вправлял мозги, всегда требовал и требуешь, чтобы я на многое “наплевал и забыл”, любил все лучшее, что я сделал. Видели мы вместе и радости, и горе, а дружбу с тобой я всегда несу с гордостью, потому что всякие мелкие срывы забываются, а благородное и высокое остается и будет определять все на свете, пока живет человечество. Помнишь наши разговоры в Уфе, когда мы сидели у придорожной канавы и отыскивали созвездья? Во многих людях я разочаровался. Вот лежали мы в Барвихе с Уткиным и ехали в одном купе; думал, что подружился с ним, а оказался он злым, самовлюбленным и страшно холодным человеком. Много раз доверчивость моя к людям летела к черту, и на душе лежат горькие осадки. Но ты через все испытания в нашей, в своей и моей жизни прошел как большой человек и большой, щедрый на чувство друг. Сколько переговорено, сколько пережито вместе. И вот в ташкентском

моем сидении я снова все это переживаю и все нахожу правильным и глубоко человеческим. “И увидел Бог, что это хорошо”. Сердце мое переворачивалось, когда я читал в письме, как ты старался отыскать папину могилу и шел по Сокольникам. Спасибо тебе за все. Настанут, верю, хорошие дни, и передам я тебе тысячу тысяч больших и сердечных мыслей, которые во мне, во мне зародились.

Буду читать Стивенсона и работать как могу, и смотреть на солнце, пока можно. Буду писать тебе со всякой оказией. Помни, что каждая твоя строчка для меня дорога и придает мне бодрости.

Живем мы сейчас очень тихо. Дочку свою с ее матерью я устроил в Сталинабад, мать ее получила хорошую работу. От Мухи давно не получал вестей. Елена Сергеевна и Туся выходили меня последний раз, и одиночества я не чувствую. Привет всем моим друзьям, которые меня помнят, большой, большой привет. Они, как и ты, работают в очень трудных условиях, и я всех помню и о всех думаю, особенно о Коле, Павлике и Маргарите.

Вот видишь, разразился я длиннейшим письмом и выложил все о своей жизни и своей душе. До свидания, милый, старый, бесценный друг. Тысячи верст разделяют нас, но тебя я чувствую совсем рядом. Ты поддержал меня, как всегда поддерживал, и у меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя, да ты и сам все знаешь и чувствуешь. Целую тебя, Пит эсквайр, старина, китобоец, милый, родной мой брат. Отблагодарить тебя смогу только делом. Не забывай.

Целую тебя крепко, крепко, обнимаю и вечно люблю. Твой Володя.

Письмо сопровождала записка Елены Сергеевны:

Сашенька!

Володя, уезжая в Алма-Ата (на несколько дней), попросил меня найти оказию и отправить тебе это письмо.

Кроме того, пишу тебе отдельно – с этой же оказией. Л<ена>. ^[163]

У Луговского остались в Москве два близких друга – Павел Антокольский и Александр Фадеев: артистичный, несколько старомодный Павлик и романтический, азартный и все более напряженный от тесного общения с властью Фадеев. В начале 1942 года в доме Павла Антокольского, который на короткое время был эвакуирован в Казань, но быстро вернулся в Москву, собиралось множество народу. Здесь возник своего рода военный литературный салон. Приезжали прямо с фронта, чтобы обогреться, повидаться, прочесть новые стихи. Наездами здесь бывали Долматовский, Симонов, Гольцев, Данин, Рунин, Алигер. Арбатская квартира Антокольского и его жены Зои Бажановой была всегда открыта для всех. Но неожиданностью для целого ряда друзей было то, что в начале 1942 года у них вдруг поселился Александр Фадеев, оказавшись бездомным.

Он вернулся в Москву в конце декабря из Чистополя; его дом в Комсомольском переулке отошел под военное ведомство, принадлежавшее НКВД. Возможно, что его просто собирались взорвать

в октябрьские дни, оттого он не отапливался. Почему Фадеев нашел приют в маленькой двухкомнатной квартире Антокольского, вечно наполненной людьми? Он как секретарь Союза писателей вполне мог поселиться в гостинице “Москва”, но оказалось, что на улице Щукина ему было теплее.

В годы войны квартира Антокольского на улице Щукина, – писал критик Лев Левин, – превратилась в нечто среднее между литературным штабом и гостиницей для фронтовиков.

Здесь кое-как поддерживалось тепло. Гостей угощали кружкой черного кофе без сахара и куском хлеба с солью. Сюда приезжали прямо с фронта, чтобы немного обогреться, повидать друзей, почитать стихи^[164].

“Милым Зое и Павлику на память о суровой и прекрасной зиме начала 1942 года на улице Щукина, д. 8, – с неизменной любовью. Ал. Фадеев”^[165], – написал он на своей книге.

Судя по письму Луговскому в Ташкент, Фадеев переживал необычное состояние, вернулись разговоры о стихах, литературе, споры, дружбы, а отступила отвратительная номенклатурная возня последних лет. Он рассказывал о тех днях в Москве с каким-то особым, небывалым, забытым чувством.

В поэме “Твоя победа” Маргарита Алигер написала об атмосфере фронтового братства, царящего тогда в доме Антокольского:

Путь сюда со всех вокзалов прям.

Никаких не слали телеграмм,
просто днем и ночью приезжали.

И стоял в дому веселый гам,
и рюкзаки на полу лежали.

И когда ты мимо ни пройдешь
и в какое время ни зайдешь,
неизменно в маленькой прихожей
чьи-то полушубки и мешки.

– Кто у вас в гостях?

– Фронтовики. —

И пахнёт махрой, овчиной, кожей.

Так получилось, что оттуда Фадеев попал в больницу с гриппом, осложненным пневмонией. Сопровождала его туда Маргарита Алигер. 25 марта 1942 он писал ей:

Комендатура. Передать М. Алигер от А. Фадеева. Милая Рита! Я вас бесконечно люблю. Я до глубины души благодарен вам за доброе отношение ко мне. Я всегда буду помнить, как вы сидели в санитарной машине возле меня, лицо у вас было такое светлое и красивое, и выражение глаз, неподвижных и смотрящим мимо меня, очень грустное.

То, что вы приходили ко мне, приносили книги, ваши записки – все это очень трогало и волновало меня и ни о ком за время болезни я не думал так много, как о вас.

Если вам когда-нибудь понадобится преданный негр, вы всегда можете рассчитывать на меня. Я могу поднимать и носить тяжелые вещи, защитить от злой собаки или злого человека и петь заунывные песни – в общем, вы всегда сможете меня как-нибудь применить. Ваш А. Ф.^[166]

Семья Фадеева оставалась в Чистополе, а у них с Алигер, возможно незаметно для них самих, начался роман, который повлиял на последующую жизнь каждого. И дом Антокольского стал местом их встреч.

После больницы Фадеев вернулся на Арбат к Антокольским, а отношения с Маргаритой продолжались. “Я уже выписался. Нахожусь дома у Павлика. Так хочу вас видеть! Крепко вас целую. А.”^[167]

Великолепный Саша прочно обосновался у нас, – писал Антокольский своему другу Виктору Гольцеву на фронт 21 апреля 1942 года. – Человек он милейший и обаятельный. Но внес ужаснейшую безалаберность во все, в том числе в наш быт. Вечная тоска о горячем, при его авторитете почти постоянная возможность достать его – это очень утомительно! Каждый вечер он дает зарок: завтра сажусь работать. А потом он спит сколько влезет, встает, зевает, решает, что еще надо прогуляться, и так проходят недели и месяцы. Он бедняжка: раб хорошего характера, раб доброты и добродушия^[168].

В конце зимы Фадеев с Маргаритой совершили поездку в Сокольники, где она хотела навестить родственников погибшего мужа, а Фадеев искал знакомых, которым было что-то известно о судьбе его младшего брата, тяжело раненного; он лежал в госпитале в Пятигорске.

Подробное описание дороги от Сокольников к Алексеевскому кладбищу, где был похоронен отец Луговского, а затем к Тихвинской церкви, что на кладбище, а главное, живое описание крестов выдает в нем писателя, далекого от соцреализма. Не попади он в переплет времени, неизвестно, каким бы писателем он стал. Однако, как мы увидим ниже, религиозный вопрос становился в жизни военного поколения достаточно серьезным.

Маргарита Алигер в те месяцы писала поэму о девушке-партизанке Зое, повешенной фашистами в подмосковном селе Петрищеве. Эта поэма превратила имя Зои Космодемьянской в настоящую легенду. Маргарита Алигер за книгу получила Сталинскую премию, которую до копейки, как это было принято тогда, отдала на оборону. Летом они вместе поехали в блокадный Ленинград.

В Ленинграде продолжал работать Тарасенков. Блокадниками каждый приехавший встречался с неопишуемым восторгом. Во-первых, приезжали друзья, можно было увидеть близкие, родные лица, во-

вторых, что было немаловажно, привозили еду. По письмам Тарасенкова, который подробно пересказывал ленинградские события, трудно представить, что он голодал: он скрывал это от жены, чтобы не расстраивать ее. Выдавало его то, что он слишком уж подробно перечислял названия продуктов, которые ел. На Ладогу он выехал в середине мая по приказу командования уже с признаками дистрофии.

Итак, часть той же компании, которая провела несколько недель в доме Антокольского в Москве, едет в Ленинград. Тихонов выезжал за Сталинской премией, о которой, надо отдать ему должное, ни словом не обмолвился в письме Луговскому. Возможно, ему не хотелось противопоставлять себя, лауреата, им, живущим в Ташкенте, “отсиживающимся”.

В мае 1942 года Тарасенков пишет жене в Ташкент каждый день, а иногда два раза в день. Он посылает ей свои патриотические лирические строфы, которые печатает в газете, а также трогательные стихи, посвященные ей лично. Его собственные опыты были слабы, несмотря на очень высокое поэтическое чутье.

1 мая. 1942

Ну, Машка, событий уйма. Во-первых, прилетел из Москвы Николай Семенович Тихонов, расцветший, хороший, сильный. И вместе с ним Фадеев и Алигер. С Фадеевым мы целовались, как родные... Дурак я, забыл все то горькое, что сам о нем думал и говорил... С Маргаритой мы просидели и говорили до двух часов ночи... Все не передашь, но говорили мы с ней бесконечно, читали друг другу стихи. Она молодец. Выглядит прекрасно, пишет хорошие стихи (особенно об эвакуации в Казань). Сюда, к нам, она и Фадеев прилетели дней на 10-15. Привезли мне письма от мамы – от 22 апреля <...>. Хотим с Маргаритой пройти сегодня по городу – я хочу ей показать все...

1 мая. 1942

<... > Прилетел из Москвы Тихонов. С ним – Фадеев и Алигер!.. Они сюда недели на две. Радость встречи с Маргаритой очень велика. Молодец она! И хорошие стихи пишет. Весна, весна... Небо чистое, светлое, в шинели жарко. Ну, будем бить фрицев и летом... Славно стали работать зенитчики – то и дело, пылая, юнкеры летят на землю. Рад твоим продажам. Есть хоть деньги. Увы, мне нечего тебе послать к празднику. Целую Брысы. Толька.

2 мая. 1942

<...> Пишу тебе неутомимо. Маргарита здесь – приехала с Фадеем и Тихоновым дней на 15. Какая она? Внешне не изменилась. Чистая, нарядная, здоровая. Это очень радостно. Стихи она пишет очень хорошие. Особенно одно – о поездах, идущих осенью на восток, с детьми и женщинами. Это – на основе казанских впечатлений. Вещь сильная, правдивая... Долго-долго говорили мы с Маргаритой.

Итак, весна. Она должна стать весной победы, весной радости. Но еще далеко до нашей встречи, о которой столько мечтаем мы с тобой...

Далек Ташкент, что-то больше 4000 километров... Если бы эти километры идти пешком, то понадобилось бы 150 дней. Я бы дошел, пожалуй, если бы было можно. Но пока ни я, ни ты не имеем права еще мечтать о скором свидании. Я иногда нарочно заставляю себя не думать об этом. А то уж очень начинает хотеться... Нельзя так. Эти майские дни я переживаю с какой-то особой остротой. Я не могу забыть, как было в мае год назад, как гуляли мы с тобой, как провожал я тебя на вокзал. Милый, родной мой махаон-брыса!..

День уходит за днем. Идет одиннадцатый месяц великой войны. И теперь, оглядываясь, видишь, как невиданно быстро все менялось вокруг. Каждый из месяцев неповторим, каждый не похож на другой. Душевно самым трудным был сентябрь. Физически – январь. Кто знает, какие еще испытания впереди. Но надо все выдержать.

3 мая. 1942

Я уже писал тебе, что вернулся из Москвы награжденный Сталинской премией Тихонов. С ним ненадолго прибыли Алигер и Фадеев... Алигер между прочим рассказывала – была она в Малеевке. Сволочи немцы все сожгли, даже деревья вокруг нашего дома отдыха... От города Рузы осталось несколько домов... Ах, как там было нам хорошо с тобой. Помнишь? – почти 2 года тому назад, после того как я отболел почками <...>.

Вернулась вылетавшая Ольга Берггольц. Ты ее, впрочем, кажется, не знаешь. Прибавила она за полтора-два месяца пуда два. Пишет очень хорошие стихи (до войны писала бледно, вяло). Сегодня туман, дождь...

Настроение у меня кисловатое. Погода влияет на меня очень... Но жить и работать мне очень хорошо.

3 мая. 1942 (второе письмо)

Снова мы с Маргаритой ходили по городу. Она рассказывала о друзьях. Женька Долматовский, несмотря на все свои приключения, по ее словам, остался таким же легкомысленным балбесом. Мишка Матусовский приехал раз в Москву на 3 дня и женился на какой-то секретарше эстрадного управления. <...> Ну, Костя <Симонов> преуспевает. У Фадеева нет машины, а у него есть. Скоро он будет самым главным начальником на свете. Ужаси какие!.. Потом очень коротко – Маргарита рассказывала о гибели Кости <Макарова>. Она написала об этом замечательное стихотворение “Музыка”, которое вместе с другими читала вчера на т<ак> н<азываемом> “Устном альманахе” в Союзе писателей (это новая форма, возникшая во время войны).

5 мая. 1942

Родная моя!

Вот снова пишу тебе... Вчера был в Союзе писателей. Фадеев делал доклад о работе ССП. Затем – прения. В числе прочих выступил и я. Много было разговоров о “тыловых писателях”. В конце концов нам

всем надоело злиться на них, пусть пишут, работают, ведь в тылу нужна литература. Всем нам несколько прискучила роль “непримиримых” по отношению к Виртам-Лавреневым и проч. Бог с ними. Есть более важные дела. Завтра организую у себя большой литературный вечер – будут Фадеев, Тихонов, Алигер, Берггольц. Пусть наши ребята послушают...

10 мая. 1942

<...> У нас – Фадеев и Алигер. Приехали вместе с Тихоновым. Встреча – исключительная. Все сразу Фадееву простилось. Кажется, у них с Марго роман. Но это – колоссальная тайна. Не болтай абсолютно никому. Маргарита пишет очень хорошие стихи.

14 мая. 1942

<... > Улетела Алигер, увезла письмо тебе, письма маме^[169].

Фадеев, как пишет Тарасенков в одном из писем, сел на трамвай и поехал на фронт. Эта замечательная деталь есть в знаменитом фильме об обороне Ленинграда “Два бойца”, который снимался в Ташкенте, там был такой титр: “Линия фронта проходила в конце трамвайного пути”.

Маргарита поехала к матери и дочке на Каму. Проезжала через Чистополь и Елабугу. Когда она вернулась в Москву с Камы, в Москве уже была семья Фадеева, и их отношения постепенно сходили на нет.

Мария Белкина вспоминала, что когда в конце 1942 года оказалась в Москве, прилетев из Ташкента, у нее не было карточек:

Я голодная, ни карточек, ни прописки. Маргарита знает, что я живу у домработницы.

– Ты не можешь сейчас ко мне приехать, – сказала она. – Меня грузины пригласили в “Москву” на ужин. Приходи ко мне и съешь суп.

Она уверена была, что ее накормят. Я поехала и съела ее суп. Оказалось, что ее там не кормили, а просто поговорили; так она и осталась голодной^[170].

Оказалось, что Алигер ждет ребенка от Фадеева. Беременная, она выезжала на линию фронта, не боясь, что убьют. Личная перспектива была для нее настолько ужасной, что ей вдруг стало все равно. И все-таки в 1943 году у нее родилась девочка, которую она назвала Машей.

Фадеев вернулся в семью.

Милая Рита! – писал он ей в записке. – Гости быстро разошлись, и у меня была в полном моем распоряжении вся ночь – оставляю письмо у Павлика, как ты просила.

Я должен сейчас ехать, во что бы то ни стало, и буду в городе во вторник 12-го. Милый дружок, я ничего не могу ответить тебе сейчас, но я привезу тебе ответ: не бойся, я не буду мучить тебя больше, чем я это уже сделал на земле, но мы должны все сказать друг другу – было бы нехорошо тоже перед Богом, если бы чего-то не договорили в таком глубоком душевном деле, как наши отношения и все что с ними связано. Поэтому я тебе отвечу и оставляю письмо либо у Павлика, либо передам тебе на квартиру^[171].

Фадеев в это время пишет военный роман в духе образцов соцреализма – “Молодую гвардию”. Слово “Бог” в записке – не фигура речи. Они слишком много пережили, оказываясь на фронте, и понимали жизнь уже иначе, чем в 1930-е годы.

Летом, в июне, у Павла Антокольского погиб 18-летний сын Володя. Он только-только выехал из училища летчиков из Средней Азии на фронт и очень скоро был убит. Отец проводил его 10 июня с Киевского вокзала, около часа они гуляли по городу, Володя волновался за отца, за его жизнь в военной Москве. 6 июля его убили в бою.

Все мальчики – Всеволод Багрицкий, Володя Антокольский, Георгий Эфрон, – как правило, погибали через месяц-другой. Как и огромная часть народа, они стали тем пушечным мясом, в котором увязла немецкая армия.

Вовы нет. Маленькая жизнь кончилась, не начавшись, – записал Павел Антокольский в дневнике. – Жизни его еще не было. Он не успел ничего. Только и успел, что вырасти здоровым, красивым, готовым для борьбы, любви, счастья. Всего этого ему не пришлось испытать. Ничего не пришлось испытать. Ничего, кроме расставания и первых впечатлений от страшной кровавой войны... Маленький, скромный, иступленно-правдивый и честный человек почему-то, по грозной случайности природы был моим сыном. Сначала он был детенышем, потом кудрявым хорошеньким мальчиком, на которого все заглядывались, потом школьником, скучал, рос, становился все лучше, все краше, все умнее; вырабатывался характер, воля, свой взгляд на мир... Все это кончилось, кончилось, кончилось навеки. Зачем я это пишу?^[172]

В биографической книге Левина приводится письмо Антокольского к Долматовскому с трагическим известием о гибели сына.

18 июля 1942 года. Дорогой мой, милый Женя, 7 июля на фронте убит мой сын Вова. Об этом пришло письмо от его боевого товарища, сказано, что “в ожесточенной схватке с врагами погиб смертью храбрых”, сказано, где похоронен.

Я решил тебе написать об этом потому, что ты так недавно видел моего мальчика, и еще потому, что я привык относиться к тебе если не как к сыну, то как к младшему брату – и вот хочу поделиться с тобой моим горем.

Женя! Я написал тебе это, и больше ничего не могу сейчас прибавить к сказанному. Наверно, у меня в голове до конца не уложилось то, что произошло, – оттого что, видишь, она не раскололась, строчки письма прямые.

Женя, я очень часто вспоминаю тебя и от всей души желаю тебе – еще и еще раз – здоровья и сил. Сегодняшние твои стихи в “Правде” были как привет. Пожалуйста, напиши несколько слов, когда будет время, и Расскажи о моем мальчике всем нашим общим друзьям. Целую тебя крепко. Твой Павел^[173].

Друзья пытались найти слова для осиротевшего отца.
Дружество – диковинный талант —
будет нам испытанным оружием.
Младший братец, младший лейтенант,
спи спокойно, мы тебе послужим.

Это строки Маргариты Алигер из стихотворения, посвященного Володе. Долматовский с фронта прислал любимому учителю Павлику письмо со словами: “Ты написал мне как старшему сыну, и я хочу им быть. Ты знаешь, как я люблю тебя, теперь я нашел форму для этой любви – она сыновья”.

Радостный, доброжелательный – он буквально окаменел. Сидел за своим столом в комнате и бесконечно то рисовал, то стирал набросок портрета погибшего мальчика. Друзья уговорили его съездить в Ташкент, где жили мать Володи – Н. Н. Щеглова – и дочь Павла Григорьевича, надеясь, что это спасет его от мучительной депрессии. В конце июля он выехал в Ташкент.

А потом приезжал Павлик Антокольский, – писала Мария Белкина, – его дочь Кипса жила в нашем доме, и мы с Павликом часами кружили по узким улочкам вдоль глинобитных дувалов, за которыми были скрыты дворы и дома узбеков, и он говорил, говорил о своем красавце сыне, только что убитом на фронте^[174].

Совсем недавно мальчик Володя, учившийся неподалеку от Ташкента, из тех мест ушел на фронт. Для Антокольского было важно прикоснуться к тем местам, где только что сын на плацу печатал шаг.

Из Чистополя летела телеграмма: “Глубоко чувствую твой удар горюю вместе целую Пастернак”^[175].

А еще в феврале в Чистополе умер, не дожив до года, сын Жанны Гаузнер, дочери Веры Инбер. Летом она отправилась к дочери и, проезжая через Москву из блокадного Ленинграда, узнала о гибели сына Антокольского. В Москве встретила старого друга по конструктивизму, возглавлявшего когда-то их объединение, – Илью Сельвинского. Вместе они отправились в Чистополь. Гедда Шор вспоминала:

В переполненном зале Дома учителя была встреча с прилетевшей из Ленинграда Инбер и приехавшим с фронта Ильей Сельвинским. Инбер читала (кажется, еще не оконченный) “Пулковский меридиан”:
...Я потеряла внука на войне.

О нет, он был не воин,
он должен был начать ходить к весне...

Ее оборвал душераздирающий вопль из зала: “Мама, не надо!”^[176]

В зале в президиуме сидели Исаковский, Пастернак, Сельвинский, Асеев. Вера Инбер рассказывала невиданные вещи о голоде, умирающих на улицах людях. Это выглядело неправдоподобно. Писать об этом в письмах было нельзя.

Павленко в письме, которое шло через руки, минуя цензуру, написал жене Наталье в Чистополь о том, что из Ленинграда приехал Тихонов и рассказывает ужасные истории о голоде и повальной смерти горожан. Но Павленко настоятельно просил свою жену никому об этом не рассказывать.

Милый, милый Володя! – писал Луговскому после посещения Москвы вернувшийся из блокадного Ленинграда Николай Тихонов. – <...> Я о тебе много расспрашивал в Москве, узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну, ничего, старина, пройдет и это страшное время, не будет же война длиться сто лет – кончится раньше, – и мы с тобой поедem в какую-нибудь солнечную долину и тряхнем кахетинское под развесистой чинарой или под чьим-нибудь гостеприимным кровом. <...> Друг милый! Это ничего, что так сложилось, что ты в Ташкенте. Город старинный вроде Багдада, город поэтов. <...> Потерял я много родных за эту зиму, ничего не поделаешь, старик добрый, хлебнули мы горюшка^[177].

Тихонов, которого удалось несколько откормить и поправить в Москве, вернулся в умирающий город к своей жене, чрезвычайно мужественной женщине, поддерживавшей всех своей стойкостью. “Наш Тобрук на Неве живет сурово. В городе пустынно и прекрасно”, – осторожно писал Тихонов о Ленинграде, про который в Ташкенте ходили страшные слухи.

Жизнь двора на Жуковской

Елена Сергеевна Булгакова осталась на балахане в их домике на Жуковской своеобразной хранительницей домашнего очага. С ней жил младший сын, Сережа Шиловский. Старший сын, Женя, был на Западном фронте. До войны он жил в семье отца – видного генерала Е.А. Шиловского. Это было условие бывшего мужа, когда Елена Сергеевна оставила его ради Булгакова. Спустя два года после ухода Елены Сергеевны Шиловский женился на дочке Алексея Николаевича Толстого Марианне. Сергей с шести лет рос в семье Булгакова, Женя приходил в их дом на все праздники и обязательные воскресные обеды, его любовь и привязанность к матери, к брату и к Булгакову никогда не ослабевала.

Сережа в Ташкенте очень привязался к Луговскому, о чем говорят письма и открытки, которые он посылал, уже покинув Ташкент.

Оставшись в Ташкенте, Елена Сергеевна писала в Алма-Ату грустные и смешные письма.

Дорогой Володенька, я решила тебе написать письмо на машине и притом большими буквами, а то иначе ты не смог бы ничего прочесть (у Луговского в то время сильно болели глаза, он плохо видел. – *Н. Г.*), стал бы просить Эйзенштейна или свою подругу мадам Пудовкину, и все бы узнали, что я твоя содержанка. А так ты волей-неволей сам прочтешь и все будет шито-крыто. Я пишу тебе в твоей комнате, на твоём письменном столе – машинку я перетащила сюда, сплю на твоей кровати, вот. Спать очень хорошо, москиты не кусаются, они все пьяные от постоянного винного запаха в этой комнате и потому добрые. Я посылаю тебе гребенку такую жесткую, что ты никогда не сможешь ее сломать. Правда, зато ты можешь потерять ее. Ну, смотри, лучше не теряй. Я сейчас-то веселая, зато, когда ты уезжал, я совсем обалдела от страха... Сидели мы как-то раз очень мило вечером во дворе. Все вместе ужинали экспромтом, всякий принес, что было дома, получилось очень славно. Погодины, как ты знаешь, уехали в тот же вечер, что и ты. Он был, по-моему, феерически пьян. Хазин привез свою мать и сестру – они все на одно лицо, все переодетые Хазины^[178].

“В большом южном городе жизнь идет открыто – во дворе, – писал в своих воспоминаниях Эдуард Бабаев. – Большие дворы Ташкента, разноразличные, населенные множеством народа, в годы войны были настоящими Вавилонами”^[179].

В такой вот Вавилон к Евгению Яковлевичу Хазину Надежда Яковлевна Мандельштам приехала со своей старенькой матерью. Хазины действительно все были очень похожи внешне; но в худобе Евгения Яковлевича было своеобразное изящество, а Надежда Яковлевна, истощенная и истерзанная несчастьями, физической работой в колхозе, и до того не очень-то привлекательная, теперь вообще стала неотличимой от брата.

В Ташкент Н.Я. Мандельштам попала не сразу. В середине сентября 1941 года она вместе с В. Я. Хазиной (матерью) выехала в эвакуацию из Калинина в Казахстан. С конца ноября 1941 года по конец июня 1942 года Н. Я. с матерью прожили в селе Михайловка Джамбульской области, 10 февраля 1942 года Борис Кузин пишет об этих событиях своей жене А. В. Апостоловой:

Я довольно часто получаю письма от Над. Як., которая теперь почти стала моей соседкой. Она с матерью эвакуировалась в Джамбултелекул. обл. (бывшая Алма-Ата). Живет в колхозе. Трудно даже представить это существование^[180].

Мать Н. Я. к тому времени была тяжело больна. Н. Я. с матерью знали, что их сын и брат Е.Я. Хазин с женой Еленой Фрадкиной эвакуировался в Ташкент, и надеялись, что родственники вызовут их туда. Но вызов не приходил. Евгений Яковлевич писал, что у него нет возможности ни поселить, ни устроить сестру на работу в Ташкенте. В

письме к Апостоловой от 8 мая 1942 года Б. Кузин с возмущением писал:

Часто мне пишет Н.Я. Ее жизнь ужасна. Со старухой-матерью он живет в колхозе. Весь скудный скарб, что они захватили с собой, они уже давно проели. Больная Н. Я ходит на работу – роет арыки... У Н. Я. есть нежно любимый брат. Он живет сейчас совсем недалеко от нее – в Ташкенте. И он не забирает к себе хотя бы только мать. *При* этом детей у него нет. Жена всегда достаточно зарабатывала. Это какое-то людоедство^[181].

И все-таки в начале июля 1942 года Н. Я. с матерью приезжают в Ташкент. Вызов ей сделала живущая там с поздней осени 1941 года Ахматова. В письме от 8 июля 1942 года Н. Я. пишет Кузину: “Анна Андреевна говорила, что боялась думать о моем приезде, так хотела его”^[182]. Спустя две недели (29 июля 1942 года) Н. Я. сообщает Кузину, что они теперь вчетвером живут в одной комнате на улице Жуковской, 54.

Приезд на Жуковскую Хазиных, остроумно определенных Еленой Сергеевной “все на одно лицо”, на самом деле означало печальное воссоединение семьи. Надежда Яковлевна Мандельштам была близкой подругой Анны Андреевны Ахматовой, она приехала к брату, надеясь на облегчение жизни. Но ее ждала такая же тяжкая судьба и здесь: медленное угасание матери, голод, постоянный поиск заработка, отсутствие взаимопонимания с родными, их эгоизм... После отъезда Елены Сергеевны с балаханы Надежда Яковлевна ухаживала за больной Ахматовой в комнатке колдуньи, как они называли Елену Сергеевну. В те дни она пишет их общему с Осипом Мандельштамом другу Борису Кузину:

Встреча с друзьями. Основное, конечно, Женя (Хазин. – *Н. Г.*). Очень хорошо приняла Лена. Анна Андреевна – неузнаваема – так молода и хороша. Много стихов. Скоро выйдет книга. Стихи горькие и прекрасные. С этими хоть на смерть идти. <...> Но я, видно, тяжелая. Помните, какая я была болтуня? А теперь я с трудом говорю. Нужно какое-то громадное усилие, чтобы произнести слово^[183].

С Николаем Погодиным, автором “Кремлевских курантов” и “Человека с ружьем”, ни Булгакова, ни Луговской особо близких отношений не имели, а вот Пастернак через Вс. Иванова, который был его близким приятелем, относился к нему очень задушевно. В эвакуации Погодин очень много пил и отличался крайней несдержанностью в выражениях. Направо и налево ругал власть, военное начальство.

Вс. Иванов писал 29 июня 1942 года:

Провожал Погодина в Москву. Погодину перед отъездом сказал Берестинский, поднимая бокал:

– Скажи в Москве, что бы ни случилось, Ташкент врагу не сдадим – никому.

Потом, когда Погодин вернулся, он рассказывал Вс. Иванову:

Мне поручили написать пьесу “Сталин и защита Москвы”. Я спрашиваю, в чем дело? Что за чудо такое под Москвой? А какое тут чудо? Просто уложили три миллиона и закрыли живым мясом проход. Если бы не зима, быть бы чуме.^[184]

В воспоминаниях актрисы Марии Мироновой о Ташкенте, где были ее муж Менакер и недавно родившийся на свет Андрей Миронов, которого Миронова носила на выступления в большой плетеной корзине, рассказывается, что Николай Погодин написал для нее очень смешную миниатюру про двух теток с Алайского рынка. “Вы вакуированные – и мы вакуированные”, – говорили они.

Через неделю Луговской вернулся из Алма-Аты, а Елена Сергеевна продолжала свою хронику ташкентской жизни в письме к Татьяне Луговской:

Дорогая моя Тусенька, откладывала ответ на Ваше чудесное письмо, т<ак> к<ак> ждала оказии. Наконец сегодня, по-видимому, Таня Кондратова едет и берет с собой письмецо и маленькую посылочку Вам.

Родненькая, если бы Вы видели, на что я стала похожа, Вы взяли бы назад все хорошие слова, которые Вы когда-либо мне говорили. Дело в том, что москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, – москиты, о которых все упоминали мимоходом, – искушали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200–300 открытых ран, т<ак> к<ак> я не выношу, когда у меня появляется хоть какое-нибудь пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение. Истинное слово, я не шучу и не преувеличиваю.

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему твердит, что милей мово на свете нет никого.

Затем – жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов, уже безразлично, потому что это пекло. Напр<имер>, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжет зад, приходится подкладывать подушечку, а Поля с трудом ходит босиком по этим ступеням. Из-за того что москиты летят на огонь, надо закрывать окна, а тогда – так душно, что потом и ночью не отдыхаешь. Я сплю голая и без простыни даже, никогда в жизни со мной этого не бывало.

Двор значительно опустел, уехали Вы, Леонидовы, Уткин (слава богу), Файко, Зузу, наконец, – нас осталось здесь 21 человек. Двор большей частью пуст, это, впрочем, хорошо, т<ак> к<ак> если,

напр<имер>, зачнется такое веселье, как было вчера, когда вытащили стол на улицу, пили, танцевали под патефон, Погодин хамил, – я посидела для приличия 5 минут и ушла наверх. Через полчаса пришел Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги “Жизнь”. Боюсь сглазить – но, кажется, это будет замечательная вещь. Володя – молодец, с ним хорошо и легко^[185].

Булгакова вечером подымалась к себе наверх, после многих часов перепечатки под диктовку новых поэм. Елена Сергеевна с ее умением быть удивительной помощницей во всем была теперь жизненно необходима Луговскому. Иногда она оставляла ему на столе смешные записки без единой запятой.

Димочка Дима спокойной ночи сразу ложись спать не читай завтра лучше раньше встать и начать новую чудную жизнь свет гаснет уже три раза боюсь побегу домой скорей и лягу спать пока горит Димочка не читай право послушайся меня а я Киплинга нашла но сразу спрятала чтобы не соблазняться и не зачитываться завтра буду читать до свидания Димочка Дима ложись сразу спать завтра расскажешь все свои дела что врал старик по дороге что старая подруга жизни твоей кипучей говорила что валенок... (Записка обрывается. – Н. Г.)^[186]

Итак, Луговской диктует свои поэмы, а во дворе появляются новые обитатели, и уезжают в Москву старые. Обстановка дружная, но не без сложностей. Леонидовы, Файко – друзья Михаила Булгакова и Елены Сергеевны.

Файко, драматург, комедиограф, автор знаменитых кинокомедий “Папиросница от Моссельпрома”, “Сердца четырех”, “Аэлита”, был соседом Булгаковых в писательском доме на улице Фурманова. В своих воспоминаниях о Михаиле Афанасьевиче, рассказывая о последней встрече, Файко приводит их разговор:

Я хотел тебе вот чего сказать, Алеша, – вдруг необычно интимно произнес он. – Не срывайся, не падай, не ползи. Ты – это ты, и, пожалуй, это самое главное. <... > Будь выше обид, выше зависти, выше всяких глупых толков. <...> И я ушел и проплакал всю ночь^[187].

Файко не стал известным драматургом, но навсегда сохранил чувство собственного достоинства. В своих дневниках после смерти Булгакова он писал о том, что не может ходить на вечера его памяти, потому что там будут лгать, не будут говорить о писателе как должно. Он хранил любовь и верность Булгакову.

Живя в Ташкенте, Файко написал в дневнике: “ю марта 1942. Культ Ахматовой. (Я люблю Ахматову, но не люблю культов)”.

Олег Леонидов, журналист, драматург, и его жена жили в Большом Левшинском переулке (улица Щукина), они часто бывали у Булгаковых. Их соседом по подъезду был близкий друг Луговского Павел Антокольский, его дом был один из самых гостеприимных и веселых домов в Москве, где будущие обитатели ташкентского двора и

встречались. Вернувшись из Ташкента в Москву, Леонидов с нежностью писал Луговскому:

6 июля 1942. Москва – Ташкент

Тегуан – Тепек,

Тегуан – Тепек...

Безусловно, подражая Вашему бархатному баритону с басовыми переливами и сексапильным рокотом, я почти каждый вечер – то в обществе Павла, то в обществе других друзей, – пою нашу скорбную песню дальней дороги и отчаянья. Слушатели осуждают в зависимости от количества стопяров, трезвые не слушают совсем, а пьяные даже подпевают. С нежностью вспоминаю Вас, дорогой Володя, и наше сожителство (пусть не истолкуют дурно эти лирические слова). Ах, если б навеки, навеки так было – но только не в Ташкенте, а в Москве. <... > В Москве Вас помнят, любят и рады, что Вы стали работать во всю силу своих поистине лошадиных сил. А. А. Ф<адеев> в Ленинграде (все еще!). Приехала из Чистополя евояная мадам – м<ожет> б<ыть>, это ускорит его возвращение. А то загостился. Павел в нашем доме и часто за нашим столом, как и мы за его и Зоиним.

О Елене Сергеевне думаем и тоскуем ежечасно (простите – но больше даже, чем о Вас). Она незримо присутствует во всех наших делах и думах... Целуйте ее благодетельные ручки. Обнимите Сергея и запретите ему размокать от жары и лениться (у меня такое впечатление, что он раскис!). Целую, целую! Ваш Олег. Поле привет, конечно!^[188]

Леонидовы только что вернулись в Москву и наведывались к сестре и первой жене Луговского в Староконюшенный переулок, который был по соседству.

И. Уткина, известного комсомольского поэта, во дворе не очень жаловали, он был высокомерен и не очень приветлив с обитателями. Буквально через год он погибнет в авиакатастрофе недалеко от фронта. Товарищи написали ему в Ташкенте шуточную эпитафию, которая осталась в архиве Луговского, не подозревая, видимо, что их шутке скоро предстоит сбыться.

Записка: Ташкент, Жуковская, 58 (ошибка. Должно быть 54. – Н. Г), Луговскому

Копия Ташкент, Жуковская, 58, Уткину

5 ноября 1942 года

Предлагаем следующий текст для будущей эпитафии на надгробье имеющего впоследствии умереть И. Уткина:

Под камнем сим лежит Иосиф Уткин.

Прости, Всевышний, все его грехи:

При жизни что не мог сдержать в желудке,
Выкладывал немедленно в стихи.

Группа товарищей

Уткину в начале войны прострелили руку, и он ненадолго приехал в Ташкент долечивать рану. Современники вспоминали, что у него нередко собирались разные поэты и читали свои стихи, что походило на своего рода салон. Свои переводы из Уитмена там читал Чуковский, а также Ахматова в первые дни после приезда.

Несмотря на то что он считался вместе с Жаровым и Алтаузенем видным комсомольским поэтом, на него в НКВД копилось огромное количество материала. В опубликованных теперь доносах его имя очень часто упоминается с указанием на него как на бывшего троцкиста, который то там, то здесь выражает недовольство советской властью. Это уже трудно проверить, но известно по рассказам сестры И. Уткина, которую встретила спустя годы Мария Белкина, что его квартира в Лаврушинском после смерти матери и самого поэта очень приглянулась какому-то генералу. В результате сестру Уткина посадили на восемь лет в лагерь с конфискацией имущества. Она была незаметным бухгалтером, а вот материалы, которые были собраны на ее покойного брата, очень могли пригодиться в том деле. Эпиграммы, пародии писали многие. В архиве Луговского достаточно таких материалов. Например, на обрывке бумаги отпечатано некое стихотворение Никиты Богословского, проживавшего неподалеку и, видимо, даже писавшего музыку на стихи Луговского.

В. Луговскому

Крестьянин осенью, по сборе винограда,

Тяжелой поступью шагает по чанам.

И очень хорошо известно нам,

Как родилась прозрачная прохлада

Напитков тех, о коих помнить надо.

Так слово грубое, попавшее к поэту

И скрытое во тьме изящных слов,

Напомнит пусть про процедуру эту.

Ведь пряных вин нежнейшие букеты

Не говорят о ступнях грязных ног.

Ташкент, 16 июня 1942

Никита Богословский

В основном особняке на Жуковской жил Исай Григорьевич Лежнев, большой литературный начальник, занимавший в Ташкенте пост секретаря президиума Союза писателей. Эта была загадочная личность. В 1920-е годы в Берлине он занимался изданием эмигрантского журнала "Россия", где была напечатана "Белая гвардия" Булгакова. В "Театральном романе" Булгаков увековечил его в образе

хромого Рудольфи, близкого родственника Мефистофеля. Наверное, это родство и помогло в дальнейшем человеку со столь сомнительной репутацией стать функционером от литературы. Вс. Иванов писал возмущенно: “Библиотека – книги писателей! – закрыта, так как нужен кабинет Лежневу”^[189].

Однако они часто общались. Вс. Иванов пишет в дневниках в июле 1942 года: “Разговор с Лежневым, который сидит завешенный ковром в большой комнате. Он рассказывает, как Алимжан (глава местного Союза писателей. – Н. Г.) хотел «забронировать», то есть освободить от мобилизации, одних узбеков”^[190]. Разговоры с Лежневым у Иванова были все больше начальственные. Кто трусит, а кто нет, кого отправлять на фронт, а кого не стоит. Лежнев обладал правом решения “по писателям”, он же отправлял в НКВД на проверку все писательские рукописи, попадавшие в его руки.

Дзидра Тубельская. Влада Уборевич

Весной и летом 1942 года Елена Сергеевна писала Татьяне Луговской в Алма-Ату:

А я скажу: Зузу и москиты портят мою жизнь. Это – ^Шдва больных вопроса... Но главное – это Ваша любимица м-ме Зузу. Это Вам не фунт изюма. Грандиозно! <...> От Женечки письма приходили все время чудесные, а последние два-три – прямо чистый шизофреник, хрен его возьми! Из-за этого дрянца, как эта Дзюка (так ее назвала одна Володина приятельница), мальчик себе душу надрывает^[191].

Зузу, Зюка, а также Дзюка или Дзидра Тубельская – первая жена Жени Шиловского, по происхождению латышка, молодая женщина, которая выехала вместе с Еленой Сергеевной и Сережей в одном поезде из Москвы. Некоторое время она жила с Булгаковой, но еще в поезде проявила огромный интерес к немолодым, именитым и богатым писателям.

Эта среда сразу же оказалась ей по сердцу, так как именно здесь она могла наконец найти не юношу, ушедшего на войну, с непонятными перспективами на будущее, а подходящую партию. Все это мгновенно становилось предметом сплетен. Некоторое время Дзидра находилась в качестве любовницы при драматурге Иосифе Пруте.

Видимо, тогда она и отправляла письма Елене Сергеевне, которая в растерянности писала Татьяне Луговской:

От Зузу приходит масса писем, из которых выяснилось, что она пишет во все города и никто не отвечает. Пишет, что любит меня, скучает. Работает, как вол, и стала такая, как я хотела. Писала в это же время, что в ее роскошном номере ванна с зеркалами, что приятно

особенно потому, что она там проводит большую часть дня. Я ей не ответила, не знаю, что писать. На сердце пусто, Женя на Западном фронте, пишет чудесные письма. Боже мой, только бы мне его не потерять^[192].

Более всего Елена Сергеевна боялась, что слухи о похождениях ее невестки дойдут до сына; на фронте такое известие могло привести к смерти.

В переписке с сестрой Ольгой эта тема на некоторое время станет для Елены Сергеевны основной. Бокшанская пишет ей из Куйбышева:

Да, уложила ты меня с Зюкой, вот блудливая какая девица оказалась, противновато, прямо сказать, и боюсь только одного, что он с ней расстанется, а она явится обратно в довольно потрепанном виде. И ты не сможешь не принять ее^[193].

А к началу 1943 года, когда МХАТ вернулся в Москву, театральная кухня упоенно обсуждала переход Дзидры в руки писателя Тура, о чем с ужасом пишет Ольга Бокшанская сестре в Ташкент.

Женя должен был приехать с фронта в отпуск в Ташкент. В письмах он спрашивал Елену Сергеевну о том, что с Дзидрой. От Евгения скрывали положение дел, пока все не открылось, и он, пережив очень сильное потрясение, с ней развелся. Может быть, поэтому отец и отправил его в 1943 году служить в Самарканд, хотя он рвался на фронт.

Елена Сергеевна писала сестре в Куйбышев о хронике тех происшествий:

Ну, могла бы ли, например, я мечтать о том, увижу Женюшу во время войны? Правда, встреча была сильно испорчена благодаря Зузу. Ведь пока я ждала его, я измучилась при мысли, как я буду все ему рассказывать.

И в следующем письме:

Разговаривали мы с ним без конца, сама понимаешь, как это его поразило. Очень мне помог В. А. <Луговской>. Вот тебе строки из письма Женечки, которые я получила от него недавно. “Милая масенька, разреши мне объясниться тебе в любви! Теперь, когда я прожил здесь несколько дней, освоился, собрался с мыслями и решениями, еще раз понял, какую огромную роль ты играешь в моей жизни и формировании как человека. Моя любовь к тебе безгранична. <... > За ту прекрасную жизнь, которую вы дали мне в Ташкенте, я не знаю, чем и благодарить. Но то, что вы с Володией сумели поддержать меня, направить по верному пути, встать на линию равновесия, – это самое большое, что было для меня когда-либо сделано. Прочти это письмо Володе и крепко поцелуй его. Он мой лучший друг, настоящий мужчина”^[194].

В наше время Дзидра Тубельская, назвавшая себя любимой невесткой Елены Сергеевны, написала, что ей кажется, будто бы Елену Сергеевну внедрило НКВД в семью Булгакова, чтобы увести его из семьи, а потом, живя с ним, доносить в органы о нем и его творчестве, – оказывается, она выполняла такое задание. С ее легкой руки, в прямом смысле этого слова, гуляет грязная версия.

Сама Дзидра никогда не видела Булгакова и Елену Сергеевну вместе, однако корень иезуитской логики этой женщины в ее собственной биографии. Она всерьез не понимала, как можно из обеспеченной жизни уйти в необеспеченную, как можно просто полюбить. Ее жизнь есть печальная иллюстрация к этому письму.

После всех странствий по Средней Азии Дзидра сначала вернулась в Ташкент, а оттуда улетела в конце 1942 года в Москву вместе с Марией Белкиной, на личном самолете мужа ее подруги. Но Мария Белкина летела в Москву, чтобы оттуда пробраться на фронт, а Дзидра Тубельская устремилась к очередному богатому писателю.

А с октября 1942 года на балахане появилась новая обитательница – дочь расстрелянного маршала Уборевича Влада. После расстрела отца и ареста матери девочку отдали в детдом на Урале. И вот в свои 18 лет она с Московским архитектурным институтом, куда она поступила, оказалась в Ташкенте. И здесь ее ждала радостная встреча с давним другом их семьи – Еленой Сергеевной Булгаковой, которая и предложила Владе жить у них. По тем временам это был чрезвычайно смелый поступок. В конце войны девушку вновь арестуют, детей расстрелянных маршалов власть долго на свободе не оставляла.

На балахане две комнаты, – вспоминала Уборевич свои несколько месяцев житья на Жуковской. – Первая, довольно большая, продолговатая, в которую попадаешь через тамбур с лестницы. В ней до меня спали 15-летний Сережа и Дзидра, жена Жени, сына Елены Сергеевны. Женя был на фронте. Но Дзидра сбежала от Елены Сергеевны в Алма-Ату. Правда, не с проезжим гусаром, а с проезжим кинорежиссером Оней Прутом. Теперь на ее месте спала я. Большую комнату с длинным столом, со скамейками и двумя кроватями Елена Сергеевна облагородила чехлами на кроватях, а Эйзенштейн, уехавший из Ташкента в Алма-Ату (к сожалению, до моего приезда), украсил стены замечательными карикатурами, где он отобразил жизнь в этом писательском дворе. Очень смешными и не очень приличными.

Одна из них изображала двор, заставленный кроватями со спящими жильцами, и среди них бродит Володя Луговской “под мухой”. Муха огромная нарисована между его густыми бровями. Подпись “Бровеносец Луговской”^[195].

**Пушкинская улица - Первомайская
улица. Алексей Толстой и другие**

Возле Узбекского отделения Союза писателей жили именитые писатели и их жены – А. Н. Толстой с Людмилой Толстой и сыном Митей, Всеволод Иванов с семьей, Екатерина Пешкова, первая жена Горького. Здесь находились основные продуктовые распределители. Для литераторов республиканское отделение Союза писателей было основным местом, где собирались на лекции и писательские собрания, здесь на улице слушали последние сводки из репродукторов, передававших последние известия.

В писательской столовой, которая находилась на застекленной веранде, не только обедали, встречались, здесь происходили распределения вещей бытовой комиссией.

На Первомайской улице поселился со своей красавицей женой Алексей Николаевич Толстой, он приехал с ней из Куйбышева, с ним вместе жили мать жены, секретарша и домработница. В декабре правительство Узбекистана предоставило ему особняк в предместье Ташкента с прекрасным садом. К. И. Чуковский записал в дневнике и января 1942 года:

Вчера в Ташкент на Первомайскую ул<ицу> переехал А. Н. Толстой. До сих пор он жил за городом на даче у Абдурахмановых. Я встречался с ним в Ташкенте довольно часто.

Он всегда был равнодушен ко мне, хотя мы знакомы с ним 30 лет^[196].

У Толстого и Пешковой проходили так называемые элитные гостиные, где они устраивали поэтические и музыкальные вечера.

NN (Ахматова) читала поэму, – записано в дневниках Л. Чуковской об одном из таких посещений, – Алексей Николаевич заставил ее прочесть поэму дважды, ссылаясь на все ту же знаменитую трудность и непонятность. По-моему, он и после двух раз не понял^[197].

Ахматова сложно относилась к Толстому. Судя по воспоминаниям английского филолога Исая Берлина, который общался с Анной Андреевной после войны, они обсуждали ее взаимоотношения с Толстым.

Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках *a la russe* и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все, он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу^[198].

Антисемитизм не мешал Толстому близко дружить с Соломоном Михоэлсом, великим еврейским актером, который ставил на подмостках ташкентского театра национальные оперы. Может быть, их сближали

невероятное жизнелюбие и бурный темперамент, свойственные им обоим. К Михоэлсу, который жил здесь же на Пушкинской улице, приходил Луговской. В огромной, выгороженной из конференц-зала комнате литератора-ученого А. Дейча, в доме, где были расселены деятели науки, Луговской слушал хасидские легенды и анекдоты в исполнении великого актера, а потом они вместе пили и пели.

Однажды в Театре оперы и балета был устроен концерт. Толстой сам написал для спектакля одноактный скетч. В спектакле играли Раневская, Михоэлс, Абдулов и сам Толстой. Зрители были в полном восторге. Толстой, по воспоминаниям друзей, просил Михоэлса подольше не уходить со сцены, поиграть еще, поимпровизировать. Потом он признавался, что испытывает от игры настоящее наслаждение.

В Ташкенте А. Толстой председательствовал в редсовете ташкентского филиала издательства “Советский писатель”, продолжал работу над пьесой “Орел и орлица”, первой частью дилогии “Иван Грозный”. Он выступал с чтением этой пьесы перед писателями, историками в середине февраля 1942 года. К пьесе недоверчиво отнеслись в верхах, Алексей Толстой тяжело переносил временную опалу, неоднократно отсылал текст с поправками Сталину, чтобы вождь сделал свои замечания. Щербаков в апреле 1942 года писал Сталину, что необходимо запретить Толстому как публикацию, так и постановку пьесы об Иване Грозном, потому что пьеса извращает светлый облик любимого народного царя. Толстой, крайне расстроенный тем, что ему не дали Сталинской премии за пьесу (дурной знак!), пытался ее улучшить.

Интрига состояла еще в том, что вполне успешно продвигалась работа у Эйзенштейна в Алма-Ате с фильмом “Иван Грозный”. Луговской приезжал оттуда со сценарием (он работал с Эйзенштейном над песнями к фильму) и читал выдержки из него многочисленным слушателям, в том числе и Толстому.

К пьесе “красного графа” без энтузиазма отнеслись и эвакуированные. В одном из писем юный Михаил Левин, в будущем известный физик, откровенно иронизировал: “Граф Толстой читал «Ивана Грозного». Здорово выдуманно. Царь-демократ, первый русский гуманист. Графу бы только про Ежова теперь писать”^[199].

С середины 1942 года в дом Толстого стал ходить Георгий (Мур) Эфрон. Мур – после нескольких лет голода и безытности, с европейской привычкой к чистой, красивой жизни – более всего в Ташкенте привязался к благополучному дому Алексея Толстого и его красивой, холеной жене.

Часто бываю у Толстых, – писал он в конце 1942 года сестре Але. – Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех. Очень симпатичен сын Толстого – Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила

Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у нее есть вкус, и она имеет возможность его проявлять. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово “учеба”. Дом Толстых столь оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий “литфон” (о каламбуры!), что мне там всегда очень хорошо^[200].

Мур не признавался в письмах в том, что ходил в дом к Толстым, чтобы его накормили. Он обедал еще у А. Дейча в четырехэтажном доме по Пушкинской, 84, который находился недалеко от дома Толстых. До войны здесь помещалось Главное управление лагерей. ГУЛАГ, как вспоминал Дейч, потеснился и переехал на первый этаж, а зловещая система проверок с часовыми, пропусками – осталась. Мура в основном кормили в этих домах.

Алексей Толстой часто разъезжал по городу на фаэтоне, запряженном лошадьми, вальяжный, полный, с трубкой во рту, – настоящий классик, таким его запомнили обитатели Ташкента. Машин в городе почти не было, трамваи ходили крайне редко и были чрезвычайно переполнены, по улицам в основном перевозили грузы ишаки и верблюды. Михоэлсу, работавшему сразу в нескольких театрах, расположенных в разных частях города, предоставили старую бричку с огромными колесами, запряженную, как вспоминал А. Дейч, унылой клячей и с таким же кучером. Так он перемещался по всему городу.

Дейч вспоминал один забавный случай, которых, видимо, было очень много, несмотря на тяжесть той жизни:

С находившимся в Ташкенте артистом Абдуловым он сочинял и разыгрывал <...> сценки из узбекской жизни. Один из них изображал старика бая, другой – благочестивого имама, и оба сговаривались отправиться на богомолье в Мекку. Однажды ночью, накрутив чалмы на головы и надев халаты, они вышли в пустынный переулок. Встретив старика узбека, по-видимому, ночного сторожа, спросили его, где дорога в Мекку. Изумленный старик сказал, что он этого не знает, что идти надо далеко, через моря и горы. Но Михоэлс вполне серьезно его убедил, что самое трудное – дойти до Чирчика, а дальше уже совсем недалеко^[201].

В дневнике Дейч писал:

6 апреля 1942. Сегодня вечером у меня – Константин Михайлович, Н. Н. Ушаков с Т. Н. (Татьяна Николаевна – жена Ушакова. – Н. Г.), Е. Э. Бертельс, Соломон Михайлович Михоэлс, пришедший позже из театра, В.М. Жирмунский, В. Ян... Сначала Ушаков читал свой узбекский цикл, особенно мне понравилось стих. “Четыре узбекских Вани ладонями бубны кружа...”, где острый глаз поэта свел старый и новый Ташкент.

Пришедший Ник. Кирьякович Пиксанов принес заказанные мною для литгруппы Совинформбюро статьи “Славянское искусство и его вклад в мировую культуру” и “Горький в борьбе за дружбу народов”. Увидев Константина Михайловича, захотел прочесть вслух статью о Горьком. В ней дается много фактов о связях Горького с белорусской литературой и белорусской культурой. Очень современно прозвучала цитата из благодарственного письма Горького белорусской академии, избравшей в свое время его своим почетным академиком. Якуб Колас прослезился... Он сделал несколько важных и конкретных замечаний. Сегодня, наконец, напечатана заказанная мною статья Алексея Николаевича Толстого “Славяне, к оружию!”. Она очень перекликается с нашим душевным состоянием... Попросили Коласа прочитать свои стихи. Он читал горькие ностальгические стихи, созвучные всем нам. Многострадальная, разоренная белорусская земля, и голос ее звучал в стихах, как голос пророка. Читал по-белорусски прекрасно. Поэт глубокого дыхания, тончайший и замечательный лирик, стоический, мужественный человек. Надо будет попросить Мишу Голодного или Володю Луговского перевести на русский язык^[202].

На Пушкинской улице обитали семьи драматурга К. Финна, Евгения Петрова, Вс. Иванова и многих других.

Часть сотрудников Академии наук, которые попали в Ташкент, были расселены в балетном училище Тамары Ханум.

Большой зал был разделен простынями на клетушки, в которых ютились “рядовые работники”, – писал в воспоминаниях Евгений Борисович Пастернак. – На подоконниках и около коек стояли керосинки, на которых варилась и пахла разная еда. Людям покрупнее были отведены комнаты в прилегающих коридорах^[203].

Евгения Пастернак писала в декабре 1941 года Борису Пастернаку о жизни в Ташкенте; их поселили рядом с Пушкинской улицей:

Дорогой Боря! Уже два дня как мы живем на новом месте. Нам разрешили занять комнату уехавшей в Москву семьи Кирсанова. Итак, мы живем рядом с Ивановыми в доме, предоставленном эвакуированным писателям. В этом помогли Чуковский и Тамара Владимировна. Как нам с Женькой хорошо, как нам хочется, чтобы ты на нас поглядел. У нас топится в комнате маленькая плита, и мы в ней сейчас печем картофель^[204].

Каморка Георгия (Мура) Эфрона

Георгия Эфрона мы оставили в Москве в начале октября. Там он встретился с Пастернаком, несколько раз с Эренбургom. Однако дальнейшая его жизнь в Москве становилась невозможной. Вместе с

переводчиком Кочетковым и его семьей 29 октября Георгий снова выехал в эвакуацию. Мальчик утешал себя тем, что где-то в Самарканде он найдет своего единственного товарища, с которым они были знакомы еще во Франции, – Митю Сеземана.

Путешествие было очень тяжким, длилось почти месяц, только в конце ноября они прибыли в Ташкент.

Георгий стал учиться в ташкентской школе, всячески избегая мальчишеских ссор, драк, не любил никаких вечеринок. Его товарищами ненадолго стали Э. Бабаев, В. Берестов и И. Крамов, но сверстники вызывали у него усмешки, его тянуло к взрослым, благополучным писателям с налаженным бытом или с хорошими манерами.

К весне 1942 года Георгий Эфрон получил угол в доме писателей на улице Карла Маркса. У него была крохотная комнатка, фанерная выгородка без окон.

В ней едва помещались стол, стул и узкая кровать, застеленная стареньким пледом, – вспоминал Эдуард Бабаев. – Над столом была укреплена книжная полка, на которой стояли сборники Марины Цветаевой “Версты”, “Ремесло”, “Царь-Девница”. Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказывалось, что у стен есть уши: то слева, то справа из-за фанерной перегородки слышались голоса обитателей этого многонаселенного дома, просивших Мура прочесть еще и другие стихи^[205].

Жизнь в Ташкенте оказалась для него в каком-то смысле еще более тяжелой, чем в Чистополе и Москве. Бесконечные мысли о еде, ужасный быт, одиночество при большом количестве знакомых. Над ним навис призыв в армию, куда он очень не хотел идти. Но в Ташкенте ему удалось продолжить обучение. Узбекский мальчик по имени Измаил вспоминал, как в их класс привели новенького.

Кто-то бросил реплику: “Ну, вот, теперь у нас есть свой Печорин”. Мальчик был высокий, стройный, с большими голубыми глазами, с идеально зачесанными “в пробор” светло-русыми волосами, в элегантном костюме, в сорочке при галстуке. В руках он держал большой кожаный портфель, в котором кроме учебников были две щетки – для обуви и для одежды. Это нас, помню, потрясло. Шла война. Мы все были одеты неважно, даже небрежно. А он следил за собой, хотя пиджак и ботинки, как мы узнали потом, были у него единственными. Манера носить одежду, разговаривать, держаться – все свидетельствовало о высокой интеллигентности. К тому же “Печорин” владел французским даже лучше нашей француженки Е.В. Васильевой^[206].

Мур жил на улице Карла Маркса, в фанерной будке, сделанной для хозяйственных надобностей. Там у него не было ни света, ни отопления, ни воды. Отапливался он керосинкой. Работать Мур устроился художником в УзТАГе.

На заборе, предварительно забелив его, Георгий рисовал патриотические плакаты, карикатуры на фрицев, писал лозунги. Два раза в неделю ходил в гости к Алексею Толстому^[207].

Надо было проявить невероятную предприимчивость, чтобы устроиться в писательскую столовую. Георгий успел подключить к ходатайствам о себе Ахматову, Толстого, Погодина, Штока и других.

В Ташкенте живет Ахматова, – рассказывал он о себе теткам, – окруженная неустанными заботами и почитанием всех, и особенно А. Толстого, живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавренев; приехал из Уфы Корнелий Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой М. И. был “недоразумением” и т. д.; я его великодушно “простил”. Впрочем, он до того закончен и совершенен в своем роде, что мы с ним в наилучших отношениях – и ведь он очень умный человек^[208].

Судьба постоянно сталкивала его с Зелинским, последний раз уже в Москве в 1944 году, когда тот в качестве преподавателя Литинститута учил его теории литературы. Зелинский прекрасно знал цену стихов Цветаевой и пытался на будущее заручиться поддержкой сына.

В письме к тетке в Москву 7 августа он описывал свой быт и свое драматическое бытие:

Живу в душной каморке без окна; входя в нее – обливаешься потом. Да еще кто-нибудь иногда одолжит плитку для “готовки” – так становится как в кузнице Вулкана. Это – внешние, наружные влияния. Часто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно подняться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устроиваться со стиркой; мне, щеголю, очень тяжело ходить в грязных брюках.

Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми; хотя ко мне относятся хорошо (одинок, умерла мать и т. д.), но всех смущает моя независимость, вежливость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят, как я хожу в развалившихся ботинках, но при этом вид у меня такой, как будто я оделся во все новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро, в пижаме и калошах, но удивляются невозмутимости и все-таки смотрят как на дикобраза (я смеюсь: “перекультуренного дикобраза”). <... > На днях, возможно, мне удастся оформиться на постоянную плакатно-халтурную работу (на дому)¹.

Питание его было слишком скудным, молодому человеку не хватало того минимума, который он получал по безлитерной карточке. Он не выдержал и продал вещи хозяйки, то есть фактически украл, и на эти деньги некоторое время питался. Потом он расплачивался за это, мучительно унижаясь перед хозяйкой, подавшей заявление на него в милицию, умолял московских теток продавать свои и материнские вещи, книги, но это было потом. Говорят, что ему помогали собирать деньги друзья его сестры Али – А. И. Дейч, Л. Г. Бать – и тот же А. Н. Толстой.

Жизнь Мура Эфрона в основном проходила на улицах Ташкента. Фанерная клетушка без окна была хуже, чем жилье Раскольниковова, хотя бы потому, что ташкентскую жару там невозможно было вынести. Он много ходил по городу и подробно описывал, как он выглядел именно тогда.

Юноша был одинок, письма заменяли ему общение с близкими.

Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой обычный маршрут: улица Маркса, сквер, улица Пушкинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из дома около Совнаркома и памятника Ленину; по правую руку – широкая площадь, которую я пересекаю, когда иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома пионеров, кино “Хива”, ряд магазинов (галантерейный, ювелирный, комиссионка, книжный, где я тщетно спрашиваю французские книги); перехожу налево, заглядываю в распределитель (если до 6 ч.); потом продолжаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около Главунивермага, превращенного в какое-то общежитие, около Русского театра им. Горького (сейчас там идут патристические пьесы: “Нашествие” Л. Леонова, за которую он получил 100.000 – Сталинскую премию 1-й степени, “Всегда с Вами” А. Ржешевского и пр.). Прохожу мимо бюллетеней Уз Тага (последние известия), к которым жадно прилипаю, если за день не успел их прочесть. Много идет по улице студентов с книгами и котелками для обеда, компаний девиц, рабочих, женщин в платках; идут скучные профессора и работники Академии наук, интеллигенты, несколько разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том, что им сегодня не удалось получить свеклу в распределителе. Впрочем, торопливо семенит какой-то маленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судорожно сжимает в руке “Вестник древней истории”, и, уж конечно, интересуется он только древними дразганами и ест как попало и что попало. <...> Прохожу мимо САГУ (Средне-Азиатского гос. университета) и выхожу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке узбеки-продавцы продают папиросы, конфеты, семечки, бублики, пирожки с рисом. Привычным движением я потягиваю носом и прохожу прочь – что хорошо – или, наоборот, трачу последние гроши на какую-нибудь дрянь. Дорожка сквера выводит меня на Пушкинскую улицу – тоже длинную и “центральную”. На углу – Наркомат торговли, горком – напротив, дальше – распределитель, такой же, как на ул. Маркса; потом Наркомпрос и Управление по делам искусств при СНКУЗССР, дальше – аптека, гостиница, Первомайская улица, на одном конце которой – Союз писателей и столовая, на другом – дом, где жили Толстые^[209].

Бабаев вспоминал, как они с Муром шли по улице Жуковской.

И вдруг увидели Алексея Николаевича Толстого. По случаю жаркой погоды он был одет в светлый костюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой. На голове у него была легкая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти поравнялись, как со стороны Пушкинской на Жуковскую вышла высокая и неторопливая женщина в длинном полотняном платье. На улице были и другие люди, но мы смотрели только на нее. Мы остановились. И Алексей Николаевич остановился. Навстречу ему шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели на Алексея Толстого и Анну Ахматову, встретившихся под платаном.

– Анна Андреевна! – говорил Алексей Николаевич, снимая шляпу и целуя ее руку.

– Я вспоминала вас недавно, – сказала Анна Андреевна, – в академии был литературный вечер. И я почему-то ожидала увидеть вас среди приглашенных. Вы ведь академик... <... > По улице Жуковской тянулся караван верблюдов по направлению к Алайскому базару. Это был единственный вполне надежный вид транспорта в те годы, как, впрочем, и во все другие времена. Верблюды перекликались резкими птичьими голосами, вытягивали шеи и высоко шагали в клубах пыли.

На Анну Андреевну с ее бурбонским профилем и на Алексея Толстого с его обломовской внешностью никто не обращал особенного внимания среди этого шума и гама”^[210].

Мур своим ироничным взглядом подмечал все нелепости жизни в писательской колонии.

Я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой. Я успел познакомиться с нравами этой среды, с ее специфическими особенностями, с ее кулисами, ее языком, привычками, ужимками и гримасами. В будущем я смогу хорошо использовать богатейший материал, накопившийся у меня о наших писателях, – материал для интереснейших материалов романа^[211].

Ариадна Эфрон очень волновалась, что брат излишне высокомерен, что он будет возбуждать против себя только раздражение и злость. Из лагеря она пыталась дотянуться до него, делая какие-то бесполезные внушения, уговаривая его не ссориться с их общими знакомыми.

Но Мур в середине 1942 года совсем рассорился даже с Анной Андреевной Ахматовой. Она стала говорить о нем ужасные вещи, что правы те, кто называет его убийцей своей матери, а он зло писал о ней Але.

Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами.

Это было внешнее впечатление, распространенное среди недоброжелателей Ахматовой. Мур подхватывает его, потому что за ним еще и судьба его матери.

Подчас мне завидно – за маму, – продолжает он письмо. – Она бы тоже могла быть в таком “ореоле людей”, жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова^[212].

Он считался с Ахматовой за мать, которую она-то по-своему очень ценила, любила. С каждой годовщиной ее смерти подымала как поэта все выше и выше. Но и Анна Андреевна перестала видеть в Муре маленького, запуганного страшной жизнью мальчика, который нуждался в любви и закрывался от мира кривой усмешкой. Ей, наверное, казалось, что ее сын – другой, что он во много раз лучше. Она, наверное, мысленно сравнивала свою судьбу с судьбой Марины Ивановны, своего сына с ее сыном. Ее сын Лева, заключенный в лагере, в конце войны чудом освобождается, попадает на фронт и доходит с боями до Берлина. Его судьба пощадила, а цветаевского сына – нет.

Мур тоже не хотел помнить о том, что Ахматова, с ее “ореолом”, не уехала в 1920-е годы из страны, что она несла и несла тот крест, который выпал на несколько лет цветаевской семье, а на ее долю – на многие годы подряд. Они – Ахматова и Мур – с какого-то времени видят друг друга чужими глазами, все более доверяя слухам и сплетням.

О Муре все говорили с уверенностью, что это он виновен в смерти матери. Его называли бесчувственным, высокомерным. Эдуард Бабаев вспоминал, как одна дама бросилась к Муру с вопросами о матери, на что он холодно оборвал ее: “Разве вы не знаете, что Марина Ивановна повесилась!” Женщина была потрясена. Так было со многими другими, кто пытался его пожалеть; он по-своему защищался.

То, что он чувствовал на самом деле, что понял за год сиротской жизни в Ташкенте, – все свои горькие мысли он доверит в письме от 8 января 1943 года близкому Алиному и своему другу Муле (Самуилу Давидовичу Гуревичу), погибшему в тюрьме уже после войны.

Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило!

^[213]

Невозможно представить, что эти слова писал человек с холодным сердцем, хотя даже Аля от насмешливых и язвительных писем юноши-подростка приходила в негодование и называла брата бесчувственным Каем. А он продолжал свой анализ, он ведь должен был понять, осмыслить происхождение рока, который поглотил всю их семью.

Мне кажется, что для нашей семьи это проблема взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого и будущего – основная проблема. Лишь

тот избегает трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого жизнь образует одно целое. У С<ергея> Я<ковлевича> всегда преобладало будущее; только им он и жил. У М<арины> И<вановны> всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Об Але не говорю – не знаю. Я же всегда хватался за настоящее, но в последние времена это настоящее стало сопротивляться и прошлое начало наступление. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин – в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий; у всех отсутствовала единая мера, которая бы измеряла явления всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры вообще не существует, но мы это отсутствие осознали с особой силой^[214].

Видимо, Луговского и Антокольского, после его краткого пребывания в Ташкенте, успел запечатлеть язвительный Мур в своих французских дневниках.

29 августа 1942. Дом профессора-пушкиниста Ц<явловского>. Приходят два поэта: Павел А<нтокольский> и Владимир Л<уговской>. Как большинство своих братьев, когда они соберутся вместе, они начинают говорить о недалеком, довоенном прошлом. У этих двух в воспоминаниях явно перевешивает тоска по выпитому и съеденному. Все они ездили на съезды в республики, где их угощали; сколько выпито и сколько съедено! Мне смешно. А. и Л. рассказывают главным образом о Грузии, драках в ресторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Все это интересно, ибо Л. – прекрасный рассказчик, а А. – остроумный человек, но крайне примитивно. Нашли о чем вспомнить! О кафе и окороках! Ну и источники вдохновения. А ведь это официальные сливки интеллигенции. Все-таки насколько они ниже западной. А может, они правы? Ведь действительно, описываемые наслаждения – “бесспорны”^[215].

Мальчик, который делает много верных замечаний, часто не понимает, не чувствует раненую душу этих людей, прячущихся за шумные разговоры. Ведь не могли же они на чужих глазах рассказывать один – об убитом сыне, другой – о только что умершей матери, о том страшном сквозняке, на котором они оказались. И только воспоминания, только совместное прикосновение к прошлым счастливым дням могли вернуть им, как заблудившимся в истории детям, чувство устойчивости и порядка. Услышала бы их сейчас его мать, Марина Цветаева, наверняка поняла бы, почувствовала, что стоит за этими легковесными разговорами.

Антокольский вернется из Ташкента домой, в свой дом в арбатском переулке и напишет поэму “Сын”, в которой выплачет горе миллионов отцов и матерей, потерявших во время войны своих детей.

Я не знаю, будут ли свиданья,

Знаю только, что не кончен бой.

Оба мы – песчинки мироздания.
Больше мы не встретимся с тобой.

И боль за потерянного в этой страшной кровавой воронке Мура тоже будет звучать в этой поэме.

Чужое

Луговской писал Ирине Голубкиной и января 1942 года:

Недавно освободили меня от военной службы со снятием с учета. Но пока тепло и не слишком уж холодно. Цены в Ташкенте сверхбезобразные. Жизнь, конечно, состоит из сплошных тревог и неприятностей. Сую материал и на радио, и в газету, и куда попало. Гонорары же и возможности – сама понимаешь какие. Живем вроде писательского коллектива. Сплетни, чепуха и т. д.^[216]

Древний азиатский город, ставший временным убежищем эвакуированных, поразил их вначале своим абсолютно несоветским бытом. “Город, выпавший из законов”, – называет его Луговской, а Вс. Иванов в раздражении – “городом жуликов, сбежавших сюда со всего юга”^[217].

В это время центральной проблемой для любого жителя, будь он простой мальчишка или крупный писатель, становится выживание, а следовательно, постоянные мысли о быте.

Кого-то это раздражает, кого-то занимает, кто-то вообще погружается в быт с головой и перестает думать о чем-либо другом. Но из низкого быта, “из сора” вырастали и темы высокого бытия.

Луговской словно мазками рисует в своих записных книжках странную жизнь города, с непривычным бытом, плотно обступавшим его снаружи и изнутри.

“Удивительный Ташкент: «Рыжий куст. Удивление. Желтый лист. Красный и желтый цвет»”.

И Вс. Иванов в дневниках – про то же: “Листья здесь опадают совсем по-другому. Они сыпятся, словно из гербария, – зеленые или золотые, не поповерканные бурей: не мягкие или потрепанные. Они заполняют канавы. Их собирают в мешки. Калека ползет по ним”¹.

Яркий восточный цвет солнца, цвет листьев, резкие тени от тополей, падающих на дома и узкие переулки, в сочетании с нищими, скособоченными домиками, сарайчиками. Все в этом городе контрастно, ярко. Жара и особый, пронзительный холод. Голод и роскошь базаров. Инвалиды-калеки и блестящие военные из академий. Может, еще от этого у всех так обострены нервы. Луговской и Вс.

Иванов обошли в 1930-е годы Среднюю Азию, Туркмению, прекрасно знали эти места, и, казалось, Восток не был для них чем-то новым, необычным. Однако их приезды сюда в качестве дорогих гостей, с цветами и оркестрами, сильно отличались от существования на положении безытных эмигрантов, встречающих осень, зиму, весну, жаркое-жаркое лето. Отсюда этот полушутливый вопль Елены Сергеевны к Татьяне Александровне: почему Луговской не рассказал ей заранее, какое невыносимое здесь лето!

Луговской рисует тот мир, который отзовется в поэме “Алайский рынок”:

Другое царство: Тополь. Романские окна. Пьянки, бляди, легкий ветерок безобразного хода судьбы. Перцовые пьяные радости. Отсутствие государственности... Неведомая улица Радио на сквере. Город, выпавший из законов. Наслаждение беспорядком. Киоски с портвейном. Сине-желтые парки. Пыль. Приезд военных академий. Московская выставка барышней. Луна как дыня над улицами, где торгуют перцовкой. Лагерь беженцев. Сиплые голоса милиционеров. Пыль не падает... Неустановившийся... быт. Первые дожди. Удивительный сквер. На Индию! Чувство юга, а не севера. Дервиш. Никита Богословский. Мое безумие <...> души. Арыки. Скользкие переулки. Вино. }-й удар у мамы. Длинный путь в Ташми. Ощущение сестры Тани, родственное и телесное. Могучие чиновники, спекулянты, сволочь, сырая рыба и дрожащие руки... Впечатления холодные... и первые выступления. <...> Прощание. Пиво. Ночь. Умный эгоистически-честный Гусев. Водка в Союзе. Светлана. Переулки. Грозный ход зимы. Октябрь. Передает дочь до счастья знакомые интонации и тембр. <... > Глупые речи Вирта. Гриша Широков. Возвращение... Радостная самозабвенность разложения... Арыки как каналы. Мертвые закаты. Быт маленьких домов с желтыми окнами. Мои прощанья с Н. Г<ородецкой>. Вещи в домах те же, что до войны... Чужие окна. Чужие шкафы. Чужие собаки. Эвакуационные вечеринки. Крохотный уют. Подлецы с водкой. Их личный уют, прописка. Подхалимская радость. Бесстыдное торжество довольно симпатичного чиновника. Снова пиры, пивные, жизнь как прибор^[218].

Что составляло их каждодневную жизнь, быть может, в самом трагичном 1942 году?

Писатели ходили друг к другу за новостями или же слухами. Кому-нибудь удавалось ночью поймать иностранное радио, оттуда узнавали новости со второго фронта. Сопоставляли официальную и “ту” информацию. Разрыв был колоссальный, хотя и наша пропаганда вынуждена была отстраненно признавать факт сдачи городов и огромных территорий. Удивительно, но даже люди, привычно обслуживающие власть, такие как критик Зелинский, говорят полупрошептом, что им точно известно, что вводятся новые методы агитации и пропаганды – говорить правду, без прикрас и лжи.

Главное общение большинства эвакуированного мужского населения проходило за бутылкой. Несмотря на голодное существование, с выпивкой и на фронте, и в тылу было нормально. Почти все писатели, населяющие Ташкент, и не только Ташкент, спасались от дурных мыслей старинным российским способом: они много и иногда беспробудно пили. Пили Н. Погодин и Вс. Иванов, В. Луговской и В. Гусев, В. Катаев и А. Фадеев. Конечно же, питье в эвакуации – это лишь часть огромной картины загулов советских литераторов, а его литературным апофеозом станут знаменитые “Москва – Петушки” Венедикта Ерофеева. Питье как протест, как уход от реальности или же как трагическое свойство русской, и не только русской, души. Здесь мы подробно исследовать эту тему не будем, но не сказать об этом нельзя, потому что в том небольшом писательском мире эта тема стала общесемейной.

В одном из писем к Тарасенкову Белкина писала:

Сегодня я отчитывала Луговского, он встретил меня на улице и провожал в столовую. Он старая развалина, что я ему и сказала, и довел себя до ужасного состояния. Его все считали трусом, и даже Гусев (член радиокomiteта) боялся передавать по радио его стихи и позвонил в ПУР, но там ему сказали, что он на фронте вел себя достойно, но что по состоянию здоровья освобожден совсем. Так говорил Гусев, а там не знаю. Но что он развалина – это факт^[219].

Виктор Михайлович Гусев, несмотря на относительно молодой возраст (около 30), был известным партийным поэтом газеты “Правда”, автором сценариев нашумевших фильмов “Свинарка и пастух” и “В шесть часов вечера после войны”, однако он прожил очень мало и умер в начале 1944 года в возрасте 34 лет. Война основательно меняла людей, говорили, что думали, Вс. Иванов в Ташкенте, общавшийся с Гусевым, пытался понять степень его искренности. По словам Вс. Иванова, тот оставался прежним:

Он так пишет и так говорит, что это строка в строку идет с передовой “Правды”, – и это уже большое искусство. Что он сам думает – кроме вина, – не поймешь. Мне кажется, что если бы в передовой “Правды” запретили вино, он, несмотря на всю страсть свою к этому напитку, – не прикоснулся бы к нему^[220].

Многие спьяну могли высказать все, что у них было на уме. Например, Вс. Иванов в июне 1942 года приводит речи Н. Погодина, своего приятеля, автора “Кремлевских курантов”:

Приказ о регистрации мужского и женского населения. В “Белом доме” (видимо, на Жуковской. – Н. Г.) – истерика. Погодин сказал: “А я не пойму, я хочу жить в демократ <ической> стране и распоряжаться сам собой”. Он был пьян и очень горд, что хочет ехать в Москву^[221].

И еще Вс. Иванов приводит остроумное соображение Михоэлса на эту животрепещущую тему: “Когда передо мной стоит бутылка и рюмка водки, я чувствую себя свободным. Это – волеизлияние”^[222].

В записных книжках Луговского упоминается огромный круг лиц, вписанных в то ташкентское пространство. Поэт переходил из дом в дом, останавливался со знакомыми на улице, обсуждал новости.

На людей он смотрит то с раздражением, то с горечью, то с любовью. Почти всегда восхищается красотой мира, в любом состоянии и при любых обстоятельствах.

Торжественная осень. Мощный шум ее ветвей и листьев. Синие и красные цветы... Подарки. Уткин. <... > Пиво по углам. Я... пьяный, голодный до безумия, напоенный Ос. качаюсь как былинка. Дамы-патронессы. Киоски. Стыд за все это. Стыд и ненависть, и злоба легка, как танцовщица. Ощущение трагедии всего мира, всего земного шара, потом утерянное. Япония. Мировая война. Москва таинственная и ледяная... Ловля рыбы в Чирчихе. Базар. Пирожки с перцем. Лиловые закаты. Медленные и грубые перемены света. Барышни в отелях. Поляки в новой антифашистской форме. Генерал в берете. Дивные антрепренеры, берущие и дающие, и такие же девушки. Умение жить среди ада. Утица К. Маркса. <...> Пиво, спирт. Мое неуклюжее тело, оступающееся в арыки... Вечер от всей души. Провода на Пушкинской, и все в снегу. Недоверие, мерзость... Ужас до оцепенения. Юбилей Вс. Иванова. Мои тосты. А. Т. < Алексей Толстой> ^[223].

В этих описаниях невозможно отделить картины природы от трагического взгляда на людей, нежность от близости родных, удивления от появления европейски подтянутых поляков, новых московских красоток, пьяный угар и скользкие арыки, канальчики, разделяющие улицы, в которые можно спяну свалиться.

Вс. Иванов записывает почти в те же дни, но его взгляд более желчный, острый и иногда даже злой, хотя в чем-то он пересекается с Луговским:

Город жуликов, сбежавшихся сюда со всего юга, авантюристов, эксплуатирующих невежество, татуированных стариков, калек, мальчишек и девчонок, работающих на предприятиях. Вчера видел толпу арестованных – бледных, в черной пыльной одежде, – они сидели на корточках посреди пыльной улицы, ожидая очереди в санпропускник. Мы шли мимо. Я сказал спутнику, так как нас днем еще заставляли перейти на ту сторону улицы милиционеры:

– Перейдем на ту сторону.

Стриженные клоками, как овцы, арестантки крикнули:

– Вшей боитесь, сволочи. <...>

Скоро будет год, как мы приехали в Ташкент. Я не помню такого общегородского события, которое взволновало бы всех и все бы о нем говорили, – разве бандитизм, снятие часов и одежды. Преимущества централизации ^[224].

Выступали на поэтических вечерах, писали статьи, делали сборники для фронта, и чтобы обеспечить себя заработками, и чтобы чувствовать себя нужными стране, фронту, народу.

Фадеев из Москвы рассылает письма с требованием откликнуться на военную тему Но многие просто не считают себя вправе, находясь в тылу, сочинять на заказ, не нюхая пороха. Они пытаются писать в стол о том, что пережили сами, что чувствовали на самом деле. Те же, кто искренне напишет об ужасах войны, об эвакуации, будет тут же подвергнут суровой партийной критике за произведения, “проникнутые мотивами страдания, смерти, обреченности”. В донесении на имя Маленкова о положении в литературе, составленном в первые послевоенные годы, подводились некоторые итоги деятельности писателей во время войны.

Вместо того чтобы, представляя передовую часть советского общества, морально укреплять народ, звать его к победе в труднейшие периоды войны, они сами поддавались панике, малодушествовали. Одни, испугавшись трудностей, – продолжал доносить зав. отделом культуры ЦК, – в 1941–1942 годах опустили руки и ничего не писали. Так К. Федин, Вс. Иванов, В. Луговской в эти годы не опубликовали ни одного художественного произведения, “отсиживались”. Другие – создавали такие произведения, которые усугубляли и без того тяжелые переживания советских людей. Н. Асеев, М. Зощенко, И. Сельвинский, К. Чуковский создали безыдейные, вредные произведения^[225].

Илья Сельвинский был жестко проработан за стихотворение “Россия”, Маргарита Алигер – за цикл стихов о войне. Личные, исповедальные стихи Симонова “Жди меня”, трагическую поэму Антокольского о погибшем сыне, патриотические стихи Ахматовой власть вынуждена была поддерживать: в самые тяжелые дни войны фронт уже сам отбирал для себя необходимое. В конце 1941 – начале 1942 года прошло несколько вечеров поэтов. Ахматова жаловалась Чуковской 25 января, что ее заставляют выступать два дня подряд, “а у нее нет сил; что она имеет право не работать совсем на основании своей инвалидной карточки («Неужели Вы этого не знали?»). На мое предложение показать эту карточку в Союзе: «Тогда меня вышлют в Бухару как неработающую»”^[226].

Жизнь на карточки была почти невозможна, требовались надбавки, как говорили – лимиты. Все магазины были превращены в распределители. Население и беженцы из Москвы были разбиты на категории – одним полагался совнаркомовский паек, другим – литер А, литер Б, кто же был безлитерный – тот имел простую хлебную карточку. Выдавали шелуху от какао и желудевый кофе. Обедали в

писательской столовой, но это тоже требовало особых документов, необходимо было получить разрешение.

Из дневников Вс. Иванова:

Каждый день в неподалеку писательской столовой, у тополей стоят рваные нищие, и стоят так прочно, словно стоять им здесь всегда. <... > Обед – опять распаренная пшенная каша без масла на воде или нечто, слепленное из макарон^[227].

Часто в столовой давали “затируху” – баланду. Это была клейкая жидкость, остатками которой завсегдатаи кормили пригретых бездомных собак.

В пайковые периоды – а таких у нас было несколько, – писала Н.Я. Мандельштам в своих воспоминаниях, – главной литературной сенсацией служили выдачи в магазинах, куда прикрепляли лучших^[228].

В архиве Луговского сохранилось письмо в Совнарком Узбекистана от Московского комитета драматургов, возглавляемого Н. Погодиным. Когда Наркомторг приступил к раздаче так называемых зимних пайков (речь идет об осени 1942 года), предназначенных для деятелей литературы и искусства, драматургов в этих списках почему-то не оказалось. Это вызывает законное возмущение: “Автор идущей в театре пьесы, если он не член ССП, пайка не получает, а актеры, играющие в его пьесе, указанным пайком пользуются”.

Оставленные вещи

Еще до войны, в 1940 году, Ахматова начала “Поэму без героя”, поэму об ушедшем, растаявшем времени, которую, как она написала в предисловии, вызвал к жизни “бунт вещей”. Вещи в доме, оставленные близкой подругой Анны Андреевны О. Глебовой-Судейкиной, эмигрировавшей в Париж, “вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем”. В них жила память о прошедшей эпохе. Работа над поэмой в эвакуации, где не было не только вещей, но вообще ничего *своего*, придавала ей иной смысл и объем текста.

Однажды Чуковская прочла Ахматовой свои стихи:

Я там оставила, я не взяла с собой,
Среди вещей любимых позабыла
Ту тишину, что полночью пустой
Мне о грядущем внятно говорила.

Теперь она убитая лежит
В той бывшей комнате – фугаской иль снарядом, —
И зеркало, где страшное дрожит
Лицо судьбы, – убито с нею рядом.

“Я как раз в последние дни, – сказала ей Ахматова, – все думала написать о вещах, оставленных там, и о тех, которые взяла с собой... Теперь не придется...”^[229]

Мысли о том, что оставлены в Москве и Ленинграде не просто предметы, мебель, стены, оставлено что-то более существенное – прошлая жизнь, исчезнувшие запахи, вчерашние радости – приходили в голову самым разным поэтам. И поразительно, как на фотографиях, сделанных до и после войны, меняются лица, словно какая-то тень набежала на них. Никогда и никто уже не будет прежним. Теперь все предметы, ощущения, настроения делятся на те, что были до и после. Слово “довоенный” стало вмещать в себя целый уничтоженный мир...

Что же касается быта, уклада... Порвалась последняя нить, связывавшая 1930-е годы с 1920-ми и – через них – с началом века. 1940-е годы перерубили время навсегда.

Отсюда поэма-прощание с прошлым веком; Ахматова, как никто другой, почувствовала, что прошлое закончилось именно во время войны, а не с приходом большевиков.

Луговской в те ташкентские годы тоже задумался о разрыве во времени, о внезапно открывшейся бездне. Он пробовал то одно, то другое название для своей книги поэм: “Жизнь”, “Книга Бытия”, “Книга Жизни”, “Середина века”, пытаясь определить масштаб произошедших в XX веке катаклизмов, изменивших и судьбу каждого человека, оказавшегося в водовороте истории.

Он пытался разгадать законы этого кошмара и определить в нем место человека, естественно стремящегося к счастью, к уюту, с его представлением о счастье и об уюте.

Все вещи, все предметы, все движенья,
Которые я вижу на пути,
Мне заменяет тонкий, нестерпимый
Холодный запах необжитых комнат,
Где страсть и смерть, и мерзость и любовь
Сошлись поспешно в бешеном единстве.
Я вижу все – оставленные книги,
Оставленные рукописи, двери,
Незамкнутые, белые; буфет,
Свидетель бородатых поколений,
Картины в бедных, потемневших рамах,
Что до сих пор висят в моей столовой <... >
Мы преступили все противоречья
И вышли прямо к морю простоты,
Иль пустоты – а что верней – не знаю.
Об этом, верно, знает мой отец,
Он спит на Алексеевском кладбище,

Что за Сокольниками. Все тот же воздух
В оставленной квартире сохраняет
Сухие линии движений, жестов,
Голов и профилей, и тени разговоров,
И тени клятв, и тень моей судьбы.

Поэма из книги “Середина века” так и называлась – “О вещах” (здесь цитируется ее первый вариант).

Распределитель

Но была и абсолютно бытовая проблема. Когда уезжали в Ташкент из Москвы, стояла поздняя осень, многие захватили только самое необходимое. Новым обитателям Ташкента все труднее было переносить жару. Тамара Груберт пишет весной Татьяне Луговской из Москвы: “У вас скоро будет жарко. Как ты? Ведь все летние платья у меня в сундуке. Ищу okazji переслать, но пока безрезультатно”^[230]. Тамара Эдгардовна – первая жена Луговского – осталась в Москве в их общей большой квартире в Староконюшенном переулке.

Ирина Голубкина, мать другой дочери Луговского – Людмилы, была в эти дни в местечке Куропаткино, недалеко от Самарканда и Ташкента, где работала в госпитале.

О том, что ты чувствуешь себя плохо, что жизнь твоя полна тревог и неприятностей, – писала Луговскому она, – что материально скверно – я представляла до получения твоего письма. В Ташкент вы (писательская среда) умудрились перенести все отрицательные условия существования Москвы. Ты так же неисправим^[231].

Итак, наступала весна, война продолжалась, и писатели, поэты и драматурги, а главное, их жены стали через спецраспределители добывать себе одежду. Наверх, наркому торговли, пошли письма с просьбами, в частности и от московских драматургов:

За год пребывания в Ташкенте небольшое количество белья, носков и проч<ее> совершенно износилось, возобновить запас их по местным условиям было невозможно, и к настоящему времени ряд наших товарищей, в том числе и руководящих членов Бюро Комитета, очутились в весьма затруднительном и, даже можно сказать, бедственном положении. Им необходимо срочно помочь, отпустив для них хотя бы минимально количество носильного белья (по три пары), носков (по 6 пар), носовых платков (по 6 шт.), обуви (по 1 паре) и по 1 костюму. <... >

Учитывая, что выдать все просимые вещи для всех членов нашего коллектива может оказаться затруднительным, Бюро сделало отбор наиболее нуждающихся товарищей, список которых помещен на обороте настоящего письма, и выражает уверенность, что такое небольшое количество не сможет затруднить выполнение нашей просьбы^[232].

Список остро нуждающихся литераторов тоже сохранился в архиве Луговского, хотя его имени там не было, но примечательно, что остро нуждающимися в основном оказались парторг, председатель Ревизионной комиссии и прочие “незнатные” товарищи. Так они обсуждали и голосовали часами подряд по поводу носков, носильного белья и носовых платков.

Мария Белкина с юмором описывала одно из таких распределений:

Бытовая комиссия ССП решила добыть эвакуированным писателям вещи ширпотреба. Для этого на Первомайскую в Союз выехал директор универмага с продавцами и кассиром. <... > Все проходит под лозунгом “Остро нуждающимся эвакуированным писателям”. Итак, сцена: узкий зал, в обычное время столовая, сейчас за сдвинутыми столами накинаны груды товаров – одеяла, ичиги (узбекские сапожки), шелка, шерсть и прочее. Стена стеклянная, окна в сад, видны деревья. <... > Слева и справа две двери. За дверями толпа. Слева “нечистые”, справа “чистые”.

Лесная (толстая, хромая женщина, кажется, писательница, что написала – неизвестно, подходит к дверям налево сквозь стекло). “Товара на всех хватит! Спокойствие, спокойствие... (подходит к дверям) граждане, граждане, в первую очередь будут отпускаться товары членам президиума, членам комиссии, отъезжающим на фронт, в Москву и больным”. <...> Первая – мадам Иванова, в собольей курточке, вид явно “остро нуждающийся”, Лежнев, Погодин, Шназман (директор столовой) и пр. пр. знакомые и родные, друзья и товарищи. Все бросаются к прилавкам^[233].

Часть текста в письме вычеркнута военной цензурой, которая сочла такие описания неприемлемыми.

Тамара Иванова, жена Вс. Иванова, вместе с Е. Пешковой, известной хлопотами об арестованных и ссыльных, благородной деятельностью в Красном Кресте, работали в Ташкенте в Комиссии помощи эвакуированным детям. Вместе с женами крупных партийных работников, тоже из этой комиссии, были связаны со всеми распределителями и внешне сильно отличались от обычной эвакуированной публики. Всегда изысканно одетые, прекрасно причесанные дамы составляли элиту писательских жен. К сливкам писательской колонии относились также Людмила Ильинична Толстая и Надежда Алексеевна Пешкова (вдова сына Горького). Отсюда и некоторая ирония к именитым в письмах Марии Белкиной.

Елена Сергеевна и Татьяна Луговская решили делать шляпки и продавать их обеспеченным дамам из эвакуированных. Использовали они подручный материал: обрезки материи, проволоку, стирали, красили, крахмалили – и дело пошло. Появились первые клиентки. Уговорить даму купить изысканную шляпку, да еще в условиях жары, было делом несложным. Кроме того, вкус Елены Сергеевны казался покупательницам безупречным. Товар стали брать. Но каков был ужас модисток, когда выяснилось, что клиентки не могли войти в них даже до порога дома – шляпки подло разваливались, рассыпались прямо у них на голове. Незадачливые модистки прекратили свое производство.

Алайский рынок

Как и в любом восточном городе, рынок, рыночная площадь были центром. К ним стягивались улицы, здесь узнавали новости со всего света, рассказывали последние городские сплетни. Теперь, во время войны, именно здесь сосредоточивалась жизнь людей.

Умение обменивать вещи на продукты или одни продукты на другие высоко ценилось в писательской среде.

Это делали все, – вспоминала Надежда Яковлевна о тех днях, – но мы с ней (Ахматовой. – *Н. Г.*) не умели делать то, что делают все, <...> то есть получать паек бубликами, менять их с приплатой на хлеб, лишнюю часть хлеба снова обменивать, а на приплату выгадывать горсточку риса... У нас закружилась голова от множества тонких операций, на которые были способны все, а нам решительно не везло, потому что я иногда промаргивала самые основные предметы обмена^[234].

Дополнительный паек для Ахматовой появился непостижимым образом. В Ташкент по правительственному проводу позвонил сам Жданов (!) и попросил позаботиться об Ахматовой, вспоминала Надежда Мандельштам:

Он, наверное, объяснил, кто она (“наш лучший”, “наш старейший поэт”), и в результате приличный писатель из эвакуированных спроворил ей два пайка в двух магазинах и жена писателя, женщина с милицейским стажем, приносила домой выдачи и кормила Ахматову. Когда они уехали, второй паек отсох, так как требовалась новая доза хлопот и улещиваний^[235].

Здесь еще одно странное сближение – Жданов, заботящийся об Ахматовой. Партийный деятель, который после войны своим знаменитым докладом 1946 года о журналах “Звезда” и “Ленинград” нанесет Ахматовой почти смертельный удар, после которого она с

трудом оправится. Но в тот момент власть оберегала великую поэтессу, надеясь, что ее поэзия еще пригодится.

Об Алайском рынке, существовавшем во время войны в “развратной пышности” изобилия, ярких красок, дорогих вещей и нищеты, вспоминали почти все обитатели Ташкента. Художница Валентина Ходасевич с горечью писала о том, что Союз художников не позаботился о пайках для своих членов, пришлось идти менять вещи на базар, чтобы купить еды, а вернулись голодные, с огромным старинным подносом, повесили его на стену и любовались.

Татьяна Луговская вспоминала:

А базары, на которых из-за бедности ничего нельзя было купить, казались необычайно живописными и изобильными. Фламандские натюрморты и узбекские узкие глаза. Орехи, сахар, сало, виноград и астрономические цены. И ни копейки никогда не уступят^[236].

Мария Белкина писала:

Азиатский, красочный, веселый, сытый базар! Золотистые, солнечные дыни, оранжевые тыквы, прозрачные, подвешенные гирляндами гроздья винограда, бочонки меда, мешки с белоснежным рисом, бархатные домики молотого красного перца, розовые куски сала с тонкой коричневой прослойкой мяса, бараньи туши, подвешенные за ноги, живые бараны с огромными, хоть на тачке вези, курдюками и одуряюще пахнущий, прямо с пышущих углей – шашлык! Горячий, чуть не дымящийся плов, который узбечки носили в чугунах, завернутых в толстые ватные одеяла, и тут же могли положить на алюминиевую тарелку, или в горсть, или на газету. И такие соблазнительные, с поджаристой корочкой, лепешки – вождение всех голодающих и недоедающих!

Помню, как при мне на этом базаре несколько здоровенных узбеков в ватных халатах, надетых прямо на голое тело, подпоясанных разноцветными кушаками, навалились на одного тощего, бледнолицего юношу, который стащил лепешку и судорожно глотал ее, не прожевывая, боясь, что ее могут отнять. Его били ногами человек пять, перебрасывая его от одного к другому, а он не защищался – покорно принимал побои. Мы с одной узбечкой бросились к торгашам, умоляя их не калечить парня, но они нас отпихнули^[237].

Где-то среди богатых прилавков ходил голодный сын Марины Цветаевой Мур Эфрон.

Луговской, как уже говорилось, переживая острую депрессию, уходил на рынок, сидел на ступенях, валялся в пыли... Его существование проходило у всех на глазах, но мало кто понимал, что с ним творится.

Три дня сижу я на Алайском рынке,
На каменной приступочке у двери
В какую-то холодную артель. <... >
Идут верблюды с тощими горбами.

Стрекочут белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О сонный разворот ташкентских дней!
Я пьян с утра, а может быть, и раньше...

Поэт сидит на заплеванных ступеньках среди роскошного изобилия красок, а вокруг восточный базар, в котором он чувствует себя юродивым, нищим поэтом и, может быть, оттого абсолютно свободным. Его узнают, ему наливают. А он не стесняется, не боится унижения. И в отличие от Ахматовой – просит. Он все более и более уходит от себя вчерашнего, довольного, благополучного. Все это станет темой поэмы “Алайский рынок”.

В начале 1942 года Белкина писала в посланиях мужу на фронт нечто вроде хроники ташкентской жизни. “Луговской – старая пьяная развалина <...>. Пьет, валяется в канавах, про него говорят: «Луговской пошел в арык»”^[238].

“А Володя запил, и пил ужасно, пока мама не умерла, а потом как отрезало”, – вспоминала Татьяна Луговская. Она говорила, что испытывала ужасные муки стыда за пьющего брата и однажды, уже познакомившись с Ахматовой, зашла к ней в подавленном состоянии. Ахматова спросила, что с ней. И настояла на ответе. Татьяна Александровна призналась, что боится возвращаться домой, ее унижает пьянство брата, которое видно всем. На это Ахматова достаточно жестко заметила, что ее брат – поэт, у него могут быть падения, а без падений не бывает и взлетов.

Что мне сказать? Я только холод века,

А ложь – мое седое острие.

Подайте, ради бога.

И над миром

Опять восходит нищий и прохожий,

Касаясь лбом бензиновых колонок,

Дредноуты пуская по морям,

Все разрушая, поднимая в воздух,

От человеческой мощи заикаясь.

Но есть на свете, на Алайском рынке

Одна приступочка, одна ступенька,

Где я сижу, и от нее по свету

На целый мир расходятся лучи. <... >

Моя надежда только в отрицанье.

Как завтра я унижусь, непонятно.

Остыли и обветрились ступеньки я

Ночного дома на Алайском рынке.

У Всеволода Иванова в дневнике от 10 сентября 1942 года записан рассказ Луговского о некоем капитане Лейкине, с которым он познакомился в шашлычной возле Алайского рынка:

<... > Стена народу в шашлычной. Перед капитаном, что в казачьей одежде с чубчиком, четыре бутылки водки, нераскупоренные, в ряд.

Какой-то армянин в украинской рубахе задел <нрзб> и разорвал от края и до края. <...>.

Опять та же игра. Пляшут с неподвижными, идольскими лицами два инвалида – безногие, безрукие. Капитан начинает бранить тыл, разврат <...> и сам выбрасывает из сумки деньги за *двадцать пять шашлыков*. Затем брань с “пехотинцами”, бегство на базар за помощью. “Пехотинцы” ругают кавалеристов... Инвалиды пляшут перед пехотинцами. Армянин брюхом ложится на виноград, покрывающий грязный стол, и сумку с деньгами, оставленную капитаном Лейкиным... Когда он рассказывал, я думал о людской привычке: привыкнув убивать – вернувшись, как жить мирно? Ведь после прошлой войны продолжалась война классовая, где подобные капитаны Лейкины могли проявить себя^[239].

Эти почти брейгелевские картинки красноречиво свидетельствовали, что советский мир на войне, так же как и в лагерях, исчез или же уменьшился шагреневой кожей до размера заметки в газете “Правда”; советские писатели и поэты, столько положившие на созидание его в своих произведениях, столкнулись с тем, что его на самом деле нет. Было то, что подмигивало с брейгелевских картин – злоба, хитрость, зависть, глупость – или сияло с икон – доброта, милосердие, сострадание.

Война давала каждому поэту или писателю великий шанс – оказаться рядом с капитанами Лейкиными, оказаться рядом с калеками и инвалидами, когда они дико танцуют, пьют, ругают пехотинцев или кавалеристов. Луговской опишет эту шашлычную в одной из своих поэм:

Вот забегаловка.

Сюда приходят
Девчонки, бескорыстные, как дети,
Родная рвань, рябые спекулянты,
Жеребчики из продуктовых складов —
Весь тыловой непогребенный сброд.
Сидит, сощурясь, гармонист угрюмый,
Угрюмо пляшет молодой калека,
Безрукие взметая рукава...

Россия вернулась к самой себе в этом восточном городе. Она стала такой, какой они, писатели и поэты, живущие собраниями, наградами, заказными работами, ее давно не видели или не хотели видеть. Эти

“безрукие рукава” она взметала давно, а острейшее сострадание, а не пафос и крик, приходили только сейчас.

Но льется чад, и свирепеет солнце,
Угрюмо пляшет молодой калека.
Косая тень фронтов и дезертирства.
Лежит углом на лицах и столах.

Капитан Лейкин, странно рифмующийся с капитаном Копейкиным, Лебядкиным, пьянчужка Мармеладов – все они вдруг повылезли из щелей, куда их затолкнула советская власть, объявив несуществующими, и застучали сначала по ташкентским, а потом и по столичным улицам костылями, обрубками, тележками, замахали пустыми рукавами. Традиция русской культуры от Пушкина, Достоевского и Толстого – всегда быть и с аристократией духа, и с отверженными и чувствовать напряжение, которое проходит через эти противоположные миры. Странно считать, что поэт просто опустил и оттого шатался по этим страшным углам, скорее можно сказать, что Луговской возвращался туда, откуда был родом, к привычкам вырастившей его культурной среды.

В драме Ахматовой “Энума элиш” (“Сон во сне”) в ремарке есть картина Алайского рынка, увиденного поэтом как бы лет 700 назад.

Край базара. Под стеной юродивый. Вася – склоченный, полуголый, слепой. Гадает, к нему очередь. Подходит Х. Выглядывает из окна – опускает на Васю яблоко. Он угадывает, что яблоко от нее. Движение в очереди (“С утра стоим” и т. д.).

Х.: Вася, погадай мне.

Слепой: Не бери сама себя за руку,

Не води сама себя за реку,

На себя пальцем не показывай,

Про себя не рассказывай...

Идешь, идешь и споткнешься...

Х. – героиня пьесы, сама Ахматова. Совет юродивого прозорливца она, может быть, и пыталась выполнить.

Ахматова не писала подробных писем – их все равно внимательно читали в органах; сжигала или уничтожала все, что как-то могло навредить ее близким или ей самой (так она уничтожила в 1945 году цитируемую драму, а потом уже по памяти восстанавливала ее в 1960-е годы). Не показывать на себя пальцем и не рассказывать про себя – не удавалось. Это противоречило самому исповедальному духу ее поэзии.

Все, что было ею написано, существовало только как ее личное чувство, ее переживание.

Этот совет юродивого можно было отнести и к Луговскому; все поэмы он писал в те годы только от своего имени, абсолютно не скрывая от читателя, что все происходящее с ним – его личный внутренний опыт, его слезы, его унижения, его падения.

Когда-то в 1920-е годы Виктор Шкловский в рецензии на сборник стихов Ахматовой писал о “бесстыдстве поэтов и поэзии”:

Маяковский вставляет в свои стихи адрес своего дома, номер квартиры, в которой живет его любимая, адрес своей дачи, имя сестры.

Жажда конкретности, борьба за существование вещей, за вещи с “маленькой буквы”, за вещи, а не понятия – это пафос сегодняшнего дня поэзии.

Почему поэты могут не стыдиться? Потому, что их дневник, их исповеди превращены в стихи, а не зарифмованы. Конкретность – вещь, стала частью художественной композиции.

Человеческая судьба стала художественным приемом^[240].

Может быть, Шкловский что-то преувеличивал, но таков был его стиль в 1920-е годы.

Удивительно другое: власть научилась искать в стихах и прозе не только клевету на строй, но своеобразные самодоносы. Им, к примеру, стала “Повесть о разуме” Михаила Зощенко, исповедальное повествование, которое использовалось чиновниками для борьбы с автором.

Об этом и предупреждает юродивый с Алайского рынка: “О себе самой не рассказывай!”

Прогулки по городу

Мария Белкина вспоминала, что на улицах города можно было увидеть огромное количество кинозвезд; тут жила Татьяна Окуневская, бывшая в те годы женой писателя Бориса Горбатова, Тамара Макарова с мужем – режиссером Сергеем Герасимовым, Фаина Раневская и многие другие, кто не уехал сразу же в Алма-Ату

Милый, родной мой песик! – писала она в начале 1942 года. – Ну, вот каждый день бегаю на почтамт, как запойную пьяницу каждый вечер тянет совершить очередной пробег... так как до площади Пушкина пешком, конечно, – длинная улица вся в тополях. Освещение больше лунное, и в дождь, и в снег, и в туман бежишь. Трамваев, бань и др. общественных учреждений – здесь очень много тех самых насекомых, на которых строилась вся литература о гражданской войне <...>. Вирта закончил роман – он здесь царь и бог, содействовал моему

устройству, защищал сам, я не просила. У него произошел инцидент – просился у Информбюро на фронт, когда начались у нас успехи – ему отказали.

“Ваша просьба посылки на фронт несколько запоздала” – точный текст телеграммы. Но он устроил через ЦК. Одно время был на Сев. фронте. Этот из тех, что себя не забудет и родине послужит. Луговской, старая, пьяная развалина, конечно, трусил и бежал с фронта, но потом сильно захворал. Пьет, валяется в канавах, про него говорят: Луговской идет в арык... Ахматова и Городецкий живут в том же доме, что и я. Жена Пастернака просила передать привет. Борис Леон <идович> в Чистополь поехал ко второй жене. Где Асмус, не знаю, Хазин кланялся, с ним его “разрезательный нож” – Фрадкина. С Соф. Кас. связь наладить не могу – проклятый заколдованный город не отвечает. Туда же пишу и Маргоше Э и Женьке, но может быть, она уже в Москве?! Женя говорят, вышел из окружения и поехал к Софке в Чистополь. Лапин и Хацревин были в окружении, дальнейшей судьбы не знаю. Илья Григорьевич, Савич в Куйбышеве. Твардовский молодец – всю премию пожертвовал на оборону, а другие премиальные прокручивают здесь... Павлик вернулся в Москву... Даня, Нюнькин Боб, <...> Ярослав, Коваленков – все дерутся со сволочью. Актив “Знамени” показал себя хорошо <...>. Здесь Лежнев читает лекции “Кровавый Адольф”, здесь выступают под заголовком “Писатели фронтовики” – Луговской, Гусев (первый хоть и бежал с фронта, а другой всю войну просидел на радио). Граф Алексей Николаевич разъезжает в своем форде, его графиня – дама патронесса, благотворительница – вся в “духах” и мехах приезжает в детские дома, где столько детского горя, где воскрес Диккенс с его “Оливером Твистом”, помнишь приюты... Так-то!.. Клоака... Эмиграция...^[241].

Брат Н.Я. Мандельштам Хазин и его худая жена Фрадкина – “разрезательный нож” – поселились на улице Жуковской в том же доме, что и Луговские. Софья Касьяновна Вишневецкая – жена Вишневецкого, художница, ринется за ним в блокадный Ленинград. Маргоша и Женька, Маргарита Алигер и Евгений Долматовский, о котором уже дошли вести в Ташкент, включая его счастливое спасение. Даня – это Даниил Данин, а Нюнькин Боб – это уже многократно упоминаемый Борис Рунин, все они чудом вышли из окружения.

Евгений Борисович Пастернак, который жил с матерью в Ташкенте недалеко от Пушкинской улицы, писал о своих прогулках по ней с Мишей Левиным, будущим физиком.

Пушкинская улица, по которой нам было вверх до Урицкого, была обсажена большими деревьями – вероятно, тополями. Они облетали, и улица была завалена по щиколотку палыми, громко шуршащими и горько пахнущими листьями. Журчала вода в арыках, и когда мы дошли до перекрестка, где Мише было через улицу, а мне – за угол налево, – настоящий разговор только начался. Мы еще долго ходили по

прилегающим улицам, поочередно провожая друг друга, и не могли наговориться^[242].

Из письма Михаила Левина:

В Ташкенте сейчас зима: на улицах грязь, на тополях снег, маленькие ослики, укрытые попонками, равнодушно месят мостовую. Глаза у осликов совсем человеческие. А на горизонте горы^[243].

Татьяна Луговская не сразу сумела полюбить город, но полюбив, пыталась его образ передать в красках и словах.

Ташкент был мрачен и прекрасен одновременно. Мрачен войной, ранеными солдатами и больными беженцами, горьким запахом эвакуации, замкнутым, сухим, пыльным, с домами без окон на улицу – старым городом, городом чужой земли.

Прекрасен – потому что красив, потому что юг, а главное, какой-то полной свободой: уже нечего терять, уже все страшное случилось, уже все, что имело ценность, обесценено и потеряно. Уже знаешь, что можешь жить босой, голодной и холодной.

Утром до работы я бегала на этюды. Присядешь где-нибудь около грязного вонючего арыка и пишешь. На ногах деревянные подошвы, в животе пусто, но душа ликует. Удивительно красивы огромные белые акации и похожие на пики тополя. Глиняные стены и дувалы, которые становятся розовыми от солнца. А плитка на дороге – сиреневая. Старые женщины еще ходили тогда в паранджах, и от них ложилась на землю голубая тень. Маленькие девчонки лепились около них и крутили головками с бесчисленными косичками. <...>

Наш двор – убитый камнем, с арыком и шелковицей под окном и высоким дувалом, окрапленным красными маками. Дикие голодные камышовые коты и собака Тедька, которой кто-то аккуратно красил брови чернилами^[244].

Ноев ковчег. Улица Карла Маркса, 7

Я живу в центре города, у Красной площади со статуей Ленина, у самого здания СНК < Совнаркома >, – писал Мур сестре об улице Карла Маркса, – минутах в 15 ходьбы – Союз писателей и столовая, 5 минут от книжного и букинистического магазинов; почти все под боком. <... > – И через несколько дней продолжал: – <...> Я нахожусь в постоянном тесном общении с писательской средой <...>. Да, я писателей знаю хорошо; передо мной они всегда представляли в их натуральном виде, ибо я всегда представлял для них человека слушающего, перед которым можно болтать без удержу. Некоторые даже, учитывая мою оригинальность, прикидывались совсем другими, чем на самом деле^[245].

Из письма В. Меркурьевой, знакомой А. Ахматовой:

Хочется рассказать о самой ни на что не похожей – об Анне Ахматовой. Пришла она к нам <2 апреля >, как всегда незваная, неожиданная, закурила – самокрутку <...>, стала рассказывать о “лепрозории” – общежитии писателей, где она живет, – остроумно, насмешливо и незлобиво^[246].

А Мария Белкина часто писала мужу в блокадный Ленинград письма-картины, письма-сценки, где остроумно изображала быт писательского дома.

Ташкент. 17 марта 1942 года

Я, конечно, уже на боевом посту – как меня здесь дразнят – у коляски. Представь себе так – сцена, на сцене двухэтажный дом, два парадных, над ними два балкончика. Утро. Солнце светит сквозь пелену туч. На лестнице, сквозь разорванную мглу, кусок голубого неба и громады снежных гор (отрогов Тянь-Шаня) скорее подразумеваются, чем видятся, но в 12 часов будут ясно видны.

Занавес поднят, участники спектакля – провинциальные актеры – играют пьесу, плохо написанную: нет ролей, а им скучно.

Итак, занавес поднят.

На втором этаже открывается окно – высовывается мадам Благая, профессорша в белом капоте в рюшках. Дама лет 45. Грузная брюнетка, нос грушей <... > играет молодую. Мадам Благая (*за кулисы*). Утеночек, утеночек...

Утеночек (проф. Благой). Появляется в окне, круглые очки. Белый колпак с кисточкой. Шея очень длинная, голова болтается, как тыква на шесте.

Утеночек. Мм... (*Мадам Благая прильнула, оба исчезают...*) Появляется рыжая кошка, по карнизу подбирается к окну.

М. Благая. Брысь, брысь... (*Кошка исчезает*).

Открывается парадная слева, появляется Улицкий – персонаж без слов. Толстый, короткий – срезанная с двух сторон сигара. Думает, что писатель – заблуждение. Торговец – когда в столовой развешивают продукты, ясно – нашел место в жизни. Ночная пижама, галоши, драповая кепка, кубарем слетает с крылечка, во двор торопится – во дворе уборная, вход только в галошах и противогазе...

Рыжая кошка опять появляется на карнизе. В окно выглядывает проф. Благой. Кисточка на колпаке болтается, выражение лица кровожадно, в руке острый предмет. Он говорит за кулисы: “Подожди деточка, я ее, стерву, сейчас!” Кошка накалывается на предмет, взвизгивает – окно захлопывается. Благой с демоническим смехом исчезает. Сцена пуста. Проходят люди с портфелями в Совнарком – на лицах надежда, проходят люди с портфелями из Совнаркома – на лицах нет надежды... Возвращается Улицкий – он доволен, улыбается. Открывается парадное справа – выходит седой, тощий гражданин, бывший архитектор, теперь <...> дед, с ведром, персонаж явно трагический, в пьесу попал по бездарности автора. Из двери выходит

Шток – клетчатая пижама, халат до пят, фетровая шляпа, в одной руке – помойное ведро, в другой – ночной горшок или что-то похожее. Долго стоит с папиросой в зубах, ждет прохожего, чтобы закурить. Идет беженка с ребенком, из парадной выходит жена Улицкого, в руках яйца – идет за кулисы жарить мужу яичницу.

Беженка (*вялым, безразличным голосом*). Подайте что-нибудь. Жена Улицкого. Что ты, милая, я такая же беженка, как и ты...

Беженка. Подайте...

Жена Улицкого. Вот пристала, я тебе по-русски говорю: я такая же беженка, неужели не понятно?

Ребенок смотрит пустыми, бездонными глазами... Беженка проходит, волоча ноги, обмотанные тряпьем. Жена Улицкого берет под руку Штока, уходят в ворота. Мадам Городецкая подходит к постоянному персонажу пьесы – перед домом на сцене колясочка, у колясочки мать, вечно пишет письма.

М. Городецкая. Я хочу узнать у вас одну тайну. Только дайте слово – вы никому об этом не скажете. <...> Когда наступит жара, вы срежете ваши прелестные локоны (*“прелестные” произносится через “э” обратное*). Нет? Очень рада, у вас тон англичанки, локоны вам к лицу. Если бы вы знали, какие были у меня локоны. Вы представляете, я, полуобнаженная, локоны до колен и у моих ног Анатолий Франс, вы знаете, он написал “Боги жаждут”, это такой роман. Мы в Париже были самая интересная пара...

Выходит сам Городецкий. В кармане водка, бутылка.

Мадам Городецкая. Сережа, где ты <...>. Ужасно быть женой поэта. Ваш муж, кажется, критик, я знаю, такой хорошенький блондин. Есенин тоже был блондин, он за один поцелуй был готов пожертвовать жизнью, но я его выгнала: “Сережка, убирайся!” – и кинула каблуком, тогда были модны золотые каблуки...

Но пьеса слишком затянулась, скучно и автору, и зрителям, и актерам. Выходит дворник-узбек в ватном халате, подпоясанный женским платком, он метет, поднимается страшная пыль, все исчезает...

Очень жарко становится. Дамы вылезают в летних пальто, и я с вождением вспоминаю о том, что когда-то у меня были даже два^[247].

Так заканчивалось это письмо. На сцене – дворник, поднимающий пыль, в мареве которой теряются все персонажи.

Ахматова и Сергей Городецкий были близко знакомы еще с дореволюционных времен, по “Цеху поэтов”, акмеистическим собраниям. К 1940-м годам в нем от прежнего известного поэта, близкого знакомого и друга Блока, Клюева, Есенина, почти ничего не осталось. По словам Л. К. Чуковской, Ахматова в Ташкенте отзывалась о нем так: “Потоки клеветы, которые извергало это чудовище на обоих погибших товарищей (Гумилева и Мандельштама), не имеют себе равных”^[248].

Наблюдательный Мур Эфрон говорил юному Эдику Бабаеву: “Вот, например, Анна Ахматова написала стихи о своей «вольности» и «забаве»: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом бренчать...» Сергей Митрофанович Городецкий говорит: «Кто это пишет? Анна Ахматова? Моя недоучка...»”^[249]

Вместе и наряду с “Избранным” Анны Ахматовой, – писал Бабаев, – в Ташкенте были напечатаны и “Думы” Сергея Городецкого с подзаголовком “Семнадцатая книга стихов”. Я принес этот сборник Анне Андреевне, думая, что ей это будет интересно. Она перелистала сборник, взглянула на титульный лист и сказала:

– Семнадцатая книга стихов... Много я дам тому, кто вспомнит, как называлась шестнадцатая книга!

Никто не помнил, и никто не знал^[250].

Однако жена Городецкого Нимфа, женщина со странностями, и дочь Ная помогали Ахматовой, часто бывали у нее.

В дневниках Л. К. Чуковской сохранился такой разговор с Ахматовой:

Дня два-три тому назад она показывала мне письмо из армии, от очередного незнакомца, благодарящего судьбу, что он живет на земле одновременно с нею. Очень трогательное. Я вспомнила такое же, полученное ею из армии во время финской войны. – Я показала его Нае, – сказала Ахматова. – Она очень зло сообщила: “Папа сотни таких получает...” Потом я прочла ей два четверостишья памяти ленинградского мальчика. Она сказала: “Очень похоже на «Мурка, не ходи там сыч...»”

Как меня ненавидит все это семейство, и любит, и завидует мне. Ная оскорблена за отца... Нимфа дня три назад пришла ко мне и сообщила, что перечла “Из шести книг”, что это однообразно и очень бедно по языку^[251].

И все-таки Ахматова, хотя и считала дом на Карла Маркса “лепрозорием” и “вороньей слободкой”, здесь, на сквозняке чужого пространства, написала стихи, где есть образ иного “азиатского дома”, в который вернулась ее душа после семисотлетних странствий.

Все те же хоры звезд и вод,
Все так же своды неба черны,
И так же ветер носит зерна,
И ту же песню мать поет.
Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети ограда,
Будь полон, чистый водоем.

Это стихотворение Ахматова написала уже перед отъездом, пройдя множество испытаний: холодом, тоской по близким людям, заблуждениями и отчаянием, болезнями, переездами.

В чужом городе, где ничего не было своего, она наполняла пространство своим присутствием. Она читала петербургскую поэму в Ташкенте, писала здесь новые стихи; и Запад и Восток в ее строках перезванивались, оживали новыми красками.

По наружной лестнице <... > я поднялся на длинный крытый балкон двухэтажного дома, – вспоминал поэт Валентин Берестов, мальчиком познакомившийся с Ахматовой, – в начале ташкентской улицы Карла Маркса. С балкона застекленная дверь, служившая также и окном, вела в крохотную комнатку Ахматовой, которую она называла “копилкой”. Название это с двумя смыслами. Маленькая комнатка – на месте сберкасс, приспособленной под общежитие для эвакуированных.

Над домом и двором стояла яркая голубая весенняя звезда. Она сияла как раз над той светящейся дверью, куда мы должны были войти. Поднимаясь по деревянной крутой лесенке, я все время смотрел на звезду. <... >

Голая электрическая лампочка на белом шнуре. Ахматова сидела на казенной узенькой койке, откинувшись к белой стене^[252].

Болезни. Кривотолки. Расставания

Если ты смерть – отчего же ты плачешь сама?
Если ты радость – то радость такой не бывает.

Анна Ахматова, ноябрь 1942

Какая есть. Желаю вам другую, – Получше.
Счастьем больше не торгую.

Анна Ахматова

Лидия Корнеевна Чуковская жила на Жуковской, 54, в шестиметровой комнатухе под лестницей, о которой писала, что ее “смело можно было бы назвать чуланом, если бы в ней не было окна”.

Когда летом 1942 года я заболела брюшным тифом и, отдав Люшу родителям, вылеживала шестинедельный бред в своем чулане, Анна Андреевна не раз навещала меня. Однажды я расслышала над своей

головой: "...у вас в комнате 100 градусов: 40 ваших и 60 ташкентских"^[253].

Вскоре Ахматова заразилась и заболела тифом сама.

Она металась по кровати, лицо было красным и искаженным, – вспоминала Светлана Сомова. – "Чужие, кругом чужие! – восклицала она. Брала образок, со спинки кровати: —

На грудь мне, когда умру... " И какие-то бледные беспомощные женщины были вокруг^[254].

В эти страшные дни в бреду она писала стихи.

Смерть

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет и названья...
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользанье...

А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта,
и ветер в парусах – и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

Потом был второй тиф – в начале ноября 1942 года. Ее удалось устроить в санаторий в Дюрмень под Ташкентом, а потом ее перевезли в стационар на улице Жуковской. Она готовилась к смерти и в то же время боялась умереть именно здесь и остаться в памяти потомков искаженной слухами и наветами. Еще в 1922 году Ахматова написала стихотворение "Клевета":

И всюду клевета сопутствовала мне.

Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет,
В моей крови ее неуголенный рот
Считать не устает не бывшие обиды,
Вплетая голос свой в моления панихиды.

Тот образок на груди из стихотворения 1922 года появляется в 1942-м в тифозном бреде. К Ахматовой часто заявлялась веселая компания с Раневской, приходившей в сопровождении преданных актрис; этому всегда сопутствовали выпивка, веселье, грубые анекдоты, которые шокировали Лидию Корнеевну: у нее было другое поле деятельности – высокая поэзия, разговоры, работа с текстами. Началась невидимая борьба на вытеснение противника, в которой верх одержала знаменитая актриса. Потом Раневская говорила, что Ахматова выставила Чуковскую, потому что та плохо о ней отзывалась, и даже то, что Чуковская испугалась постановления 1946 года и боялась общаться с Ахматовой. А уж это совсем не могло быть правдой, ведь Чуковская и Ахматова познакомились и подружились в самые отчаянные 1930-е годы. Уж чего-чего, но страха здесь не было. Были интриги, что возникает часто около талантливых людей.

Тех, кто клеветал в 1920-е годы, теперь Ахматова называла “вязальщицами”, это были местные сплетницы. Их раздражали ее постоянные посетители, подношения, которые она получала, и то, что она щедро делилась со всем двором. Мария Белкина говорила, что эти дамы действительно сидели на наружной лестнице напротив ахматовской двери и следили за всем, что происходило во дворе: кто к кому идет, кто от кого вышел – и при этом беспрерывно вязали. Ахматова ответила всем “вязальщицам” стихотворением, написанным 21 июня 1942 года:

Какая есть. Желаю вам другую,
Получше.
Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики...
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки! <...>
Над Азией весенние туманы
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою,
Что делать с неподкупностью простою?
О, что мне делать с этими людьми?
Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих – безутешная вдова.

“Вязальщицы” преследовали ее всю жизнь, до самой смерти. Их иное название, как объясняет Л. К. Чуковская, – “фурии гильотины”, женщины-фанатички, появившиеся в годы Французской революции. Их изобразил Чарльз Диккенс в романе “Повесть о двух городах”. “Накануне казни они садились перед гильотиной в первых рядах и деловито перебирали спицами. Не прерывая вязания, женщины подсчитывали отрезанные головы”.

Раневская рассказывала: когда Анна Андреевна вешала на дверь записку со словами о том, чтобы ее не беспокоили, так как она работает, бумажку каждый раз срывали, та и часу не могла провисеть – понимали, что это автограф знаменитого поэта. Объяснять что-либо своим современникам она не пыталась, стихотворение “Какая есть...” скорее было адресовано будущим поколениям, Ахматова рассказывает потомкам не о поэтической – о личной судьбе. В умении брать на себя чужие кресты она признавалась еще в середине 1920-х первому биографу – П. Лукницкому. И здесь не было тщеславия или гордыни, она не мерилась с другими своим горем, скорее обнаруживала перед читателями разность жизненных масштабов. Она жила десятилетиями в таком концентрированном кошмаре ночей, звонков, тюремных очередей, измен, что “эти люди” просто не могли ни осознать, ни вместить в себя весь ее опыт. Именно такого рода люди потом, с удивлением оглядываясь по сторонам, говорили: “А что, разве кого-то сажали, разве были какие-то сложности в стране? У нас все было хорошо”. Слепота и глухота многим помогали выжить физически, но духовно – убивали.

Ахматову сравнивали с Кассандрой, она рано стала предвидеть будущее, в том числе и свое, в том числе и посмертное, поэтому она и обращается к нам, зная заранее, что мы прочтем в мемуарах “вязальщиц”.

Так совпало, что с июня 1943 года Ахматова и Чуковская стали жить в одном дворе на улице Жуковской, занимались литературой с одними и теми же подростками, которые приходили к ним на занятия, – Э. Бабаевым, З. Тумановой, В. Берестовым.

С середины декабря 1942-го я перестала у Анны Андреевны бывать, – писала Лидия Чуковская. – И она более не посылала за мною гонцов. Вплоть до моего отъезда из Ташкента в Москву осенью 1943 года (то есть почти целый год!) – мы, живя в одном городе, изредка встречались всего лишь на улице – на окаянно знойной, непереносимо длинной улице азиатского города (который ей удалось, а мне так и не удалось полюбить)^[255].

Летом 1952 года отношения между ними восстановились и продолжались до самой смерти Ахматовой. Лидия Корнеевна Чуковская оставила подробные “Записки”, в которых запечатлены атмосфера тех лет и их многочисленные разговоры.

В те дни и месяцы Ахматова страдала не только за сына, но и за Владимира Георгиевича Гаршина, которого с конца 1942 года стала называть своим мужем. Они были связаны дружбой и нежной привязанностью еще накануне войны. Он был врач, профессор-патологоанатом, на тот момент главный прозектор в блокадном Ленинграде. В умирающем городе для него было очень много работы. В одном из писем, отправленных Ахматовой в Ташкент, он сделал ей официальное предложение, поставив условием, что она должна взять его фамилию. Ахматова после некоторого колебания согласилась. Она с нетерпением ждала от него писем, но они приходили крайне редко.

24 мая 1942 года она получила от Гаршина открытку, а через некоторое время сказала Чуковской, что хочет ехать в Ленинград с подарками для ленинградских детей, чтобы увидеть Гаршина. Но поездка не состоялась. Через всех ленинградцев она пыталась узнать о нем. В ноябре жена Гаршина упала и умерла на улице. Он написал Ахматовой письмо, где объяснял, что покойная была самым значительным человеком в его жизни. Ахматова негодовала: “А если бы я написала ему, что самым значительным человеком в моей жизни был Лурье?” Но потом они стали с нетерпением ждать встречи. Ему была посвящена вторая часть “Поэмы без героя” и эпилог.

В середине 1942 года из блокадного Ленинграда в состоянии тяжелой дистрофии выехал Николай Пунин, бывший муж Ахматовой, со своей семьей. Она писала близкому другу, Н. Харджиеву, критику, живущему в Алма-Ате, что 21 марта через Ташкент в Самарканд проехал с семьей Н. Н. Пунин, который был в тяжелом состоянии, и его нельзя было узнать. Кроме того, она вновь и вновь писала, что от Гаршина нет вестей.

Ахматова встретила Пунина на вокзале в Ташкенте, помогла деньгами и продуктами, он был глубоко тронут. Из Самарканда, конечного пункта их следования, из больницы, куда его сразу же положили с истощением, он отправил ей прекрасное письмо, которое Ахматова всю жизнь носила с собой.

Мне кажется, я в первый раз так широко и всеобъемлюще понял Вас – именно потому, что это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было предсмертное с вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. <... > Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас увидеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что Вы снова были на вокзале. Ваше внимание ко мне бесконечно^[256].

Ленинград был родным городом многих ташкентцев, а за время войны к нему возникло отношение как к живому человеку. Ленинградцы несли в себе трагедию города, независимо от того, где

находились. Связь с любым человеком оттуда была предельно драматична, все сведения о Ленинграде отзывались горем и потерями. И если на фронте могли воевать, сопротивляться врагу, то в Ленинграде – терпеть, погибать или чудом спастись.

Чуковские

У Марии Белкиной была прочная связь с блокадным Ленинградом. Тарасенков писал каждый день. Но так как корреспонденция приходила нерегулярно, то получалось, что когда она являлась на почту, девушки совали ей огромную пачку писем украдкой, многие из очереди дожидались единственного письма. Так она стала связующим звеном между ташкентцами и ленинградцами.

Еще в феврале 1942 года Ахматова (согласно дневникам Чуковской) говорила:

Я теперь уверена, что В<ладимир> Г <аршин > погиб. Убит или от голода умер... Не уговаривайте меня: ведь Тарасенкова (Белкина) получает от мужа регулярно письма^[257].

Мария Белкина бегала к Чуковским, чтобы рассказать о Николае Чуковском, который работал в газете вместе с Тарасенковым на Ладоге. Николай писал мало.

Позвонила мне сегодня М. Б. Чуковская – была у нее, говорила весь вечер. Ко<рней> Ив<анович> очень нездоров <...>, и дочь их больна брюшным тифом, из-за этого поездка в Москву откладывается, хотя мать сходит с ума и мечтает узнать что-либо там о погибшем сыне и узнать про Н<иколая> К<орнеевича> и его семью. Всю зиму М<ария> Б<орисовна> стремилась для этой цели в Москву, но целый ряд причин сбивал их. Это все передай Н. К.^[258]

С Ладоги, откуда шли письма, корабли и самолеты охраняли знаменитую Дорогу жизни, там Тарасенков и познакомился с Николаем Чуковским, работавшим корреспондентом при военном штабе. Они подружились. Жена Корнея Чуковского, Мария Борисовна, потерявшая накануне войны маленькую дочку Муру, не имевшая сведений о младшем сыне, находилась в тяжелом душевном состоянии. Письма с Ленинградского фронта шли очень плохо, а слухи были невероятными. Кто-то в отчаянии говорил, что Ленинград давно занят немцами, просто от всех скрывают истинное положение вещей, широко обсуждались и случаи каннибализма в голодном городе. Официальным сообщениям и пропаганде уже откровенно не верил никто. Родители Чуковского очень переживали за старшего сына. Но беда вошла в их дом с другой стороны: в начале войны, 4 октября 1941 года, из-под Вязьмы было

получено последнее письмо от младшего сына, Бобы, а вскоре стало известно, что он погиб.

Чуковский пытался писать старшему сыну бодрые письма:

Узбеки чудесный народ, деликатный, учтивый, – мы сошлись с семьей Горького, с Екатериной Павловной Пешковой – с “Тимошей”. – Лида работает в Академии Наук (с Зильберштейном), и если бы мы не томились мрачными мыслями о Бобе, жизнь нашу можно бы признать неплохой. <...> Верблюды, ишаки, содовая вода в киосках, бухарские халаты, тюбетейки. 17-го будет благотворительный концерт в пользу эвакудетей, я буду говорить вступительное слово – участвует Анна Ахматова, Толстой и другие. Сбор полный – 18 000 рублей.

Сейчас пришел ко мне Вирта прощаться. Он закончил роман и едет в Москву. И у него стащили калоши, которые он на секунду оставил в коридоре.

Я хворал, а теперь совершенно здоров. Пиши!!!¹

А Тарасенков, исполняя поручение жены, сообщал о Николае Чуковском почти в каждом своем письме.

24 мая 1942

Передай Чуковскому, что я видел сегодня его сына. Будем с ним встречаться частенько. Сегодня были с ним вместе у наших друзей-летчиков в гостях... Сосны. Обрыв. Чудесное место – курорт...

27 мая 1942

Эти несколько раз встретился с Николаем Чуковским. (Это теперь единственное лит<ературное> “общество”). Он бодр, здоров. Передай это его отцу. Николай жалуется – отец его пишет ходатайства в разные учреждения, чтобы сына отправили к нему в Ташкент, и делает страшно неудобно сыну, ибо ведь все равно все бумаги приходят к непосредственному начальству. Этого старому Корнею, конечно, не передавай...

3 августа 1942

Здравствуй, родная моя, чудесная Машка... Как мне мечтается о тебе... Вчера вечером встретились с Чуковским. Пошли на берег, выкупались, а потом сидели на плотах у берега и несколько часов подряд читали друг другу стихи Ходасевича, Мандельштама, Блока, Ахматовой... Прямо как будто нет войны. Так хорошо было в сотый раз припоминать милые знакомые строчки и образы, чудесные создания человека... Чуковский ждет жену – со дня на день она должна к нему приехать сюда на трехдневное свидание... Правда, ей не так далеко, она в Молотове. А мой Ташкент так далеко, где-то на краю света... А в Ташкенте мой беспокойный Махаон, который собирается бросить

меня... А в Ташкенте мой Митька, которого я никогда не видел... и жара, и странный азиатский быт...

Фантастика все это какая-то. Ни писем, ни открыток сегодня от тебя нет... И новостей у меня никаких нет. Писать что-то не могу – пустота в душе. В редакции на меня за это злятся, а я ничего не могу поделаться с собой – так раздергали меня твои последние письма...

Очень трудно без твоей ласки, внимания, настоящих душевных писем.

Целую, родная. Твой пес Толька.

15 августа 1942

Вожусь с Чуковским... Бродим с ним, читаем стихи и прозу (Достоевского), купаемся, критикуем несовершенство мироздания и грустим вместе по нашим женам... Сейчас я сижу у себя дома под развесистым фикусом, а он валяется на койке и упивается “Неточкой Незвановой”.

16 августа 1942

Милый Махаон! О, мне грустно без твоих писем, – а их опять нет уже несколько дней... Сегодня мы с Колей Чуковским устраиваем от нечего делать вечер Маяковского в клубе. Я сделаю свой старый доклад, он поделится воспоминаниями, а потом будем читать стихи Владим Владимировича. Пишется мне плохо. Хочу снова уйти в море... Начались у нас туманы, и летает свирепое миллионное количество каких-то белых бабочек... Получает ся таинственно. <...> Пиши, родная...

Твой старый пес Толька

25 августа 1942

О Чуковском. Все, что просят родные, завтра же ему передам. Мы очень сдружились за последние две-три недели и буквально не можем существовать друг без друга. То я еду к нему на аэродром и ночую у него, то он приезжает ко мне... Сегодня позвонил ему по телефону и передал о письме – завтра он будет у меня, и я все ему расскажу. Чуковский очень славный, по-настоящему тонкий культурный человек, бесконечно любящий и понимающий поэзию. Бесконечны наши с ним литературные разговоры, задушевная лирика о семье, которой мы делимся друг с другом... Психика его абсолютно здорова, – это все заботливые родственники мудрят. Он спокойный, храбрый и умный человек. Работает он сосредоточенно, написал большую книгу о летчиках. Прочел я здесь его довоенные романы, довольно приличные, особенно “Юность”... Весь он горит мыслью о свидании с женой. Сейчас

ему разрешили дня на 3 слетать в Молотов к жене... Если бы ты была в Молотове, я бы, конечно, тоже слетал.

10 сентября 1942

Милый пес! Вчера была мать Чуковского – прочла ей твое письмо, она была страшно растрогана. Чуковский в Москве. Не видался ли Н<иколай> К<орнеевич> с женой?

12 сентября 1942

Масса новостей, Махаон, в моем скромном провинциальном быте. Вчера приехал из Молотова Чуковский. Три дня он пробыл у жены, у семьи. Очень счастлив... Бездна рассказов о тыловой России, о быте писателей... Все это воспринимается непривычно остро...

24 сентября 1942

Сегодня Чуковский уезжает на 6 дней в Москву – отец (влияние!..) устроил ему вызов-свидание. Но я надеюсь, что мне без помощи знатных родственников удастся побыть там подольше ^[259].

Мария Белкина и Анатолий Тарасенков

Из Ташкента Мария Белкина высылала Тарасенкову подробные отчеты о жизни писателей, с большим юмором описывая ту жизнь. Тарасенков же всегда носил ее письма с собой, в нагрудном кармане гимнастерки. Вместе с ним они уже тонули в начале войны в холодном море возле Таллинна.

В первые же дни войны Тарасенков с Вишневским были направлены на Северный флот, где возле Таллинна произошел страшный исход советских войск. Немцы отрезали их от берега и вытеснили огромное количество людей в море, тысячи военных погибли на берегу и в морских волнах. Те же, кто ушел на кораблях, в большинстве своем утонули, нарвавшись на мины.

Тарасенкова по приказу Вишневского вызвали на корабль, который вскоре пошел ко дну. Некоторое время он плыл в холодной воде, среди мин, сверху по барахтающимся людям били с самолетов. Все море было полно людьми. Оно кричало, молило о помощи. Его, уже погибающего от холода, втащили на буксир, лавировавший между минами. Придя в себя, он первым делом побежал в котельную сушить письма жены. С размытыми чернилами, покоробившейся бумагой – такими они и

сохранились в архиве Марии Белкиной. Тогда он не знал, что в тот день, когда он чуть не погиб, у него родился сын.

Затем через Кронштадт он попал в Ленинград, где была создана оперативная группа при Политуправлении Балтфлота, в которой состояли Ник. Чуковский, Вс. Вишневский, А. Яшин, А. Крон, В. Инбер, Л. Успенский и другие. В их задачу входило поддерживать дух блокадного Ленинграда патриотическими стихами и статьями в газете. Не все писатели вынесли пребывание в городе до конца, под разными предлогами они улетали в Москву, изнемогая от тяжелой дистрофии.

В феврале 1942 года в Ленинграде проходило совещание писателей-фронтовиков. Организовал его Тарасенков, после чего в приступе дистрофии его отвезли в госпиталь. Он прошел курс лечения, когда выписался – увидел штабеля трупов. Ему повезло. Всю войну провел в Ленинграде и на Ленинградском фронте.

У Тарасенкова была своя тайна, своя огромная любовь, не меньшая, чем любовь к жене и сыну, – его огромная поэтическая библиотека. Сборнички стихов в ситцевых переплетах, бережно перепечатанные на машинке или переписанные от руки, хранились в его библиотеке. Он собирал стихи везде, где только мог, и даже записывал их с голоса, приехавших из заграницы. Именно поэтому Цветаева накануне войны оказалась в их доме на Конюшках. Она пришла, чтобы увидеть его библиотеку, где были собраны все ее стихи.

Когда в Москве начались бомбежки, все задвигалось: кто побежал из города, кто искал возможность уйти на фронт, Цветаева решила спасти два чемодана своих архивов именно в доме Тарасенкова и Белкиной. Тарасенков узнал о чемоданах с архивами уже на фронте, а еще через год после гибели Цветаевой он с горечью спрашивал в письме у жены.

30 августа 1942 года. Вчера под шум ливня сидели с моим сожителем и коллегой Прониным и играли в “бб”. Потом я с упоением рассказывал ему о нашей московской библиотеке... И вдруг я вспомнил об архивах Марины Ивановны, – помнишь, – она передала их мне на хранение в двух чудных чемоданчиках. Там были рукописи ее стихов, ее переписка с важнейшими поэтами и писателями XX века... Цело ли все это? Какова судьба этих чемоданчиков? Напиши мне, пожалуйста, сразу об этом...

Вдруг почему-то страшно дорого стало все это наше, московское, – и так хочется, чтобы все это уцелело вместе с нашими жизнями, судьбой, счастьем^[260].

Из Москвы уезжали внезапно. Был негласный приказ об уничтожении государственных бумаг и архивов. Город превратился в

октябрьские дни в огромную печную трубу. Горели архивы – от правительственных до жэковских, люди ходили по улицам со следами сажи на лице. Ожидали немцев со дня на день. Но Мария Белкина уговорила Цветаеву забрать свои чемоданы из деревянного домика за Садовым кольцом. Тогда она с семьей еще не собиралась бежать из Москвы и очень боялась зажигалок, сбрасываемых на город, которые мгновенно могли превратить их дом в горящие головешки.

Тогда же произошел один забавный случай. Перед отправкой на фронт к ней пришел поэт Михаил Голодный с тоненькой книжечкой своего первого сборника стихов. Тарасенков неоднократно умолял отдать сборник в свою поэтическую библиотеку, но Голодный не отдавал. И вот он пришел и протянул Марии Белкиной тот сборник. Она наотрез отказалась ставить его на полку. “Если в дом попадет бомба, в минуту сгорит с твоим сборником вместе”, – сказала она поэту. Он же ей печально ответил: “Я не возражаю, чтобы сгореть в такой кампании”. Однако библиотека не сгорела, и даже архив Тарасенкова был уничтожен тогда только частично. Сохранились письма Твардовского, дневники с записями разговоров с Пастернаком..

Мария Белкина рвалась на фронт. Она решила дожидаться того времени, когда ребенок сможет остаться с родителями, а сама – бежать. Она хотела приехать на Северный фронт к мужу в Ленинград и поэтому в каждом письме готовила Тарасенкова к своему решению. Для него идея оставить ребенка, которого он даже не видел, потому что он родился уже после его отъезда на фронт, была просто ужасной. Он просил выбросить это из головы, молил ее, наконец, запрещал и грозил разрывом. Все было бесполезно. О его печали узнал старший товарищ – Вишневский. В незамысловатой партийной манере он написал Белкиной письмо о ее долге перед Родиной.

Начальник оперативной группы писателей

25 марта 1942 года

М. Белкиной Ташкент (временно)

Машенька, привет.

Прочел Ваши письма от 12-го и 19-го февраля. Спасибо за память. Вы рветесь: либо в дружинницы, либо в Ленинград, – видимо прямо в парашютистки или в партизаны... Машенька, а кто будет подсоблять призывнику Дмитрию Тарасенкову, 1941 года рождения, москвичу?..

Глядите на жизнь и ее требования прямо, по-деловому... – Жара, прочие трудности переносимы.

Надо волевым образом настроиться и упорно идти к цели: работать, воспитывать сына, ждать. Да, ждать. Вы не исключение из 2¼ миллиардов, которые во всем мире ждут исхода войны... Вы пишете хорошие письма, но порой у Вас пессимистические нотки, горечь, растравляемое ощущение: “я мол в стороне, за бортом...” – Делает Вам

честь готовность идти на фронт и пр., но с “большой” точки зрения, с точки зрения истории, государства, – Вы должны быть на месте, держать дом, поднимать сына... Вы должны избавиться от этой горечи, неудовлетворенности, отношения к своему долгу и дому как к “досадной нагрузке”.. Так жить, так ощущать себя, жизнь – нельзя. В конце концов – война идет для будущего... Митька и миллионы подобных ему – кусок будущего, Вам дано, поручено жизнью, неписаным законом: заботиться об этом будущем. Вы делаете то же самое, что каждый из нас... В большем смысле это именно так. Поймите это.

Второе: каждому из нас хочется ощущать свое, свой дом, семью как опору, моральную, политико-моральную.

Когда Вы гвоздите Толю, раздражаетесь, пишете, что “бросите все” и т. д. – это не годится... – Пишите бодрые письма, будьте бодрой, – задача Вам на весь 1942-ой год. – “Да, Вам легко писать etc.” – Нет, Маша, я пишу задуманные вещи... Вы помните – я цитировал Ваши письма в Таллине для всего флота, фронта и Эст. ССР... – Я хотел бы цитировать их вновь – в “Правде”. Пройдите сквозь свой кризис – Вы на своем историч. посту, Вы обеспечиваете стране и фронту бодрость, устойчивость, отвечаете за будущее, отвечаете за будущее поколение – для которого и добывается победа. Глядите на все сцепления и связи жизни, а не на юный, девический порыв только... Потом – в-третьих – доверяйте же нам: мы сумеем в нужное время пригласить Вас к себе на Балтику без лишних осложнений.

В-четвертых – не сбивайте Только с рабочего, боевого ритма. А то я Вас притяну к ответу за срыв боев. Заданий. Только пишет книгу о большом, хорошем корабле. На тыловую мразь плюйте, с утра, – и благословясь делайте свое боевое дело: в 1962 году м.б. потребуется флоту драться с остатками империалистов. Митька будет нужен. – Ваш Всеволод.

Машенька, только выяснил, что завтра день рождения Толи. Мы будем праздновать. Обещаем Вам. Не сговариваясь, мы написали Вам почти одно и то же. Видите?^[261]

Марию Иосифовну и тогда, да и по сей день поражало, как Вишневский записал в будущее призывники ее полугодовалого сына. Как он просчитал его жизнь заранее.

Однако в течение марта-апреля она собирает вместе с дамами-общественницами вагон с продуктами и вещами для блокадного Ленинграда. В ответ снова письмо от неугомонного Всеволода Вишневского.

Боль за блокадный Ленинград была такой сильной, что удалось организовать и отправить целый состав с продуктами от писателей Узбекистана для блокадного Ленинграда. Началось все с горячего желания одного человека. “Я предложила писателям Узбекистана посылать посылки писателям Ленинграда, 19-го Лавренев будет об

этом говорить в Совнарком”, – писала Мария Белкина еще в начале 1942 года.

15 апреля 1942

М. Белкиной Ташкент

Привет!

Балтийские писатели узнали, что Вы через Совнарком Узбекск. ССР организуете на Балтику посылки и т. п. – Весьма тронуты, спасибо! Если Узбекский С НК и трудящиеся Ташкента организуют – посылки и пр., и им передайте спасибо. – Но и без этого мы считаем своим долгом доложить товарищам узбекам и русским и др. товарищам в Узб. ССР о деятельности и работе балтийцев. – Шлем Вам, как активисту, агитатору и пр. – материалы... – Вы сможете организовать доклады, статьи и пр. Лучшие пожелания! – Вс. Вишневский¹.

Однако самим им приходилось несладко. Но она рвется на фронт.

Муж умолял меня этого не делать, – писала она в своей книге, – но, видя мое упрямство, советовал обратиться в Москве в Политуправление Военно-Морского Флота и просить направить меня на Балтику, мобилизовав на флот. Однако в Москву был нужен специальный пропуск, который мне никто в Ташкенте не выдал бы^[262].

Накануне своего отъезда она совершенно случайно столкнулась с Муром, сыном Цветаевой, с которым была знакома еще по Москве, когда он и Марина Ивановна приходили к ним с Тарасенковым в гости на Конюшки. А теперь оказалось, что она несколько месяцев жила с ним в одном доме, но не знала об этом, так как из их комнаты был единственный отдельный выход на улицу. В день их случайной встречи, в самом конце 1942 года, Белкина бегала по городу перед предполагаемым отъездом.

Мне помог Иван Тимофеевич Спирин, <...> он готовил в Марах штурманов для фронта и часто летал в Москву через Ташкент на своем “Дугласе”. Мы с ним договорились, что он заберет меня с собой. Чтобы лететь в его “Дугласе”, не нужно было никаких пропусков. Ну, а в Москве?! Конечно, это был риск... Когда мы приземлились в Москве на центральном аэродроме, напротив нынешнего метро “Аэропорт”, то прямо к самолету был подан “опель” Спирина. Иван Тимофеевич велел мне быстро лечь на заднее сиденье, бросил на меня свой тулуп, скомандовал, чтобы я не вздумала чихать или кашлять, и сам повел машину к проходной. Он был в военном мундире, при всех орденах, с золотой Звездой Героя. У проходной машину остановили, стали проверять документы.

Что у вас в машине, товарищ генерал-майор? – спросил часовой.

– Личные вещи, – ответил Иван Тимофеевич и тут же включил стартер и дал газ.

Как “личные вещи” я и была доставлена на Конюшки в пустой, заколоченный дом.

В армию меня не мобилизуют, у меня обнаружат туберкулез.

Но на фронт, на Ладожскую военную флотилию, туда, где в это время находился мой муж, я проберусь^[263].

В гарнизоне на Ладоге ее удалось пристроить писать статьи в газете “Краснофлотец”, где она публиковала их под мужским псевдонимом. Они жили с Тарасенковым в крохотной комнате, в трудных условиях; с одной стороны стояла их узкая койка, а напротив – отгороженная столом койка журналиста Пронина с женой.

Когда начались бои неподалеку от гарнизона, ее выставили с военным аттестатом, и она была вынуждена отправиться в Москву. А там ее тут же арестовали, так как пропуска в столицу у нее не было. Как говорила Мария Иосифовна, вытащил ее из кутузки Ставский, секретарь Союза писателей, при помощи Тарасенкова прописал.

В Москве она совершенно случайно устроилась на работу в Совинформбюро. Увидела, какие там дают на завтрак булки с икрой и колбасой, и, страдая от голода, пошла в отдел кадров. Народу в городе было мало, анкета у нее была чистая, ее взяли. Совинформбюро находилось в здании бывшего немецкого посольства в Леонтьевском переулке.

Родителям она писала из Москвы:

30.9.1942.

Ну, вот мои родные! Вчера к вечеру прибыли с Толей в Москву. <...> Без пропуска, Только тряся, что снимут с поезда, и потому всю дорогу пролежала под его шинелью, дабы иметь военный вид. Задержали меня в Москве в ГПУ на вокзале, но и тут выпустили. Ехали всяко, и на грузовике, и пешком, тащили вещи километра 2, на вокзале меня отогревали в куче сваленных тулупов, и бесплацкартном вагоне холодном, и в плацкартном, и, наконец, в международном отсыпались ночь и день!!! Толя получил командировку до 18.12. Дел масса, должен издать книгу стихов и др. дела международные. Я с сегодняшнего дня начинаю узнавать, как вызвать отца. Будут приложены все усилия, но пока ничего не знаю.

В Москве очень голодно – никаких сказочных пайков детям в военкоматах не дают. На рынке картошка 50–60 р. кг, морковь, свекла, тоже. Капуста – 40–45. Мясо – 300 р. Масло – 800 р. Сахар – юоо. Хлеб – 120–130 р.^[264]

Разговоры. Настроения. Слухи

25 сентября 1942 года Вс. Иванов написал в своем дневнике:

Все говорят о возможности налетов на Ташкент. Агитаторша сказала, что “Ташкент – прифронтовой город”. В домах чувствуется, что привыкшие к эвакуации уже собирают чемоданы^[265].

В то время, когда наши войска все более сдавали позиции, а эвакуированные только начинали заселять клетушки комнат, по Ташкенту ползли разговоры о том, что необходимо учить английский язык. Что Узбекистан, скорее всего, отделится от России и станет англо-американской колонией.

Те, кто знал по рассказам или сам прошел через эмиграцию, говорили об ощущении от Ташкента “как последнего корабля на Константинополь”, на котором еще недавно оказались тысячи бегущих от советской власти людей.

Возможно, это были всего-навсего панические слухи, но они с неизбежностью появлялись в том вакууме, в котором находились миллионы людей, не знающих, что происходит на самом деле. Вс. Иванов, напряженно пытающийся разобраться в происходящем, с тоской отметил в дневнике, что все ждут какого-то чуда, надеются на сверхъестественные обстоятельства.

Неудивительно, что писателей в самые напряженные дни немецкого наступления охватывало раскаяние за прежнюю фальшь, за приукрашивание действительности, за чудовищные 1930-е годы. Они уже откровенно говорят друг другу, что неудачи на фронтах происходят из-за потоков лжи, в которых утонула страна. Никто не знает, что происходит в городах, где остались их друзья и близкие, что со страной, что с властью, как она функционирует.

Вс. Иванов горько признавался себе в дневнике от 22 июня 1942 года:

Много лет уже мы только хлопали в ладоши, когда нам какой-нибудь Фадеев устно преподносил передовую “Правды”. Это было *все* знание мира, причем если мы пытались высказать это в литературе, то нам говорили, что мы плохо знаем жизнь. К сожалению, мы слишком хорошо знаем ее – и поэтому не в состоянии были ни мыслить, ни говорить. Сейчас, оглушенные резким ударом молота войны по голове, мы пытаемся мыслить – и едва мы хотим высказать эти мысли, нас называют “пессимистами”, подразумевая под этим контрреволюционеров и паникеров. Мы отучились спорить, убеждать. Мы или молчим, или рычим друг на друга, или сажаем друг друга в тюрьму, одно пребывание в которой уже является *правом*^[266].

Начинается время больших разговоров; только общаясь друг с другом, можно было почувствовать, понять, кто думает так же, а кто по-другому, а кому вообще все безразлично. Разговоры, как и прежде в России, были основным способом для интеллигенции понимания самой себя. Мура, внимательно наблюдавшего за писателями, их суждения сместили и раздражали.

Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, – замечает Мур в своем дневнике, – способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они получают от нее деньги – без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись бы их. Все боятся за себя. В случае поражения что будет в Узбекистане? Все говорят, что “начнется резня”. Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев^[267].

К сожалению, разговоры о еврейских погромах звучали постоянно. Обыватели упорно обвиняли евреев в том, что война произошла из-за них. Вс. Иванов в своих дневниках приводит такой разговор:

Маникюрша, еврейка, у которой двое детей, сказала в воскресенье Тамаре:

– Евреев всех надо перерезать. И меня. И моих детей. Если бы не евреи, войны бы не было.

Чисто еврейское самопожертвование. Бедная. Она уже поверила, что война из-за евреев! ^[268]

Мур продолжал свои рассуждения:

Любопытно отношение интеллигенции к англо-саксонским союзникам. С одной стороны, все говорят о предательстве Англии, наживе Америки, “исконной вражде” этих стран по отношению к СССР. Говорят о “загребании жара”. <... > С другой стороны, наличествует симпатия к этим странам, ибо кто после войны будет “нас” снабжать продовольствием, восстанавливать промышленность? Никому из них не хочется новых пятилеток^[269].

17-летний мальчик видел трагическую сущность советской интеллигенции, привыкшей питаться из рук власти и мучительно ищущей этой руки. Но в то же время он так и не понял драму людей, с которыми ему было суждено прожить полтора года. Да, они были уязвимы в своих страхах и словоговорении, но у них, как и у всей советской интеллигенции, не было никакого другого выхода, не было никакого другого способа осмыслить положение вещей: ни в газетах, ни на радио, ни в книгах, – и это делало их абсолютно непохожими на прагматичных западных интеллектуалов.

Теперь напечатаны материалы так называемых спецсообщений НКВД, по которым видно, насколько широко прямые разговоры о судьбе страны захватили советскую интеллектуальную элиту. Материалы подслушанных разговоров показывают, что по-настоящему советских людей в писательских слоях уже нельзя было сыскать. Поэтому удар по интеллигенции после войны был закономерен. Сталин жестоко мстил им всем за разговоры, размышления, надежды, за то, что вообразили себя свободными.

Вот только некоторые из оперативных данных (прослушанных разговоров, доносов и прочего) на писателей, бывших и не бывших в

Ташкенте. Специально не приводятся разговоры Пастернака, Пришвина, Сергеева-Ценского и других писателей, с очевидностью недовольных происходящим в стране. Отобраны те, кто привык всегда поддерживать все идущее сверху:

И. Уткин – поэт, бывший троцкист: “Будь это в 1927 году, я был бы очень рад такому положению, какое создалось на фронте сейчас (Уткин имеет в виду невозможность достижения победы силами одной Красной армии). <...>

Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смертной казни, там людям не отрубают голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель...

У нас такой же страшный режим, как и в Германии... Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий фашизм, а потом победить самих себя... ”

А. Новиков-Прибой – писатель, бывший эсер: “Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в развороте его инициативы по части личного хозяйства. Все равно это произойдет в результате войны... Не может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она придет рано или поздно на этот путь...

55

К. Чуковский – писатель: “Скоро нужно ждать еще каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам (союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая, разумная эпоха. Она нас научит культуре...”⁵⁵

С. Бонди – профессор-пушкиновед: “Жалею вновь и вновь о происходящих у нас антидемократических сдвигах, наблюдающихся день от дня. Возьмите растущий национальный шовинизм. Чем он вызывается? Прежде всего настроениями в армии – антисемитскими, антинемецкими, анти по отношению ко всем нацменьшинствам, о которых сочиняются легенды, что они недостаточно доблестны, и правительство наше всецело идет навстречу”.

В. Шкловский – писатель, бывший эсер: “Мне бы хотелось сейчас собрать яркое, твердое писательское ядро, как в свое время было вокруг Маяковского, и действительно, по-настоящему осветить и показать войну...

В конце концов мне все надоело, я чувствую, что мне лично никто не верит, у меня нет охоты работать, я устал, и пусть себе все идет так, как идет. Все равно, у нас никто не в силах ничего изменить, если нет указки свыше”.

К. Федин – писатель: “Все русское для меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ больше не будет голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков). <...> Я очень боюсь, что после войны все наша литература, которая была до сих пор,

будет просто зачеркнута. Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные знаки”.

Н. Погодин – драматург: “... Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не завершившиеся буквально случайной сдачей Москвы, которую немцы не взяли 15–16 октября 1941 года, просто не поверив в полное отсутствие у нас какой-либо организованности, должны говорить прежде всего об одном: так дальше не может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем”.

Ф. Гладков – писатель: “Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях, голодали... В таких городах, как Пенза, Ярославль, в 1940 году люди пухли от голода, нельзя было пообедать и достать себе хоть хлеба. Это наводит на очень серьезные мысли: для чего было делать революцию, если через 25 лет люди голодали до войны так же, как голодают теперь...”^[270]

По разработкам выходило, что сажать надо было всех. Любой человек мог оказаться по другую сторону от власти.

Ташкент - Чистополь

Из Чистополя в Ташкент многие писательские семьи бежали с осени 1941-го до весны 1942 года, опасаясь того, что Чистополь может оказаться в прифронтовой полосе. Кроме того, предполагалось, что в Азии тепло и не так голодно.

Семья Евгения Петрова и Всеволода Иванова уехала через Куйбышев в Ташкент. Уехали Ахматова и Чуковская; их вызвал телеграммой К. Чуковский. В Алма-Ату выехали Паустовский и Шкловский, которые работали с кинематографистами. Однако остающиеся в Чистополе воспринимали отъезд писателей болезненно, им казалось, что они брошены на произвол судьбы.

Точнее всего это чувство выразил Пастернак. На убедительные предложения Ивановых приехать в Ташкент он пишет:

Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. <...> Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существование интерната и детдома, и все развалилось бы^[271].

Так же металась семья Сельвинских. Илья Львович писал дочерям из Москвы в Чистополь в конце 1942 года:

С Ташкентом у нас так: сегодня мы едем. Завтра мы уже не едем. Сегодня, кажется, опять с утра поехали, но я только что прочитал мамино письмо к вам, из которого узнал, что опять не едем. Конечно, если бы я мог поехать в Чистополь и взять на себя все 20 тюков, тогда в Ташкент бы поехали. Мама именно этого и хочет. Но я ей объяснил, что за это меня расстреляют, т. к. я военный. Но мама очень логично рассудила, что *сначала* я помогу вам уехать, и только *потом* меня расстреляют. Это, по-моему, вполне резонно. Так что ждем вашего мнения. 5/IX – 1942.

Но когда Илья Львович побывал в Ташкенте, он написал:

Я очень доволен, что вам не пришлось разориться не переезд в Ташкент... Что касается моральной обстановки, то она в Чистополе – идеальна. Если на фронте выяснится, что ноги мои не годятся и т. д., я с наслаждением буду жить именно в Чистополе с Самошечкой, Авдеевым и пр. <... > Ergo!: да здравствует Чистополь!^[272]

Чистополь. Конец 1941-1942. Пастернак. Опыт эвакуации

Борис Пастернак оказался в Чистополе 19 октября 1941 года с последней волной эвакуации. Вместе с ним приехали Федин, Ахматова и другие литераторы, которым Союз писателей настоятельно рекомендовал покинуть Москву.

Взгляд Пастернака на войну был схож с тем, который Ахматова формулировала Маргарите Алигер в каюте парохода: "... Эта война переделает всю нашу жизнь... ". Ахматова и Пастернак с первых дней войны осознали масштаб трагедии, поняли, что вместе с гибелью человеческих масс людей будет постепенно оставлять страх. Накануне войны их жизнь была в чем-то схожа. Ахматова стояла в очередях в "Кресты", где сидел ее сын, писала стихи, которые не печатались. Пастернак переживал окончательное разочарование в сталинском социализме. За четыре года до войны были арестованы его грузинские друзья, исчез целый круг ленинградских и московских писателей и поэтов, среди которых были близкие ему люди, и, наконец, его и всю Москву потряс арест Мейерхольда, а вслед за ним убийство его жены Зинаиды Райх. Накануне войны он с неотвратимостью понял, что никогда уже не сможет увидеть ни родителей, ни сестер, живущих за границей. И еще – чувство вины перед Цветаевой.

Война все меняла, срывала ложные покровы, превращая частную боль – в общую, отдельное страдание – в коллективную беду. Главное, без чего задохнулись и Ахматова, и Пастернак, – это возможность слышать правду, разговаривать с людьми на общем языке.

И вот вдруг самые обыкновенные люди стали понимать, говорить открыто, выражать то, что они думали все это время.

Пастернак считал, что новое понимание пришло ко всем, и оттого в августовском письме жене писал с возмущением:

Меня раздражает все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуре и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули порошу и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, “зисами” и “эмками” и тартинками с двумя орденами. И это – биографии! И для этого люди рождались, росли и жили^[273].

Когда он писал о Фадееве (отрывок из письма был приведен выше), он всерьез полагал, что и тот не может не видеть тех же изменений в мире и в людях, что и сам Пастернак. Но перемены в умах происходили гораздо медленнее, чем он предполагал. Большое число воевавших писателей стали осмыслять свой опыт только годы спустя. Так было и с Гроссманом, в какой-то мере с Симоновым и с тем же Фадеевым. У всех были разные стартовые условия.

В Чистополе Пастернака поселили в доме на улице Володарского недалеко от детского дома, где работала его жена. Чтобы оказаться в своей комнате, ему надо было подняться на второй этаж, пройти через кухню, где была печка, на которой что-то парилось и жарилось, всегда работало радио или играл патефон. Появление Пастернака в Чистополе было принято писательской средой благожелательно.

Хроникер Виноградов-Мамонт, встретив Пастернака в бане, сделал историческую запись в дневнике:

21 октября. Вторник <... > Был в бане. К прежнему удовольствию воды и свежести прибавилось новое: тепло и ласка горячей воды. Выйдя голым в предбанник, встретил Б. Л. Пастернака^[274].

Пастернак не знал, как устроятся они все вместе, на что будет жить семья, и, приехав, первое время собирался устроиться в детдоме истопником, но потом все наладилось. Его сделали одним из членов правления выездного Союза писателей. Это была первая и последняя высокая должность, которой его удостоили.

Зинаида Пастернак почти все время проводила в интернате, ей удавалось иногда приносить мужу свой обед, а его заботой были дрова; вместе с другими он ходил разгружать их на Каму. Их пригнали поздней осенью 1941 года, в последние дни перед ледоставом. Намокшие бревна надо было вытаскивать из реки, частично уже схваченной льдом. Несмотря на тяжкие условия жизни в эвакуации, Пастернак сумел увидеть множество преимуществ, которые не различали писатели, оказавшись вне привычного быта.

Жизнь в Чистополе хороша уже тем, – говорил он своему собеседнику А. Гладкову, – что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии: нас страшит мороз, радует оттепель – восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии^[275].

Он часто говорил о том, что вдали от Москвы намного больше независимости от власти, и этим непременно надо воспользоваться.

Гладков в своих заметках о Пастернаке писал о том, как во время зимних прогулок по берегу Камы, когда смотрел на баржи, вмерзшие в реку, он вспоминал слова, будто бы произнесенные Мариной Цветаевой в Чистополе, что лучше бы ей вмерзнуть в лед Камы, чем уехать отсюда. Еще в конце сентября, после встречи в Москве с Муром, Пастернак записал в альбоме Алексея Крученых: “Как это тебе нравится, Алеша. Мы всегда это предчувствовали, кто же мог после всего этого <жить>? Боря. 12 октября 1941”^[276]. Крученых часто заставлял Пастернака писать что-либо в свой альбом в связи или без всякой связи с событиями. А так как поэт обладал редкой искренностью, не умея отписываться просто так, до нас дошли словно фотографические отпечатки тех горестных разговоров, которые они вели в то время. Говорили о гибели родных, о том, что самоубийство близко, и, видимо, для себя никогда не исключали подобный исход. В 1943 году Пастернак будет писать стихотворение “Памяти Марины Цветаевой” и вновь будет разговор у Крученых, но уже в Москве...

Пастернак радикально отличался от других обитателей писательской колонии. О его радостной улыбке пишут многие чистопольцы, встречавшие его с судками на улице или галантно расшаркивающегося в писательской столовой.

Борис Леонидович [Пастернак], – писал Гладков брату, – был вне конкурса по благородству, прямоте, доброжелательству и легкости отношения ко многим лишениям. Он показал себя... большим и красивым человеком. Мне лично он в значительной мере скрасил пребывание в Чист [ополе], и я, все еще верный своей привычке к ведению записных книжек, многое сберег в них из его бесед со мной в это время... Памятью зарождения этой дружбы, которой я горжусь больше, чем иными из своих литературных удач, является сделанная им мне надпись на его однотомнике: “Александру Константиновичу Гладкову – Вы мне очень понравились. На моих глазах Вы начинаете с большой удачи. Желаю Вам и дальше такого же счастья. На память о зимних днях в Чистополе, днях самых тяжелых. Борис Пастернак. 22. X.42. Москва...”. Когда я уезжал из Ч<истополя>, или вернее – улетаю, Б<орис> Л<еонидович> подарил мне только что перепечатанный экземпляр своего перевода “Ромео и Джульетты” – работа образцовая и, по-моему, стоящая выше его же “Гамлета” по чистоте и прозрачной ясности в передаче подлинника^[277].

В Чистополе для Гладкова несколько месяцев откровенных разговоров с Пастернаком обо всем – политике, поэзии, Шекспире, о его собственной пьесе “Давным-давно” – стали настоящим счастьем.

26 февраля в Доме учителя Пастернак читал свой перевод “Ромео и Джульетты”. Билеты были платные, сбор шел на подарки солдатам Красной армии. Читал Пастернак при свете двух керосиновых ламп, так как из-за аварии электростанции света не было. Был в костюме и в валенках. Полный зал, несмотря на то что часть колонии смотрела “Обрыв” в Доме культуры. Эту постановку “Обрыва” иронически описала Наталья Тренева (Павленко) в письме к Маргарите Алигер: “Театр тут любопытный. Последняя сенсация Чистополя – «Обрыв», где Веру играет тучная женщина 52-х лет, а бабушку – молодая, стройная актриса”^[278]. В том же письме она рассказывала о том, как все обсуждают пастернаковский перевод и что она может прислать Маргарите новые стихи Пастернака, переписанные от руки.

А 11 марта, так как многие не могли попасть на чтение перевода, Пастернак повесил от руки написанное объявление о повторном чтении “Ромео и Джульетты”. Начиналось оно словами: “Раздаются сожаления...”

Опыт эвакуации оказался очень существенным в жизни Пастернака, уже 22 марта 1942 года он подытоживал его в письме к брату в Москву:

Жил я разнообразно, но в общем прожил счастливо. Счастливо в том отношении, что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), насколько возможно, я старался не сгибаться перед бытовыми неожиданностями и переменами и прозимовал в привычном труде, бодрости и чистоте, отвоеванных хотя бы у крестьянского хлева. Меня в этом отношении ничто не останавливало. Три дня я выгружал дрова из баржи и сейчас сам не понимаю, как я поднимал и переносил на скользкий берег эти огромные бревна. Надо было, и я чистил нужники и наколол несколько саней мерзлого человеческого кала. Я тут бреюсь каждый день, и круглый день и в своей выходной черной паре, точно мне все это снится, и я уже и сейчас испил это все до дна и нахожусь где-нибудь в Парк-Тауне. То вдруг в столовой подавали гуляш из баранины (хотя суп представлял подогретые помои), то там принимались кормить неочищенными конскими внутренностями, – я это называл гуляшем из конюшни, то вдруг все прекращалось, и я недели существовал кипятком и черным хлебом, то – о чудо! – меня принимали на питание в интернат, – то столь же неожиданно с него списывали, – но как бы то ни было, это, по счастью, никогда не достигало остроты бедствия. Никогда это не омрачало мне дня, никогда не затмевало мне утреннего пробуждения с радостной надеждой: сегодня надо будет сделать то-то и то-то – и благодарного сознания, что Бог не лишил меня способности совершенствовать свое старанье и одарил чутьем того, что именно есть совершенство^[279].

В то же время в Свердловск был эвакуирован санаторий, в котором от костного туберкулеза медленно умирал Адик Нейгауз, сын Зинаиды Пастернак и Генриха Нейгауза. Последнего в конце 1941 года арестовали (он не выехал вместе со всеми из Москвы), как немец он был отправлен в ссылку.

Накануне ареста с Нейгаузом встретился в Москве Юрий Нагибин, который вспоминал о нем:

Помню одну молниеносную встречу во время войны, когда начались бомбежки. Я приехал к Нейгаузу с каким-то поручением от моих новых родичей Асмусов. И едва я вошел в квартиру, находившуюся в историческом доме по Садовой (близ Курского вокзала), где жили знаменитые летчики, полярники, музыканты и откуда ушел в смерть Чкалов, как начался налет. Не знаю, насколько опасный, но очень шумный, зенитки лупили так, что мы не слышали друг друга. Долгий, всасывающий пространство свист большой фугаски тоскливо подсказал, что придется спускаться в подвал. В доме Асмусов этот ритуал считался обязательным, и потребовалось все кроткое и неодолимое упрямство моей жены, чтобы нас с ней оставили наверху.

Когда от взрыва задрезжали, трескаясь, оконные стекла, Милица Сергеевна, маленькая, худенькая, с увядшими волосами и выражением беспечной и всеобъемлющей доброты на терпеливом лице, вскричала голосом вакханки:

– Взлетим на воздух, Гарри!

И поставила на стол бутылку портвейна и рюмки.

Мне почудилась тень печали на ясном и, как всегда, оживленном лице Нейгауза.

– За встречу по Швейку. – Он поднял рюмку. – В шесть часов вечера после войны!

– Вы эвакуируетесь?

– Немцам не видать Москвы как своих ушей. Но я должен ехать – Адик на Урале, в больнице... Ехать один, теща нетранспортабельна..

– Езжай, Гарри! – лихо вскричала Милица Сергеевна. – А мы с мамой и дочкой будем прикрывать твой отход.

– О господи! – сказал Нейгауз.

Асмусы наказали мне спросить о Пастернаке: он отправил семью в Чистополь, а сам исчез.

– Мы ездили к нему в Переделкино, – сказал Нейгауз. – Но, похоже, он не слишком обрадовался нашему вторжению. Наслаждается одиночеством, хотя делает вид, что ужасно замотан. В Москве дежурит на крыше, на даче весь день копает гряды, вечером переводит Шекспира. Бодр, улыбчив, свеж, у него поразительно крепкие руки и сильная грудь. Да, еще он ездит стрелять на полигон и страшно гордится своей меткостью. Он говорит, что всегда считал себя движущейся мишенью, оказывается – заправский стрелок^[280].

Пастернак полагал, что Нейгауза может постигнуть судьба Тициана Табидзе (то есть возможный расстрел). Однако за него заступились знаменитые музыканты и к собственному утешению его сослали в Свердловск, где он смог бывать возле тяжелобольного сына. В середине 1942 года Зинаида Пастернак и ее сын Станислав предприняли короткое путешествие в Свердловск для встречи с Адиком, которому в больнице отнимали ногу. Не дожив несколько дней до победы, он умер в переделкинской больнице в 1945 году.

Интернат. Дети

*Эх, Кама упряма,
Четыре узла,
Куда ты нас, мама,
Скажи, завезла?*

Николай Асеев

Зинаида Пастернак с утра до ночи работала в интернате. Топила печи, выносила горшки, кормила детей. В воспоминаниях она писала, что ей было известно о воровстве дров и еды в детском доме. Но уйти оттуда она не могла: двое детей, работа, возможность питания для всей семьи.

Находился интернат на улице Володарского, в здании Дома колхозника. Юный обитатель детдома Юрий Томашевский вспоминал:

На первом, полуподвальном этаже – кухня, столовая и не то зал, не то просто большая комната, где стоит рояль, на котором по вечерам играет Стасик Нейгауз. В этой же комнате-зале устраиваются вечера самодеятельности, проходят встречи с писателями, приезжающими с фронта. Живем мы все на втором этаже. Мальчики и девочки, школьники и дошкольники. Комнаты называют палатами. В каждой палате 7-10 человек примерно одного возраста. На третьем этаже живет директор, воспитатели и другие служащие интерната^[281].

О таком вечере писала 11-летняя Мура Луговская маме домой 9 ноября 1941 года:

Дорогая мамуся! Как твое здоровье? Поздравляю тебя с XXIV годовщиной октябрьской социалистической революции. Желаю тебе быть здоровой не хворать писать мне чаще и главное не падать духом.

7/XI у нас вечеринка, сначала чай, за чаем нам дадут бисквит и напалион потом шоколадную конфету два пряника и чай. После чая будет кино “За родину”. После кино ужин для IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, а 1,

2, 3 классы пойдут спать у них вечер был вчера и потом они маленькие и им пора спать. После ужина будет концерт будет участвовать Исаковский, Лойтер, Лунц, Шамбадал, Пастернак и другие, потом будут танцы. Сейчас очень темно а света нету и я не могу больше писать. Ай, вот и свет зажегся. Да, мамуся на вечере мне сказали что пришел Фадеев и я с полной уверенностью что это он подошла к нему, а он говорит что я не Фадеев, и мне было очень стыдно перед ним. Мамуся, я знаю, что папа в Ташкенте. Завтра мы должны идти на пристань таскать бревна а мне тяжело идти 3 км. Туда и 3 км обратно, а у меня нога тогда заболит. Мне не верят и врач говорит, что такой болезни нет и мне очень неприятно так что прошу прислать справку от Симакова. Передай всем привет. Пусть они мне пишут. Целую крепко-крепко^[282].

Фадеева маленькая Маша немного знала, так как он дружил с отцом, Владимиром Луговским, и хорошо знал ее мать, Тамару Груберт. Дети рвались к знакомым взрослым, чувствуя свою беззащитность и бесприютность.

В начале 1942 года группа подростков пишет горестное письмо о своей жизни в интернате, адресованное Фадееву, который в ноябре прожил несколько недель в Чистополе вместе со своей семьей.

Председателю президиума тов. Фадееву.

Уважаемый товарищ Фадеев, мы воспитанники интерната Литфонда, находящегося в Чистополе, просим Вас обратить внимание на бесчеловечное отношение и настоящую эксплуатацию членов интерната от 13-16 лет. Директор детдома т. Хохлов из каких-то экономических соображений использует на непосильных работах воспитанников. Например, Голодный, Нейгауз, Леонидов и некоторые другие ребята были направлены на выгрузку бревен, находящихся в воде. Ребята работали на плотях, что исключительно трудная по своему характеру и является одной из труднейших работ. Предназначена она для грузчиков, а не для ребят 15 лет. В процессе работы многие ребята заболели, так как приходится работать по пояс в воде. На все заявления по этому директор отвечал бранью и руганью. Спецодежды он не выдал, хотя она и имелась в достаточном количестве на складе. Тов. Хохлов обещал особо отблагодарить работавших ребят, но он не только не сделал этого, но даже не улучшил питания во время работы. Часто мы слышим от него: мерзавцы, негодяи, сволочи, пособники Гитлера и другие нецензурные ругательства. На малейшие возражения ребят он угрожает физической силой, однажды он ударил 12-летнего мальчика кнутом, будто бы за увиливание от работы.

Девочек он направил на работу по стирке, причем им приходится стирать белье чесоточных ребят, этим самым подвергая себя опасным заболеваниям. Ребятам, отработавшим на других работах по "самообслуживанию", например: на возке бревен, хлеба, овощей и строительных материалов, приходится выполнять работы, не относящиеся к интернату, из личных симпатий директора интерната.

Мы вынуждены выполнять работу при любой погоде, часто приходится вставать до подъема в 5–6 часов и работать до чаю ужина без обеденного перерыва. Причем, работая на правах взрослого, мы получаем порции 6-9-летних детей. Врач писательской колонии тов. Перекрестова признала, что при существующей работе питание далеко не достаточное. Уважаемый товарищ Фадеев! Не думайте, что мы отказываемся выполнять эти работы. Наоборот, мы готовы продолжать работать, но при других обстоятельствах: улучшение питания и более человеческом отношении со стороны директора. Безобразиями мы считаем мероприятия, принятые т. Хохловым и т. Стоновой против опоздания на линейку и получения плохой отметки – лишение сахара, второго за обедом, завтрака и ужина. В будущем т. Стонова собирается вновь провести это в жизнь. При условии недостатка питания ребята, оставшись без обеда или ужина, голодают. В присутствии ребят т. Хохлов не стесняется оскорблять педагогов, тем самым подрывая их авторитет. Несмотря на работу на огороде в течение нескольких месяцев, т. Хохлов послал нас на работу в совхоз, где мы работали на правах взрослых. Вместо 10–15 дней мы проработали там месяц. Те безобразия, которые вам описали, являются далеко не полным перечнем всего творящегося в интернате. Просим Вас обратить на это внимание и принять соответствующие меры.

Подписи: Л. Герштейн, Ц. Голодный, Цейтлин, Л. Дыкман, М. Бехер, В. Шифферс, А. Леонидов, С. Нейгауз, Субботин, Хазан, М. Крон, Р. Бывалов^[283].

Могут сказать, что писательские дети были избалованы и потому сочиняли такие письма начальству. Подростки же от 14 до 16 лет критичны и остро чувствуют несправедливость.

Но есть воспоминания бывших воспитанников, к примеру, Юрия Томашевского, вполне благополучные, в которых говорится, что действительно было тяжело и, хотя постоянно думали о еде, однако он уверен, что никто ничего не брал себе.

В то же время об Анне Зиновьевне Стоновой все выпускники интерната сохранили самые теплые воспоминания и до сих пор считают ее одним из самых благородных и порядочных людей. В воспоминаниях Натальи Соколовой находим портрет Анны Зиновьевны:

Немного старомодная, одета в темное, закрытое. Прическа без выкрутасов (кулечек). Конечно, не покрашена, никакой косметики. Обходительная, вежливая, деликатная. Педагог и воспитатель по натуре, она умела объяснить, доказать, убедить. Никогда не повышала голос. Неторопливая взвешенная речь, “наставнические” интонации. Но как-то ухитрялась обходиться без нудного поучительства, без прописных истин. Не говорила: “нельзя шалить”. Говорила: “шалить обязательно нужно, но в меру”. Ребята ей верили, уважали ее. Чистополь стал звездным часом Анны Зиновьевны, высшим пиком кривой ее жизни. Тут она проявилась, состоялась, заявила о себе^[284].

Она была женой писателя Дмитрия Стонова, в юности он приятельствовал с Михаилом Булгаковым, он воевал, был ранен. А в послевоенные годы был арестован и сослан в лагерь по “делу космополитов”.

Директор интерната Хохлов остался на своем месте, несмотря на все жалобы.

Мура Луговская была вынуждена выдержать от него ужасные нападки, так как оплата, которую высылал из Ташкента отец, несколько раз не доходила вовремя до детдома. Хохлов вызывал девочку на ковер и кричал, что выбросит ее на улицу, если она не внесет плату за интернат. Ее подруга по палате Елена Левина писала в своих мемуарах о нравах директора:

А уж нашего директора, Якова Федоровича Хохлова, мы просто считали сволочью, хотя все хозяйство держалось на нем. Мы, конечно, не могли судить его работу, но его грубости и хамства не терпели и боялись. Анна Зиновьевна служила буфером между нами. Летом он начал чистку. Например, Лоре Дыкман пришлось уехать, так как ее родители уже не работали в Литфонде. А Мурку Луговскую доводил до слез, грозился выгнать, так как вовремя не пришли деньги за ее проживание^[285].

Все эти рассказы напоминали скорее о нравах приютов времен Диккенса.

Зинаида Пастернак вспоминала:

Я была не в ладах с директором обоих детских домов – нашим главным начальством Я. Ф. Хохловым. Он был представительный мужчина, прекрасно одевался, и все гнули перед ним спину, подхалимничали, таскали для него продукты, делали ему подарки. Я же находила, что ему скорее подходит должность директора конюшни, а не детдома. Он не понимал, что маленькие дети нуждаются иногда в диетическом столе, и когда я иногда выписывала лишние полкило манной крупы или риса, он кричал, что дети болеют от ожорства, потому что я их закармливаю. Однажды он довел меня до того, что я вспылила, хлопнула чернильницей и облила его роскошный костюм^[286].

У десятилетней Ларисы Лейтес остался свой образ чистопольского детства.

Каждую неделю нас строем вели в баню – сначала по улице Володарского в сторону Камы, потом сворачивали куда-то налево. Густой пар, запах хозяйственного мыла, воспитательницы в купальниках намыливали нас всех по очереди, укладывая на скользкие лавки, и обливали из шаек. А перед этим – беспощадная борьба со вшами, неизменными спутниками великих потрясений. Частый гребешок, потом голову мазали керосином, заматывали тряпкой. С тех пор запах керосина ассоциируется с войной.

Красный уголок внизу, в полуподвале, перед столовой. Там на стене висят плакатики, расчерченные клеточками, а клеточки раскрашены

красным, желтым, зеленым. Это наши школьные отметки: красный – “отлично”, желтый – “хорошо”, зеленый – “посредственно” (“пятерок, четверок” еще не было). Каждый плакатик – это список группы и все отметки каждого ее члена. Значит, все на свете видят, как ты учишься, и старшие ребята, и все воспитатели. Как ни странно, но это очень сильно на меня повлияло, кляксы из тетрадок начали исчезать, и вскоре вся моя строчка на плакатике стала красной и такой оставалась. А в довоенном 1-м классе “хоры” и даже “посы” – по чистописанию – меня мало заботили. Воспитательницы действительно отдавали нам всю душу. Первой нашей воспитательницей была 18-летняя Фрида Годинер, дочь писателя, погибшего в ополчении. Сама еще почти девочка, с косами ниже пояса, милая, мягкая, добрая. Мы ее обожали, звали Фридочка. И вдруг, как гром с ясного неба, – наша Фридочка умерла. В комнате горький плач. Первая встреча со смертью, первые в жизни похороны^[287].

Гибель детей

Геда Шор писала о нескольких смертях, настигших детей в Чистополе.

Помню, как на темной лестнице, освещенной дрожащей коптилкой, кричала, проклиная Хохлова (директора интерната), не давшего ей сульфидин, женщина, у которой умирал ребенок. Она была из эвакуированных, но не из литфондовских. В распоряжении Якова Федоровича Хохлова были медикаменты, которые он не имел права выдавать на сторону...

Умерла восемнадцатилетняя Фрида Годинер. Увы, диагноз был поставлен после смерти. Брат и отец Фриды, писатель Годинер, были на фронте. Мать и сестренка – в Чистополе. На Фридиных похоронах был весь интернат, от мала до велика. Помню, как рыдала на кладбище подруга Фриды, Наташа Дзюбинская, не ведая, что очень скоро погибнет сама^[288].

Сохранилось письмо к Фадееву от убитой горем матери Фриды, которое проясняет причину смерти девочки. Мать писала, что в то время, когда от мужа уже давно нет никаких известий, умерла дочь. “Работала в колхозе больной. На все мои просьбы Хохлов мне ответил: «Заболеет, умрет, похороним». В колхозе дочь заболела, вернувшись из колхоза, умерла”^[289].

Еще одна трагедия произошла в местном военкомате. Погибло сразу шесть детей.

Наши старшие ребята, – писал Вадим Белоцерковский, – которым предстоял призыв, проходили военную подготовку в городском

военкомате. Во дворе военкомата валялся трехдюймовый снаряд. Что только не делали с ним ребята! Пытались отвинтить взрыватель, били зачем-то по нему кирпичом. Если он пустой, зачем бить, а если не пустой?! Каждая группа занимающихся в перерывах возилась с этим снарядом, который попал в военкомат, наверное, как учебное пособие. И вот в один прекрасный день, когда на занятиях была группа из нашего интерната и ребятам надоело возиться со снарядом, Миша Губер (пасынок Василия Гроссмана. – *Н. Г.*) взял снаряд на плечо и понес его к стене, где он обычно валялся. И не стал его класть на землю, а сбросил с плеча. И снаряд взорвался! У него не был вывинчен взрыватель! Мише оторвало обе ноги, и он вскоре умер от потери крови. Всего убило шестерых ребят и ранило почти всех, кто был во дворе. Опять похороны, от которых мы быстро выросли...

Уму непостижимо, как можно было привезти этот снаряд в военкомат и не обезвредить его^[290].

А вот воспоминания непосредственного свидетеля того несчастья Евгения Зингера:

В воскресенье 13 сентября 1942 года кто-то из проходивших обучение ребят обнаружил в одном из закоулков двора военкомата очень старый заржавленный 76-миллиметровый бронебойный снаряд. Все мы думали, что эта находка представляет собой наглядное учебное пособие (не мог же, в самом деле, находиться во дворе военкомата боевой снаряд!). Один любопытный парень предложил разобрать находку. На самом деле все “бойцы” были еще самые обычные мальчишки, которые серьезно не понимали возможных последствий этой очень опасной затеи. В середине двора собралось человек двадцать допризывников – больше половины учебного взвода. Сначала кто-то предложил отвинтить головку, чтобы посмотреть внутренне содержание снаряда. Однако силы рук оказалось недостаточно. Тогда один из особо “догадливых” ребят схватил кусок кирпича и начал им бить по головке, пытаясь сдвинуть ее с места. Должен сказать, что мой отец поучал меня еще задолго до этого эпизода никогда не пытаться разбирать найденные на улице патроны. Хорошо помня отцовское наставление и понимая опасность дальнейшего “изучения” снаряда, я попытался объяснить моим товарищам опасность продолжения их “экспериментов”. – Если ты боишься, можешь не смотреть и вообще уйти, – грубо ответил мне главный “испытатель”. Рассудительный Миша Гроссман решил успокоить всех: “Раз этот снаряд нашли в военкомате, значит он учебный”.

Примерно метрах в 15–20 от места “испытаний”, на самом краю двора, стоял простой одноместный дощатый туалет. Именно в это время мне как раз понадобилось посетить сие неказистое сооружение. Едва я только успел открыть дверь, как прямо за моей спиной раздался оглушительный взрыв, и воздушной волной едва не сорвало дверь и крышу туалета. До сих пор удивляюсь, что осколки просвистели над

головой, и я остался совершенно невредимым. Лишь, сильно оглушенный громким взрывом, я некоторое время почти ничего не слышал. Когда же сообразил, в чем дело, немедленно бросился к ребятам. Взрыв снаряда поднял с сухой земли такую страшную пыль, что вокруг ни стало ничего видно. Пройдя несколько метров, моя нога что-то задела. Я даже не сразу понял, что это была чья-то оторванная часть тела. Во дворе слышались душераздирающие стоны и крики о помощи.

“Где Миша? Что с ним? Жив ли?” – первое, о чем я подумал, и бросился его искать. Он полусидел, неловко опираясь окровавленными руками о землю. Рядом с ним лежали тяжело раненные ребята. На Мишу было страшно смотреть – его ноги, прежде обутое в кирзовые сапоги, являли собой кровавое месиво, осколки снаряда сильно ранили обе руки, грудь, живот. Миша находился в сильнейшем шоке и не узнавал меня, лишь тихо просил воды и звал маму. Помочь ему и другим товарищам я ничем не мог. У меня не было даже обычного брючного ремня, чтобы сделать элементарную перетяжку. Да и что перетягивать, когда все тело было изуродовано? Только минут через пять появились, наконец, взрослые люди с носилками. Вдвоем мы понесли одного из раненых ребят в ближайший госпиталь. Осколками снаряда живот парня был полностью разворочен. Мы накрыли его красным полотнищем, которое висело на доме военкомата. Пока несли несчастного, он успел только с трудом шепотом сказать, что приехал сюда с мамой в эвакуацию из небольшого городка Лодейное Поле под Питером и что его отец, генерал-майор, сейчас находится на фронте. В госпиталь мы принесли носилки с телом умершего по дороге товарища. Увидевший эту печальную картину, один тяжелораненый боец на костылях и с забинтованной головой развел руки и тихо произнес:

– Конечно, на фронте у нас бывало часто так, что от человека вообще ничего не оставалось. Но чтобы здесь, в таком далеком тылу... ведь совсем еще мальчишка...

Узнав о беде с Мишей, быстро сообщили его маме Ольге Михайловне, и она поспешила в госпиталь. Мишу оперировала Лидия Ивановна Исаковская – жена известного поэта Михаила Исаковского.

– Уведите отсюда поскорее Ольгу Михайловну, – попросила хирург, – ее сын умер только что на операционном столе. Бедный мальчик, как он кричал от боли! Его брюшина была разворочена осколками снаряда... Уже умерло шесть юношей, а ведь есть еще несколько тяжело раненных...

Как потом рассказывали оставшиеся в живых ребята, главный зачинщик “испытаний”, вокруг которого тесно стояли все любопытные, поднял снаряд над головой и со всего размаха бросил его под ноги...

Услыхав взрыв, кто-то из интернатских ребят поспешил во двор военкомата. Там ему сказали, что один рыжий парень погиб. В отличие от голубоглазого блондина Миши Гроссмана у меня были каштановые

волосы. По этой причине еще год назад в пионерлагере в Коктебеле я получил шутовское прозвище “пожарник”. После сообщения о гибели “рыжего” по интернату быстро распространился слух, что погиб “наш пожарник Женька Зингер, а Мишка Гроссман остался жив”. Хоронить погибших ребят пришло очень много жителей Чистополя и эвакуированных. Гробы везли в грузовиках, борта которых были опущены. Я сопровождал тело Миши Гроссмана. Многие женщины громко рыдали.

Весть о взрыве снаряда, повлекшем за собой гибель и ранения допризывников в тыловом городе, быстро донеслась до Казани и Москвы. На месте погибло шесть человек, многие были тяжело ранены осколками. Взрыв снаряда практически вывел из строя взвод будущих бойцов Красной Армии! Один “информированный” местный житель утверждал, что этот самый злополучный снаряд времен гражданской войны будто бы специально подбросил во двор военкомата какой-то поп – ярый антисоветчик. Через несколько дней в Чистополь прилетели из Казани и Москвы назойливые следователи. Они с усердием допрашивали свидетелей взрыва несколько раз, в том числе и меня, требуя ответить только на один, но крайне важный вопрос:

– Вы должны подтвердить, что ваш военрук разрешил призывникам взять этот снаряд, так как он был учебный! Действительно, я слышал, что один из раненых парней будто бы так прямо и сказал следователю. Если это сообщение соответствовало истине, то в военное время нашему военруку грозил бы трибунал и вполне возможный расстрел. Я не видел военрука в это время во дворе и не мог знать, что он говорил или не говорил вообще, видел или не видел на самом деле снаряд. Поэтому честно отвечал следователям, что не знаю. Однако они продолжали утверждать, что военрук не только видел этот снаряд в руках призывников, но даже сказал им, что он учебный и его можно разобрать...

Вскоре после взрыва со Сталинградского фронта прилетел в Чистополь Василий Семенович Гроссман. Командующий армией генерал Чуйков, узнав о гибели пасынка видного писателя-фронтовика, предоставил ему на два дня свой самолет У-2. Василий Семенович пригласил меня в дом, где жила его жена, и попросил рассказать подробно о произошедшей трагедии и гибели Миши.

У писателя было серое лицо, ввалившиеся глаза. Он слушал меня внимательно, часто медленно покачивал головой.

– Какая нелепая смерть. Мы с Ольгой Михайловной были уверены, что спасаем от смерти нашего Мишу, отправив его сюда из Москвы, а он ее нашел здесь далеко, в далеком тылу, – произнес мужественный фронтовик^[291].

Василий Гроссман срочно прилетел с фронта, хоронить пасынка. Повторял все время, что пытались спасти мальчика, увезли подальше от фронта, и все-таки смерть нашла его здесь. Отцом мальчика был

репрессированный писатель Борис Губер, который принадлежал к литературной группе “Перевал”. Мать Миши Ольгу Михайловну посадили в 1930-е годы вслед за Губером, но Гроссман вытащил ее из тюрьмы.

На фронт

Арсений Тарковский

В октябрьские дни на улицах Чистополя появился Арсений Тарковский. Только-только они гуляли с Цветаевой по Москве. Теперь Тарковский приехал в Чистополь и проходил по тем же улочкам, что и она. Невозможно отделаться от мысли, что и Ахматова, и Тарковский, а затем и Пастернак пытались смотреть на дома, улицы, Каму ее глазами. Я бы на лавку лег – нет иконки в руке,
Я бы в Каму бросился, да лед на реке, —

написал Тарковский в ноябре 1941 года в цикле стихов “Чистопольская тетрадь”. “Броситься в Каму”, “головой в Каму” – столько раз слышали от Цветаевой.

10 октября 1941 года Арсений Тарковский вывез жену Антонину Александровну и мать в Чистополь, где они поселились на улице Льва Толстого, 89.

В эти же дни Тарковский отправил заявление в Союз писателей:

Прошу содействовать мне в назначении в Действующую Армию военным корреспондентом. Основная моя специальность – стихотворный перевод. <...> В 1930-32 годах я вел стихотворный фельетон в газете “Гудок”, много работал для радио.

Оригинальное стихотворчество мне также не чуждо. Техникou очерка владею также. <...> А. Тарковский^[292].

Последнее стихотворение чистопольского цикла с датой отправки на фронт начинается словами:

Зову – не отзывается, крепко спит Марина,
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина.

В конце декабря он выезжает в Москву, где ждет назначения в действующую армию, его посылают военным корреспондентом в газету “Боевая тревога”.

В это же время его бывшая жена Мария Вешнякова и дети Андрей и Марина оказались с лета 1941 года у бабушки и дедушки в Юрьевце. Они тоже должны были ехать в эвакуацию в Чистополь, но не смогли из-за болезни матери Марии Вешняковой, о чем она написала в правление Союза писателей, прося разрешения вернуться с детьми в Москву. В Юрьевце было очень тяжело, семья жила без карточек, без средств, испытывая огромные трудности.

5 августа 1942 года Арсений Тарковский, узнав о тяжелом положении детей, послал в Союз писателей с фронта возмущенное письмо:

Дорогие товарищи!

Я получил письмо от моего сына. Ему 10 лет. Кроме него у меня еще есть дочка и жена.

Сын пишет, что они продают ягоды, в которых, несомненно, сами нуждаются, чтобы как-то существовать. <...> А Госиздат должен мне тысяч двадцать денег.

Письмо сына Андрея от 18 июля 1942 года было приложено к письму отца.

Милый папа! У нас все хорошо. В среду мы с мамой (без Марины) пойдем за 30 км за ягодами. Там растет малина, черника и гонобобель. Это сосновый бор за Унжой. Там водятся медведи, лоси и змеи. Мама туда ходила 2 раза и принесла много черники.

Мы сами много съели и немного продали. Первый раз мы продали на 138 руб., а второй на 82 рубля по 7 руб. за стакан. Вчера мы ходили в лес за шишками и сучьями и нашли 7 белых грибов.

Больше всех находит Марина. Мы все 3 ходим босиком – из туфель, которые ты мне купил, я вырос, а Марине они велики. Мама хочет мне покупать шерсть для валенок, для этого нам надо набрать много ягод.

Целую крепко, крепко твой Андрей Тарковский^[293].

Об оставшихся в Юрьевце детях он писал в Чистополь своей второй жене – Антонине Бохоновой с дочерью (Лялей Трениной).

Маруся тоже прислала письмо, там письма от Марины и Андрея – и что совсем меня растормошило, особенно, что там фотография ребятишек и они такие бесконечно родные и любимые. Ты, кошутя, немного мне пишешь, и я скучаю без твоих писем особенно остро. Я не жалею ни на что, и я должен быть в этой войне, и единственное, что меня мучит, это то, что и ты и дети так недостижимо далеко. Пожалуйста, пиши мне чаще, пиши больше, пиши, не забывай меня, у меня все связалось с твоей памятью обо мне – и ты вся где-то там, далеко впереди, и до тебя надо дойти через весь грохот, и через все опасности, которые выглядят совсем иначе, чем мы представляли себе раньше, когда они в четырех шагах от тебя. Я люблю тебя так нежно, так глубоко и верно, моя родная, что ты стала для меня буквально всем, чего можно желать, и все – в тебе, и словно ради тебя, и победа, которая нам всем так нужна, еще нужнее мне из-за того, что я смогу,

если буду жив, припасть к тебе и быть с тобой, после того, как у нас будет победа. Помни меня, я без этого никогда не смогу тебя увидеть – ты, моя родная, стала моей судьбой. У меня пока все хорошо, и мне кажется – это потому что ты думаешь обо мне. А твои сегодняшние открытки такие ласковые, такие нежные, что я просто счастлив и все стало светлее^[294].

Вывезти детей и их мать в Москву Тарковскому удалось только в 1943 году, и помог ему Скосырев, который до войны был редактором его книги переводов.

Вспоминаю сегодня вечером Москву, – писал ему Тарковский из госпиталя, – как она была светла два года назад. Фонарь на улице! Дети, которые родились во время войны, когда-нибудь удивятся и скажут: вот уж, право, какая чудесная шутка – фонарь и светящиеся улицы!^[295]

Всеволод Багрицкий

Как уже говорилось выше, театральная студия под руководством А. Арбузова, в которой состояли В. Плучек, А. Гладков, Вс. Багрицкий и другие, оказалась в Чистополе в конце октября с последним эшеленом, отправленным Союзом писателей. Гладков писал в записных книжках, что попасть ему удалось туда благодаря Севе Багрицкому, который занес его в писательские списки.

Всеволод Багрицкий попал в театральную бригаду почти случайно как актер; удачными оказались его диалоги и стихи в пьесе “Город на заре”, написанной группой студийцев в спектакле. В Чистополе он не знал, куда себя деть.

Сын знаменитого поэта – Эдуарда Багрицкого – Всеволод с пятнадцати лет оказался без матери. Она была арестована 4 августа 1937 года, а спустя месяц с небольшим его двоюродный брат, пасынок писателя Юрия Олеши, выбросился из окна квартиры на Тверской. Под знаком этих событий и проходило взросление мальчика.

Арест матери я принял как должное, – писал он в дневнике. – В то время ночное исчезновение какого-нибудь человека не вызывало удивления. Люди ко всему привыкают – холоду, голоду, безденежью, смерти. Так привыкли и к арестам. Все казалось закономерным. Маму увезли под утро. Встретился я с ней через два года посреди выжженной солнцем казахстанской степи. Об этом я напишу когда-нибудь.

Игорь, мой двоюродный брат, умер неожиданно. Еще за два дня до смерти я с ним разговаривал. Правда, не помню о чем, но, кажется, о чем-то очень веселом. Ничего особенного в его поведении ни тогда, ни сейчас не видел и не вижу. Хотя принято говорить, что перед смертью

Игорь “здорово изменился”. Смерть его была так неожиданна, как бывает неожиданным стук в дверь поздней ночью.

Сначала она не произвела на меня никакого впечатления. Меня интересовали только подробности самоубийства. Последние шаги, последние слова, последний взмах руки. Мне неудобно было спрашивать об этом у очевидцев – Юры и Оли. Но, каюсь, эти слова искренни^[296].

Валентина Козинцева рассказывала мне, как она прибежала в дом Юрия Олеши сразу после несчастья. Когда она вошла к ним в дом, Ольга Густавовна бросилась к ней со словами: “Как скучно, Валя! Как скучно”.

Она говорила ей, что видела открытое окно, кинулась, туда не могла подойти, разрывала страшная боль в груди. Потом, когда прошло время, она через Валентину спрашивала Олешу, который успел сбежать вниз, был ли мальчик, лежащий на земле, еще жив? Тот сказал, что да.

Всеволод все время мечтал о встрече с матерью, жил этой мыслью постоянно. В 1939 году ему и тетке, Серафиме Суок, удалось съездить к ней в лагерь в Караганду на короткое свидание. Когда началась война, его мать, Лидия Густавовна, внутренне ощутила, что больше не увидит сына.

Мне скоро восемнадцать лет, – писал Вс. Багрицкий накануне войны, – но я уже видел столько горя, столько грусти, столько человеческих страданий, что мне иногда хочется сказать людям, да и самому себе: зачем мы живем, друзья? Ведь все равно “мы все сойдем под вечны своды”. Так вот (опять увлекся), я стал задумываться о происходящем, искать начало и конец, определенную закономерность событий. Увы, мне стало еще тяжелее. Тоска. Тоска.

Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от одиночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему^[297].

Трагическая судьба подростков – Георгия Эфрона и Всеволода Багрицкого – в чем-то перекликается. Оба вели очень откровенные дневники, пытались осмыслить драматическую судьбу – свою и родителей, испытали безграничное одиночество, погибли сразу же, как попали на фронт. Однако Всеволод обладал жалостью и любовью к людям, которых так не хватало Муру.

В 1940 году 18-летний Всеволод Багрицкий внезапно связал жизнь с болезненной девушкой, как писала его нянька матери в лагерь, “стал скучать и от скуки женился”, но через несколько месяцев развелся. Нянька строго указывала, что наша настоящая невеста – Люся – в Ленинграде. Люся – это Елена Георгиевна Боннэр.

В конце ноября в Чистополе Всеволод участвовал вместе со студийцами в постановке спектаклей, но игра на сцене ему не удавалась. Все родственники – две тетки Ольга и Серафима Суок, Юрий Олеша – эвакуированы в Среднюю Азию. Он один, не знает, с кем

посоветоваться о будущем. В результате 6 декабря пишет заявление в политуправление РККА с просьбой отправить его на фронт.

От Багрицкого Всеволода Эдуардовича,
прожив, в гор. Чистополь,
ул. Володарского, дом 32, кв. 8

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Политуправление РККА направить меня на работу во фронтовую печать.

Я родился в 1922 г. 29 августа 1940 г. был снят с воинского учета по болезни (близорукость).

Я – поэт. Помимо того, до закрытия “Литературной газеты” был штатным ее работником, а также сотрудничал в ряде других московских газет и журналов.

6 декабря 1941 г. В. Багрицкий¹.

В тот же день он написал стихотворение, в котором видны причины, толкнувшие близорукого юношу на фронт.

Мне противно жить, не раздеваясь,
На гнилой соломе спать
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра.
Вспоминать погибших имена.
Из дому не получать ответа.
Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути.
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

Наталья Соколова вспоминала:

Сева ходил хвостиком за Таей Макашиной, которая ему покровительствовала, помогала справляться с нелегким эвакуационным бытом. Денег у него не было. Он не знал, как себя применить, к чему приткнуться. Осыпал Таю и окружающих стихами – своими, отца, других поэтов. Он жил поэзией. Не знаю, каким он стал бы поэтом, доведись ему прожить долгую жизнь; но читателем и почитателем стихов еще смолodu был идеальным, прирожденным, божьей милостью. Он выглядел совсем мальчишкой – слегка раскосые глаза, короткий туповатый нос, волосы лохматые, густые, распадающиеся, вздымаемые чистопольским ветром. Сева не вынес

своей пассивной тыловой жизни и в декабре добился отправки на фронт. Чистополь, второй по величине город Татарии, летом жил пароходным сообщением по Каме, а зимой был наглухо отрезан от мира. Вероятно, Сева уходил, как и все зимние призывники, держась за веревку, привязанную к задку саней (сани собирались “караванами”, длинными вереницами, в Казань одиночные сани не отправлялись).

“На веревке пехом” шли призывники в лютую стужу и в буран, когда в двух шагах ничего не видно. Отстать нельзя, отстанешь – смерть, заметет, заморозит. Тая сетовала, что Сева уходил легко одетый, утеплить его было нечем^[298].

Гладков и Арбузов, старше его на 10–15 лет, из Чистополя на фронт не рвутся. Конечно же, будут фронтовые бригады, выезд со студийцами на фронт со спектаклями. Однако видно, что внезапный уход Всеволода, освобожденного от армии, они воспринимали как детский поступок. Об этом говорит запись в книжке А. Гладкова 6 марта 1942 года.

Арбузов получил письмо от Севки Багрицкого. Читали мы его и смеялись до слез. Человек находится на фронте, а пишет о разных пустяках <...>. В подтексте письма чувствуется испуг и тоска и тяготы фронтовой жизни. Попал Севка как кур в ощи... В целом жалкое письмо^[299].

Они читают письмо, ерничают по его поводу, а он уже с неделю как погиб... Лежит в земле и навсегда взрослее их.

Гладков – человек яркий, умный... и очень циничный. Он почитал погибшего Мейерхольда, которого ему посчастливилось узнать, с огромным пиететом относился к Пастернаку – именно благодаря его заметкам и дневникам остались замечательные страницы о чистопольском периоде в жизни поэта, но отношение к современникам, к тому же Алексею Арбузову, Всеволоду Багрицкому, Александру Галичу – язвительно-ироническое.

Последние записи Всеволода, сделанные на фронте:

Весь противоположный берег усеян трупами. Из-под снега видны серые солдатские шинели. Нет, не чувство страха охватывает при виде этого зрелища, а чувство глубокого бесконечного одиночества.

Особенно поразила меня фигура бойца – первая, которую я увидел. Голова и плечи его были занесены снегом. Он лежал спиной к дороге, поджав ноги к груди. Из-под снега были видны только часть спины и фляжка. Скоро его занесет совсем. И весной, когда тронется Волхов, унесет в Ильмень^[300].

Наконец, весть о гибели юноши дошла до Чистополя.

Убит Севка Багрицкий, – писал в дневнике А. Гладков. – Я был знаком с ним недолго, но обстоятельства сделали наше знакомство более коротким. Началось с того, что Севка постоянно попадался нам с Тоней в поворотный период нашего романа, везде во всех ресторанах,

куда мы ходили <...>. 16,17,18 октября студийцы получили сообщение уходить пешком из Москвы.

В этот момент безвольный, растерянный Севка по очереди соглашался с любым, кто имел какое-нибудь твердое мнение... Севка записал меня в писательской эшелон в клубе ССП... Памятное путешествие в одном купе... Севка устраивается в багажнике... Его общество и паразитическое существование. Чистополь... Севка проявляет чудеса в искусстве устраиваться... Погрузка дров на Каме, поиск комнаты...

Неудачная экспедиция в колхозе. Сгоревшие ботинки... Плачевный дебют в театре... Севка читает первые стихи у Арбузова. Хорошие стихи^[301].

На могильной плите была вырезана надпись из стихов Цветаевой, которую он любил.

Воин-поэт Всеволод Багрицкий

Убит 26 февраля 1942 года

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

Мне так не хотелось в землю

С любимой моей земли...

Тая Макашина вспоминала, что Сева Багрицкий плавал на пароходе в Елабугу, разыскивая могилу Цветаевой.

Долматовский. Без вести пропавший

В начале 1942 года Софья Караганова (Долматовская) встретила в Чистополе с Твардовским, который начинал войну вместе с ее мужем.

Он приехал на несколько дней с фронта навестить семью. Я вошла в просторные сени, пахнувшие недавно вымытыми, еще сырыми, некрашеными полами. Одна дверь вела в комнату, ее занимала семья Гроссмана, налево несколько ступенек вверх – вход в совсем маленькую прихожую. Из нее дверь в комнату – в ней и жила семья Твардовского. До сих пор сохранилась в памяти чистота, белизна жилища – иссиня-белые занавески на окнах, белое покрывало на детской кровати, белая скатерть на столе. Оттого, наверное, сохранилась, что знала, как трудно было в условиях эвакуационного проживания в чужих домах поддерживать чистоту.

Посреди комнаты стоял Александр Трифонович – высокий, в белом самовязаном свитере, военном галифе, толстых белых носках. На плече у него сидела, свесив полные голые ножки, девочка – младшая дочь Твардовских, Оля. На полу, прижавшись к отцовскому бедру, стояла старшая, тоже еще маленькая, Валя. Мария Илларионовна сняла с

плеча Александра Трифоновича дочку, усадила в кроватку. Уже полузабытая картина счастливой, хотя бы на несколько дней бестревожной семьи.

Я разволновалась, не сразу нашлась с чего начать. Александр Трифонович сам рассказал о своей встрече на фронте с Долматовским, а я, хотя это совсем не входило в мои намерения, вдруг сказала ему, что очень хотела бы на фронт, в газету. Эвакогоспиталь № 1670, где я работала по окончании курсов медсестрой, расформировывался, а заехавший в Чистополь Василий Семенович Гроссман советует мне оставить дочку в безопасности, на попечении бабушки и Литфонда, и уехать пока в Москву. Он был уверен, что сможет договориться о моей работе.

– Никуда вам не надо ехать! Ваше место здесь, возле дочки, – очень решительно, даже резко отрезал Твардовский. – Женщине вообще не место на фронте^[302].

А начиналось все с того, что через три дня после начала войны Е. Долматовский, А. Твардовский и Дж. Алтаузен выехали на киевском поезде к фронту, далее каждый поехал к месту своего назначения. Долматовский, оказавшись с танковой дивизией возле Львова, буквально через несколько дней попал в окружение. Вместе с несколькими ранеными они пытались прорваться через кольцо неприятеля. Их обнаружили немцы и погнали в лагерь. Долматовский писал матери в Чистополь весной 1942 года:

Я был ранен в голову и руку, выздоравливал за колючей проволокой, бежал и испытал на себе всю верность украинских колхозников советской власти – они меня спасали и лечили, и тысячи подобных мне^[303].

В военных дневниках Анатолия Тарасенкова приводится версия счастливого спасения Долматовского:

I/II 42. Крон получил письмо от жены. В нем пишется: “Нашелся Долматовский. Он был 2 раза в плену, 2 раза бежал, попал к петлюровцам, они с криками «жид» тащили его привязанным к седлу к немцам, которые оказались итальянцами и, к счастью, толку в жидах не понимают и отправили на общих основаниях с пленными, откуда он второй раз бежал, был ранен 2 раза в руку, 1 раз в голову, болел кровавым поносом, т. к. его обкормили крестьяне после голодовки. Был искусан собакой, прошел юоо километров пешком и, наконец, сейчас в Воронеже весь в нарывах с длинной бородой. Думает поехать в Чистополь, после того как оформит документы, так как все где-то зарыл”. В этом же письме говорится, что о Крымове ничего не слышно уже 3 месяца. Щипачев – в Куйбышеве. Гольцев – на Муромском фронте^[304].

Софья Долматовская, после того как муж приехал в Чистополь в отпуск, написала Фадееву:

Дорогой Александр Александрович! Женя в своем письме просит Вам передать следующее: "... передай Саше Фадееву привет обязательно. Однажды думал, что уже помираю, я передал ему письмо с разведчицей, о том, что меня уже нет. То, что он рискует раньше или позже получить от нее письмо, и пусть посмеется над моей сентиментальностью. Предупреди его". Вот я и предупреждаю. У Ваших все в порядке.

С. Долматовская ^[305].

Парадокс состоит в том, что "предсмертное" письмо Долматовского все еще шло, а он уже успел вернуться из плена.

Мария Илларионовна Твардовская

Чистопольские дамы, по воспоминаниям Соколовой, сторонились Марии Илларионовны; она не любила сплетничать, была замкнута, не любила светской жизни. Жила она в Чистополе с двумя дочками – Валею и Олей.

Наталья Соколова писала:

Мария Илларионовна, жена Твардовского, невысокая женщина со странными прозрачными русалочьими глазами и тихим ровным голосом, просто одетая и просто причесанная, была не то из сельских учительниц, не то из сельских библиотечек (две категории человечества, которые Твардовский уважал безмерно). Трудности Чистополя не являлись для нее, в прошлом деревенской жительницы, такими трудностями, как для нас; пилить дрова или нести ведра с водой на коромысле не казалось ей страшным, удивительным, она знала, что так жила большая часть страны. Организованная и подтянутая, полагающаяся только на себя, не привыкшая к поблажкам, она уверенно вела хозяйство, ходила опрятная, наглаженная, не теряла присутствия духа, не повышала голоса – даже тогда, когда другие, обсуждая плохие сводки, кричали, нервничали, впадали в панику. У меня было ощущение, что М. И. – всегда и везде на своем месте, она сама по себе, не поддается влияниям, действует так, как считает нужным. В ней чувствовалась твердость, которая при известных обстоятельствах могла, правда, обернуться ограниченностью ^[306].

В письмах из Чистополя мужу на фронт она жалуется на страшные чистопольские морозы (до 50 градусов), которые настигли Татарию в первую военную зиму. И в то же время – возникновение, создание и работа над "Теркиным" проходила у них в письмах постоянно, она всегда была его другом и советчицей.

М. И. – А.Т. Чистополь

Вчера мы слушали тебя по радио... Прежде всего поразил нас голос – какой-то незнакомый, хотя и твой. Он стал тверже и как-то серьезнее. Валя потом так выразила свое впечатление: "...Совсем не его".

Стихи (“Бойцам Южного фронта”) нам понравились. Только последнюю строфу я прослушала – в коридоре на примусе закипело молоко... Выступи, пожалуйста. Дай хоть послушать тебя, если не показываешься.

М. И. – А.Т. Чистополь

...Ударили такие трескучие морозы (минус 40–43°), что фронтовики-отпускники, собиравшиеся уезжать, еще сидят здесь...

М. И. – А.Т. Чистополь

...Жуткие холода. Вчера было -52°. Сегодня меньше, но ветер. Печь топится почти непрерывно, но этим почти ничего не достигается. Пар летит изо рта. На окнах лед, под кроватями и в углах – снег, снег выше изголовья у моей кровати, поставленной в самом холодном углу.

Вот когда я поняла, откуда берет начало понятие жить-прозябать. Сейчас мы прозябаем. Боимся всякого лишнего движения – холод гуляет по комнате... ничего поделаться с холодом не могу. Дрова сипят. Вода на них кипит, и клубы пара вырываются из печки, когда открываешь дверку... В комнате как в дубильном цеху. Кисло пахнет корой. Это сохнут поленья, заложенные за печь. Только там они и оттаивают. На полу дрова не отходят. Сегодня возле самой печки ночевавшие на полу поленья были в снегу. Вот это и есть борьба за существование самая омерзительная, самая унижительная. Нет, не говорите мне, я знаю, на фронте и прозябать легче...

М. И. – А.Т. Чистополь

... Вчера вечером читала твою тетрадь. Все подряд. В очерках мне понравилось: простота, даже некая безыскусственность языка, которым они написаны. Они много богаче очерков, публикуемых в центральной печати, теми драгоценными мельчайшими фактическими деталями, которые у журналиста, берущего интервью, непременно выпадают, а у человека, непосредственно наблюдающего фронтовую жизнь, становятся на свое место. Эти фактические детали заставляют читателя вдумываться и ощутительно переживать то, о чем он читает^[307].

Зима 1941/42 года

Свирепая была зима,

*Полгода лютовал мороз.
Наш городок сходил с ума.
По грудь сугробами зарос.*

Мария Петровых

Водном письме эвакуированный литератор пишет своему другу о том, что зима в Чистополе уже хороша тем, что город оказывается под огромным слоем снега, не видна грязь. Но первая военная чистопольская зима была чрезвычайно жестокой, температура достигала 53 градусов ниже нуля.

В письме к брату А. Гладков писал:

Представь крохотный, занесенный снегом полутатарский городок, избы с керосиновыми мигалками, хрипящее радио, нетопленный Дом учителя, ставший писательским клубом, почту, приходящую раз в неделю, и трижды на день встречающихся творцов изящной словесности, и ты будешь иметь кое-какое представление о чистопольской писательской колонии, быт которой, конечно, войдет не в одни литературные мемуары^[308].

Вера Смирнова – критик и детская писательница, та самая, которая участвовала в том злополучном собрании о прописке Цветаевой в Чистополе, вспоминала, как они возвращались по заснеженным зимним улицам со своим соседом Треневым с таких собраний.

Ул. Льва Толстого нравилась нам – своим именем, и своей тишиной, и пустынностью, она находилась почти на окраине. Зимой ее заваливало сугробами чуть не в рост человека, и только посреди тротуара была пробита тропинка. По ней мы пробирались, как по снежной траншее, друг за другом, поодиночке <...>.

Высокая, чуть сутулая фигура Константина Андреевича казалось еще выше от высокой меховой шапки; он был похож на русского боярина с какой-то картины.

Маленькие, до половины засыпанные снегом старые дома с закрытыми ставнями окон, ослепительно круглая луна на белесом северном небе, жестокий мороз, и хруст крупно зернистого снега под ногами, и глубокий, древний сон вокруг – все это казалось немного фантастичным, издали веков, из русской старины. Боярская фигура Тренева была подстать этой зимней ночи, этому старинному городу.

К. А. Тренев и оба мы были членами “совета эвакуированных”, где решались тогда неотложные нужды писательской колонии, особенно детского дома нашего. Помимо мы пытались организовать самостоятельную столовую для эвакуированных писателей, она просуществовала недолго, но была своего рода клубом для наших товарищей, которым просто необходимо где-то собираться, обсуждать

последние известия, говорить о литературе. Даже “моральное поведение” эвакуированных обсуждалось на нашем совете. Вот с этих-то советов мы обычно возвращались вдвоем^[309].

Валентин Парнах

В этой-то столовой было очень холодно. У ее дверей дежурил поэт Валентин Парнах, “маленький, с несчастным, как бы застывшим лицом, – вспоминал А. Гладков, – с поднятым воротником помятого, когда-то щегольского пальто, в коричневой парижской шляпе, одиноко сидит здесь в углу с утра до часа, когда столовая закрывается, ни с кем не разговаривая”^[310].

Этот загадочный человек среди чистопольских сугробов и засыпанных домиков будто бы прилетел с другой планеты. Когда-то он придумывал новые танцы, популяризировал джаз в Стране Советов, долго жил в Париже, в начале 1930-х годов вернулся на родину. Брат поэтессы Софии Парнок (к тому времени уже покойной) и брат-близнец детской писательницы Елизаветы Тараховской. Все трое происходили из Таганрога. Валентин Парнах стал прототипом Парнока – главного героя “Египетской марки” Мандельштама, которую воспринял как пасквиль на себя. Поэт, переводчик, его портрет написал Пикассо, а стихи иллюстрировали Ларионов и Гончарова.

Вернувшись в Россию, он занимался исключительно переводами. Накануне войны его приняли в Союз писателей, а в 1941 году он с женой и сыном выехал в эвакуацию в Чистополь.

Одна из эвакуированных вспоминала:

В сумрачный день в нашей чистопольской столовой, которую тщательно охранял от посторонних посетителей, проверяя пропуска, сухонький, подвижный поэт и переводчик Парнах, известный также как танцор, мы прочитали объявление: “Все эвакуированные приглашаются на разгрузку баржи с дровами для детского дома и семей писателей. Срок разгрузки 24 часа”. Его женой была художница Екатерина Робертовна Классон – дочь знаменитого инженера Роберта Классона, разрабатывавшего план ГОЭЛРО. В Чистополе она возглавляла мастерскую по производству игрушек, где работала младшим художником Ольга Дзюбинская, которая часто наблюдала смешные сцены между супругами: “Каждый раз мы, младхуды, были очевидцами его детских жалоб, обращенных к жене: «Катя, я измучен! У меня натирают сандалии!» На что Екатерина Робертовна, попыхивая папиросой и повернув к нам свой породистый профиль, спокойно отвечала: «Валечка, беда невелика. Наденьте носок – вон он торчит у вас из кармана. И все образуется». Я нашла верный способ отвлечь

Валентина Яковлевича от житейских невзгод – просила почитать Франсуа Вийона. И тут он преображался, забывал о сандалиях, о керосинке, которая «не хотела зажигаться», становился изысканным, свободным, уверенным. И начинал читать, доставляя и нам, и себе истинное удовольствие”.

В. Я. Парнах стал работать в заводской столовой.

Мы уважали Валентина Яковлевича, – вспоминала Дзюбинская. – И очень сочувствовали ему, когда долгое время, да еще зимой, ему пришлось (из-за возможности пообедать) работать швейцаром в столовой “Искра”. Правда, слово “швейцар” ни он, ни мы не произносили. Сам В. Я. Парнах, будучи мастером в нахождении точного слова, назвал и свою должность: “дежурный”. “Я – дежурный!” – отвечал он любопытным, пробуящим “прорваться” в закрытые двери. Он сидел на своем посту в серой летней шляпе с пришитыми байковыми “ушами”, царственно говорил одну и ту же фразу с непередаваемой интонацией классического театра: “Товарищ! Обратно! Вам все равно не подадут! Это закрытая столовая! Здесь – для фабрики!” Фраза – жест, фраза – жест, взмах правой рукой^[311].

Столовая Литфонда просуществовала недолго, до марта 1942 года, постепенно став литфондовским распределителем, где выстраивались огромные очереди с карточками за хлебом.

Яков Кейхауз

В своих чистопольских воспоминаниях Гладков пишет о том, как февральским зимним вечером в Доме учителя, когда завалило все тропинки, должен был проходить вечер молодого поэта Якова Кейхауза. В тот вечер пришли только Павел Арский и Гуго Гупперт. Павел Арский – пожилой поэт-песенник, а Гуго Гупперт – австрийский поэт-антифашист.

Гладков писал в дневниках:

Кейхауз – чахоточный, скверно одетый высокий малый с ассирийского вида бородкой и тонкой шеей, замотанной в зеленый шарф. Пока решаем, что делать и не перенести ли вечер, появляется оживленный и румяный с мороза, доброжелательный и приветливый Б. Л. и красноречиво просит прощения за опоздание. Кейхауз заявляет, что он готов читать для собравшихся. Он читает “Остров Бомини” Гейне и несколько очень хороших переводов из “Исторического цикла” Киплингa. Б. Л. слушает с видимым удовольствием и просит повторить довольно длинную поэму “Остров Бомини”. Кейхауз розовеет от счастья. Б. Л. слушает, улыбаясь, и после очень хвалит перевод. Он просит прочесть какие-нибудь оригинальные стихи. Кейхауз,

извинившись за мрачность своих тем, читает вступление и несколько отрывков из поэмы “Ночь в одиночке”, посвященной 16 октября в Москве, эвакуации, войне. Потом читает три стихотворения о сыне, второе из которых Б. Л. очень хвалит и тоже просит повторить. Он говорит, что ему нравятся стихи Кейхауза за то, что они существуют не “по инерции ритмической, подражательной или словесной, а как акты познания поэтом мира”. Бедняга поэт на седьмом небе¹.

Наверное, он читал стихотворение о сыне, которое до войны взволновало его товарищей, об этом вспоминал Яков Хелемский.

Под клеенчатым фартуком синим

Пустовал полосатый матрас.

И коляска наполнилась сыном,

Непонятно и странно для нас,

Хорошо мы живем или худо,

Не отучимся мы никогда

Удивляться пришедшим оттуда,

И бояться ушедших туда.

В Литинституте он дружил со своими однокурсниками: Маргаритой Алигер, Симоновым, Долматовским. Наталья Соколова, которая была с того же курса, с нежностью вспоминала о друге:

Яша блестяще знал русскую поэзию от восемнадцатого века до наших дней, понимал и чувствовал ее, умел рассуждать о стихах так бережно, что цветок поэзии сохранял свой запах, свои краски и свежесть, оставался живым, не становился засушенной плоской закорючкой в гербарии. Уже на первом курсе было известно, что Яша туберкулезник, белобилетник. Он был из очень бедной семьи. Не помню на нем рубахи с галстуком, костюма (хотя все это к тому времени уже начали носить вместо гимнастеров и косовороток, наши институтские пижоны щеголяли мощными подкладными плечами на спортивного типа светлых пиджаках с хлястиками и накладными карманами); Яша не мог себе позволить костюма, неизменно носил какой-нибудь темный потрепанный свитер с глухим высоким воротом; свитер подчеркивал его впалую грудь, характерную для легочных больных, он казался длинным и узким. Его некрасивое, но выразительное и умное скуластое лицо бывало часто мрачновато-серьезным, но оно преображалось, освещалось внутренним светом, когда он читал вслух стихи – свои или чужие любимые. Великое множество стихов знал он наизусть. Читал Яша прекрасно, ровным глухим голосом, подчеркивая интонацией ритмическое построение, вытянув руку и шевеля костлявыми пальцами^[312].

Умер Я. Кейхауз в самом конце войны, в 1945 году. В эвакуации страдал от того, что он белобилетник:

Я не в плену, не ранен, не контужен,
Не числюсь в списке без вести пропавших
Иль в списке награжденных орденами
И золотыми звездами. Мне хуже,
Чем самому пропащему солдату.

Это стихотворение он написал в Чистополе в 1942 году. Но их жизнь в эвакуации была не легче фронтовой. Соколова вспоминала:

С одним из поздних эшелонов в Чистополь к жене и ребенку приехал Яша, которому очень не хотелось уезжать из Москвы. Так сложилось, что Кейхаузы поселились рядом со мной и Жанной Гаузнер на втором этаже обычного чистопольского домика-сруба с мезонином. Их маленькая тесная комнатка не отапливалась общей печью, им пришлось поставить железную круглую печурку с коленчатой трубой, выведенной в форточку. Когда капризничал ветер, то дым загоняло обратно, Яша выползал в холодный коридор с красными слезящимися глазами, переживал. Разогревалась печурка быстро и легко, от щепок, веток, но тепло не держала совсем, к утру стены комнатенки Кейхаузов бывали покрыты инеем, над кроватью висели сосульки. (Потом я жила с такой же печуркой в Москве, с сорок третьего года по сорок пятый, знаю, каково это.) Голодную диету карточных военных лет Яша выносил плохо, холод, сырость в комнате – тоже, туберкулезный процесс сразу обострился. Война убивала его – не так, как тех, на фронте, сразу – нет, убивала медленно, но верно. Я могла рассчитывать, что мне придет денег отец, Жанна надеялась на помощь Веры Инбер, но у Кейхаузов никаких поступлений не предвиделось. Яша фактически был не в состоянии пойти куда-то работать, он с трудом держался на ногах, на него страшно было смотреть. Римма вела себя мужественно, жалоб от нее никто не слышал. Немедленно пошла на какое-то предприятие работницей к станку, вскоре выдвинулась, стала начальником цеха ширпотреба (цех делал изделия из обрезков трикотажа, отходов производства). Она зарабатывала, тянула семью, кроме всего прочего получала рабочую карточку. Вставала на рассвете и уходила, возвращалась очень поздно, измученная, съедала кое-как тарелку супа, валилась на кровать и засыпала. Яша, еле живой, выстаивал в многочасовых очередях, отоваривая карточки, три раза в день ходил за детским питанием Мити, готовил еду, мыл посуду, экономя воду (которую мы носили в ведрах от колонки на перекрестке)^[313].

Именно за него заступался Федин, когда таких, как он, больных и не приспособленных к тяжкому физическому труду, руководство Литфонда требовало снять с довольствия, то есть лишить обедов, которые они получали при интернате. Федин писал Фадееву, что “молодой, одаренный поэт, давший новый перевод «Макбета», Я.

Кейхауз почти при смерти от обострения туберкулеза (сегодня – кровотечение горлом, третий месяц лежит в жару)”^[314].

В Чистополе в детском доме, находившемся на балансе Литфонда (хотя за него тоже платили родители), кормились служащие в нем взрослые (85 человек), а также выдавалось разрешение на питание больных, не приспособившихся писателей, которые на глазах колонии буквально умирали от голода. Председатель Литфонда Хмара потребовал больных писателей лишиться питания и в случае нарушения грозил чистопольскому правлению судом. Федин резко писал в Москву:

Когда мы, руководящие всей колонией писатели (Тренев, Асеев, Леонов, Пастернак, Добрынин и я), заново увидели, что лишенными питания оказались именно больные, жизненно не приспособленные и неустроенные писатели, мы сказали себе – нет, это невозможно, чтобы Литфонд, сохраняя свое наименование и не изменяя своей идее, продолжал бы давать повод упрекать себя в том, что он “кормит всех” <... > и без малейшего сочувствия обрек на умирание, лишь во имя чистоты принципа, что писатели – не дети и не служащие Литфонда.

Дело идет именно об обреченности на умирание. Беру только самые разительные примеры <... > переводчица Розенталь – в больнице по хирургическому поводу, в полнейшем истощении; малоформист Долинов второй месяц в постели с мозговыми явлениями, с потерей зрения, полном истощении, пролежни^[315].

Федин писал, что он готов ответить перед любым судом. Тем более что никакие обязательства о снабжении писателей не выполняются: “Сколько порогов обито нами во имя той чечевичной похлебки (буквально), о которой проливают слезы писательские семьи, если она им не досталась”¹.

В этом же письме он возмущенно рассказывал, что его заставляют лишиться всякой поддержки голодающую в Чистополе семью болгарского писателя-антифашиста Людмила Стоянова, находящегося в фашистском застенке. Его приглашают в местное НКВД и разъясняют, что он не смеет заботиться о жене и полугодовалой дочери писателя. Федин с возмущением пишет, что не районное НКВД будет объяснять ему, нужен или нет болгарский писатель Стоянов.

В марте 1942 года он сложил с себя полномочия председателя правления.

Федин. Леонов. Пастернак. Попытка дружбы. Весна 1942

*Я прожил эту зиму живо
и с ощущеньем счастья среди лишений*

*и в средоточии самого дремучего дикарства,
благодаря единомыслию, установившемуся между мной,
Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Треневым.*

Борис Пастернак

Федины поселились в Чистополе на улице Бутлерова. Нина Федина вспоминала:

Большая, но проходная комната, где раньше у хозяев была гостиная, служила нам столовой и спальней отца. Там стоял большой обеденный стол, старинный буфет, кровать и было много цветов. Вторая, совсем крохотная комнатка, была кабинетом отца. Здесь он работал днем и вечером, а ночью она превращалась в спальню для меня с мамой. Вечером занавешивались окна, закрывались плотно ставни, и мы сидели с керосиновой лампой, а чаще с коптилкой. На кухне тесно. Маленькая железная печурка всегда занята. Готовят хозяева и жильцы, кипятится белье^[316].

Кроме хозяев и Фединых в одной из комнат летом 1942 года поселились Жанна Гаузнер и ее муж Юрий Основ, это произошло уже после смерти их маленького мальчика.

Неустроенность жизни коснулась и Федина; в письме к Мартыановой в Саратов он пишет, что исчез рынок, едят они не очень сытно и что “он стал изящен, как тюльпан, и ветер покачивает моей склоненной, легкой головой”. 3 мая 1942 года он писал ей:

Милая Валентина Ивановна, это, правда, что бывает невыносимо трудно. Вот я, скажем, всю жизнь презирал радио. Но только теперь я понял, как глубоко был прав, презирая его. Судьба наказала меня: у нас радио не выключается никогда и вся его вокально-музыкальная крошка, как в пустой бочке, гудит в моем черепе с утра до ночи. Принужденность положения – вот в чем ужас нашей жизни! Я в жизни (школьником, студентом, позже – “актером”, журналистом) переменил много десятков углов и комнат. Всюду я чувствовал себя отлично, принадлежа себе и располагая в любую секунду возможностью 37-ю хозяйку сменить на 38-ю, 39-ю и т. д. Это была истинная свобода! И вот, к концу жизни (ужели?!) я пойман в ловушку и не могу сдвинуться с места. И я начал подвывать. <... > При этом я ничуть не жалею на хозяйку: нам повезло, у нас интеллигентные хозяева, читающие, рассуждающие^[317].

Он сетует на принужденность своего положения. Провинция никогда не сталкивалась с писательским трудом, и людям, живущим у себя дома, трудно было менять привычки. Любопытно, что и Пастернак испытывал точно такие же мучения от работающего радио, однако его реакция, как всегда, была необычной.

Хозяева его комнаты, слушавшие за дверью то радио, то граммофон, как-то довели его до того, что он выскочил и, резко отчитав их, попросил приглушить постоянно работающий приемник. После чего почти сразу испытал страшные угрызения совести. Он так мучился своей вспышкой, что в тот же день на вечере в Доме учителя выступил перед собратями писателями с покаянной речью о своем высокомерии, о том, что у него не хватило выдержки и он посмел наброситься на добродетельных хозяев. Большинство аудитории восприняли речь с крайним изумлением, как очередное чудачество Пастернака.

Оторванность Чистополя от Москвы, близость гибели, когда решались вопросы жизни и смерти, вызвали в Федине воспоминания о пережитых в юности счастливых днях в обществе “Серапионовых братьев”, куда он входил в 1920-е годы. Но книга о “братьях” была невозможна, и поэтому появилась другая – “Горький среди нас”, которая рассказывала о взаимоотношениях “серапионов” в 1920-е годы с Горьким.

В письме к бывшему “серапиону” Всеволоду Иванову в Ташкент Федин писал:

Наш путь, пройденный в замечательные годы, кажется мне сейчас зеркально ясным, и старики, и молодые идут по этому зеркалу бесшумно, гладко, с такой пластичностью, что я их ощущаю физически. Странная вещь воспоминания! Конечно, это мать искусства.

Передай Пешковым, что я надеюсь сделать книгу о Горьком такую, чтобы Алексей Максимович предстал в ней великим не по произволу, а по необходимости. Этот человек научил нас понимать историю, и мы отточили свой взгляд в общении с ним и видим все очень далеко, очень остро и, по-моему, очень верно. Эпоха, которую я беру, необыкновенно увлекательна. Так как мы, наше поколение, никогда не умело, не могло и поэтому не хотело переписываться, то из наших писем в будущем никто не поймет ничего, а это обязывает нас к тому, чтобы вместо писем мы оставили воспоминания, в которых рассказали бы о самом важном для нашего поколения¹.

Однако для живущего по соседству Леонида Леонова, который также слушал чтение Федина, сочинение о Горьком вызывало скрытое раздражение. Федина он спустя годы будет называть неискренним человеком, склонным к актерству. В конце 1920-х Леонов был принят Горьким как писатель, имеющий огромные перспективы, не раз был у него в гостях за границей и в Москве. Спустя несколько лет, когда в Союзе писателей будут обсуждать фединские воспоминания, осведомители запишут за Леоновым следующее:

Книга Федина о Горьком плохая. Недопустимо опубликование писем и высказываний Горького без учета, что это в итоге исказит образ Алексея Максимовича. Горький не сразу стал тем писателем и учителем жизни, которого высоко чтит советская страна. И бестактно сейчас, в интересах личной писательской биографии, публиковать то, что было

сказано Горьким совсем в другое время, на иной стадии нашей общественной и литературной жизни. У меня тоже есть письма Горького, воспоминания о беседах с ним, но я не предаю и не предам этот материал гласности в интересах сохранения в народе цельного образа великого писателя, пришедшего к полному единению со своим народом, с партией, с советским государством^[318].

Но этот ревнивый отзыв прозвучит через три года, а пока все живут тесно и стараются максимально корректно говорить друг о друге^[319]. Вместе справляют Новый 1942 год. Гладков отмечает в дневнике, что почему-то ни Федину, ни Леонову не пришло в голову пригласить на праздник Пастернака.

В начале 1942 года, когда каждая семья должна была для себя добывать дрова, Федин тоже отправился на берег Камы, где были дровяные склады, чтобы раздобыть там лошадь. Но наступила темнота, он вернулся измученный тем, что ему так и не удалось ничего сделать. То же повторилось и на следующий день. Леонид Леонов, будучи человеком предприимчивым, взял у Федина деньги, вернулся с дровами и для себя, и для него.

Вспоминали, что Леонов приехал в Чистополь с большими деньгами, покупал на рынке бочки с медом, поражая местных жителей и писателей. Однако психологически Леонов был в тяжелом состоянии. Пастернак писал из Москвы жене в самом начале войны: “Леонов почти рехнулся от тоски по своим, он плачет, молится Богу, мы с Костей (Фединым. – Н. Г.) каждый день его успокаиваем”^[320].

Леонов не оставил воспоминаний и не любил, когда за ним записывали, видимо, сказывался многолетний страх. Его жена Татьяна Сабашникова была дочерью знаменитого купца, издателя Сабашникова, многие родственники со стороны жены были арестованы, общение с ними было прервано. А. Овчаренко, который спустя годы записывал за Леоновым и его женой, передавал ее рассказ о тех днях:

В критический момент 1941 года, когда Леня, оставшись в Москве, отправил меня вместе с женами писателей в эвакуацию, я встретила впервые с Паустовским в Чистополе. Я прибежала на станцию, чтоб узнать, как Леня в Москве. Он сказал мне: “Я лично с ним не знаком, но он, кажется, сошел с ума”^[321].

Такого рода свидетельств было много.

То же самое повторилось и в Чистополе, Мамонт-Виноградов, сблизившийся с Леоновым, записал в дневнике:

12 ноября. Среда. Днем был в музее. Приходили Л.М. Леонов и Б.В. Алперс. Интересовались библиотекой. Л.М. Леонов сказал Марии, что он по вечерам плачет, тоскуя о Москве. <...>

18 ноября. <...> Леонов образно рассказывал о приемах в Кремле, искусно, в лицах, передавал типы итальянских и японских офицеров – атташе. <... > Леонов на улице пугается Марса и <... > осторожно

прощупывает тему о мистике. Жена его, Т<атьяна> М<ихайловна>, по-видимому, позитивистски уравновешенная, спокойная натура^[322].

Леонов был человеком, склонным к мистическому восприятию мира. В 1970-е годы, когда у интеллигенции проявился интерес к экстрасенсам и прорицателям, Леонов не раз ездил в Болгарию общаться с ясновидящей Вангой. Во время войны все скрытое в человеке вдруг проявлялось в самом невероятном виде.

Жили Леоновы на улице Карла Маркса, 22, вместе с семьей Сельвинского, рядом с домом чистопольского врача Самойлова, с которым Леонов сблизился в Чистополе, и много лет подряд писал ему из Москвы. Леонов вспоминал о работе над пьесой “Нашествие”:

Решил 7 октября выехать в Чистополь. Был отрезан от Москвы. Квартиры там не нашлось. Снял полуподвальное помещение бывшего квасного заведения. В деревянном полу огромные щели, из которых выглядывали рыжеватые крысы. Одна особенно назойливо и ехидно следила глазом, как я, скрючившись, писал “Нашествие”. Вот откуда в пьесе – мышь, помните? Холод и нужда, но написал^[323].

Здесь все несколько смещено. Приехал Леонов вместе с Фединым и Пастернаком. Квартира Леоновых не была полуподвалом, Цецилия Воскресенская (Сельвинская), жившая с ними под одной крышей, описывала совершенно другой дом и быт:

Мы поселились вместе с Леоновым на ул. К. Маркса, 22, в помещении, которое, кажется, раньше было магазином. Сначала мы входили в большую, не отапливаемую комнату-прихожую. Из этой комнаты попадали еще в одну общую комнату. Но здесь уже стояла русская печь, на которой готовили мама и Татьяна Михайловна, жена Леонова. Около печки стоял стол – это была “столовая” Леоновых, слева от двери за занавеской стоял наш стол, кровать, на которой спала мама, и еще была полка для посуды и хлеба. Однажды, придя ночью с работы, я хотела взять кусок хлеба с полки, только протянула за ним руку, а “он” выскочил из-под моей руки. Сослепу, так как я близорука, и в полумраке (все уже спали) я приняла мышь за кусок хлеба. Еще в этой комнате были умывальник и раковина. Затем у печки была дверь в комнату Леоновых, где они все спали, а Леонид Максимович и работал там, а левее шла дверь в нашу узкую продолговатую комнату, где стояли две кровати, на которых спали мы с бабушкой^[324].

Леоновы жили очень неплохо, Сельвинская вспоминает, что они часто веселились, Леонов был замечательным рассказчиком, в доме он был один в окружении многих женщин, которые о нем всячески заботились. Сельвинский всего несколько раз приезжал с фронта навестить семью. Наталья Соколова писала о нем в воспоминаниях:

В Чистополе Леонов быстро освоился. Еще первой военной осенью (когда мы совсем не ощущали Чистополя, плохо понимали, в какие условия попали) он учил всех желающих – дрова в русской печи надо укладывать таким-то манером, чтобы была тяга, в малой печи-

полутопке иначе, вот эдак, а закрывать отдушину нельзя при синих огоньках, можно угореть. Знал, как сучить нить из овечьей шерсти, метать стог, запрягать лошадь “под дугу”.

Мне, закоренелой столичной жительнице, казалось странной экзотикой, что картошку надо готовить на всю зиму, покупать с воза ведрами, где-то хранить, перебирать, а не брать два, три килограмма в магазине по мере надобности; для Леонова это было нормально, естественно. Каким-то чудом этот известный столичный писатель оказался на своем месте в российской глубинке, сохранившей стародавний быт, почти не затронутой веком двадцатым. Да, глубинка была именно российская, русская, татары в городе почти не жили, жили в районе, по деревням, приезжали в город на рынок торговать продуктами.

Леонов любил малые города, они были близки его сердцу. Можно сказать, что Чистополь и Леонов подошли друг другу, хорошо ладили. Чистопольский уклад пленял Леонова: он поэтично, красочно говорил о глухих тесовых заборах и домиках-срубах с мезонинами, украшенных причудливой резьбой, об огоньке лампы в углу горницы перед темными ликами старинных икон; о великолепном просторе реки, сплаве бревен; об удивительном покое здешней зимы, когда город, укутанный снегами, поутру дымит своими русскими печами, совсем как при царе Алексее Михайловиче.

Известно было: Леонов разыскивал ветхих старичков и старушек, записывал их рассказы, посвященные жизни монастыря или истории купеческих династий с чередой разорений и обогащений. Радовался, как это любопытно, огорчался, что многое из прошлого утрачивается, не запечатлено^[325].

В Чистополе Пастернаку стало казаться, что он сдружился с Леоновым и Фединым. Общий настрой, общий взгляд на происходящее объединял Леонова, Пастернака, Тренева, Федина и Асеева.

Дружба Федина и Пастернака поддерживалась в послевоенные годы воспоминаниями о тех чистопольских днях “единомыслия”. Еще до своего ухода из чистопольского правления писателей Федин в письме к Алянскому горестно восклицал:

Тоскую без друзей. Здесь большая колония писателей, и на меня легли заботы о ней (тоже – судьба, о боже!). Но истинно близких друзей нет, если не считать такого друга, как Пастернак. Но не хватает Вас, Сергеева, Соколова-Микитова, наконец, менее близких, но и милых сердцу. <...> У Доры Сергеевны пять смертей в семье. Она очень страдает, боится за мать, которая в марте еще была жива, – но ведь она уже стара, бедная, ей тяжело. Я сильно сдал, но работоспособен и работаю охотно, только мешает старый мой приятель – общественность

^[326].

Пастернак стал для Федина в Чистополе близким человеком, до войны они лишь по-соседски приятельствовали, тем горестнее был их разрыв накануне смерти Пастернака.

А 18 марта 1942 года Константин Федин пишет Ивановым о новостях Чистополя:

Здесьняя колония здравствует, и перемен особых в ней не произошло. Боренька Пастернак, такой же чудный и такой же м-м-мекающий, кончил перевод “Ромео и Джульетты”, и все прослезилась – так хорошо! С ним я встречаюсь очень часто и чувствую себя в его обществе вполне по-человечески. Ленечка Леонов приходит ко мне каждый воскресный день, дымит жутким горлодером, дергается, дергает меня, метется духом и то скорбит, то ярится староверческой ярью. А в общем – мужичок разумный и крепенький. Старик Тренев отхворал воспалением легких, сильно постарел, и весь дом у него хворает. Асеев ходит с кошелкой на базар и посиживает, не сходя с места. Остальное человечество, мужское и дамское, борется с нуждой, которая здесь пока еще не предельная, однако все растущая и обещающая к началу навигации поравняться с худшими местами нашего отечества^[327].

В эти же дни Пастернак восторженно и почти в унисон пишет в Москву брату 22 марта 1942 года:

Несказанно облегчает наше существование та реальность, которую мы здесь впятером друг для друга составляем – я, Федин, Асеев, Тренев и Леонов. Нам предоставлена возможность играть в Союз писателей и значиться его правленьем, и так как душа искусства более всего именно игра, то давно я ни себя, ни Леонова и Федина не чувствовал такими прирожденными художниками, как здесь, наедине с собой за работой, в наших встречах и на наших литературных собраниях. Мы здесь значительно ближе к истине, чем в Москве, где в последние десятилетия с легкой руки Горького всему этому придали ложную серьезность какой-то инженерии и родильного дома или богадельни. В нравственном отношении все сошли с катушек, сняли маски и помолодели, а физически страшно отощали, и некоторые, как, напр<имер>, Федин, прямо пугают своей болезненной худобой^[328].

Однако рядом с Пастернаком в Чистополе обитал ближайший друг юности – Николай Асеев. Отношения Пастернака и Асеева в эвакуации – попытка восстановить тот мир, рухнувший между ними со смертью Маяковского и в последующие годы.

Асеев и сестры Синяковы

В те же дни в письме к Евгении Пастернак (первой жене) в Ташкент Пастернак вновь повторил счастливую мысль о возникшей свободе.

Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого. Сейчас я собирался в одно место и зашел за Асеевым. <...> Они меня просили остаться, а когда узнали, что я тороплюсь домой, чтобы дописать прерванное тебе письмо, Синяковы просили тебе кланяться и поздравили меня с гражданским совершен-нолетьем Жени^[329].

Евгения Пастернак в 1920-е годы была очень близка с ЛЕФовским кругом, куда входили Асеев, его жена Ксения Синякова и ее сестры. Они оказались в Чистополе с начала августа.

Сестры Синяковы были в свое время очень знамениты. “Синие оковы” семьи Синяковых воспеты многократно (“Вот пять сестер, парящих в воздухе...”), в их доме в Харькове, и на даче Красной Поляне, и в квартире в Москве привлекали своей открытостью, приверженностью идеям литературного и художественного авангарда, эксцентричностью и независимостью.

Лиля Брик вспоминала:

Синяковых пять сестер. Каждая по-своему красива. Жили раньше в Харькове <...> В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, в Веру – Петников, на Оксане женился Асеев^[330].

На Вере Синяковой сначала был женат поэт Григорий Петников, писатель Семен Гехт, Мария Уречина-Синякова была художницей, Надежда – пианисткой.

Поразительно, что перед Пастернаком словно проходила его молодость, со всеми ее героями. Когда-то он посвятил Синяковым стихотворение “В посадке, куда ни одна нога...”, писал Надежде любовные письма, а Асеев был его близкий друг. Пастернак знал Асеева с 1910-х годов. Они дружили еще до Маяковского. В конце 1920-х годов их пути резко разошлись. Асеев стал апостолом Маяковского, а для Пастернака подобная роль была невозможна, он вышел из ЛЕФа, что было воспринято как предательство (“Охранная грамота”). В 1930-е годы Асеев стал открыто нападать на друга. Они отдалялись все больше и больше и вот наконец встретились теперь в Чистополе.

На чтение стихов Асеева, которое проходило по средам в доме учителя, Пастернак реагировал восторженно. Он говорил Гладкову:

Вы мне сказали, что я перехвалил последние стихи Асеева. Я после думал об этом. Может быть, вы и правы, но я хвалил отчасти потому, что хотел поддержать его в укреплении чувства, внутренней независимости, которое Асеев после многих лет стал возвращать себе только здесь, в Чистополе, очутившись вдали от редакции и внутрисоюзных комбинаций. Ряд лет я был далек от него из-за всего, что определяло атмосферу лефовской группы, и главным образом из-за компании вокруг Бриков. Когда-нибудь биографы установят их

гибельное влияние на Маяковского. Асеев очень сложный человек. Уже здесь, в Чистополе, он недавно ни с того ни с сего оскорбил меня и даже вынудил жаловаться на него Федину. То, что вы называете “перехвалил”, вероятно, находит себе объяснение в моем желании побороть обиду и неприязнь, которым я решил не дать расти в себе^[331].

Это была дань прошлой дружбе.

Строгий партийный друг, сотрудник “Правды” С. Трегуб, напротив, считал, что Асеев оторвался от истинных народных чаяний, и писал ему с фронта:

Вы пишете, что уехали от холода и равнодушия жестяной, официальной поэзии и намеренного пафоса актерских модуляций. Вот этого, друг мой, не пойму. Что вы называете “официальной поэзией”? Самым “официальным” поэтом у нас считается Маяковский. За ним шли вы. <...> Разве можно в такое горячее и грозное время сидеть в Чистополе и писать для потомков? <... >

Вы приводите свидетельство Маяковского: “Я не стану писать про Поволжье. Про это страшно врать”. А ведь написал. И не соврал^[332].

Асеева можно было только пожалеть: каждый поминал ему Маяковского, отступление от него. А жизнь менялась, надо было понимать ее по-новому, и то, что поэт в письме ссылается на Маяковского, на его слова о лжи, – симптом тот же самый, о котором говорил Пастернак. В ответном письме к Трегубу он писал:

Дорогой Трегуб!

Получил сразу два Ваших письма от 15.IV и от 27.IV и сейчас же Вам отвечаю. В первом – Вы пишете, что меня попутал бес, что в такое горячее и грозное время нельзя сидеть в Чистополе и писать для потомков... Здесь же Вы просите опровергнуть Вас. Опровергать нет смысла, потому что это уж будет похоже на спор, а спора между нами нет. Конечно, писать для потомков – дело темное. Но потомки-то мои – на фронте, и вот когда я им присылаю стихи, а не рассуждения, то они, оказывается, одобряют меня и даже в ладоши хлопают. Что ж, значит, столь презируемый Чистополь помогает мне писать? О чем же тогда и спорить? Страшнее всего мне сейчас это – не написать того, что я чувствую и что должен написать. А где это я сделаю – безразлично^[333].

Однако Асееву не всегда удавалось выстоять под напором критики и элементарного страха. Он очень любил хорошую, обустроенную жизнь. У него были деньги, возможность ходить на рынок и скупать дорогие продукты. Его жена Оксана, к несчастью, была очень скупа, что и определило в какой-то степени и судьбу Мура, которого Цветаева передавала в семью к бездетным Асеевым.

То, что Цветаева отдавала сына Асееву и сестрам Синяковым, было символично. Круг, который сложился у них в 1920-е годы, был и ей близок. И Маяковский, и Асеев, и молодой Пастернак, и друг Марии Синяковой Тихон Чурилин – все были для Цветаевой знакомыми и в чем-то родными людьми, Цветаева очень ценила принадлежность к

поэтическому братству. Но все осталось в прошлом. Теперь и слава сестер Синяковых закатилась, они существовали при Асееве.

В том странном письме от Надежды Синяковой, написанном круглым детским почерком, к художнику Мстиславу Левашову, которое уже цитировалось выше, мирно соседствует фраза о том, что "...живем мы тут хорошо. <...> Скучать некогда". И тут же, без перехода: "Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась <...>".

А ведь посмертная записка Цветаевой была конкретна: она молила сестер о спасении сына, и, только скрывая ее содержание, можно было как-то сохранить приличную репутацию в писательской среде.

Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю Вас взять Мура к себе в Чистополь – *просто взять его в сыновья* – и чтоб *он учился*. Я для него ничего больше не могу и только его гублю. У меня в сумке 150 рублей и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – *заслуживает*. А меня простите – *не вынесла*. МЦ.

Не оставляйте его *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете – увезите с собой. Не бросайте.

Бросили. Меньше недели он прожил у них в доме в Чистополе. В ответ на этот призыв Надежда пишет тому же Левашову, что по вечерам Коля читает великолепные стихи Цветаевой, а ее сын живет в общежитии пионеров. И ни слова о ее посмертной просьбе.

Ксения Синякова спустя годы довольно-таки цинично описывала Белкиной свою реакцию на приход Мура к ним. Ее возмущало, что он ввалился прямо с парохода, да еще с такой новостью. А главное, что она посмела им – завещать сына. Она возмущалась тем, что во время войны ей надо было думать, чем его кормить. Она так и сказала Марии Иосифовне, что они с Колей решили его сплавить в Москву, к теткам – пусть разбираются. И после смерти Асеева она сохраняла раздражение против "сумасшедшей" Цветаевой и ее сына.

Вообще записки и письма сестер Синяковых Левашову (они его звали Гулливер) производят странное впечатление. Кажется, что они были написаны в прострации, из них почти ничего невозможно узнать о жизни в Чистополе. И только одно письмо Марии Синяковой передает атмосферу города.

28 февраля 1942 года. Милый Гулливер! Я живу в тоске и беспокойстве за близких в Ленинграде. Здесь образовался кукольный театр, в нем я приняла участие, это немного отвлекает меня от страшных мыслей. Городишко наш имеет своеобразную прелесть, утопает в сугробах, где гуляют козы. Каждая улица упирается в необозримые снежные поля. Ночью звездное небо, уличные фонари не мешают на него смотреть. Как жалко выглядят на этом фоне наши

знаменитости. <...> Видите ли Чурилиных? Знаете ли что-нибудь о них? <...> Я скучаю без Москвы. М. С^[334].

Сам адресат посланий Левашов писал в приложении к письмам, что познакомился с Асеевыми в конце 1920-х годов, приходил в гости, выполнял разного рода секретарские поручения. Они вместе были на бегах, публичных выступлениях. Он вспоминает, что часто присутствовал при спорах о поэзии Асеева с Пастернаком. Далее он пишет:

У Асеевых я познакомился с Цветаевой – во время ее первого визита к нему (1939). Я узнал много интересного и поучительного в этой семье, а когда наступили трудные дни обороны Москвы, Асеев просил, чтобы я бывал у него каждый день^[335].

Асеев не сумел во время войны подняться на другой уровень творчества, хотя и пытался. В нем навсегда осталась любовь к поэзии; он бескорыстно любил чужие стихи. Но у него не было человеческого масштаба, равного личности Пастернака или Маяковского; умения писать стихи в какой-то момент оказалось недостаточно; чтобы стать великим поэтом, необходимо быть личностью, а это Асееву дано не было.

Чистополь. Семья Авдеевых

Все новые сочинения читались в просторных квартирах врачей Авдеева и Самойлова. Врачи были наиболее культурной частью населения Чистополя. Как уже было видно из истории с Бертой Горелик, доктора были востребованны, а потому и более обеспеченны по сравнению с другими.

Дома местных врачей Авдеева и Самойлова стали, по сути, литературными салонами Чистополя. В них всегда был свет, тепло, чай и угощение. Для озябших в чужих краях писателей такие вечера были настоящим праздником. А для Авдеева и Самойлова принимать московских знаменитостей было огромной честью. Цецилия Воскресенская (Сельвинская) вспоминала, что “Авдеев очень любил принимать у себя писателей. Он сидел во главе стола, с трубкой во рту, весь седой, и большие усы седые, и внимательно слушал застольные беседы. В его доме и читал впервые Леонид Максимович «Нашествие»”^[336].

Нина Федина писала:

Сам Авдеев и его сыновья завели альбом, куда вносились записи стихов, различных впечатлений. Очень часто они фотографировали писателей. <...> Дом его стоял в противоположном от берега Камы конце города, на улице Карла Маркса. Это был добротный, старый дом,

когда-то весь принадлежавший Д.Д. Авдееву, но в описываемое мною время семья Авдеевых занимала лишь его половину.

Д.Д. Авдеев был очень высокий, худощавый пожилой человек (мне он казался стариком), с большими пушистыми усами и лысой головой. Ходил он всегда в свободной блузе, подпоясанной ремешком, носил высокие сапоги. Говорил спокойно, медленно, немного окая, ухмыляясь в длинный ус. Любил шутить. Он был главой дома. Домашние его почитали и побаивались.

Чуть раньше она замечала: “Его популярность в городе и округе была огромна. Это был идеальный тип старого земского врача”^[337].

У доктора Авдеева было два сына – Арсений и Валерий Авдеевы. Валерий заведовал кафедрой биологии в Чистопольском учительском институте. Он увлекался не только ботаникой, но и живописью и поэзией. Вместе с эвакуированными в Чистополь из Ленинграда приехали его брат Арсений с женой. Арсений был театровед и режиссер, и оттого для него присутствие в городе А. Степановой было настоящим подарком. Она приехала в Чистополь отдельно от МХАТа со своей сестрой и матерью Фадеева. Арсений Авдеев стал с ней вместе ставить спектакли в Чистополе.

В письме к Маргарите Алигер Наталья Тренева (Павленко) описывала авдеевское гостеприимство:

Особенно приятно, что здесь есть дом, где почти забываешь о том, где, и как, и почему живешь. Это у здешнего врача Авдеева. У него, вернее, у его сына-художника чудесная библиотека, главным образом поэтов, и совершенно замечательная коллекция пластинок. Я, одурев от хозяйства, от возни с детьми, от вечной сосущей тревоги, иногда окунаюсь в совершенно изысканное времяпровождение – позирую для портрета трем художникам зараз под музыку Скрябина и Чайковского и обсуждаю перевод Пастернака “Ромео и Джульетта”. Забавно, правда?

^[338]

Не случайно Наталья Тренева (Павленко) ошиблась, назвав Валерия Авдеева художником, он написал целую галерею писателей, которые жили в Чистополе.

Для Пастернака он стал близким человеком. Тот дарил ему свои рукописи, книги. Был с ним чрезвычайно открыт. Может быть, это было связано с тем, что Авдеев был далек от писательской среды. Пастернак написал ему в альбом знаменательное стихотворение о внешней и внутренней близости Чистополя и места гибели Цветаевой.

Когда кривляться станет ни к чему

И даже правда будет позабыта,

Я подойду к могильному холму

И голос подниму в ее защиту.

В Чистополе почти физически чувствовал близость Елабуги, где она упокоена. Не случайно после войны именно Авдеева он снова просит поискать в Елабуге могилу Цветаевой.

Другое чисто альбомное стихотворение Авдееву – это “живейшее спасибо” за уют нескольких лет жизни в продуваемом чужими ветрами городке.

Когда в своих воспоминаньях
Я к Чистополю подойду,
Я вспомню городок в геранях
И домик с лодками в саду.

Я вспомню отмели под сплавом,
И огоньки, и каланчу,
И осень пред рекоставом
Перенестись к вам захочу.

Каким тогда я буду старым!
Как мне покажется далек
Ваш дом, нас обдававший жаром,
Как разожженный камелек.

Я вспомню длинный стол и залу,
Где в мягких креслах у конца
Таланты братьев довершала
Улыбка умного отца.

И дни Авдеевских салонов,
Где, лучшие среди живых
Читали Федин и Леонов,
Тренев, Асеев, Петровых.

Забудьте наши перегибы,
И, чтоб полней загладить грех, —
Мое живейшее спасибо
За весь тот год, за нас за всех.

1. VII.1942

Валерий Авдеев оставил замечательные фотографии всех посетителей их дома, где лучшие – портреты Пастернака.

Перед отъездом Пастернака из Чистополя в 1943 году, – писал В. Авдеев, – я зашел к нему с фотоаппаратом и попросил разрешения снять его на память. Все снимки на фоне нарисованных ласточек на

стене сделаны в этот день. Ласточки часто вызывают удивление и вопрос: что это? Дело в том, что прежде в доме находился детский сад, и орнамент из птиц достался новым жильцам вместе со стенами. Он как-то неожиданно явился удачным дополнением к портретам, подчеркивая их динамику. И еще писатели такие живые получились оттого, что снимки сделаны за разговором, без специального позирования^[339].

Валерий Авдеев вспоминал, что именно в их доме произошло открытие поэта Марии Петровых.

Чудо Марии Петровых

В Чистополе произошло своего рода чудо – открытие поэзии Марии Петровых. Стихи она писала с конца 1920-х годов, однако широкой публике они были неизвестны. В военное время вдруг оказалась необходима искренняя, правдивая интонация. Понадобились даже стихи Ахматовой; и “Правда” 8 марта 1942 года напечатала ее стихотворение “Мужество”.

Мария Петровых родилась в 1908 году, она училась на Высших литературных курсах вместе с Арсением Тарковским, в нее был влюблен Мандельштам (именно ей он посвятил стихотворение “Мастерица виноватых взоров”), она дружила с Анной Ахматовой. В 1928 году познакомилась с Пастернаком. В 1937 году ее мужа В. Головачева арестовали, а в 1942 году он умер в заключении.

А нас еще ведь спросят – как могли вы, —

Терпеть такое, как молчать могли?

Как смели немоты удел счастливый

Заранее похитить у земли?..

И даже в смерти нам откажут дети,

И нам еще придется быть в ответе.

Война проявила скрытый от всех талант. Она была правдива, а в это время чистый звук поэзии, исходящий из глубин души, был наиболее востребован. Пастернак восхищался ею, выступал на ее вечерах. Их нежная дружба в Чистополе на некоторое время перешла во влюбленность, став очень пылкой.

В 1942 году состоялся ее вечер в Доме учителя. О. Дзюбинская вспоминала:

Мария Сергеевна – бледная, какая-то от всего отрешенная, с традиционной челкой русских поэтесс, в черном платье и черных “лодочках”, вышла на сцену и читала свои стихи, заглядывая в

ученическую тетрадку. Ее все знали как великолепную переводчицу, а собственные стихи копились “впрок”, переделывались, переписывались, редактировались... Многие из нас вечер М. Петровых в Чистополе восприняли как рождение нового талантливой поэта. Я, как всегда, пришла заранее, устроилась в первом ряду. “Представил” Марию Петровых Борис Леонидович Пастернак. А потом он весь вечер сидел на сцене, вполоборота к залу, забыв, что кругом люди, радуясь каждой удачной рифме, громко выражая свои чувства, ликуя после понравившейся ему строки.

“Мария Сергеевна, у меня к Вам творческая зависть!” – помню, выкрикнул он с непосредственностью школьника, когда она прочла строчки из стихотворения “Соловей”^[340].

И еще один портрет, сделанный Н. Соколовой:

Маруся носила гладкую челочку до бровей и темные платица курсистки украшала старомодными кружевными воротничками. Ходила неслышно, говорила серебристо. Она была из тех поэтов, которых эпоха приставила переводить поэзию народов СССР, трудилась на этом конвейере, зарабатывала на жизнь, а собственные ее стихи оставались в ящике стола. На переводы имелся социальный заказ^[341].

Сама Петровых впоследствии вспоминала в своих заметках:

В эвакуации я была недолго (в эвакуации мне нечем было жить) – с июля 1941 года по сентябрь 1942.

В город Чистополь (Татария) эвакуировались писатели со своими семьями. Это было трагическое и замечательное время. Это было время необычайной душевной сплоченности, единства. Все разобщающее исчезло. Это было время глубокого внимания друг к другу. В Доме Учителя, часто при свете керосиновой лампы, <... > происходили замечательные литературные чтения. Иногда лит<ературные> вечера устраивались в “большом” зале Дома Учителя. <... >

В Чистополе, в Доме Учителя, были и мои чтения. Помню чтение в маленькой комнатке, где в числе других слушали меня Пастернак, Асеев, Щипачев. Помню большой мой вечер. Самым близким человеком был мне в ту пору Б. Л. Пастернак, с которым я была давно, с 1928 г., знакома. Постоянно бывал у меня мой дорогой друг, замечательный поэт Самуил Залманович Галкин. В Чистополе (и только там) я много встречалась и много разговаривала с Н. Н. Асеевым.

Глубокой осенью 1942 года был мой вечер в Союзе писателей в Москве (в “каминной комнате”). На этом вечере также были Пастернак, Асеев, Щипачев, Кайсын Кулиев. Все выступавшие говорили о необходимости издания моей книги, но из этого ничего не вышло. (В 1942 г. я вступила в члены ССП.)^[342]

Пастернак делал все, чтобы о ее поэзии стало известно; несколько раз он писал Петру Чагину, который в то время заведовал издательством “Художественная литература”.

2. VIII.42 Дорогой Петр Иванович! Простите, что я Вам часто надоедаю. Я Вам несколько раз писал, но вскользь и, боюсь, неубедительно, о Марии Сергеевне Петровых. Это очень серьезное и выдающееся дарование. Ее чистопольская слава должна была дойти до Вас. Ей надо дать хороший заработок. Я так уверен в ее литературном будущем, также и в смысле материальном, что посоветовал ей бросить грошовую службу здешнего радиодиктора, не рассчитав, как долго будут тянуться почтовые переговоры с Вами и П. Г. Скосыревым о каком-нибудь капитальном и ответственном стихотворном переводе для нее. Ускорьте, пожалуйста, выбор работы для нее, пришлите договор ей на подпись и переведите ей какой-нибудь осязательный аванс. Все это очень важно, и я не знаю, какие подобрать выраженья, чтобы Вы мне поверили, что это случай, заслуживающий немедленного внимания, нешуточный и незаурядный. Сноситься с ней можно через Чистопольский Союз писателей, а денежно – через УАПП, впрочем, Скосырев знает ее адрес.

Крепко жму Вашу руку. Ответьте, пожалуйста, не откладывая: это ведь вопрос существования человека достойного и талантливого. Ваш Б. Пастернак^[343].

3 сентября 1942 года Пастернак написал Фадееву тоже письмо о Марии Петровых:

Прости, что пишу второпях. Сел я тебе писать собственно не о себе, а о Марии Петровых. Она очень талантливый человек и если бы она жила припеваючи, это было бы только естественно и справедливо, и на пользу всем. Но она очень далека от таких притязаний и удовольствовалась бы, если бы ей жилось хоть мало-мальски сносно. Это надо обязательно устроить. Союз или Чагин должны заключить с ней договор на объемистую и прибыльную переводную работу. Дай, пожалуйста, распоряжение об этом подлежащему отделу^[344].

Удивительно, что еще до письма Пастернака Фадеев в августе 1942 года написал к Марии Петровых теплое и дружеское письмо:

Мне удалось познакомиться со многими из Ваших стихов. Не помню, кто показал мне. Стихи Ваши, несомненно, талантливы: они пронизаны подлинным чувством и, несомненно, правдивы. Но им присущ, с моей точки зрения, большой недостаток: на подавляющем большинстве из них нет меты времени. К сожалению, это не дает стихам качества вечности, а, наоборот, делает их похожими на другие стихи, написанные раньше. <...> Мне кажется, что много нового и необыкновенного можно увидеть в Чистополе, только надо уметь и хотеть видеть. Если Вы не возражаете, я прошу Вас прислать в Союз на мое имя все, что Вы написали, и прислать в дальнейшем все, что напишите. С приветом. Ваш А. Фадеев^[345].

Письмо по-своему самонадеянно, если учесть, что цикл “Чистополь” обладал именно всеми приметами времени, на отсутствие которого пеняет поэту Фадеев. Но в этом отеческом письме были поразительные

строки о том, чтобы Петровых все стихи, которые напишет, посылала Фадееву. Приняла ли Мария Петровых предложение Фадеева и стала ли высылать ему все свои стихотворения, неизвестно. Но известно то, что после войны между ними что-то произошло. И стихотворение Петровых, которое Ахматова назвала жемчужиной русской лирики, “Назначь мне свиданье на этом свете...” было обращено именно к Фадееву. Но все это будет потом, а пока жизнь идет своим чередом.

Вызов в Москву Марии Петровых пришел 21 сентября 1942 года, из Чистополя Пастернак и Петровых выехали почти в одно и то же время. Книжку ей издать не удалось. Ей было позволено лишь переводить.

Быт Чистополя. Голоса обитателей Лето 1942 года

Наталья Павленко – дочь драматурга Тренева и жена Павленко – жила в Чистополе вместе с отцом. Муж изредка навещал семью. На руках у нее было двое детей и две собаки: огромный дог и мелкая собачка, что крайне изумляло местных жителей. В письме Маргарите Алигер она по-своему описывает чистопольский быт:

Пользуясь безвыходностью положения, мы тут, тем временем, воспитываем в себе качества добротных жен-домохозяек. Мы становимся практичными и хозяйственными. Мы научились на вкус отличать гнилую муку от хорошей. Мы изобретаем печенье из кофейной гущи с отрубями (да, да – факт!). Мы умеем делать студень. <...> Бытовые трудности уже не терзают, как в первое время, ибо мы притерпелись. С продуктами хоть и трудно, но лучше, чем во многих местах.

И еще, главная достопримечательность Чистополя – непечатаемый Пастернак, оттого им обмениваются как ценностью. Поэтому в заключительной части письма она предлагает: “Кстати, хотите последние стихи Пастернака? Они у меня есть, могу Вам прислать”^[346].

Пастернак пережил тяжкую зиму в комнате, которая не отапливалась, тепло почти не доходило через открытую дверь кухни. Летом стало легче, он рассказывал Ольге Фрейденберг о своем житье-бытье в Чистополе.

Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый Парком культуры и отдыха, а другое – в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где голоса на крик, когда судят кого-нибудь из здешних.

Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем

такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофман “Щелкунчика”^[347].

А сын драматурга Билль-Белоцерковского Вадим в своих мемуарах тоже вспоминает внутренний вид тюрьмы, который открывался ему из окон дома:

Комнаты наши выходили окнами во двор – и мы стали невольными наблюдателями тюремной жизни. Видели, как зэки по двое носили на палках, на плечах котлы с едой и параши, как формировались, приходили и уходили колонны зэков <...> Видел я однажды и как надзиратель бил зэка. Посреди двора стояли три заключенных и надзиратель. Вдруг какая-то судорога прошла по группе, и один зэк упал на грязный снег, надзиратель несколько раз ударил его сапогом. После этого два других заключенных поволокли своего товарища по двору, а надзиратель деловито пошел в другую сторону.

Запомнилась еще широкая улица в сумеречном зимнем свете и приближающаяся широкая черная колонна зэков. Впереди – командиры на конях, по бокам колонны – солдаты в тулупах и валенках с винтовками наперевес, с собаками на поводках. Зэки в жидких бушлатах и ботинках. Звучит команда, и колонна останавливается. Скрипят, открываются ворота – колонна начинает втягиваться во двор, замкнутый с четырех сторон школьными домами.

Шла тяжелейшая война, каждый человек был на вес золота, а тут всякий день уходили на восток огромные колонны живой силы, и колоннам этим, казалось, не было конца. Столько в стране было преступников, армии преступников? Все это было дико и непонятно^[348].

Девочка Мура Луговская пишет летнюю хронику чистопольской жизни в письмах родным:

21.06.1942 <...> Сейчас в Чистополе цветет сирень. Купаться мы перестали, пришла телеграмма из Москвы, чтобы не купаться. Теперь мы подышаем от жары.

С огородом у нас хорошо, мы уже начали полоть. Вам надо скорей начать сажать, а то у вас ничего не взойдет. Милые мои! Вот уже скоро год как я вас не видела. Как мне хочется вас расцеловать. Но ничего, Хмара сказал, что мы осенью будем дома. Так что будем надеяться на это. А это уже точно, потому что уже сообщили в Литфонд чтобы нас ждали к осени и выписали деньги. Скорей, скорей бы вас увидеть, моих милых и хороших. Увидеть родную комнату, всех родных. <...>.

14.07.1942. Дорогие мои!

Сколько новостей у нас здесь в Чистополе.

1. Здесь пять госпиталей, а скоро будет еще шесть. Сегодня ходили к ним выступать. Ходили и фашевские (фаш это фельдшерская

акушерская школа). Раненые были не в доме, а в парке. Этот парк как раз против фаша. Это и не парк, а так что-то вроде большого сквера. Там растет бузина (она уже красная). Есть открытая эстрада. Посреди фонтан. Дорожки посыпаны песком. Когда пройдешь аллеи идет вокруг всего лужок с полевыми цветами. И так значит мы ходили выступать. Таня Никитина играла на бояне. Мы с Людой Рихтер танцевали вальс... Девочки читали стихи. Бойцы нас хвалили.

2. Сегодня у нас загорелся чердак. Его быстро потушили. И никто даже не знал.

Вчера получила вашу посылку. Милые мои! Большое вам спасибо! Сарафан и оба платья мне длинны. Я их подкоротила. Сегодня ездили на тот берег Камы. Ездили на вельботе. Я (когда мы ехали туда) гребла на одном весле. Там мы купались. Там чудное песчаное дно. Идешь, идешь и постепенно делается глубже. Когда вода доходит до груди, то сразу идет обрыв. Я оступилась и с перепугу поплыла. Когда я хотела нащупать дно то его не оказалось и я поплыла дальше. Когда я вышла на берег то девочки сказали: "Мура! Как тебе не стыдно ты говорила что не умеешь плавать".

29.07.1942. Дорогие мои милые мамуся и бабуся!

Я так давно не получала от вас писем. Почему вы мне не пишете. Я вам пишу через день. Правда последнюю неделю я не писала потому что была так занята что вы себе представить не можете. С 7 час до обеда на огороде. Прейдя домой надо подавать обед. А потом у меня не хватает сил и я падаю и засыпаю.

Сплю до чая, а после чая опять на огород и до самого ужина. Но вчера был дождь и на огород мы не пошли а было у нас кино "Богдан Хмельницкий". Я ее смотрела еще в Москве но сейчас она мне понравилась еще больше чем в тот раз <...>.

06.09.1942. Дорогие мои!

Простите, что не могла вам написать, очень была занята на огороде. Сейчас мы собираем горох, завтра начнем рыть картошку. Я состою в бригаде по сбору: помидоров, огурцов, моркови, турнепсы, кабачков. Вчера меня выбрали председателем 2-го отряда. Сегодня уже приступила к новым обязанностям. От вас очень давно нет писем. Очень волнуюсь. Но думаю что это все из-за того что у нас плохо с доставкой почты. Учится мы начинаем с 1 октября, книги у меня есть почти все не хватает только: географии, арфыграфии и истории древнего мира.

Сегодня у нас в интернате будет кино "Фронтовые подруги". Эту картину мне все очень хвалят. В общем, я живу ничего, и питание

ничего только ужасно скучаю без вас. Даже когда я получаю какую-нибудь вещь, то пытаюсь уловить запах нашей комнаты^[349].

Пастернак и Марика Гонта. Между Чистополем, Елабугой и Москвой Осень 1942 года

Маленькая девочка Маша Луговская-Груберт продолжала надеяться на то, что если даже не кончится война, ее заберет дядя или вдруг из Ташкента приедет отец. Но прошел целый год, прежде чем она уехала из дома. Маша в письмах старалась не очень жаловаться, знала, что в Москве всем приходится очень тяжело. А тем временем дала о себе знать Марика Гонта, тетя Марийка, близкая подруга Тамары Груберт, ее мамы.

Мария Павловна Гонта происходила из Украины, из Глуховского уезда. Оттуда же был и ее первый муж Дмитрий Петровский, поэт-футурист, в 1920-е годы близкий друг Пастернака. Марийка, Петровский, Пастернак, затем Луговской и его первая жена Тамара Груберт, мама Маши, – судьбы этих людей тесно переплелись в 1920-е годы.

Двойной портрет Петровского и Марийки сохранился в воспоминаниях жены Я. Черняка Елизаветы Борисовны, где она писала о встрече в доме Пастернака:

Мы с Яшей пришли вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта). Они жили недалеко от нас в Мертвом переулке. Странная это была пара. Петровский – неистовый поэт и человек. В гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили – убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман. <...> Марийка была актриса (она снималась в эпизодической роли в “Путевке в жизнь”). Я редко видела такое изменчивое, всегда разное, очень привлекательное, хотя не сказать, что красивое лицо. Одевались они с Петровским очень забавно в самодельные вещи (тогда еще трудно было что-нибудь достать), сшитые из портьер, скатертей и т. п., всегда неожиданные по фасону и цвету. Жили они очень дружно и были влюблены друг в друга, что не помешало Петровскому бросить Марийку. В те годы Петровский дружил с Б. Л., но спустя несколько лет резко с ним поссорился, как, впрочем, рано или поздно почти со всеми своими друзьями^[350].

Петровский в 1937 году выступил против Пастернака с публичным доносом. Это окончательно уничтожило их отношения. А Мария Гонта продолжала дружить с Пастернаком, до конца дней считая его близким человеком; с Петровским же она рассталась в конце 1920-х годов. Но во время войны в эвакуации пути Дмитрия Петровского, Марики Гонты и Пастернака снова сошлись в одной точке.

Петровский приехал в Чистополь вместе со своей семьей и новорожденным сыном, Виноградов-Мамонт, общавшийся с ним, писал в дневнике:

Пошли к Д.В. Петровскому, <у него> большая комната, но холодная. Мальчик четырехмесячный Михаил-Лермонт в честь М. Ю. Лермонтова. Жена – 24-летняя хохлушка, красивая, веселая. Петровский читал стих о Лермонтове и “видения”, где Байрон, герой-поэт, встречается с поэтом-героем Лермонтовым^[351].

В столовой и на вечерах в Доме учителя Пастернак и Петровский постоянно сталкивались, но вряд ли общались. А Марика оказалась в Елабуге. В начале мая она писала Муре Луговской в Чистопольский детский дом:

От мамы твоей я узнала твой адрес, мы с тобой очень близко друг от друга и, так как я должна отсюда скоро уехать на пароходе, то мне очень хочется повидать тебя. Я представляю, какая ты стала уже большая. И как хорошо, что ты в тихом городе и можешь продолжать расти и учиться, пока кончится война. Напиши также, есть ли там, в Чистополе, гостиница, где остановиться, на тот случай, если пароход остановится подольше, если легко будет пересесть на другой. – Мне хочется повидать тебя и Бориса Леонидовича Пастернака. Ты, наверное, знаешь, где он живет, и я попрошу тебя отнести или отправить ему это небольшое письмо. <... > Любящая тебя тетя Марийка^[352].

Марика собиралась приехать в Чистополь не только повидаться с Пастернаком, но и каким-то образом получить от него как от члена правления Союза писателей разрешение на выезд из Елабуги, хотя бы как командировку. 4 июля 1942 года Пастернак писал ей из Чистополя:

Дорогая Мариечка! Ваше письмо было неожиданной и большой радостью. Спасибо Вам за него. Отвечаю Вам из помещения Союза писателей в Чистополе, в котором сейчас остались только Асеев и я, в часы своего дежурства. Я составлю и подпишу Вам любую бумажку, которая будет иметь для Вас пользу, когда это будет иметь реальную силу, сейчас же Москва препятствует таким поездкам^[353].

18 июля 1942 года Марика отправила телеграмму Маше. “Выехала Москву пароходом Надежда Крупская если можешь, встречай пристани извести Бориса Леонидовича”^[354].

Мария Владимировна Луговская (Седова) рассказывала потом, что, получив телеграмму, пошла к Борису Леонидовичу Пастернаку. Она вспоминала, что он надевал сапоги, а она смотрела на ласточек в его комнате, потом они вместе шли на пристань и встречали тот пароход.

21 сентября 1942 года девочка писала домой:

Позавчера получила от Марики бутылку меда (четвертинку). Привез из Елабуги дедушка Мары Крон. Я знаю уже давно где тетя Марика и сама сказала Пастернаку. Сейчас мы молотим просо. Приходится урывать минуты для письма. Сейчас идет дождь, и я занимаюсь хозяйственными делами. Привет. Целую крепко. Мук^[355].

Видимо, тогда же Марика привезла по просьбе Нины Саконской стихи ее сына, которые Пастернака просили посмотреть.

25. ix.1942. Мариечка, – этот листок пролежал три месяца без продолженья. Этому нет имени и оправдания. Я – свинья, что вовремя не ответил Вам. Да, кстати. Если за недосугом я не успею ответить А. Соколовскому, записку и стихи которого мне передали как раз в тот день, когда я начал, было это письмо к Вам, попросите у него, пожалуйста, от моего имени извиненья, что я оставил его просьбу без ответа, и передайте, что мне было приятно прочесть его тетрадку. У него, кажется, есть способности, – я постараюсь написать ему. Мне нравятся первые 4 странички его книжки и 6-я. Меньше 5-я и остальные. Пусть остерегается: позы, романтической приподнятости, рисовки, неточной рифмы, “балладности”. В поэзии еще в большей степени хорошо только то, что хорошо в прозе: внимательное, спокойное и равновесное соответствие природе, то есть то, что называется реализмом. Если я урву минуту, я напишу и его матери, Нине Павловне Саконской. <... >

Я совершенно не сказал Вам ничего из того, что собирался. Вы видите, я так тороплюсь (и перо царапает и цепляет бумагу), что не узнать моего почерка. Кланяйтесь Саконской и Соколовскому и позвольте поцеловать Вас. Ваш Б. П.

Р. С. Напишите мне в Москву по адресу брата: Москва, Гоголевский бульвар 8, кв. 52, Александру Леонидовичу Пастернаку (он никуда не уезжал), для меня^[356].

Пастернак пытался помочь Марике и Саконской выбраться из Елабуги. А 5 октября 1942 года Марика молила Фадеева:

Помогите выбраться из этой мышеловки Елабуги! <... > Здесь меня убьет холод, отсутствие света и все подробности мелкого кустарного быта, на которые надо потратить все время^[357].

9 октября 1942 Маша Луговская писала родным, что, вероятно, Марика появится в Чистополе.

Она, может быть, приедет сюда в Чистополь для постановки своей пьесы. Наши кумушки (педагоги) знают ее и спрашивают у меня, сколько у нее мужей, 3 или 4. На этом кончаю. Очень хочется спать. Привет всем. Целую крепко ваш Мук!^[358]

А 12 октября 1942 года Марика, которая в это же время писала отчаянные послания Фадееву, отправила Пастернаку удивительно мужественное и светлое письмо.

12. х. 1942. Дорогой Борис! Вы можете представить, как я обрадовалась письму. Узнав Ваш почерк, я приложила его ко лбу, совершенно восточным жестом, как поступил бы правоверный с посланием Али. Я читала его и радовалась и смеялась, так как узнавала в нем все Ваши свойства, даже все слабости, все, что доставило Вам славу мира, любовь людей и пренебрежение секретарей. Я вспомнила речь Андроникова, с отступлениями, всю сложную архитектуру Вашей речи и Вашу практическую беспомощность, которая все же дает результаты, так как в действие канцелярии входит сила неподвластная их духам – сила непосредственного обаяния. Я вспомнила Вашу доброту, такую неистребимую, что она даже гнев наряжала в свои одеяния, смягчая его прямоу и яростность. Раз я была свидетельницей, как Вы назвали одного наглеца дураком в такой сложной форме, что ей позавидовал бы Карлейль. И это было в той же мере формой уважения к себе и пренебрежения к противнику – т. к. вряд ли человек понял это. А сколько раз я присутствовала при том, как Вы тратите время на чтение чужих стихов, милой поэзии силой в 100 киловатт, годной для освещения и обогрева небольшой семьи, небольшого круга знакомых. По доброте, Вы становились на время этой семьей – Днепрогэс признавал свое родство с небольшой эклектической лампой. Сколько грехов натворила Ваша доброта! Вот и сейчас, читая Ваши слова о милом и симпатичном сыне Нины Павловны – я думала об этом и, думая, улыбалась, и уже оказалась не в силах избежать небольшого подражания – я начала письмо с отступлений. И сейчас же подумала: эти отступления, как берег для стихии, которая плещется в нас, выбирая правильный ритм, будь то слова, страсти или мысли. Когда-то Вы сказали мне: “Достаточно того, что Вы такая, даже если Вы ничего не сделаете”. А вот мне все кажется, что недостаточно и ничего не сделано, и несмотря на Вашу снисходительность, я никогда не решалась дать Вам почитать что-нибудь, что я царапала. Я не вынесла бы такой Вашей похвалы или поощренья. Мое честолюбие громадно: мне хотелось хоть один раз в жизни доставить Вам тихое и незаметное удовольствие: прочесть про себя и ничего не сказать. Борис! Большинство людей несчастны, потому что мало любят. Я же – оттого, что благодаря “непрактичности” никогда не умела направить большие силы своей любви. Да, да, есть и такая непрактичность! Вот я сейчас еду проводить мужа на фронт и не нахожу всей силы и полноты горя и радости, всего, что могу принести и принять, всего, ради чего несут трудности. Мы стоим у Чистополя. Льет дождь. И я смотрю на эту пустую скорлупу, не имеющую для меня сейчас прежнего смысла, – Вас здесь нет. Мы стоим в Чистополе. Идет дождь. Я могла бы попытаться получить командировку в Москву с Вашей подписью и печатью

секретаря. Но Вы сами сомневаетесь в его милости – это парализует те слабые попытки к действию, которые возникают у меня при виде Чистополя. Что Вы можете сделать для меня? <...> Как часто мне хотелось увидеть Вас не только как явление, которое доставляет мне многообразную радость, но как своего рода душевный компас, и признаюсь, что отказывалась от этой потребности ради Вас, боялась навлечь на Вас тень неудовольствия, мне казалось, что З. Н. меня не любит. А я уважаю и ценю ее как жену Цезаря, но душевного контакта не умею достичь...

О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, с некоторой вероятностью положили камень.

Ваш друг Марийка.

Нечего и говорить, как растрогали меня эти листочки на бланках, означающие готовность мне помочь! “Бог и намерение целует” – как говорит Bibeles^[359].

В ноябре Марика снова жалуется Фадееву на невозможность своей жизни в Елабуге:

Уехать из Елабуги – это так же фантастично, как в рассказе Уэллса, где автомобиль пресекает черту и оказывается в будущем. Уехать из Елабуги – это не только пересечь пространство в 700 км, преодолеть бумажные и иное препятствие, это вырваться из другого времени, сохранившего запах деревянной Руси Александра Михайловича. Люди медленных пространств, мы только сейчас по-настоящему начинаем различать сорта времени. Один и тот же час может быть наполнен событиями и пролежит, как мертвый, в сонной неизменности. Есть места, где время гниет и пахнет, как застоявшаяся вода^[360].

Елабуга: Саконская Лозинский

Как писалось выше, для Нины Саконской жизнь в Елабуге не сложилась с того момента, когда ее сын, за которого она боялась, так же как и Цветаева за Мура, и поэтому решила ехать с ним еще в августе, попытался покончить с собой.

С этого началась ее болезнь, в конечном счете и сведшая ее в могилу. Уже в начале 1942 года она стала пытаться выехать из Елабуги, но все было тщетно.

В марте 1942 года Болотин (муж Т. Сикорской) отправил отчет в Союз писателей о жизни в Елабуге, в котором он обратил внимание на состояние Саконской:

В исключительно трудном положении находится Саконская. Она работала преподавательницей пения, но последние месяцы тяжело

болеет (язва желудка, острая психодепрессия и не излечившийся в течение двух месяцев перелом правой руки). Саконская нуждается в неотложной помощи^[361].

Но в Союз писателей ежедневно шли такие прошения и жалобы со всех концов Советского Союза, куда судьба забрасывала писателей.

Она снова предпринимает попытку – просит Фадеева о вызове в Москву.

30.5.1942. В Москве я смогу вылечить свою сломанную руку. В Москве окончится это отчаянное безденежье и позорная необходимость продавать остатки своего скудного имущества, т. к. там я буду работать свою привычную, нужную моей родине работе. Здесь же одно: грозная перспектива грядущей зимы, без дров, без теплых вещей, которые окончательно отслужили свою службу и мне и сыну^[362].

Он отвечает ей резким отказом:

Повторяю снова, прописаться в Москве категорически невозможно. Могу вызвать Вас в командировку на краткий строк^[363].

К середине 1942 года ей все-таки удалось выехать из Елабуги, а сын бы отправлен в Горький, в военное училище. Но ее нервы были окончательно подорваны. Единственным ее утешением был странный человек из прошлого, с которым у нее развернулся настоящий роман в письмах. Звали его Борис Лихтер. Когда она еще была в Елабуге, 10 июля 1942 года ей пришло с фронта от него письмо, в котором он выражал беспокойство ее состоянием.

Я счастлив, что Вами получено хоть одно мое письмо. Вот видите, мне все же удалось найти Вас в лесных дебрях Елабуги, когда-то диком, далеко от железнодорожных путей месте. Как вы попали в этот глухой и далекий угол? Я так рад, что нашел Вас, безмерно и опечален в то же время Вашей болезнью и теми трудностями, которые испытываете Вы^[364].

Они встретились в 1918 году, когда она ехала из Баку в Москву, виделись недолго, но их сразу же бросило друг к другу. Они вынуждены были расстаться, и у каждого пошла своя жизнь. Прошли годы. Весной 1941 года они случайно встретились снова в Ростове-на-Дону, где жил Борис. Их встреча была короткой, но им показалось, что все вернулось снова, хотя прошло столько лет. Она играла ему на рояле, он аккомпанировал ей на скрипке. Музыка вернула их в прошлое, им показалось, что они упустили свою любовь. Расстались с тем, чтобы теперь уже никогда не терять друг друга. Но тут началась война. Саконская попала в Елабугу, а Лихтер ушел на фронт, успев вывезти огромную семью из Ростова, который был захвачен и разграблен немцами. Всю войну каждые две недели он отправлял ей по письму. Она отвечала тем же. В письмах они пережили свою “невстречу”; он рассказывал ей всю прежнюю жизнь; неудачный брак, семья, любимые дети. Из месяца в месяц в письмах они проживали то, что не случилось на самом деле. Саконская болела, иногда тяжело, но

письма Бориса внушали ей надежду, что после войны они встретятся и наконец воссоединят свои жизни. Война подходила к концу, письма становились все более горячими. Каждому из них стало казаться, что надо успеть дожить то, что не случилось в молодости. И, наконец, победа... Оказалось, что Борис должен был ехать домой в Ростов, минуя Москву. Такой билет ему выдало командование. А дома его ждали жена и дети, нищета, полное отсутствие вещей в доме, разграбленном немцами. Он продолжал писать Саконской и поклялся, что доедет до Москвы, как только все наладит дома... И перестал писать. Несколько телеграмм. Несколько последних писем; он объяснял, что обстоятельства жизни таковы, что он должен работать, работать, работать... Саконская написала ему с нескрываемой болью, что верила ему, что разочарование для нее привычно, но как же их надежды?.. Они так и не встретились. Никогда. Через пять лет она умерла.

Самой плодотворной в Елабуге оказалась деятельность Михаила Лозинского. Он не писал постоянных прошений в Москву, а непрерывно работал над переводом “Божественной комедии” Данте. В Елабуге он закончил “Чистилище”, приступил к “Раю”. Из Елабуги он писал Дживелегову 21 марта 1942 года:

Я залетел в такую глушь, что ничего ни о ком не знаю. Из Ленинграда я был эвакуирован 30 ноября и после полтора месяца добирался до Елабуги^[365].

А приятелю переводчику Шервинскому он рассказывал:

В Елабуге мы живем благополучно, благодаря, главным образом, геркулесовским трудам Татьяны Борисовны, которая дрова колет, и огород возделывает, и стирает, и нянчит внучат, число которых счастливо возрастает^[366].

Ахматова, которая всю жизнь считала его своим самым близким другом, писала, что в “Цехе поэтов”, где они были все вместе с Гумилевым и Шилейко, он был самым образованным среди них. Михаил Леонидович Лозинский продолжал в условиях блокады, под бомбами и обстрелами, в голоде и холоде систематически работать над переводом Данте. О его интеллигентном мужестве вспоминала В. Кетлинская:

В самые голодные дни он неизменно приходил в Союз пешком с Петроградской стороны – километров шесть ходу – вдвоем со своей женой, своим добрым, выносливым другом.

Опухшие от голода, но всегда сдержанные, всегда подтянутые, они обедали в нашей столовой, где усиленное питание состояло из небольшой тарелки жидкой пшенной похлебки или чечевицы, – свою порцию Лозинский делил на двоих. Иногда они заходили погреться у буржуйки в бывшую кладовую под лестницей, где во время сильных бомбежек мы оборудовали нечто вроде запасного кабинета. Уезжать Лозинские отказывались категорически:

– Сын у нас под Ленинградом, артиллерист, да и не по характеру это нам – бегать...

Пришлось подсылать к Михаилу Леонидовичу многих друзей, в том числе и Евгения Львовича, пришлось даже вручить ему состряпанное мною “предписание Военного совета”, чтобы эвакуировать их – уже в страшные зимние дни^[367].

В ноябре перед отъездом в эвакуацию с ним встретился Тарасенков, чтобы передать через него письмо Марии Белкиной (она была уже в Ташкенте).

Пользуюсь каждой возможностью для того, чтобы отправить письмо – Маше, – ведь надежды на то, что почта идет через кольцо блокады, нет совсем... Одна из таких okazji в тыл – Лозинский. Бредем к нему на квартиру – на Кировский проспект – куда-то далеко, к самой Малой Невке (или это Большая Невка?..). Я с Лозинским не знаком. Но встреча с ним и его женой исключительно дружеская (Зонин знакомит). Лозинский берет письма. Он летит в Казань, берет с собой все свои материалы по переводу Данте. Будет трудиться. Худой, уродливый, англаизированный. Обаятельно вежлив, внутренне культурен^[368].

Из Казани Лозинского отправили в Елабугу, где он и пробыл три года войны. Умер он в 1955 году от астмы.

Письмо Ярополка Семенова Пастернаку

Проблема “нужного” и “ненужного” творчества стояла во время войны очень остро.

То, что Пастернак во время войны переводил Шекспира, было известно всем, а о стихах (сборник вышел только в середине 1943 года) мало кто знал. Из военной поэмы “Зарево” было опубликовано только вступление, целиком ее так и не напечатали. В письме Чагину он прямо признается в том, что старается писать, абсолютно ничем себя не связывая.

Однако поклонники поэзии внимательно следят за творчеством поэтов. С фронта, к примеру, доходили письма поклонников Асеева, сравнивающие его с “неправильным” Пастернаком.

Некий Ив. Мартынов пишет Асееву в Чистополь:

Вообще замечательно, что Вы начали сотрудничать во фронтовой газете. Потомки сие отметят. Да без подобного сотрудничества Вам просто было бы трудно, наверное, в Чистополе. Я знаю, конечно, что Вы не смогли бы сейчас переводить “Ромео и Джульетту”, но, тем не менее, видеть хоть изредка свои стихи в газете, наполненной живым дыханием боя, надо.

Не хочется ни в чем, конечно, обвинять Пастернака. Творчество его я всегда любил, поэт он редкий и настоящий, и речь не об этом. Но все

нутро мое протестует сейчас против его хорошего, наверное, нового перевода Шекспира. Очень уж гневное, очень большое и трудное наше время для Ромео, а литература русская на редкость небогата^[369].

Надо сказать, что подобное признание очень путало Асеева, который и сам не очень был уверен в том, что надо в эти дни писать.

Удивительнее всего, что Ахматова в Ташкенте говорила Надежде Мандельштам, что переводы “Ромео и Джульетты” – не занятие во время войны. “Он просто прячется в Шекспира, в семью, повсюду. И так уже давно”^[370].

Однако часть молодого военного поколения думала абсолютно иначе. Даниил Данин в книге “Бремя стыда” приводит письмо своего фронтового друга Э. Казакевича о Пастернаке:

Много думал о тебе и твоей судьбе. Ясно представлял себе тебя, выбирающегося из окружения, что ты при этом говоришь, делаешь, думаешь... “Смутное влечение чего-то жаждущей души” осталось, но оно не столь остро, как бывало... Мне писали из Чистополя, что Борис Пастернак переводит “Ромео и Джульетту”. Я написал моему адресату о нашей любви к БД и о том, как мы в условиях тяжелейших как-то утешались его стихами, и просил передать ему это. Пусть будет рад, что и он пригодился на войне^[371].

В Чистополь к Пастернаку идут письма с фронта от критиков, писателей и простых любителей поэзии. Благодаря В. Авдееву некоторые из них сохранились. Одно из них по-своему замечательное – это письмо Ярополка Семенова, одного из довоенных знакомых Марины Цветаевой. Хотелось бы его привести почти целиком, так как оно многое объясняет в восприятии военным поколением поэзии Пастернака.

Ярополк Семенов был студентом Литинститута, которого отличала абсолютно бескорыстная любовь к поэзии. Именно поэтому в предвоенные годы они вместе с сестрой Марией Вешневой однажды принимали у себя Марину Цветаеву.

Мария Белкина в книге “Скращение судеб” пишет, что встречала его в Литинституте.

Высокий, статный, очень прямой и легкий, бритый наголо, с тонкой полоской усиков, он выходил на подмостки, обнаженный до пояса, прокалывал себе спицами бицепсы, глотал зажженную бумагу, жонглировал факелами и пользовался как факир большим успехом.

Он окончил институт физкультуры еще до того, как поступил в Литературный институт, и зарабатывал тем, что преподавал физкультуру: летом – в домах отдыха и санаториях, зимой – в школах. В любой мороз ходил без шапки, в курточке, и его можно было узнать издали по быстрой пружинящей походке. Марине Ивановне, должно быть, было легко с ним ходить; весной 1941 года он будет часто посещать ее и гулять с ней по бульварам, и даже помогать, когда требовались мужские руки. Марина Ивановна была доверчива к людям,

и все же она спрашивала Нину Гордон, которая работала в той же сценарной студии, где и Ярополк, неподалеку от Чистых прудов, – не кажется ли Нине странным, что Ярополк уделяет ей столько внимания и так часто приходит?!^[372]

И далее:

Ярополк, как только началась война, ушел на фронт, был ранен, писала Белкина о его дальнейшей судьбе. Выписался из госпиталя – и опять на фронт и, кажется, опять был ранен. Говорили, он был отчаян и храбр. Потом, когда после войны начались аресты, – арестовали и его. Умер он в лагере. Его уже расконвоировали, и он с товарищем по несчастью раздобыл спирт, который нельзя было пить, и на радостях выпил. Но кто знает точно, как это было на самом деле¹.

В 1946 году в Ленинграде он не раз ходил уже к опальной Ахматовой.

В том письме с фронта, написанном Пастернаку в Чистополь, он связывает два дорогих для себя имени: Марина и Борис.

29 ноября 1942 года

Москва. Славе ГЦириной для Б. Л. Пастернака Милый Борис Леонидович! Не помню, что я вам говорил, когда не давал вам приняться за стынувшие блюда, но подозреваю, что разговор мой был искренен до бесцеремонности. Надеюсь все же, что вы не будете вспоминать обо мне с неприязнью, не только потому, что о нас, находящихся здесь, полагается aut bene, aut nihil (или хорошо, или ничего. – лат.), но и потому, главное, что не могли не увидеть за всей моей нетактичностью искреннюю любовь к Вам. Сажу на дежурстве, и очень хочется поговорить с Вами. Много хочется сказать вам (хотя, может быть, я все это именно и говорил вам тогда?).

В одном прифронтовом месте я недавно встретился с Перцовым, проболтали почти весь день, и он, помню, удивлялся: “Как это вы, Ярополк, пройдя все фронтовые огни и воды, остались тем же эстетом?” Разговор шел о том, что Владимир, Борис и Марина, и даже Сергей – несравненно нужнее, чем Сурков, Щипачев и прочее. Я же отвечал, что если это называется эстетством, то я именно на фронте таковым и стал, не “несмотря”, а “благодаря” огням и водам. Именно здесь-то я и имел возможность убедиться в насущной нужности подлинного искусства.

Летом прошлого года я находился в окружении, в партизанском отряде мы по ночам переходили из леска в лесок, болотами. Я был ранен, потерял много крови и был настолько слаб, что двое товарищей почти таскали меня под руки. Питание было – ягоды и редко-редко конина, поджаренная на шомполе, без соли. Отряд в триста человек гуськом растягивается по болоту. Голова и хвост тонут в тумане. Ноги чавкают по трясине. Надоедливый, противный запах какой-то болотной травы (смесь чесноку и ладана), писк комаров сливается со звоном в

ушах. То бред, то – забытье, то – бодрствование. И вот, после очередного привала вдруг припомнишь:

Шел или спал?

Штиль или шквал?

Рус или сед?

Нашли уж свет?

Дали – не те.

Горы – не те.

Ели – не те.

Гулы – не те.

Наш или тот?

Час или год?

Год или три?

Сколько же шли?

– и – мурашки по спине, как от хорошего душа, и освеженный, с новыми силами топаешь дальше по болоту.

Или – Передовая. Окопы, воронки, блиндажи, трупы фрицев – вчера еще бывшие серо-бурыми – все с утра закрыто свежими снежком. Вылезаешь из блиндажа, и сами собой строчки приходят:

На свете нет тоски такой,

Которой снег бы не вылечивал...

И не снег, а именно эти строчки вылечивают всякую фронтовую тоску!

А чаще, без всякого натуралистического повода, припомнишь что-нибудь, вроде: “Много людей, буйный голоштаный, двууглекислый двор кипел ключом” – сразу весело делается.

Борис Леонидович! Милый, как это замечательно! “Двууглекислый двор”. Вот уж ахинея-то! И разъяснения у автора бесполезно спрашивать. Это – “экики-ки”! От бога! Может, потому, что извести в нем много, а известь имеет какое-то касательство к щелочи, к соде, к натру. Может, потому, что кипит он так к *natrum bicarboicum* в стакане с кислой водой. Черт его знает? Двууглекислый и двуугликистый! Что пристали?! Да и не нужно никаких разъяснений. И видишь, и слышишь, и обоняешь этот кипящий двор.

Искренне, от всей души жалко тех людей, которые не чувствуют таких вещей! Столько они теряют в жизни! Я в блиндаже своими бойцами часто читал “Спекторского”. Затихают, слушают, и чувствуют, что чувствуют. Да что – бойцы! У меня такой случай был еще в году в 33-м, 34-м. Я читал лекции студентам (были каникулы) о советской поэзии. Случайно был упомянут Пастернак, и аудитория выразила желание в будущем обязательно прослушать специальную лекцию о

творчестве Пастернака. Я после лекции сговорился с культработником, к какому дню готовиться, и уехал. Приезжаю в назначенный день, ужинаю, поднимаюсь на сцену – и тут вдруг культработник мне говорит: “Да, я забыл вас предупредить, у нас состав отдыхающих неожиданно сменился, студенты переведены в другой дом, а у нас – одни строители-сезонники. Так, вы им что-нибудь почитайте”, – и подымает занавес. Я стою перед залом ошарашенный. Что делать?

Ни Жарова, ни Демьяна я наизусть не помню. Почитать им полчаса что-нибудь попроще из Маяковского, дополнить Агнией Барто? Да и попросить, чтоб кино запустили? Неприятно трепаться экспромтом без подготовки! Да и заготовленных тезисов жалко! И – была не была! – (русский интеллигент, всегда немного культуртрегер) – начал лекцию о Пастернаке. Правда, я не обошелся без некоторой демагогии. Я рассказал им о казусе с культработником, о том, что мне не хочется трепаться, и подольстился к аудитории словами: “Я не верю, что то, что понятно студентам, было бы абсолютно непонятно рабочим-сезонникам”.

Но ведь Б. Л., не на этой же лестии я держал внимание аудитории два с лишним часа?! Я им читал и из “Спекторского”, и из “905 года”, и лирику. Многие вещи читал по три раза. Сначала просто прочту, потом разберу, чуть не по строчкам и с разъяснением, а потом еще раз прочту целиком. А “Детство”, например, и “Весенний день тридцатого...” дошли сразу. Видели бы Вы, Борис Леонидович, как это трогательно было: сидят бородачи-каменщики, залихватские парни-маляры, бороды поглаживают, рты разинули, слушают так, что – муха не пролетит, и по глазам видно, что хоть о панатенях и не слыхивали, а суть чувствуют. Ведь настоящие стихи очень многими сторонами могут доходить.

Я помню сам, – еще в Инфизкульте – уже десятка два ваших стихотворений назубок знал и очень любил, а не понимал их вот до какой степени: как-то я прочел группе студенток “Заместительницу”. Одна девушка, прослушав, сказала: “Как это хорошо – холодящие дольки мандарина!” Я так и ахнул: я только тут понял, что речь идет о фрукте, потому что анжанбеманов я тогда не знал (Пушкина я не читал, а у Маяковского и Есенина, единственных известных мне поэтов, их почти нет) и я читал, делал паузы, мысленно ставя точку! Мне в этом месте представлялась желтоватая ручка китайского мандарина, комкающая какую-то корку (может быть книжную). Вот до какой степени не понимал, а ведь очень любил! Да и в моей статье много таких мест, где я, вроде Джека, путал лепестки гороха с человеческими лопатками. Вы сами мне об этом говорили. Года три тому назад в старых комплектах “Литературки” я наткнулся на нее и прочел. Хохотал от души. Толя правильно писал: “«Литгазета» решила познакомить своих читателей с творчеством Пастернака, и молодой критик Ярослав Семенов, как умел, рассказал об этом на четырех подвалах”. Именно – как умел! Конечно, она бесцеремонна и

малограмотна. Вы знаете, Борис Леонидович? – я, когда ее писал (в Кисловодске), – консультировался у машинистки санкурорттреста по части искусствоведческих и философских терминов. У меня же за плечами была лишь эрудиция, вынесенная из стен Ин-та физкультуры. Конечно, печатать ее не следовало. Это было сделано из мальчишеского снобизма. Но, ей-богу, против сути я и сейчас ничего возразить не могу. Не знаю, доходит это до читателя или нет, но внутри ее – во-первых – искренняя любовь к предмету, во-вторых, намерение хоть сломать любимую игрушку, но докопаться, пальцем ткнуть, что же у нее внутри? Если я буду еще когда-нибудь писать критические статьи, то хотел бы писать именно с таким побуждением. А по части снобизма я все же рад и сейчас, что хоть полускандално, но связал свое имя с Вашим. У меня и изящной словесности отношение любви без взаимности. <...> Свой “потолок” я очень чувствую, и он, к сожалению, до обиды низок. А уйти от своей любви пытался – не могу. “Сослан в искусство”, по замечательному определению Тришатова. И конечно, приятно, хоть незаконно, хоть по блату, а приткнуться к своей любимице. Меня очень взволновала как-то пришедшая мысль, что личное знакомство в литературном мире непрерываемо на протяжении всей истории литературы. Пастернак – друг Маяковского, Маяковский – знакомый Блока, Блок – Вл. Соловьева, тот – Случевского и т. д. и т. д. и дойдем до Пушкина. Так что и я, знакомый лично с Вами, хочу сказать: “С Пушкиным самим не доводилось встречаться, но общие знакомые у нас с ним есть”. И хочется войти в Пантеон, хоть в качестве примечаний к писаниям подлинным. <...>

Так вот даже в каком отношении вы мне дороги Борис Леонидович!

Нет, серьезно говоря – вы же последний и единственный из трех поэтов эпохи. Мне представляется как бы свод, купол какой-то, сквозь который пробиваются и уходят вершиной в свободную, бесконечную высь три пальмы. И под их сенью, напивавшие свежим воздухом из этих трех пробоин, стоит хорошая, сочная поросль, почти дотягивающаяся до верху, как Сергей или Асеев. <...>

Дальше – чуть анемичными, но все же живыми побегами торчат из скудеющей почвы казинский “Гармонист” и полетаевские соловьи и елки. Илья Львович – живучая хваткая ползучая береза, а дальше уже – одни мхи, и те переходят в лишайники Островых и Сергеев Васильевых. Редко-редко на случайном изгибе камня покажется робкая травка – Алигер и <нрзб.>, лунный пейзаж. Сколько потребуется перегнуто, чтоб опять что-нибудь мощное могло вырасти. У тех-то трех под корнями хоть не ароматный, но жирный компост, к тому же <нрзб.> микробами опоязов на аминокислоты – впитывай только! Ну, вы без остатка и втянули. Вот и жди теперь перебродившего духа созревающих лет!

Б. Л.! Не сердитесь, дорогой, на болтовню! Так хотелось душу отвести. Если это и пустозвонство, то, ей-богу, <нрзб.> влюбленного. Я, знаете, настоящее искусство как-то физиологически, даже

анатомически чувствую мурашками, но помните приказ гвардейца – берегите себя!

Ну, крепко, крепко вас обнимаю. Ответьте обязательно, хотя бы только для подтверждения того, что получили. Ярополк Семенов.

Р. С. Толя Тарасенков – на Ладого. Он очень много перенес и, как видно, сильно изменился к лучшему, стал простым, искренним парнем. Одно жаль: прислал мне два сборника своих стихов – какая бездарь! Ведь со вкусом человек, неужели сами не чувствует?! Я долго оттягивал ответ, но вчера все же написал^[373].

Конец 1941 – начало 1942 года. Картины Москвы

Итак, после того как немцев отогнали от Москвы, в город стали возвращаться первые эвакуированные. Так как продажа билетов в Москву была запрещена компетентными органами, то многие жители высаживались в Подмоскovie за 40–50 км и далее ехали в пригородных поездах. На это резко отреагировал НКВД.

За время с 19 декабря 1941 г. по 5 января т.г. транспортными органами НКВД на железнодорожных станциях [и] вокзалах, московской милицией и охраной Московской зоны НКВД на шоссеиных дорогах задержано и выдворено из пределов Москвы 19 550 человек, пытавшихся вернуться на жительство в Москву.

В целях прекращения въезда в Москву неорганизованным порядком эвакуированных ранее граждан, просим Государственный Комитет Оборонь принять прилагаемый при этом проект постановления ГКО, определяющий порядок въезда в Москву^[374].

В Москву вернулся Фадеев и стал восстанавливать работу разрушенного Союза писателей.

Леонид Тимофеев, литературовед, преподаватель Литинститута, не сумевший с семьей выехать в эвакуацию, писал в дневниках от 23 декабря:

В Союзе наконец прекратили давать обед с мясом и хлебом без талонов, так что наше питание ухудшилось. Со школами туманно. Учителей регистрируют, но не дают им никаких надежд на будущее. Детей перестали регистрировать. Отступление немцев продолжается. <...> Я мало верю в их контрнаступление, если только оно не последует в ближайшие дни. Во всяком случае, им придется перестать бросать листовки вроде следующих: “Мы Москву бомбить не будем, все равно ее добудем, а за теми, кто удрал, доберемся на Урал”. Многие боятся больших бомбардировок. Но я в них мало верю, так как в них нет смысла.

Сейчас в Москве начинается распря между теми, кто оставался, и теми, кто уезжал и вернулся. Каждой из этих сторон важно доказать свою ортодоксальность! Интересно, чем это кончится. Думаю, что к выгоде оставшихся, ибо героика требует устранить сомнения в крепости Москвы, а у уехавших ее установить все же трудно^[375].

А. Письменный, военный журналист, оказавшись по болезни зимой в столице, писал жене в Чистополь:

Москва мало изменилась, на мой взгляд; если кое-где попадаются разбомбленные или выпотрошенные дома, то их не отличишь от недостроенных. И только витрины магазинов заставлены фанерными наклонными щитами. Многие дома разрисованы, например, на доме Совнаркома нарисованы фальшивые окна, крыши и просто какие-то пятна. По-моему, это красиво. Один дом все еще защищает занесенное снегом бревенчатое пулеметное гнездо. Но баррикады уже снимают.

А по Тверской, посредине мостовой, ходит часовой с винтовкой и красной повязкой.

Видел Манеж и университет – это действительно неприятное зрелище. Ограда снесена, отбита штукатурка, карнизы и все перекорежено, но таких заметных повреждений все-таки очень мало, и москвичи, в противовес рассказам о много переживших ленинградцев, все те же. Немцы бомбят плохо, и москвичи перестали их бояться. Все спят дома, раздеваются и никуда не уходят. Я тоже разубаюсь и сплю, как ни в чем не бывало, только рано утром в комнате делается холодно.

А по вечерам очень темно, и машины идут с маленькими огнями, горит электричество в трамваях.

До сих пор я не слышал ни одного выстрела, не видел ни одной зенитки, ершей противотанковых я также еще не видел, не пережил ни одной воздушной тревоги. Это не значит, что всего этого не будет впредь, но так получилось к моему торжественному приезду. А пока нужно доклеить окна в столовой и в спальне и нужно идти в читальню. Я должен написать по газетным материалам статью для одного сборника. Сейчас монтер проводит в столовой радиоточку – буду и я жить с музыкой. Коля Атаров привез из Ленинграда песню: “Он сидел – на подоконнике и глядел на небосклон. Что добавить о покойнике? Не любил фугасок он”. Так что тут очень весело. Без пропуска и вызова прописаться сейчас нельзя.

Вчера начал работать, но сделал мало, так как читальня закрылась в 6 часов. Здесь вся общественная жизнь к 7–8 прекращается. <...>

Из-под Калуги вернулась освобожденная большая группа наших пленных. В том числе какие-то актеры. Пока не кончится война и не наступит мир, никого не надо оплакивать. Долматовский пропал и вернулся, пройдя более полутора тысяч километров. Ямпольский вернулся, пройдя более тысячи^[376].

Долматовский, который уехал из Москвы в первые дни войны и после того, как оказался заживо похороненным, после пережитых

приключений в тылу врага, вновь увидел Москву, писал матери на Каму:

На улицах стоят наискось сваренные рельсы (ежи) и ящики с песком. Песок еще может пригодиться для тушения пожаров (отдельных, потому что пожара Москвы не будет), а ежи теперь явно декоративны. Представь себе, что Мавзолей полностью камуфлирован, накрыт русской избой, словно Ленин опять живет в каком-нибудь Шушенском, только под Кремлевской стеной.

Когда я добрался до дому, выяснилось, что в нашей комнате очень хорошая семья незнакомых людей, отселенных от Дорогомиловского моста, так как тот район опасен при бомбежке. Это уже вторые поселенцы у нас. Все в комнате на своих местах, но поредели книги на полках. Правда, Пушкин и Лермонтов сохранились, я их взял на военную службу в вещмешок.

Пришел к Антокольскому – он встретил меня слезами и криком “ура”, обнимал и целовал. Кто-то спал на диване, разбуженный криками, вылез из одеяла и оказался самим Фадеевым. Он рассказал мне, как утешал тебя, и ты его утешала. Не помню, писал ли я тебе, что в окружении передал разведчицам, которых посылали к своим, устное послание для него – где я и что со мной приключилось. Но он не получил моей весточки, надо полагать, что разведчицам не удалось перейти фронт. Времени прошло не так много, надеюсь, они еще объявятся^[377].

Другая Москва. Середина – конец 1942 года

*Что там теперь, в тех комнатах?
Какой родимый золотой июньский воздух?
Какие зданья и какие крыши,
Какие окна и какие стекла —
Все это для меня загадка.*

Владимир Луговской. Поэма о вещах

Москва жила очень трудно. Беженцы занимали свободные квартиры. А те из писателей, кто остался в городе, пытались сохранить вещи, рукописи, книги от разграбления или от растопки буржук.

Тамара Груберт написала из Москвы в Ташкент: “Никто от Булгаковой не приходил; конечно, если мне принесут, я сохраню, а тем более архив такого автора, как Булгаков”^[378].

По всей видимости, Е. С. Булгакова поручила кому-то отнести часть архива Булгакова Тамаре Эдгардовне, чтобы она сохранила его в Бахрушинском музее. Так потом и случилось. Часть архива была надежно спрятана.

Комнаты забирали, или за них требовалась плата, по тем условиям неприемлемая. Конечно же, на фоне общих бедствий это было не так важно, но после глобального передела и уничтожения времен Гражданской войны разорение архивов, библиотек, картин было ударом по частной, домашней культуре.

Квартира Владимира занята переселенцами из дома правительства, – писала Тамара Груберт Луговским, – до их вселения успела забрать рукописи, Пушкина и Гофмана (это мой личный выбор), хотя я и знаю, библиографических ценностей там больше найдется, да кое-что из оружия, что, к сожалению, как оказалось, никакой исторической и материальной ценности не представляет.

Если удастся – заберу у него еще книг, сколько сумею унести. Прости за грязь. В музее только копировальные чернила, а их даже твоя чудесная бумага не выдерживает. <... >

Мы с (Ниной) были в Лаврушинском, она что-то взяла по специфике Марфы, а я по специфике Марии, т<о> е<сть> забрала какие-то книги, чтобы взять на сохранение в музей (список составляется). В квартире живет тетка из дома правительства, но, по виду, с Сухаревки. Обращение соответственное^[379].

Москвичи хранили город, его дух, и дома, и жилища тех, кто сражался на фронте и кто был в тылу. Никакого презрения к уехавшим не было. Очень смешно и трогательно Тамара Эдгардовна описывает их общего с Татьяной Луговской родственника, которого она встретила в октябрьские дни на Ордынке.

Шла стрельба, – пишет она, – но тревоги еще не объявляли, а он с вытаращенными глазами говорил: “очень интересно жить”, “никогда Москва не была так красива”. Стояли мы около разбомбленного дома^[380].

“Милый русский интеллигент”, – характеризует она его в заключение. Поразительно то, что этот возвышенный разговор происходит в самые ужасные дни для Москвы.

Из писем Тамары Эдгардовны складывался причудливый образ города, мыслями о котором во многом и жили обитатели в ташкентской колонии. И каждый, кто оставил в Москве родственников или друзей, получал такие военные московские зарисовки.

Т. Груберт – Т. Луговской:

Декабрь 1941... Тебе, конечно, интересно, как живет Москва? Хорошо живет, нормально. На ходу и в бою залечивает свои раны, заделывает выбитые окна, ремонтирует дома, ремонтирует Большой

театр. Городской транспорт не подводит, на работу попадаем вовремя, по дороге в отогретую дырку в окне смотришь на уличные баррикады, как на декорацию не пропущенного реперткомом спектакля. Дни короткие, домой возвращаешься в полной темноте. Над темным, кажущимся необитаемым любимым городом, как покровом, ложатся мелодии шопеновских баллад, или вдруг этот фантастический город запоет голосом Обуховой под аккомпанемент виолончели “Сомнения”. Очень это странное ощущение.

29 марта 1942. Все много работают, по мере сил развлекаются. Театры полны, сидят в шубах и смотрят “возобновления” и новые постановки. Мало настоящей музыки, хотя завтра иду на 7-ю Шостаковича. К сожалению, дирижер Самосуд, этот из всего делает либо оперетту, либо <нрзб>. Не сердись, если пишу неразборчиво; коптилка не заменяет электричества, а его нет вот уже 3-ю неделю.

24 мая 1942. На столе букет черемухи, окно открыто, за окном теплый дождик. Правда, очень не хватает Мушки. Ну да если бы она была здесь, я бы не так относительно хорошо себя чувствовала. Тревог нет, но все же их можно ожидать. По существу, сейчас мы переживаем дни, когда история вносит новые записи в свои скрижали, и меня просто шокирует беспечный вид москвичей. У кино очереди, театры полны, девушки ходят все в рогах и локончиках. Очень мало, до грусти мало настоящей музыки. Иногда играет Флиер, Гилельс, Софроницкий, а то и все^[381].

В одном из писем она говорит, что пыталась сдать кровь на донорском пункте, но когда ее стали осматривать врачи, то выяснилось, что ее худоба уже смахивала на дистрофию, к тому же застарелый туберкулезный очаг и прочее, и врачи не пожелали брать на себя ответственность за ее жизнь и прогнали прочь из кабинета.

Эта маленькая, но очень сильная женщина тосковала по дочке, которая находилась в Чистополе в детском писательском доме. Детей отправили на несколько месяцев, а оказалось, что они прожили там почти три года. Девочка выросла вдали от дома, они встретились в конце 1943 года и вынуждены были заново привыкать друг к другу. В Чистополе Муха часто видела Бориса Пастернака, его жена, Зинаида Пастернак, была сестрой-хозяйкой интерната. Здесь же жил и их маленький сын Леня, и Станислав, старший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Нейгауза. Ночью он играл на рояле, наполняя детский дом прекрасными звуками. Эту игру Мария Владимировна помнит до сих пор.

Борис Пастернак, для того чтобы спасти картины отца, художника Леонида Осиповича, перенес их в дом своего друга Вс. Иванова в Переделкине, а дом во время войны сгорел вместе с картинами.

Семьи были разделены, и все только надеялись, что вот-вот – и все закончится. Пастернак находился между Москвой и Чистополем, в Ташкенте обитали его первая жена и сын, а он ездил по Москве между

Лаврушинским и их квартирой, чтобы сохранить хотя бы немного вещей довоенного быта.

За твою квартиру я заплатил, – писал он им в Ташкент, – до конца года. <...> Хотя все существенное у тебя разворовали, твои окна и стены целы, вместе с мебелью и часть вещей и книг. Твоя квартира не стала продолжением части двора

Но не знаю, писал ли я тебе и писал ли достаточно об ударе, постигшем меня в лице папиных вещей. Сундук сгорел в Переделкине <... > Судьбу квартиры в Лаврушинском и ее содержимого решило несколько обстоятельств: то, что она под самой крышей и при бездействующем лифте слишком высоко; что во время воздушных тревог она становилась как бы штабом охраны; что она год оставалась без надзора; что в ее нижней части поселились зенитчики. <...> Вперемешку с битым стеклом и грязью на полу валялись затоптанные обрывки папиных рисунков^[382].

Потом, когда Пастернаки в начале 1943 года вернутся в Москву, из-за невозможности жить в прежней квартире в Лаврушинском Пастернак будет жить у Асмусов на Зубовском бульваре и даже некоторое время в квартире Луговского.

А в твою < квартиру>, – писала Луговскому из Москвы в 1943 году Елена Сергеевна Булгакова, – въезжает опять же Чумак (в той комнате просто свинарник) и Пастернак, которому дали твою квартиру, пока не кончится ремонт в его собственной, словом, ненадолго. Я понимаю, что никому не интересно жить в таких условиях и, конечно, это даже хорошо, что Пастернак будет здесь: они невольно приведут хотя бы в какой-то порядок эту квартиру и задерживаться не будут, будут торопить со своей^[383].

Луговскому неожиданно из Москвы пришло письмо от его прежней жены Сусанны, уход которой в конце 1930-х он тяжело пережил.

Сегодня я говорила с Пастернаком и призналась ему, что в его стихах, которые я люблю и почитаю, для меня всегда есть ложка (пусть чайная) дегтю.

Я знаю, что война и люди говорят о пайках, о литературном питании, о лимитах, но вдруг время остановилось на моем чердаке, как большое солнце, вокруг которого движется земля, и я увидела постоянные ценности, простите, Володя, я думаю бесхитростнее, но мне стыдно написать слова “вечные величины” или что-нибудь еще более наивное.

Володя, вы приближаетесь в своих стихах к тонкости предельной и обладаете простотой не вульгарной, что недоступно Пастернаку, там, где у вас “Он очень хороший парень, жена у него плоха”, он пишет: “А горечь грез (у Пастернака «слез». – Н. Г.) осточертела”^[384].

Пастернак в Москве Осень 1942 года

Москва так же далека от истинной тайны событий, как Чистополь, но зато Чистополь ближе к коровам, курам и лошадам, чего нельзя сказать о мертвой и по-глупому надутой Москве.

Из письма Бориса Пастернака к Зинаиде Пастернак

Пастернак приехал в Москву осенью 1942 года по командировке Союза писателей; скорее всего, это было в первых числах октября. Остановился у брата на Гоголевском бульваре. Квартира Пастернаков находилась в Лаврушинском и была занята зенитчиками. Потом выяснится, что она будет полностью разгромлена и непригодна для жилья. Но это будет уже в 1943 году. Кроме того, выяснились трагические подробности; на даче Вс. Иванова сгорели работы Леонида Пастернака, которые там хранились.

Уезжал Пастернак из Чистополя с огромным разочарованием. Прошел ровно год, мечты об изменении страны и людей так и не оправдались. Но главное – его чистопольские друзья. Перед самым отъездом в Москву Пастернак писал в Ташкент бывшей жене:

Прошлой осенью у меня были силы для проведения своей линии. Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему – двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. И я одинок в той степени, когда уже это смешно. В такой безоружности протянуть в чистопольской бабьей пошлости еще зиму будет трудно. Вот отчего я еду. Но как раз сейчас что-то могло бы меня и удержать.

Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел “Ромео и Джульетту”, избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочинение современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержание.

Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержания и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до ужаса слабую, и Федин, человек, которого я любил и, наверное, люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний о Горьком написал четырехтактную пьесу с мертвыми словами и страстями, содержание которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову благодаря безмерности его дарования удалось написать талантливую и

блестящую неправду, которая очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает только к концу^[385].

Текст пьесы Пастернака остался только в отрывках, он был уничтожен.

Москва встречала приехавших из эвакуации в командировки писателей неустроенным бытом, дорогим рынком, холодными квартирами, закопченными комнатами и мусором во дворах, который некому было убирать. Кроме того, в домах хозяйничали крысы, почувствовав полную безнаказанность.

В конце ноября 1942 года из Ташкента приехал и Вс. Иванов, с которым Пастернак был близок по Переделкино.

Москва? Она странная, прибранная и такая осторожная, словно из стекла, – писал Иванов в дневнике. – Из-за дороговизны водки, а главное отсутствия ее – совершенно нет пьяных. Дни, до сегодня, стояли солнечные и теплые. Я обошел много улиц, но ни у одного дома не встретил стоящих и беседующих людей, которых всегда было так много в Москве. Так как продуктов мало и все они истребляются, то улица чистая – нет даже обрывка бумаги. Возле нашего дома, на Лаврушинском, бомбой отломило угол школы. Сила воздушной волны была такова, что погнуло решетку, прутья которой отстоят довольно далеко друг от друга^[386].

Военная затихшая Москва Пастернаку не понравилась: “Я не понимаю этой Москвы и людей кругом. Неужели никогда ничего не изменится?”^[387] Большинство писателей молят Фадеева пустить их в город, хотя бы дать командировку, а уж потом они как-то закрепятся, застрянут в городе и не вернутся назад в глушь. Пастернак стремится выехать из Москвы.

Вс. Иванов записывает в дневнике от 1 ноября 1942 года:

Пришли Пастернак, Ливанов и Бажан. Какие все разные! Пастернак хвалил Чистополь и говорил, что литературы не существует, т. к. нет для нее условий и хотя бы небольшой свободы. Как всегда, передать образность его суждений невозможно – он говорил и о замкнутости беллетристики, и о том, что государство – война – человек – слагаемые, страшные по-разному. Ливанов – о Западе, о кино, о том, что человек Запада противопоставляет себя миру, а мы, наоборот, растворяемся в мире. <... > Тамара всех учила, а я молчал. Затем Пастернак заторопился, боясь опоздать на трамвай, – было уже одиннадцать – и ушел, от торопливости ни с кем не простившись. Бажан сказал: “Я давно мечтал увидеться с Пастернаком, а сейчас он разочаровал меня. То, что он говорил о литературе, – правда, редактора стали еще глупее, недоедают что ли, но разве можно сейчас думать только о литературе? Ведь неизбежно после войны все будет по-другому. Неизбежно ли? Бажан и не замечает, как он говорит устами газетчика, – дело в том, что Пастернака мучают вопросы не только литературы, но и искусства

вообще. Как иначе? Слесарь и во время войны должен думать о слесарной работе, а писатель тем более^[388].

Пастернак словно слышит, что говорят о нем в доме у Ивановых; он пишет в Ташкент к Евгении Пастернак:

Чуковский, Ивановы и другие не скажут тебе обо мне ничего утешительного. Тамара Владимировна находит меня изменившимся. В первых, у меня нет того досуга и благодушия, как прежде. Я здесь по делам, а не для обмена улыбками. Потом, – пусть я смешон и все это для меня плохо кончится – я не понимаю время и товарищей, а все-таки этот холуйский, льстивый, лживый и лишенный достоинства тон создан и поддерживается ими всеми, а они могли бы этого не делать, как бы властно его ни требовали со стороны^[389].

Но перед отъездом он несколько раз выступает перед писателями в клубе. Говорит перед всеми о том, о чем пишет и думает. 15 декабря читал свои новые стихи из сборника “На ранних поездах”. В зале сидели писатели в военной форме, его хорошо слушали. Выступил А. Гладков и, как его старый чистопольский знакомый, сказал о любви к Пастернаку, которую, как ему казалось, испытывают и все остальные слушатели.

Пастернак снова и снова говорил о том, что возвращается в Чистополь, куда в прошлом году уезжал с удовольствием, что нет политической поэзии и что искусству жить трудно в подобных условиях. Иванов радостно отмечает в дневнике, что Пастернак произносит все то, о чем говорят писатели между собой.

Власти этого не забыли. Но неопределенное положение на фронте, неясность перспектив в отношении с союзниками и с открытием Западного фронта – все это не позволяло властям серьезно заниматься интеллигенцией, отслеживать ее настроения. Только к концу 1943 года начнется медленное наступление на оживших писателей, вершиной которого станет послевоенное ждановское постановление 1946 года об Ахматовой и Зощенко и вслед за этим борьба с “космополитами” конца 1940-х годов.

Вс. Иванов после встречи с Эренбургом записывает в дневнике пассаж о его недоумении по поводу Пастернака, который не пожелал с ним встретиться и будто бы даже его избегал.

Пастернака действительно мучило, что передовые статьи Эренбурга написаны с невероятным ожесточением против немцев. Поэт боялся, что народ может проникнуться дополнительной яростью, жестокосердием, которого и так хватало в жизни страны.

Настойчивый тон писем Пастернака, его выступлений и разговоров двух военных лет – утверждение нового состояния жизни, новой ноты. Он вглядывается в военную Москву, пытаясь почувствовать изменившуюся атмосферу общества.

Судьба самого Пастернака переламывается во время войны: у него возникает чувство ветхого и нового человека. Чистополь – это путь от поэта к прозаику, автору “Доктора Живаго”.

Алма-Ата. “Голливуд на границе Китая”

*И на этом сквозняке
Исчезают, мысли, чувства...
Даже вечное искусство
Нынче как-то налегке!*

Анна Ахматова

После похорон матери Владимир и Татьяна Луговские выехали в Алма-Ату.

В командировочном удостоверении на имя Луговского сказано, что его вызывают для литературной работы над фильмом “Иван Грозный”, он туда отправляется на срок с 1 апреля по 28 апреля 1942 года.

Татьяна ехала к мужу. В Алма-Ате для нее нашлась работа художницы в спектакле.

Моя алма-атинская жизнь несколько тяготит меня, – писала Т. Луговская Малюгину. – Во-первых, я отвыкла от Григория за этот год разлуки, во-вторых, я не работаю, т<ак> к<ак> договоров нет, а на штатную работу я боюсь поступать, потому что не потеряла надежды получить вызов в Москву. В-третьих, мне сейчас, видимо, везде будет беспокойно по причинам, от меня не зависящим.

Алма-Ата, хотя и причудливо раскинулась у подножия снежных гор, все же довольно милый город. Прямой, чистый и озелененный до противности. На одной из магистралей города находится трехэтажное здание урбанистического вида (здесь, в Средней Азии, обожают этот тип архитектуры) – это гостиница “Дом Советов”, набитая до отказа ленинградскими и московскими кинематографистами. Дамы всех мастей и оттенков, но, в общем, до такой степени все на одно лицо, что иногда начинает казаться, что ты галлюцинируешь. И мужчины – готовые растерзать на части всякое новое лицо женского пола. Если случайно природа не наделила вас двойным горбом или оторванной ногой – любой лауреат к вашим услугам на любое амплуа – мужа, любовника, поклонника, друга и т. д.

У меня и Широкова есть комната с большим окном на уровне земли, куда заглядывает солнце от 3 до 7 часов, с рабочим столом, кроватью, шкафом и еще разными бебихами, которые я уже изобрела на месте и которые принято называть уютom. <...>

Тут люди живут какой-то странной жизнью – словно им осталось жить еще несколько дней и они стремятся за этот кусочек времени выполнить все свои желания (и возвышенного, и низменного порядка).

Потом сюда приезжал мой брат и очень огорчился от моего вида, говорит, что я стала совсем тощая, и требовал моего возвращения в Ташкент^[390].

В этом военном городе кинематографистов, нашем Голливуде, “городе снов”, оказались и писатели – К. Паустовский, М. Зощенко и В. Шкловский, тоже работавший с Эйзенштейном над “Иваном Грозным”. Здесь снимались все знаменитые ленты военных лет, но что касается быта, то он был в каком-то смысле еще труднее ташкентского. В небольшом двухэтажном здании, Доме искусств, или, как его называли, “лауреатнике”, жили лауреаты Сталинской премии. Они получали пайки высшего сорта и имели столовую с особыми продуктами.

В первом варианте поэмы “Город снов”, посвященной Алма-Ате, Луговской писал об их житье в “лауреатнике”:

Мое жилье, о Боже! “Дом искусства”.

Без электричества, без лампочек, без печек,

Набитый небогатыми людьми,

Как мертвая собака червяками

Войдешь – ударит духом общежитья.

Эвакуация на свете возродила

Все, что бывало в каменных пещерах,

И вот он вьется в темном вестибюле —

Дух человечества. В своей клетушке

Лежит опухший пьяница-актер

С костлявой девочкой. Потом семейство

Благожелательное, неживое.

Потом удачник – неприкрытый вор

Случайных тем. Прости его, Создатель!

Весь Дом искусства, словно падаль, воет.

От бешеной нужды и подхалимства.

Как страшно, как печально в этом доме,

Где света нет, и печек нет, и сумрак

От горестной луны, глядящей в окна.

Актеры спят, прикрывшись чем попало,

Мигают одноглазые коптилки.

А все-таки, как прежде, жив курилка,

Жив человек, его не одолеешь

Ни холодом, ни голодом, ни смертью.

Электричество на студии давали только ночью, так как днем обслуживались другие эвакуированные предприятия.

“Ты пришел к нам в отдел вместе с драматургом Берестинским, тоже приехавшим из Ташкента”, – писала в своих исповедальных воспоминаниях Ольга Грудцова, тогда она работала в сценарном отделе. Ольга выросла в окружении знаменитостей: хорошо знала Н. Гумилева, у которого в кружке были ее сестра, Ида Наппельбаум, Ахматова, К. Ватинов и другие.

Он начал с жалоб на жесткие матрацы, – продолжала она свой рассказ, – на негодное помещение для жилья и т. п. Ты стоял в отдалении молча. Высокий, с барственной осанкой, в мягкой шляпе с полями, с трубкой во рту и палкой в руке. Но пронзил ты меня не своим артистизмом, а достойным поведением. Вайсфельд спросил, есть ли у тебя претензии, ты ответил, что решительно никаких. С тобой подписывают договор, начинаются деловые отношения, ты обращаешься только ко мне. Мы начинаем дружить, гуляем по городу^[391].

Луговской жил и спал в комнате сестры на полу. А утром шел работать к Эйзенштейну.

Художница в сиреновом халате

При свете светлячка читает книгу.

Довольно строг ее курносый нос.

В каморке даже двинуться не стоит.

Одна звезда печатает окно.

И муж заснул. Снует по коридорам

Тоскливый запах мелких папирос.

Виктор Шкловский, около года проживший в Алма-Ате, вспоминал:

Фанеры, из которой строят декорации, конечно, здесь не было. Декорации строили из казахских матов, сплетенных из степной травы – кажется, ее называют чили, – на ней хорошо держится штукатурка. <...> Текст для ленты Сергея Михайловича писал Владимир Луговской^[392].

Впечатление от работы с Эйзенштейном не оставляло поэта и в Ташкенте.

Из письма Луговского Эйзенштейну после приезда из Ама-Аты в Ташкент:

Все время нахожусь под знаком и под обаянием нашей работы. Интерес к Ивану Грозному колоссальный и, прямо сказать, сенсационный. Ходят различные легенды и сказки. Я несколько раз в узком кругу читал песни и пересказывал наиболее громовые куски сценария. Каждый раз принимались на ура! Погодин, например,

человек, как вам известно, прошедший все драматургические медные трубы, говорил на такой читке у меня, что развитие действия и трагическое напряжение – прямо как у Шекспира. <... >

Как с режиссерским сценарием? Как с перепечаткой литературного текста, то есть, дорогой Сергей Михайлович, говоря прямо, принят ли литературный текст? Налетел ли Шкловский в облаках пыли и свистящих стрел? Волнуюсь по каждому поводу, связанному с Иваном Грозным. Произведение это Ваше – поистине замечательно, а те дни, которые я провел в Вашей комнате, одни из самых лучших в моей жизни.

Когда я вам понадобится? Когда приезжает Прокофьев?

<...>

Еще раз благодарю Вас за все, дорогой мой шеф, жду от Вас – ну, хотя бы телеграммы, ибо знаю: до писем вы не охотник. Обнимаю вас крепко-накрепко. Ваш В. Луговской. Привет Эсфирь Ильиничне, Пудовкиным. 12 июня 1942^[393].

В Ташкенте сценарий обсуждался в писательской колонии. Удивительно, но в это же время Алексей Толстой читал в Ташкенте свою пьесу “Иван Грозный”, которую редактировал, давал советы по ее доработке лично Сталин. Толстой получал затрещины от председателя Комитета по делам искусств М. Храпченко, тот писал, что пьеса не решает задачи реабилитации Ивана Грозного. Бедный Алексей Николаевич никак не мог пройти между Сциллой и Харибдой, пьеса не нравилась никому.

В Алма-Ате жил друг юности Луговского – известный режиссер Всеволод Пудовкин. В 1920-е годы его сестра Маруся (Буба) училась в колонии у Александра Федоровича Луговского. В повести “Я помню” Т. Луговская рассказывает, как вторая сестра Пудовкина – Юлия – учила их с подругами в голодные 1920-е годы танцам, а Всеволод Пудовкин (Лодя), тогда еще не кинорежиссер, а химик, играл им на гребенке, покрытой папиросной бумагой.

Его длинная фигура, сидящая на одном из окон, закрывала свет, он тряс головой, и спутанные волосы падали ему на лоб. Играл он увлеченно, с чувством и очень радовался, что все так хорошо у него получается^[394].

Потом они стали близкими друзьями с Володией Луговским, и Пудовкин появится в стихотворении о юности “Рассвет”. Встреча в Алма-Ате вряд ли была очень радостной для Луговского, режиссер изменился, его роль юродивого в “Иване Грозном” была не просто ролью, а, видимо, его жизненным кредо. В первоначальном варианте поэмы об Алма-Ате есть жесткий портрет старого друга, потом Луговской его убрал.

Спит человек другой, осатанелый,
Истерикой закрывшийся, солгавший,
Раз навсегда перед самим собой.

Друг юности моей, мы вечно лжем.
Мы, говоря по правде, только тени
Людской обычной горестной судьбы.
Мы сказки сочиняем, но не стоит,
Переводить бессмысленную сказку
На службу легкую, тогда она
Поступит в пользу времени
И можно сочинять
Очередные бредни, но не сказки, что
Ты девушек смущаешь, ты заводишь
Беседы о четвертом измерении,
Изыскан, энергичен, мертв душой
И недоделан <... >
Ты канючишь,
Юродствуешь и подымаешь руки
Большие, умные. И вновь ложатся
На пленку недовернутые кадры.

В довоенные и военные годы Пудовкин неудачно снимал заказные картины из жизни замечательных людей. Его странные эксцентрические выходки многим казались маской, за которой большой режиссер прятал страх и неуверенность. Скорее всего, Луговской, встретив в Алма-Ате близкого друга юности, увидел в нем, как в отражении, самого себя и не мог не ужаснуться каким-то только ему понятным изменениям. Но диагноз поставлен – “изыскан, энергичен, мертв душой”.

13 июля Луговской снова пишет письмо Эйзенштейну из Ташкента:

Посылаю Вам копию моего письма, ибо я передал подлинник в совершенной суматохе и он переходил из рук, и я не уверен, дошел ли он до Вас. За это время я встретился с С. С. Прокофьевым. Он ночевал у меня, и я имел возможность прочитать ему наутро большинство песен. <...> Он отозвался о них весьма положительно. <...> Остальное будем уже дорабатывать сообща.

Крепко жму руку. Желаю победы во всем.

Ваш всегда, В. Луговской^[395].

В архиве М. Белкиной сохранилось письмо ее подруги Миры Мендельсон-Прокофьевой, второй жены композитора, бывшей автором большинства либретто его опер. В письме упоминается та алма-атинская работа, хотя оно написано спустя год после письма Луговского, 4 июля 1943 года.

Дорогая Машенька!

Пишу тебе из Молотова – области, куда мы приехали по вызову Ленинградского театра имени Кирова. В летние месяцы С.М.

Эйзенштейн будет за городом занят съемками для “Ивана Грозного” и присутствие Сережи не необходимо для фильма. Здесь Сережа будет работать над окончанием своего балета “Золушка”, два акта которого уже написаны. Театр собирается сразу по написании музыки приступить к разучиванию. Приехали мы из Алма-А ты недавно. Чувствуем себя здесь лучше, так как, несмотря на красоту природы, не могли привыкнуть к алма-атинскому климату, где у меня бывали резкие простуды, возились с желудком, у Сережи иногда понижалась работоспособность, и это его раздражало, так как работать он привык много и основательно. Во время пребывания в Москве комитет по делам искусств заказал Сереже и мне оперу на казахском музыкальном фольклоре, который привлекал Сережу уже давно свежестью и красотой. Я знакоюсь с казахской литературой – сказками, легендами, эпосом; перед отъездом ходили в казахскую оперу и драму. Как жаль, что мы с тобой не повидались в Москве, милая Машенька. Между прочим, во время нашего пребывания там седьмая соната Сережи исполнялась в концерте филармонии, вот бы ты догадалась прийти. Когда ты приехала в Москву? Я все время думаю, что ты в Ташкенте, хотя меня удивляло и беспокоило отсутствие ответов на посланные туда письма и телеграммы. Приехали ли твои из Ташкента? Как здоровье Толи? Как растет Митюша? Напиши о себе, дорогая. Кто, кроме тебя, живет в твоей квартире? Как ты устроена с питанием? Сережа шлет тебе сердечный привет. Целую тебя крепко, жду скорой весточки. Мира ^[396].

Город снов

Сюжет и внутренний драматизм поэмы Луговского “Город снов”, посвященной Алма-Ате, были напрямую связаны с тяжким впечатлением от гибели молодого режиссера и художника Валентина Кадочникова.

“Перед твоим приездом (еще не наступила зима) на станции Чу скончался любимый ученик Эйзенштейна, художник и режиссер Валентин Кадочников” ^[397], – писала Ольга Грудцова в своих воспоминаниях о тех днях.

Драма была в том, что этот талантливый молодой человек был освобожден от службы в силу слабого здоровья, но по разнарядке попал на заготовки саксаула (жесткого кустарника, которым топились печи).

В письмах Луговскому из Алма-Аты О. Грудцова все время напоминала:

С первого октября я отправляюсь на лесозаготовки, но может случиться, и с первого сентября. Тогда я вас не увижу. Посылают почти всех по очереди, на месяц.

И еще через месяц она писала Луговскому в Ташкент:

Постарайтесь приехать поскорее, если желаете меня видеть, ибо я неизбежно поеду “на какие-то заготовки”, и кто тогда будет защищать ваши интересы^[398].

Но ее все-таки выслал на саксаул директор студии Тихонов, где руководителем заготовок был назначен В. Кадочников.

Жгучая пустыня, земля горит, – писала Грудцова, – воздух какого-то апельсинового цвета. Мне отводят палатку, дают талон в столовую. Я спрашиваю о Кадочникове, оказывается, у него тяжелое желудочное заболевание. Почему же он не едет в Алма-Ату, в больницу? Тихонов не разрешает. Наконец появляется Кадочников с измученным, бледно-желтым лицом. – Он что, с ума сошел, что вас прислал! – говорит он, увидев меня. – Идите к районному врачу и возьмите освобождение. Мне объясняют, где поликлиника, врач дает справку, отправляет домой. Поезд уходит на завтра утром. Ночью нестерпимый холод. <...> Распоряжается Кадочников. Я вижу, что ему плохо. “Уезжайте, – говорит он. – Уезжайте”. <... > Вернувшись в Алма-Ату, сразу же направляюсь на студию к Тихонову, кладу ему справку на стол со словами:

– Меня-то освободили, а Кадочников там умрет!

– Умрет, похороним, – отвечает директор. Аудиенция закончена; Валентин Кадочников вскоре умирает на станции Чу. Нечем было топить. Топили саксаулом и саксауловой пылью. Саксаул, дерево, похожее на адские деревья, которые рисовал Доре в иллюстрациях к Данте. Железно-крепкие, безлиственные, скорченные деревья давали каменноугольный жар. Их нельзя пилить – они слишком крепкие; их разбивают, как стекло.

Молодой режиссер, который хотел снимать прекрасную казахскую поэму о Козы-Корпеш и Баян-Слу, был освобожден от военной службы, потому что у него было больное сердце.

<... > Он говорил о своей будущей постановке: я буду ставить, очистив душу, вымыв руки^[399].

Сон – многозначный символ в поэме. Это и смерть, и мир грез, которым всегда считалось кино, это и глубокий обморок души, который не позволяет чувствовать чужую боль. В записных книжках с документальной точностью, с беспощадностью рисуется быт тех дней. Луговской, как тень, обходит улицы города, коридоры киностудии, проникает в жизнь каждой комнатки “лауреатника”. Соединившись с душой умершего режиссера, он прощается со всем кинематографическим муравейником “города снов”:

Ледяные хребты. Ночная съемка. Американская картина. Хрустящий холод. Мимо Эйзенштейна. Условность существования. Мой

презрительный, абсолютный скептицизм. <... > Инвалиды, сидящие, как птицы, на перилах моста. Ячейки Дома Советов. Уютная чушь. Где-то кусок жизни той девушки. Где-то здесь она еще живет. Холодно тебе в могиле. Холодно и одиноко. Мороз. Мороз в Ташкенте. Гордость тебя сгубила и порядочность. А итог? Если ты не получишь возмездие – все ничего не стоит^[400].

О каком возмездии говорит поэт? До конца не ясно. Он, скорее всего, имеет в виду возможность другой жизни за гробом или новой жизни – здесь. И далее он пишет о себе:

Слезы. Ровные улицы. Чистые звезды. Тщеславие. Желание блистать. Отсутствие чувства собственного достоинства. Высокое одиночество. Тишина. Ветер. Вдвоем на дороге^[401].

Главная мысль книги поэм, которую задумывал Луговской, – о непостижимом, случайном характере жизни и смерти. Гибель мира, вселенной и гибель одного человека. В записных книжках следуют, как картинки в документальном кино, множество грустных, веселых, известных и неизвестных лиц. Персонажи, маски и живые усталые люди.

Город сна – Ледяные хребты. <...> Булочные и пекарни. Кругломордые пьянчужки, актер в своей свинячьей “дольке жилья”. “Последние известия”. Сквер с кустарниками. Ветер из ущелья. Съемки. Горят юпитера. Толстомордые охранники. Пустота в коридоре. И снова – портрет. <...>. Розовый халат Татьяны. Электропечка. Американские картины. Темп, пышность. Жизнь. Сводки. Маршак на постели: Водсворт. Ала-Тау. Телеграф. Большие звезды. Выставка. Сила обнаженности. Спит телефон. Банки с маслом. Дурацкая морда С <ергея > М<ихайловича> со всех сторон. (Здесь, видимо, имеются в виду большие парадные портреты Эйзенштейна в коридорах “лауреатника”. – Н. Г.)

Глаза как облупленные яйца. Казацкие дома. Огней нет лишь из окна Крючкова. Гармонь. Русский Голливуд на границе Китая. Опять мимо ваших окон С. Э<йзенштейн>. Спит Э. Шуб, горят окна у Траубергов, там пекут картошку. Внимательные глаза В. П<удовкина> <...> А ты лежишь в гробу, и вся сила жизни тает в досках гроба, и ничего от тебя не останется, и твоя любимая мажет брови и недолго будет тебя вспоминать. Она все знает простым женским чутьем. В ней правда. Холодно тебе лежать. Холодно и бедно? Фанерные клетушки. Город снов. Город небывалаго^[402].

В городе множество знаменитостей. Сюда в отпуск к мужу Юрию Завадскому, режиссеру, который находился здесь вместе с Театром Моссовета, приехала знаменитая балерина Галина Уланова. Эйзенштейн предложил Улановой сниматься в роли Анастасии, жены Ивана Грозного. Но потом выяснилось, что театральные гастролы не давали балерине возможности сниматься. Было обидно: сделаны фотопробы, Уланова утверждена в роли. Но не случилось.

Тема музыки. Завадский и Уланова. Костя Паустовский и романтика Черного моря и Ала-Тау. Мертвый Зощенко. Его подруга^[403].

Относительно Зощенко – это не описка Луговского. В письме Паустовского к сыну в перечислении лиц те же краски:

Здесь писатели Зощенко (очень угрюмый), Шкловский, Ильин, Шторм, Панферов, Коля Харджиев (ты должен его помнить)^[404].

Зощенко в Алма-Ате работает штатным сценаристом на киностудии “Мосфильм”, но все время пишет свою главную книгу – “Перед восходом солнца”. К нему приехала его подруга Лидия Чалова, которая сумела как-то наладить его утлый быт. Уже тогда он почти ничего не ел, питаясь только на одну хлебную карточку, не имея представления ни о каких лимитах. Он мучился сердечной недостаточностью и страшно страдал, что не успеет написать главную книгу своей жизни. Весной 1943 года Зощенко вызвали в Москву.

Заканчивались наброски к будущей поэме так:

Низок столовой. Глиняные миски. Ленинградцы. Рыжий Яшка. Разговоры. Коварский и статьи о формализме. Все спят, и все спит. Телеграф. Инвалид на телеграфе с палкой. Спят книги Э<йзенштейна>. Коротконогий, во всем разуверившийся, спит мастер под мексиканским одеялом. Вокруг маски, портрет Чаплина, небоскребы. Луна. Нью-Йорк. Спят кинозвезды, раскинув немытые ноги. Что видят во сне – не знаю. Вот этого не знаю. Круглые груди легко поднимаются во сне. Недавно вышедший оттуда администратор мочится и от скуки пускает кран. Занавесочки колышутся. Трогательные трусики лежат на спинках стульев^[405].

Эйзенштейн написал в те дни, когда похоронили его ученика:

К таким людям, не умеющим кричать о себе; к таким людям предельной скромности и аскетической нетребовательности мы должны были бы относиться с удвоенной любовью и вниманием.

А между тем мы дали погибнуть одному из лучших наших товарищей.

Пусть же его смерть послужит окриком, чтобы мы вовремя опомнились, чтобы мы начали думать и заботиться о наших людях, <... > чтобы мы не забывали, что самое драгоценное на свете – человек^[406].

Луговской прокричал, о чем 100 лет назад говорил Пушкин, – о милости к падшим, о милости к тем, кто не умеет просить и требовать, о необходимости любви друг к другу...

Может быть, эта смерть и разбудила некоторых художников.

В Алма-Ате Луговской вместе с И. Вайсфельдом и О. Грудцовой предпринимал попытки организовать писателей для сочинения сценариев микроше – так называли маленькие сюжетики, показываемые перед полнометражными фильмами. Сначала дела шли хорошо, возникла обширная переписка между Ташкентом и Алма-Атой, но постепенно все сошло на нет. Вайсфельда отправили на фронт, Грудцову понизили в должности. А Луговской вернулся в Ташкент к

своим поэмам, что, наверное, было правильно. Жена И. Вайсфельда Л. Войтоловская вспоминала о тех днях:

Владимир Александрович, так же как и мой муж, в Алма-Ате пробыл недолго. Он часто бывал у нас, наполняя нашу комнату своим непомерным басом. Он любил петь и пел много, не столь музыкально, сколько громко и выразительно. Голос у него был необыкновенно красивого тембра, но необработанный. <...> Когда мой муж уезжал на фронт, вдова Булгакова, Елена Сергеевна, подарила ему талисман – несколько стеклянных мексиканских бусинок, нанизанных на суровую нитку.

Бывший при этом Луговской сказал: “Это вас сохранит от раны, от смерти, от горя” – и улыбнулся из-под своих стремительных бровей.

Муж привез эти бусинки домой^[407].

В поезде, идущем на фронт, Илья Вайсфельд писал Луговскому о той встрече:

Мой дорогой Володя! Посылаю Вам листки из блокнота, написанные на колене, под стук колес. Еду – увы! – в Чкалов. Билет был выслан в Беломорск, и вдруг, в самую последнюю минуту...

Воспоминание о моей поездке в Ташкент, о Вас, о Елене Сергеевне – чудесное. Мне кажется, что это была не ведомственная суетня, которая может заставить людей часто встречаться, а настоящая дружба^[408].

Был конец 1942 года, а война все продолжалась. И было сделано уже очень много.

Сергей Ермолинский

Сергей Александрович Ермолинский, драматург, сценарист, отправленный в тюрьму за свою дружбу с покойным Булгаковым, будущий муж Татьяны Луговской, оказался в Алма-Ате по воле счастливого случая. Его нашел в ссылке, на затерянной казахской станции, его близкий друг, режиссер Юлий Райзман. В это время Сергею Ермолинскому неожиданно пришло предписание прибыть в Алма-Ату, хотя пребывание в любом более-менее крупном городе ему было запрещено. Оказалось, что Н. Черкасов и С. Эйзенштейн, работавшие в эвакуации на киностудии “Казахфильм”, ходили хлопотать к наркому НКВД Казахстана и убедили его, что Ермолинский является незаменимым сценаристом, необходимым киностудии.

Когда Елена Сергеевна узнала о том, что Ермолинский жив и обитает где-то поблизости, она была чрезвычайно рада. Рассказывала всем, что их Сережа, о котором несколько лет не было ничего известно, наконец нашелся.

Посылку для него они соорудили вместе с Татьяной Луговской.

И вдруг – радость! – вспоминал Ермолинский. – Посылочка от Лены из Ташкента!

Мешочки, аккуратно сшитые “колбасками”, в них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом^[409].

Когда из Ташкента в Алма-Ату – к своему первому мужу, работавшему режиссером на том же “Казахфильме”, – приехала Татьяна Луговская, Ермолинский лежал в больнице с брюшным тифом. Ухаживавшие за ним подруги – Софья Магарилл и Мария Смирнова – рассказывали о нем Татьяне Александровне. Она стала помогать собирать передачи для неведомого ей Ермолинского. Софочка (жена Г. Козинцева) заразилась в госпитале тифом и через некоторое время умерла, а Сергей Ермолинский, надорванный тюрьмами и ссылкой, чудом выжил. Но вначале было его чудесное вселение в лауреатник, где те же великие, о которых иронично писал Луговской, прекрасно отнеслись к ссыльнокааторжному сценаристу. Ермолинский очень ярко и смешно описал их в воспоминаниях.

Непременно нужно вспомнить и о том, как в день моего приезда в Алма-Ату меня вселили в “Дом Советов”. Верно – “Ноев ковчег” эвакуированных из Москвы и Ленинграда! В коридорах были свалены в угол кадки с пальмами, украшавшие раньше гостиничные холлы, пахло кухонным бытом густонаселенного общежития. Я очутился в небольшом номере. Там стояла железная кровать с небольшим матрацем, стол и два стула из прежней стандартной мебели, вот и все. Я присел на кровать, задумавшись, как бы устроиться здесь поуютнее. У меня ничего не было. Но чудеса продолжались.

Первым появился Эйзенштейн. Этот человек, чуждый какой-либо сентиментальности, принес мне продолговатую подушку (она сохранилась у меня до сих пор) и произнес:

– Подушки у вас, разумеется, нет. Без подушки спать неудобно. А мне навезли их зачем-то целых три. Так что вот – пользуйтесь!

– Во-первых, – начал я, – мне надобно поблагодарить вас, – Сергей Михайлович...

– Вы не меня благодарите, а Черкасова, – перебил он меня. – А Черкасов сейчас здесь?

– Здесь. Но не вздумайте идти к нему. Сахновский сунулся было, так он на него взвизгнул полежаевским голосом: “Вы что, батенька, смеетесь надо мной? Не забывайте, я царь Иван Грозный! Царь!”

Я не успел ответить Эйзену, как ворвался Пудовкин. Был он, не в пример Сергею Михайловичу, эмоционально взвинчен, что вообще было ему свойственно.

– Простыня! Вы понимаете, Анна Николаевна задумала адский план обмена ее на соль, или сахар, или что-то еще в этом роде, но я вовремя схватил эту простыню.

– Вы поступили правильно, Всеволод Илларионович, – сказал Эйзен, раскланявшись в мою и в его сторону.

– Где он достанет простыню? Смешно! – воскликнул Пудовкин. – Прошу, Сережа, чем, как говорится, богат.

Едва они ушли, пришел Козинцев, слегка напряженный. На его руке был перекинут черный клеенчатый плащ. Свою миссию он выполнял с некоторой неловкостью и сдержанно; с той ленинградской вежливостью, которой всегда отличался, объяснил мне, что пальто мое, по наблюдению Софочки, не подойдет к сезону, а у него имеется плащ, вполне хороший^[410].

По-разному видели Алма-Ату, “лауреатник”, известных режиссеров Луговской и Ольга Грудцова, Ермолинский и Т. Луговская. Важно было их собственное душевное состояние, в котором они пребывали в тот момент.

Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, – вспоминал Ермолинский, – поглядывая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не “социально опасный”. Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно... Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?

Я тогда не думал об этом. Сердце мое согрелось. Так началась моя алма-атинская жизнь: радушно! И что греха таить, сперва я даже расслабился. Я просто задохнулся от чувства свободы^[411].

Наталья Яковлевна Венжер, дочь режиссеров Якова Михайловича Посельского и Ирины Владимировны Венжер, была в эвакуации в возрасте восьми-девяти лет. Но она запомнила расположение комнат в лауреатнике, кто где жил. Кроме того, она рассказала несколько любопытных историй о тех днях, которые мы здесь и приводим.

Воробьиная ночь

“Мы шли с мамой по городу, вдруг все потемнело, как ночью, и только ярко фосфоризировали верхушки Алатау. Несло листья, рвались ветки с деревьев. Город, называемый в начале века Верный, который в 1911 году перенес ужасное землетрясение, – оцепенел в ожидании беды. Начиналась паника. И тогда Н. Крючков схватил гармонь, выбежал вместе с Чирковым к лавочке перед «лауреатником», и они

стали петь песни: «Где эта улица, где этот дом» и другие... Потом Крючков встал на руки и сделал «флажок». Так они выступали перед публикой, которой становилось все больше и больше. А пока шло представление, ветер утих и стало снова светло”.

Новый 1943 год многие решили встретить у Жарова. Каждый нес все, что мог. Время все больше приближалось к Новому году, а хозяина не было. И вдруг кто-то приносит его жене Люсе записку. Она в истерику, ее подруги хлопочут вокруг. С неизбежностью всем становится известно содержание послания Жарова. “Извини, прийти не смогу я ушел к Целиковской”. А жену Жарова тоже звали Люся, только говорили, так как у нее были волосы как у цыганки, – Люся Черная, а Целиковскую называли – Люся Белая. Все понимают, что праздник испорчен. Да еще продукты, сбереженные для Нового года, которые нельзя же было взять и забрать. Стали расходиться, потихоньку собирать у кого что осталось, чтобы как-то отметить Новый год. И стихийно собрались в квартире Посельских и Дзиганов. Там было много народу, в том числе и Эйзенштейн. Ему очень нравилась Любовь Добровольская, он весь вечер говорил Ирине Владимировне Венжер: “Посмотрите на нее, какая красивая!” Но, видимо его ухаживания не дали никаких результатов, потому что она вскоре вышла замуж за А. Зархи^[412].

Новый 1943-й

В Ташкенте Новый год отмечали в комнатах, ставшими за время войны подобием дома. Луговской писал Фадееву в Москву:

Родной мой, хороший эсквайр! Милый Саша! Сегодня выпал глубокий, и теплый, и мягкий, и пушистый снег. Ташкент превратился в Сокольники. В комнате очень холодно, но светло. Жилище мое совсем игрушечное, но в нем живут добрые домовые. Пишу тебе с оказией. Выйдет, наверное, сумбур вместо музыки, а хочется, чтобы дошло до тебя все, что есть во мне хорошего. В Новый год собрались мы у Елены Сергеевны за длинным столом, над которым висит юбочного вида неопикуемой красоты бумажный абажур, и пили за твое здоровье чудовищный самаркандский коньяк зеленого (!) цвета, пахнувший крысиными подмышками.

Была еще водка, и вино, и винегрет и все прочее, что Бог послал. Бог послал немало на этот случай. Гремели песни “У серебряной реки”, “Рябина” и “Калинушка”, “Ермак”. Ты своей персоной абсолютно присутствовал на этой мансарде. В 3 часа утра я сказал: “Боже, как

хорошо” – и заснул среди всеобщего ликования. Был сведен Сережей вниз и почил сном младенческим. На другой день продолжались песни и воспоминания. Вся жизнь вспомнилась сразу, просто и глубоко. Значит, каждую минуту вспоминался ты, с которым полжизни связано у меня. А ведь скоро полтора года как я тебя не видел. Но теперь, мне кажется, недалек день, когда я тебя обниму, эсквайр. Сил у меня не больше, но душа повернулась в сторону Москвы.

Очень я скучаю без вас, друзья мои, без шумной беседы и тихого разговора. Хочется что-то сделать еще непосредственно нужное. А работаю много и хорошо. Припадки тяжелого состояния сменяются творческими днями, когда иной раз до 150 строк поэмы за день ложится. Я не пишу, диктую поэму, ибо глаза стали совсем плохие. Это письмо пишу с увеличительным стеклом – это новость. Буквы прыгают – прости! Поэма движется. В ней около 4.000 строк. Читал Ахматовой, Паустовскому, Шкловскому, Сельвинскому, Антокольскому и другим. Говорят, очень хорошие слова. Она дикая, откровенная, очень оригинальная по композиции, иногда вроде бреда. О чем? Обо всем на свете. Это именно то, о чем я мечтал. Чем дальше, тем шире. Такое чувство, как будто скоро начну судить живых и мертвых. Я себя не останавливаю – мели Емеля, твоя неделя! Лишь бы все больше искренности, бешенства, смелости. Будет в ней, думаю, б. ооо. Белый стих. Пишу неизвестно куда, кому и для чего. Просто идет и все.

Много работал для кино, очень много. Меня закрепили за кино, и я этим киношникам-обезьянам все-таки обязан. Узнал, что обо мне был запрос через ЦК для работы в Москве на радио. Я согласен. Радио – вещь хорошая. Собираюсь в Москву по теплу, чтобы не болеть зря и не валяться, ибо холод для меня уже не столь прелестен (увы!), как в Соснах, то есть не столько холод, сколько переход на холод. Не знаю, верно ли это насчет радио (говорил сегодня Голодный), но все равно буду ждать вызова, чтобы в мае поехать в Москву. М.б., это будет “Звезда”, или Союз, или радио – все равно. Работать сейчас смогу. Правда, трудно будет вначале, боюсь, я этого времени перехода от замкнутости и абсолютной тишины к московским условиям – страшновато мне, но в общем решаюсь, т. к. прежний страх посещает меня все реже и я надеюсь на тебя и на моих друзей. Очень трогательно звал меня в Москву Костя Симонов, который у меня жил, и другие добрые люди.

Не без жалости покину я тихий двор на Жуковской и Ташкент, где я живу и где умерла мама, но ехать нужно. Нужно поработать еще непосредственно на боевом стихе. И, кроме того, знаешь – что пришло мне в голову – теперь? Может быть, ты в одну из своих поездок возьмешь меня с собой на фронт – очень бы хотел поехать с тобой – хочу посмотреть, настоящих людей увидеть. Хотя на недавнем переосвидетельствовании дали мне 3 статьи вместо 2-х прежних и болезнь прогрессирует, но душевная направленность уже не так боится

трудностей. Во всяком случае – раз это все приходит в голову, значит не напрасно, значит я силы нашёл – эти запасные силёнки. Но об этом, как и о многом другом, – в Москве, весной. В общем, завершается какой-то азиатский круг и начинается другой. Что ты об этом думаешь? Туся в А-Ата, скоро приедет, очень её жду. Елена Сергеевна едет весной в мае, её вызывает театр. Я хочу ещё по весне сделать две работы: одну работу для пограничников – обязательно, другую, м.б., для железнодорожников – “Путь нефти” – о Среднеазиатской ж.д. Кроме того, нужно кончить сценарий “Южный Берег”, который я написал с Л. Крупенниковым. Хочу ещё приехать, кончив вчерне поэму и написав цикл стихов о России. Сложен ещё для меня вопрос с Полей, которая, в сущности, является сиделкой – опекушкой при мне, без неё мне хана. Но это все детали. Важно другое – желание перемены и другого диапазона. Не знаю, как справлюсь, но рисковать надо. Снег все идет, и навалило сугробы. Черт знает что, нарочно, что ли, под это письмо? Маленький кот, который у меня живет, ведет себя сегодня совсем как оборотень. Сейчас пойду относить письмо на вокзал.

Передай привет всем друзьям. Тысячу раз благодарю тебя за верную большую дружбу, за все, за все, за прошлое и настоящее. Изменились мы, но тем важнее и больше будет встреча. А горе и трудность очень очищают человека. Я это знаю, как никто.

Целую тебя, крепко обнимаю, милый, седой эсквайр, такой же седой, как я. Пусть будет тебе хорошо.

Твой всегда, Володя.

Елена Сергеевна шлет громаднейший привет и говорит, что посылает письмо через три дня со своей приятельницей.

Все кланяются^[413].

Его сестра осталась на некоторое время в Алма-Ате.

Дорогой Володечка! – писала Татьяна Луговская из Алма-Аты в Ташкент. – Поздравляю тебя с Новым годом и желаю много разных хороших вещей. Вместе с сестринским благословением посылаю тебе забытые впопыхах пижамные штаны, смену постельного белья и вяленую дыню. Впрочем, дыня предназначена не одному тебе, а и Леночке, и Сереже, и Поле. Выпейте чайку и помяните меня добрым словом. Я работаю исправно и вообще веду себя довольно прилично. В конце января надеюсь быть в Ташкенте. Все зависит от выхода спектакля.

От твоего пребывания в Алма-Ате у меня осталось хорошее воспоминание. <...>

Был у меня в гостях Паустовский с женой, говорили много о твоей поэме – разные похвальные речи. Приехал Симонов с женой. Болел. Ведут себя тихо. Успеха не имеет. Ты люби меня, старый черт, больше, а то ты меня мало любишь. Твоя Татьяна.

А больше меня имеешь право любить только Леночку, а больше никого^[414].

Татьяна Луговская посылала поздравления и грустила без брата и друзей с улицы Жуковской. Дом в условиях эвакуации – это пусть даже чужая крыша и чужой стол, но главное, чтобы можно было сесть за него с родными и близкими людьми.

С Симоновым отношения, как говорилось выше, разладились, в военные годы он сторонился Луговского, но любой знак внимания со стороны Кости Луговской воспринимал с огромной радостью.

Константин Симонов

Симонов оказался в Алма-Ате в конце 1942 года.

Он стремительно взлетел вверх, уже прославившись стихотворением “Жди меня”; пьеса “Русские люди” была целиком напечатана на страницах газеты “Правда”. Бывшие друзья стали писать и говорить о нем с некоторым напряжением и осторожностью. Он становился менее доступен, нежели генеральный секретарь писательской организации Фадеев. Удивительно, что и Фадеев, и Симонов – каждый в свое время – были ближайшими друзьями Луговского, однако чем более они входили в сферы власти, тем сильнее сторонились непредсказуемого поэта. Во время войны Фадеев оказался в опале, и тогда ярко зажглась звезда Симонова.

Он приехал на съемки фильма по своему сценарию “Жди меня”. Главную роль исполняла знаменитая Валентина Серова, в те годы гражданская, а спустя год – уже его законная жена. Новый 1943 год Симонов встречал с исполнителями главных ролей в фильме – Блиновым и Свердлиным.

В начале января 1943 года оказался в Ташкенте; впечатления о тыловом городе, старшем друге Луговском легли в основу повести “Двадцать дней без войны”, которую он написал в 1973 году. Он вспоминал о Луговском в Ташкенте как о человеке больном, сильно ослабевшем, испытывающем чувство вины за пребывание в эвакуации. Наверное, Симонов не мог для себя найти простого решения судьбы Луговского, как человека, “спрятавшегося от войны”. Он не мог не чувствовать, что тот не разрушился, не погиб внутренне, а вдруг воскрес и обрел новое дыхание. В повести дело происходит в Ташкенте, куда буквально на двадцать дней приезжает главный герой – Лопатин, там он встречается со своим старшим другом Вячеславом Викторовичем.

Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был

болен своим несчастьем. И те издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве при всем своем внешнем правдоподобию были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, что он хотел. А он, спасшись от войны, сделал именно то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.

Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завален оружием. И в тридцать девятом году, после того как почти бескровно освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что случись большая война – уж кто-кто, а он на нее – первым!

И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте. <...>

Та решимость отчаяния, с которой Вячеслав рассказал ему правду о себе, ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося таким слабым перед лицом войны человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, как будто с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства.

Видимо, тогда его и поразили поэмы из будущей книги “Середина века”, которые читал ему, по его представлениям, совсем уже рухнувший поэт, их исповедальными личными интонациями. Но написал Симонов об этом с горечью и даже какой-то нежностью спустя почти 30 лет. После войны он сторонился Владимира Александровича. И дело было не только в Луговском. Поездки в эвакуацию остро ассоциировались у Симонова с его прежней женой, горько любимой Валентиной Серовой, упоминание о которой он тщательно вымарывал из дневников и писем военных лет. Воспоминания об Алма-Ате и Ташкенте пришли, когда не стало ни Серовой, ни Луговского – людей, которые принесли ему обиды, разочарования, какую-то не до конца высказанную боль. В конце жизни обиды отступили, пришло осмысление тех встреч, желание разобраться в них и разобраться в себе.

И еще два грустно-веселых новогодних письма Татьяна Луговская послала в Киров Малюгину.

Милый Леня, это письмо вы получите уже в 43-м году – поэтому я посылаю вам все пожелания, которые вы сами выберете. Плюс желаю вам: 1) чтобы скорее окончилась война, 2) чтобы вам скорее исполнилось 35 лет, 3) чтобы вы скорее кончили увлекаться артистками, 4) чтобы все ваши близкие были живы и здоровы, 5) чтобы

вы всю жизнь путешествовали с газетой в руках, 6) чтобы вы нашли себе достойную подругу, которая никогда не обременяла вашу душу дурным настроением, а ваш желудок – вареными овощами, 7) чтобы вы дожили до 90 лет и чтобы у вас была целая куча внуков и чтобы я была крестной матерью вашей старшей правнучки, 8) чтобы театр им. Горького со всей труппой провалился бы в тартарары, а вы бы остались на поверхности вместе с книжным шкафом, в который вы упрячете несколько друзей по своему выбору (ни одной дамы я там не потерплю), 9) чтобы вам каждый день выдавали в столовой котлету величиной с калошу, и суп с горохом, и пиво, и чай вприкуску, ю) чтобы вы никогда не принимали женскую любовь как должное, а всегда – как дар, п) чтобы вы лазили на березы до 55 лет, 12) чтобы ваша будущая жена ни в чем не была похожа на меня. Ну и еще разные хорошие вещи я вам желаю.

Я живу хорошо. Насчет печенки и всего остального – я здорова. Ваше письмо с вокзала я получила. Постараюсь не ссориться с вами в письмах в будущем году, но не знаю, удастся ли. Шлю вам привет и прошу любить меня и жаловать в 43-м году^[415].

И вслед еще одно письмо.

< Рисунок ели.> Я хочу, чтобы и у вас была елка.

Это будет новогоднее письмо № 2. С Новым годом, Ленечка! Я сейчас пришла с просмотра очень хорошей картины (“Мистер Чибс”), вам бы тоже понравилась эта картина – она про школьного учителя. Меня проводили Виноградов и Столяров, и мы так орали дорогой и так здорово скрипел под ногами снег, что я решила, что уже настал Новый год.

Дайте руку (или, как вы говорите, дайте ручку) и держите меня крепче. Я вам наврала в прошлом письме, что живу хорошо: все то же самое. Я совершенно не представляю, какой это будет, 43-й год. И мне даже кажется, что он будет очень трудный (для меня тоже). И я не представляю, когда я вас увижу. Все это мечты. Хотя, бог вас знает, вы действительно соединили в себе неуверенность с твердостью и настойчивостью.

Я тружусь в театре, правда, с усилием и неохотой. Мой режиссер Марголин заболел, у него какая-то среднеазиатская печеночная болезнь. Наверное, спектакль в связи с этим затянется. Это худо.

Вы пишите мне чаще. Мне очень неуютно жить без вас. И напишите мне, в каком положении ваши военные дела, чтобы я не тревожилась.

Желаю вам счастья в будущем году. Не забывайте меня. Т. Л. А жить так, чтобы читать книжки Диккенса и быть покойной, – это, наверное, не может быть.

Так не бывает, чтобы все счастье одному человеку. Обнимаю вас. Ваша Т. Л. 31.12.42^[416].

Ахматовой удалось после очередного тифа, второго за этот год, выздороветь. Ее стихи периода болезни полны предчувствием гибели. Но она вырвалась.

Гораздо печальнее был новый 1943 год для Лидии Корнеевны Чуковской: в середине декабря они на долгие десять лет расстались с Ахматовой. Последний разговор был в больнице. Сплетни, наговоры, слухи сделали свое дело. В новом году они окажутся соседями по Жуковской, когда Анна Андреевна переедет в комнатку на балахану. Надежда Мандельштам писала о последних событиях 4 января Борису Кузину, что Ахматова перестала болеть тифом, а после болезни – лежала в чем-то среднем между санаторием и больницей.

Я жаловалась вам главным образом на баб, которые ее обсели со всех сторон и чешут ей пятки, что она очень любит. Создается дурацкая и фальшивая атмосфера, а во время болезни – прямой кавардак. И она не всегда бывает на высоте.

Я с ней после болезни даже поругивалась. Не хочется писать <об> этой брани. Здесь дело не во мне, и нехорошо было не мне, а совершенно незнакомым вам людям. Но это все от баб. Сейчас эти темы сняты с повестки дня начисто – во всяком случае в моем присутствии^[417].

Предпоследний Новый год отмечал и 17-летний Мур Эфрон. В 1943 году его должны были по возрасту взять в армию, хотя он надеялся, закончив школу, поступить учиться в Литературный институт в Москве.

Новый год только встретил один, – писал он 1 января Але, – встретил хорошо: без лишней торжественности, без шумихи. Выпил ровно столько, чтобы опьянеть без неприятных последствий... <...> С одной стороны, было немного досадно, что во всем Ташкенте не нашлось ни одного человека, который бы меня пригласил на встречу Нового года – я производил на себя впечатление девушки, которую не пригласили танцевать; с другой – в сущности, по-настоящему мне было бы приятно встретить Новый год только с тобой, папой и Мулей.

Отца в сентябре или октябре 1941 года расстреляли в подвалах Лубянки, но ни брат, ни сестра об этом не знали. А Муля, Самуил Гуревич, близкий друг Али, журналист, погиб в 1952 году.

Пусть этот Новый год станет годом победы, годом нашей встречи, годом, решающим в нашей жизни. Крепко обнимаю. Твой брат Мур^[418].

Начинался год надежд, год новых жертв, год новых прорывов на фронте и в литературе.

Расставание

В письмах, документах, телеграммах, записках, вариантах поэм ташкентского периода, даже в известных ахматовских стихах мягкой

тенью проходит кот, иногда даже не один. Так как избавиться от его присутствия нет никакой возможности, пришлось посвятить котам отдельную главу.

Как уже говорилось, в поэме Луговского “Сказка о сне” появляется кот в манжетах, наблюдающий за героями. А в ташкентские времена кот становится просто культовым животным. В письмах, записках, стихах – везде появляются загадочные коты.

В записке, однажды оставленной Еленой Сергеевной Булгаковой Луговскому, читаем:

Дима Димочка Димочка написала коту письмецо хемингуевского склада (но с претензией на юмор) без знаков. Кот видимо все принял всерьез откуда и ответ зачем мне сердиться или огорчаться не помню уже но вы не обращайтесь внимания я безумно устала только подумать ведь шестнадцатый час на ногах а вы всего восьмой поэтому ложусь спать а диктовать будете завтра на свежую голову хотя на это и трудно рассчитывать прочтите Швейка это стыдно что вы его не читали до сих пор. До свидания Димочка Дима не смейте долго засиживаться, а то как вы будете вставать на следующий день^[419].

Наверное, речь шла о коте Якове, полноценном члене семьи, на мнения которого ссылались, ему слали приветы и прочее.

В начале января 1943 года Луговской пишет в Алма-Ату письмо:

Тучка, милая сестренка!

Благодарю за трогательные письма, особенно за оленя с трубкой. Дома все благополучно. В городе – недостаток водки. Написана еще одна глава.

Жду тебя в любой день и час. Будь умницей, не психуй. Радуйся жизни... Помни, что лучше быть богатым и здоровым. Очень тебя люблю, дура. Будь спокойна. Все на свете чепуха. Выясни, что с моими “Четырьмя городами”. Прочитай песни. Тюпе кланялся. Инне Ивановне тоже.

Кот Яшка тебя ждет.

Пишу на вокзале. Целуй Гришу. Целую тебя.

Успокойся. Приезжай. Твой В.^[420]

Кот Яшка – в числе прочих уважаемых членов домашнего круга.

Но главное послание, да еще проверенное военной цензурой, безутешная Елена Сергеевна посылает после своего отъезда из Ташкента. Открытка была очень серьезно оформлена.

Ташкент, Жуковская, 54, Татьяне Александровне Луговской для Яшуши. Москва, Фурманова ул., 3. Кв. 44. Е. С. Булгаковой 2.8.43. Ташкент. Проверено военной цензурой.

Яшуша дорогой!! Как мне Ваше письмецо понравилось! Какие Вы умненькие, душечки! А Польша – они себе позволяют! Как это они могут говорить, что Вас не возьмут в Москву Я вам советую тогда, просто заберитесь тогда к дяде Володе под пуджак, у него такое пузо, что все равно не заметит никто и вы приедете в Москву А тетка Туша тоже

хороша, подруга подруга, а теперь Польке потакает! Я вам советую ей тоже наложить в туфульки. А уж огурцу, пожалуйста, как следует еще раз! – Что за безобразие, что вам черепак не покупают. Вы не садитесь с ними за стол, если нет прибора и нет черепки. Тоща они будут знать, как с родственниками обращаться – Здесь, в Москве, у тетки Оли тоже есть котик, нажувается Кузьма, я с ним подружилась. Они страшные кусаки, я их иногда по задам хлопаю за это. Но потом они опять ко мне, ползают. Когда вы приедете, вы познакомитесь с ними. – Отчего вы так редко пишете? Пишите мне, мне очень понравилось ваше письмо. – Целую вас крепко и очень шчотаю жа подругу. Шележка уехал учиться, станет теперь умным. Ваша тетка^[421].

Можно было бы отнести все эти нежности к коту просто за счет привязанности Луговских и Е. С. Булгаковой к отдельно взятому коту Яшке.

Но появление кота в поэмах Луговского и, в частности, еще в одной поэме – “Сказка о зеленых шарах”, где существует недобрый кошачий мальчик, вызывает сомнения в чисто бытовом, домашнем характере этого образа.

В стихотворении “Вечерняя комната” Ахматовой, написанном в 1944 году, присутствует любимый кот Елены Сергеевны и Луговских, которого Татьяна Луговская увековечила на своей картине. Скорее всего, это и был знаменитый кот Яшка:

Здесь одиночество меня поймало в сети.

Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,

И в зеркале двойник не хочет мне помочь.

Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь!

Конечно же, за некоторыми котами невольно просвечивает образ Бегемота. “Мастера и Маргариту” читали в эвакуации очень многие, а уж Луговской и Ахматова, достоверно известно, неоднократно. В письмах Елены Сергеевны Татьяне Луговской в Алма-Ату встречаются порой приписки: “Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе М. А.?” Булгаковский роман незаметно входит в литературные тексты, оживает в них, подмигивает тем читателям, которые понимают. А кот Яшка, нагруженный дополнительными литературными смыслами, продолжал гулять из письма в письмо. У Татьяны Луговской в письме к Малюгину говорится, что он много потеряет, не увидев: “<...> кота Яшку, бывшего еще недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка, вынутый из воды <...>”. А Елена Сергеевна, вернувшись в Москву, продолжает переписку с Яшкой: “У Оли дивный котенок Кузька, скажите Яшуше. Будь здоров, весел, дорогой. Целую нежно. Поцелуй Туею, что не пишет? Целую Полю и Яшку. Тюпа”.

Но, судя по записанным Еленой Сергеевной снам о Булгакове, названным в ее дневниках “сны про него”, образ кота имел для нее тот же смысл, что и коты, появляющиеся в поэмах Луговского. По всей видимости, в той игре, которая была понятна обитателям их ташкентского круга, кот был сверхъестественным существом, обладающим способностью к превращениям.

Потом дворик ташкентский. Я стою наверху на балахане в шубе и валенках. Раннее, раннее утро. Еще не рассвело. Зима глубокая. Небо в тучах, густых, серых. Масса снежных сугробов. Толстый снег. Внизу женская фигура. – Я сейчас спущусь, Любочка. – (Мне кажется, что это Л. Орлова). Но когда я подхожу, она исчезла, и на ее месте толстый черный кот. Второй сугроб – тоже толстый кот. Третий – тоже.

Потом верх балаханы. Первая комната. Я на кровати, рядом рваные туфли. Шум в соседней комнате, кто-то ходит. Встаю, заглядываю – никого.

Рваные туфли^[422].

Елена Сергеевна Булгакова была старше Луговского почти на десять лет. Но ее умение держаться, носить одежду, фигура, изящество, ум – все это покоряло мужчин и заставляло забывать о ее возрасте. Хотя однажды после прогулки по Ташкенту в новом костюме и туфлях на высоких каблуках Елена Сергеевна вернулась несчастная, с опухшими ногами, Татьяна Александровна говорила, что вспомнила, что той уже за пятьдесят.

Татьяна Александровна дружила с Еленой Сергеевной до конца жизни и много думала о ее обаянии, таланте, жизненной силе. В записях Татьяны Луговской было много о Булгаковой, в частности, она писала:

Все мы говорили, что Елена Сергеевна была необыкновенная женщина (и такая, и сякая, и эдакая), и никому не приходит в голову простейшая мысль, что такой ее сделал и воспитал Булгаков, что она была разновидность “душечки”. Душечка-то душечка, скажете Вы, но душечка высшего порядка, т<ак> к<ак> она поддавалась не только воспитанию мужчин, но и воспитанию жизненных обстоятельств. Восприимчива, артистична, практична и душевно, и материально, с юмором, талантлива.

Вот почему она так блестяще “сыграла” Маргариту (к которой не имела никакого отношения), а Л. Е. Белозерской не удалось (она не была душечкой)^[423].

Эти рассуждения были написаны для себя, и, может быть, они достаточно пристрастны, но в них есть важная для нее мысль об умении “служить” мужчине.

В новом 1943 году Луговской вернулся в Ташкент и сел за поэмы, в работе над которыми ему помогала не только Елена Сергеевна, но и две сестры Яковлевы, немолодые женщины, одна из которых была его врачом-невропатологом.

Татьяна Луговская рассказывала:

Володя, конечно, стал погуливать. Елена Сергеевна сердилась. Она ревновала его к врачу Беляевой, невропатологу. Это были две сестры, уже очень пожилые. У них был чудный домик с садом, весь увитый цветами. Полная чаша. Они были очень хлебосольны и обожали Володю. Он у них укрывался, когда бывал пьян. Вернется и, чтобы загладить, говорит: “Лена, пойдем гулять”^[424].

Здесь неточность: фамилия сестер не Беляевы, а Яковлевы; потом, после отъезда Луговских из Ташкента, они ухаживали за могилой их матери, посылали посылки с фруктами, трогательные письма, им было очень одиноко в Ташкенте.

Они жили на Пушкинской улице в уютном доме. С сестрами Яковлевыми дружил Луговской в самые горестные годы. Инна, старшая сестра, была врачом-невропатологом. Елена, младшая, не имела специальности, она помогала сестре. Инна была врачом Луговского. Елене он диктовал первые главы “Середины века”. Он очень любил этот дом. И когда Луговские уехали в Москву, сестры Яковлевы следили за могилой их матери, писали нежные, добрые письма. Скорее всего, они были из ссыльных.

Инна Ивановна Яковлева приютила в Ташкенте художницу Валентину Ходасевич с больным мужем и художника Басова. У них с сестрой был собственный домик, с водой, погребом и канализацией. Жили они в Ташкенте уже 25 лет. Ходасевич с нежностью о них вспоминает в своих мемуарах, они помогали многим эвакуированным выжить.

Луговской писал в те дни в записных книжках:

Тема – дворик, желтые окна, балахана, дожди. Какое удивительное ощущение – законы стоят рядом с тобой, а ты еще медлишь, ты бежишь в столовку, ты разговариваешь с дураками. Но самое удивительное в том, что пишу я не для людей, а для нее, для ее ребяческих глаз. Когда пишешь для одного – важно и нужно для всех^[425].

Он признавался, что пишет для нее, для Елены Сергеевны, и потому должно получиться хорошо.

В 1943 году Елена Сергеевна печатала его поэмы по восемь-десять часов подряд, советовала, кормила, утешала. Она пишет о поэмах во всех письмах и к Луговскому, и к Татьяне. Поэмы становятся для них чем-то общим, объединяющим. Не случайно с исчезновением Елены Сергеевны из жизни Луговского выпали из книги “Середина века” и некоторые “ее поэмы”. Слишком отчетливо в текстах проступало ее лицо.

После отъезда Елены Сергеевны Луговской писал ей в Москву очень серьезные, прочувствованные слова:

Встретим друг друга, как полагается нам, прошедшим через горы испытаний и самую большую близость. Повторяю тебе, все мои силы, все, чем я обладаю духовно и материально, – в твоём распоряжении. Я тебя хорошо и глубоко знаю, много тяжелого перенес из-за тебя и прощаю это, много чудесного видел и не забывал никогда ^[426].

Со смерти Булгакова прошло всего три года. В то время Елена Сергеевна еще не несла венца великой вдовы. Восторженная атмосфера вокруг имени Булгаковой-Маргариты, отождествление ее с подругой Мастера возникнет годы спустя, когда роман прочно войдет в читательское сознание. А пока Булгаков в узких культурных кругах представлялся очень талантливым опальным драматургом, не более того.

Елена Сергеевна в военные и последующие годы главной своей задачей видела распространение среди писательской и режиссерской среды текстов неопубликованных романов и пьес Булгакова. В личной жизни не ушла в затвор; не таясь, имела те связи и отношения, которые хотела. В письмах Луговскому ей передавали приветы друзья, ученики, Николай Тихонов, бывшая жена Сусанна.

Татьяна Сальмонович заканчивала одно из писем Луговскому словами: “Привет Елене Сергеевне, я очень рада, что вы нашли такого чудесного друга, мне о ней еще раньше очень хорошо и много рассказывали”¹.

А Николай Тихонов в письме 1942 года просил своего товарища: “Приветствуй горячо Елену Сергеевну, если она в Ташкенте и если она меня помнит”^[427] ^[428]. Их единственная встреча в гостях у Тихонова состоялась в Ленинграде буквально накануне войны.

Но связь с Булгаковым у Елены Сергеевны была очень глубокой; то, что он мистический писатель, она осознала не сразу. После смерти Михаила Афанасьевича Елена Сергеевна стала записывать все его появления в своих снах. В феврале 1943 года она записала:

Я сказала: “Как же я буду жить без тебя?” – понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: “Ничего, иди, тебе будет теперь лучше”.

Во сне она, ужасно скучая по нему, спрашивала покойного о своих отношениях с другим (он не назывался по имени), но Булгаков “оттуда” не ревновал. Вот еще один фрагмент “сна про него”, записанного, видимо, уже после отъезда из Ташкента.

Перелетаю комнату, и вот Миша лежит на своей кровати. И я, стоя рядом на коленях (кроватьи разъехались, не так, как были вначале, – вместе), целую его частыми-частыми поцелуями.

– А он?

– Хороший любовник. Я так тоскую без тебя!

И тут он как-то дает мне понять, что я должна много учиться, совершенствоваться (но как-то выходит в смысле познаний), что это необходимо для той (его жизни). Что мы увидимся. А теперь он будет время от времени мне являться в снах. Эта мысль доставляет счастье. Я

ощущаю живое тепло его лица. Он такой же, как в жизни, только немного желтее^[429].

Ее разговоры о “другом”, о “третьем” появляются во снах не однажды. И если Татьяна Луговская писала в своих заметках, что Елена Сергеевна была воспитана Булгаковым для роли Маргариты, то в этом только часть правды, по всей видимости, он продолжал делать ее и после смерти, в этом была чудесная сторона их любви.

А в Куйбышеве в эвакуации Немирович-Данченко работает над своим последним спектаклем – над пьесой Булгакова о Пушкине. Главным защитником Булгакова в театре становится сестра Елены Сергеевны Ольга Бокшанская, секретарь В. И. Немировича-Данченко, дама, которой были известны все пружины мхатовской закулисной жизни.

Ольга Бокшанская была всегда очень близка с Еленой Сергеевной. Некоторое время они даже жили вместе в Ржевском переулке на квартире Е. Шиловского. Ольга была классическая секретарша – невероятно словоохотливая, вечно интригующая, но главным для нее было служение Немировичу-Данченко. Взаимодействия театрального “предбанника” и “кабинета” иронично описаны в “Театральном романе”. Булгакова же в последние годы жизни стало раздражать в Ольге Сергеевне ее безудержная преданность Немировичу, хитрость, умение плести интриги. Однако после смерти Булгакова Бокшанская продолжала быть чрезвычайно преданной его памяти, постоянно напоминала всем и каждому о необходимости ставить его пьесы.

Ольга мечтала, чтобы ее любимая сестра была благополучна, не очень-то доверяла Луговскому, писала сестре, что удивляется его “перерождению”, намекая на тот разрыв, который произошел накануне эвакуации, и эгоистично мечтала, чтобы Булгакова и ее любимые племянники Женя, а главное, “маленький” Сережа жили рядом с ней в эвакуации.

Несколько раз в 1942 году Бокшанская предпринимала попытки вытянуть Елену Сергеевну к себе, но судя по тому, что в одном из писем она с обидой заметила: “Ты так много пишешь о своей балахане, ценишь свое самостоятельное (хотя и голодное) существование, что я не уверена, что тебя такие перспективы могут увлечь”, – ее всевозможные уговоры приехать и поселиться с ней в мхатовском общежитии не возымели действия. В ответ ей летели письма с восторженными рассказами о прекрасной ташкентской балахане, с которой можно смотреть на звезды, иметь отдельный вход в две собственные комнатки.

Спустя годы, в 1962 году, в письме к Елене Сергеевне из Тарусы Надежда Яковлевна вспоминала ташкентские дни.

Дорогая Елена Сергеевна!

Хочу напомнить вам о нашем знакомстве, чтобы вы не удивились этому письму. Вы жили наверху на Жуковской улице в Ташкенте (“В

этой комнате колдунья до меня жила одна”), а я приходила к брату, который жил под вами. Тогда-то я и прочла “Мастера”, которого мне очень давно хочется перечитать. Я запомнила огромное впечатление от этой книги, а вас – очень красивую – как вы спускаетесь со своей балаханы озорной походкой, надев на голову чью-то кэпку. Мы с Таней Луговской стояли внизу и смотрели на вас.

Мне захотелось вам написать, п.ч. я недавно прочла книгу о Мольере Михаила Аф. Зная “Мастера”, я понимаю, что это не основная линия М. А., но тем не менее он оказался мастером и умнейшим человеком и в этой повести-биографии. Она звучит очень лично и остро. Автор как будто совершает весь круг жизни с любимым драматургом. Он непрерывно участвует во всех событиях, следит за ними с улицы в освещенное окно, а порой сливается со своим героем. Это последнее особенно чувствуется на тех этапах, когда Мольер мрачен, ушел в себя и пишет в уединении свои лучшие вещи^[430].

В Москве на репетициях “Пушкина” возникли определенные трудности с прочтением пьесы, репертком продолжал делать свои замечания к тексту Булгакова, пытались даже вернуться к булгаковским черновикам. Елена Сергеевна дала на то разрешение, но Ольга Бокшанская убедила дирекцию театра, что только сама Елена Сергеевна сможет разрешить все проблемы с поправками. Она делает ей вызов от имени театра в Москву для работы над рукописью и внесения поправок (!) в пьесу “Пушкин”. Для Луговского внезапный вызов, а затем и отъезд Елены Сергеевны был ударом: они вместе работали над поэмой, они, видимо, все вместе собирались уезжать из Ташкента.

Так вновь возникал Булгаков, которого Луговской любил как писателя и к которому продолжал ревновать Елену Сергеевну. Словно с того света, где сидел при свечах Мастер и писал свои чудесные книги, Булгаков ставил предел их отношениям и возвращал вдову к своим делам.

А перед ее отъездом в мае 1943 года, заканчивая каждый день по поэме, Луговской пишет к ним посвящения: 5 мая – “Крещенский вечерок”, Елене Сергеевне, 6 мая – “Мой сон о Дербенте”, мальчику Сереже Шиловскому (потом, в 1947 году, он перепосвятит “Дербент” А. Галичу), и, наконец, 7 мая – “Народы, вставайте!” – самое непостижимое посвящение – М. А. Б. (то есть Михаилу Афанасьевичу Булгакову). Между прочим, эта поэма противоречила духу всего, о чем писал Булгаков.

Поэма “Крещенский вечерок”, с посвящением Елене, стала итогом их отношений в Ташкенте. В то же время гадание крещенским вечером было об их дальнейшей судьбе: “Мне невдомек. А мне шутя выходит / Любовь и сплетни, а потом разлука / На тысячи неразрешимых верст”.

И лестница на балахану в центре поэмы, соединяющая и разделяющая их: “О, горестная роскошь расставанья! / Что ж

проводить до лестницы. Тебя. / Подняться по ступенькам... ” Эта удивительная лестница потом оживет в стихах и в таинственной драме Ахматовой “Сон во сне”. А теперь две тени, которых закрутило вихрем войны, эвакуации, потерь, прощаются друг с другом.

Мое желанье – только три ступеньки,
Что, как на небо, поднимают сердце
К торжественному бедному уюту
Ташкентской голубой балаханы.
Оттуда виден мир как на ладони:
Две крыши минометного завода,
Три тополя на улице Жуковской,
Четыре лужи под твоим окном.
Возьми ее – всю жизнь – как на ладони. <... >
Война и смерть, сроднили нас с тобою
Так неразрывно, словно на погосте,
Иль на причастье, или в дальних вспышках
Зенитных подмосковных батарей.
Не мне судить тебя, и ты не вправе
Судить меня за этот страшный холод,
Который обжигал тебя и вечно
Лежит меж нами, словно стылый нож.
Но ты мудрей и лучше всех на свете,
С пустяшной хитростью и беспокойством,
Беспомощностью, гордостью, полетом. <...>
Ты для меня была прозреньем, нитью
В те дальние края, где будет гибель.
А шубка пышет желтым куньим жаром,
И звезды льются, как ручьи по сучьям.
И плавает кораблик по тарелке,
Нам предвещая дальний, дальний путь.

В писательской колонии, разумеется, знали об их отношениях, сплетничали, поражались разнице в возрасте. Луговской даже о возрасте Елены Сергеевны писал очень бережно и возвышенно: “Морщинка маленькая по надбровью, / Что для других усталость или возраст, / Сверкает, вьется надо мной, как знамя, / И смысл ее изведаль только я”.

Итак, все уже друг другу сказано. Сережа и Елена, она же Тюпа, 22 мая 1943 года покидают гостеприимный восточный город. Татьяна Луговская подробно напишет об этом Малюгину:

20 мая 1943 года

Ташкент пустеет, уезжают последние друзья. Послезавтра едет в Москву Лена Булгакова (ее вызывает МХАТ). Очень грустно мне с ней расставаться. Во-первых, я ее люблю, и она была единственным близким человеком у меня в Ташкенте, во-вторых, мне без нее будет очень тяжело справляться с моим братом (вернее, с его желанием пить водку) и выдерживать на себе всю тяжесть неврастенических и творческих напоров этого незаурядного и милого, но очень тяжелого человека. Не до него мне сейчас, признаться. А он не знает никаких полумер в своем эгоизме, эгоизме, который всегда неразлучен (к сожалению) с большой творческой жизнью.

Вот он занят уже 4 месяца своей поэмой и не хочет думать больше ни о чем. Самое смешное, что я всегда мечтала, чтобы он начал работать не для денег, а “в стол”, но теперешний быт, видимо, не может так долго выдержать “чистого творчества”.

Наша Поля все это называет гораздо проще, она говорит: “Хозяин дурука валяет”. Вообще она очень смешно говорит – помимо “дурука”, еще “втюг” (вместо утюг), “уши” (вши) и т. д. Фишками она почему-то называет всех актрис^[431].

Елена Сергеевна с Сережей ехали в Москву более двух недель. С дороги они посылали смешные открытки и телеграммы.

1 июня 43 года

Ташкент

Жуковская улица дом 54

Луговскому В. А.

Обратный адрес:

что-то между Москвой и Ташкентом. Володя, милый, как дела? Мы устроились хорошо, ты не волнуйся. Тюпа объелась чем-то, и у нее болит живот. Она лежит внизу, а я занимаю полку наверху. Жарко очень и душно, но, но ничего. Все проходит. “Все в мире суета сует...” Целую вас всех. Сергей^[432].

4 июня 1943 года

Открытка. Обратный адрес: Вагон. Скоро будет Чкалов. 4.06. – часов примерно 6 по московскому времени, 8 по местному. Вагон идет, палец на правой руке завязан – порезала ножом. С соседями полная дружба. Погода серая, холодная. Я в темненьком (коричневом, сером, зеленом) костюме (какое счастье, что его не купили!), в теплом белье. Выхожу на вокзал в оренбургском платке. На предыдущей станции купила много яиц – около сотни, им кило полтора масла сливочного. Истратила все

деньги (осталось только 300 рублей) и теперь спокойна. А то все руки чесались. Что-то делается в нашем домике? Что делаешь ты, Дима? Работаешь ли как следует? И все ли вообще так, как нужно? Что тетя Туша? Польша, Яшуша? Пиши мне в Москву скорей. Целую тебя и ты поцелуй от меня всю семейству. Тюпа^[433].

От Сергея. 4 июня 1943 года Володя милый!

Как живете? Как поэма, пиши ее обязательно, это замечательная вещь. Едем хорошо. Оба здоровы, жрем много, в Москву приедем толстые. Завтра будем в Куйбышеве. Послали молнию Леонтьеву, чтобы вышел на вокзал. Тюпа шлет тебе поцелуй. Я тоже. Привет всем. Сергей!"

"Телеграмма. Ташкент Жуковская 54 Луговскому Москвы 14.6.43.

ехали очень хорошо прибыли порядке встречены отменно нежно целую обнимаю – тюпа^[434]».

В Москве их встретили на вокзале Ольга Бокшанская с мужем Евгением Калужским.

У Елены Сергеевны начиналась другая жизнь.

На балахане Ахматовой. Середина – конец 1943 года

Последние месяцы 1942 года Ахматова вновь балансировала между жизнью и смертью – брюшной тиф. В больнице Ташкентского мединститута (Ташми), куда удалось ее устроить, был приличный уход, она стала поправляться. Наконец она получила письма от сына Левы, который отбыл к марту 1943 года заключение в лагере и устроился в Норильске на работу в экспедицию. Первое она получила в конце 1942 года. Раневская была при этом: "В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест – это было при мне. У нее посинели губы, она стала задыхаться, он писал, что любит ее, спрашивал о своей бабушке, жива ли она? Бабушка – мать Гумилева"^[435].

Из Норильска Льву Гумилеву удалось попасть на фронт и с армией дойти до Берлина. "... Во время ее болезни два счастливейших события, – писала в те дни Надежда Мандельштам, – бодрое чудесное письмо от Левы – первое за всю войну <... > – и груды телеграмм и писем от Гаршина, который был вроде мужа, а в разлуке решил, что женился. Это очень хорошо"^[436].

В это время между Ахматовой и Гаршиным наметилось полное взаимопонимание, она согласилась взять его фамилию, в письмах они

обсуждали детали совместной жизни, квартиру, где будут жить. С тех пор Ахматова открыто стала называть его своим мужем.

17 января 1943 года все испытали огромную радость – пришло известие, что прорвана Ленинградская блокада. Можно было верить в то, что друзья, знакомые, родные завтра не умрут от голода и дождутся их возвращения домой. На балахану, где жила Елена Сергеевна Булгакова, после ее отъезда в конце мая в две небольшие комнатки въехала Ахматова. Одна из комнат была длинная, большая, с окном почти во всю стену. О своем новом жилище Анна Андреевна написала два стихотворения. Одно из них называлось “Хозяйка”. В печатных изданиях оно всегда входило в цикл “Новоселье”.

Посвящено это стихотворение Елене Сергеевне Булгаковой.

Атмосфера дворов, улиц, дома и новой комнаты – преображается в стихи. Здесь есть и тайна бывшей хозяйки, и тайна ее, Ахматовой, обживающей новое пространство, вглядывающейся в тени. Тайна умножается тайной.

Колдунья

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья.
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

5 августа 1943 Ташкент

Пастернак потом говорил Ахматовой, что за такие стихи в Средние века ее бы сожгли на костре. А она, смеясь, отвечала, что сожгли бы ее еще до написания этих стихов.

Долго я не могла понять, почему Ахматова назвала ее колдуньей, – вспоминала Г. Козловская. – Лишь много позднее я узнала, что в Ташкенте, вместе с Фаиной Георгиевной Раневской, она читала роман “Мастер и Маргарита” Булгакова. И кто знает, быть может, читала в этой самой комнате на балахане. Поэтому у меня память об этом жилище наполнена двойной поэзией о двух женщинах, прекрасных женщинах, в ней обитавших^[437].

Однако Николай Гумилев в 1910 году написал об Ахматовой:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Может быть, отсюда поэтический и в то же время немного шуточный намек на внутреннюю связь с Еленой Сергеевной Булгаковой: “Я сама... но, впрочем, даром / Тайн не выдаю своих”. Ведь и одну, и другую женщину – их мужья называли колдуньями.

Снеси-ка истому ты
В Днепровские омуты,
На грешную Лысую гору, —

обращался к своей жене Гумилев.

Трудно уже представить себе, как выглядели комнатки наверху, остались ли там придуманные Еленой Сергеевной детали уюта. О “милых выдумках” она написала Татьяне Луговской в Алма-Ату, когда еще жила в Ташкенте:

Прожила у Володи в его отсутствие Паустовская – с неделю. Очень мне понравилась. Разрисовала мне комнатку. Очень остроумно: над кроватью моей с белым покрывалом – на стене нарисовала дорожку – рисунок с покрывала. Потом еще очаровательно – на печке сделана как бы крышка футляра мирленовских духов: тоненькая девушка в пышной юбке, с крестиком на шее. С букетом цветов и корзиной в руках. Фотографии – в рамках, нарисованных на стене. Много милых выдумок^[438].

2 июня 1943 года Анна Андреевна писала в Москву своим друзьям Томашевским из своего нового жилища на балахане:

Я болела долго и тяжело. В мае стало легче, но сейчас начинается жара и, значит, гибель. <... > Из Ташкента в Россию двинулась почти вся масса беженцев 1941 г. С Академией наук уезжает юоо человек. Город снова делается провинциальным, сонным и чужим. <...> У меня новый дом, с огромными тополями за решеткой окна, какой-то огромной тихостью и деревянной лесенкой, с которой хорошо смотреть на звезды. Венера в этом году такая, что о ней можно написать поэму. А мою поэму вы получили?^[439]

Во втором стихотворении – почти документальная картина нового жилища, дневниковый рассказ о встречах с друзьями, с Козловскими, мужем и женой, которые жили в Ташкенте фактически как ссыльные.

Александр Федорович был композитор, он написал музыку к операм, романсам, прологу “Поэмы без героя”, его жена – певица. Ахматова очень любила слушать романсы в ее исполнении.

Как в трапезной – скамейки, стол, окно

С огромною серебряной луною.

Мы кофе пьем и черное вино,

Мы музыкою бредим.

Все равно...

И зацветает ветка над стеною.

В изгнании сладость острая была,

Неповторимая, пожалуй, сладость.

Бессмертных роз, сухого винограда

Нам родина пристанище дала.

Слова “Мы музыкою бредим” – об их вечерах, где велись разговоры о музыке, которыми была пронизана “Поэма без героя”. Радость от общения с восточной природой, с людьми, которые окружали ее в избытке, соединялась с “острой сладостью изгнания”.

Ахматова очень чутко реагировала на сияние черного восточного неба и луны, что лежит “ломтем чарджуйской дыни”. Влияние на нее луны началось еще в детстве, и не поэтически, а физически. В 1920-е годы она рассказывала П. Лукницкому (первому биографу Гумилева) о своей странной особенности.

В детстве, лет до 13-14, А<нна> А<ндреевна> была лунатичкой... Еще когда была совсем маленькой, часто спала в комнате, ярко освещенной луной. <... >

А потом луна стала на нее действовать. Ночью вставала, уходила на лунный свет в бессознательном состоянии. Отец всегда отыскивал ее и приносил домой на руках^[440].

В таинственном лунном свете оживает и нарисованный на стене профиль в одной ташкентской комнате.

В том городе (название не ясно)

Остался профиль (кем-то обведенный

На белоснежной извести стены),

Не женский, не мужской, но полный тайны.

И, говорят, когда лучи луны —

Зеленой, низкой, среднеазиатской —

По этим стенам в полночь пробегают,

В особенности в новогодний вечер,

То слышится какой-то легкий звук,

Причем одни его считают плачем,

Другие разбирают в нем слова.

Этот таинственный профиль по ее тени обвел в своей ташкентской квартире Козловский.

Г. Козловская вспоминала:

Однажды Александр Федорович обвел, сначала карандашом, а потом углем, ее великолепный профиль. Мы с ней шутили, что когда она уходит, то профиль ее живет своей странной ночной жизнью. И вот однажды она принесла довольно большое стихотворение <... > Потом, после ее отъезда, когда профиль начал исчезать, я завесила это место куском старой парчи^[441].

И венчает ташкентские лунные встречи с Козловскими стихотворение, которое Ахматова подарила им уже в Ленинграде, – “Явление луны”, посвященное композитору, в память о волшебных звуках “Лунной сонаты”, которую он исполнял для нее в Ташкенте.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла, —
Как будто “Лунная соната”
Нам сразу путь пересекла.

В этих строках звучит тема платонической страсти, которая возникла между ней и Козловским на мгновение. Галина Козловская в письме А. Межирову рассказывала об этом мимолетном музыкально-поэтическом романе.

И мне кажется, что теперь я имею право рассказать о тайне и обстоятельствах его возникновения.

В один из жарких дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и таинственно настойчиво пахнувшие. Анна Андреевна все время касалась их рукой и порой опускала к ним свое лицо. Когда она уходила, она молча приняла из моих рук цветы с мокрыми стеблями.

Как всегда, Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было довольно далеко, но все мы тогда проделывали этот путь пешком. Вернулся домой он нескоро и, сев ко мне на постель, сказал: “Ты знаешь, я сегодня, сейчас, пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга, и такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда. Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода, и в одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала спрашивать меня о звездах. (Алексей Федорович хорошо знал, любил звезды и умел их рассказывать.) Я почему-то много говорил о Кассиопее, а она все подносила к лицу твои гвоздики. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга и снова умолкали”.

Его исповедь я запомнила дословно, со всеми реалиями пути, чувств и шагов. Поняла, что это был как бы акмеизм в тех их отношениях, которые французы называют *quite amoureux*. И я, ревнивейшая из ревнивиц, испытала чувство полного понимания и глубокого сердечного умиления.

Несколько дней Анна Андреевна не приходила. Алексей Федорович ходил потерянный, затем она пришла, и все пошло по-прежнему. И пока она была в Ташкенте, никакого стихотворения не было, хотя я уверена, что оно было, написанное тотчас, по свежему следу. Так точны все реалии жизни, так дословно рассказанные мне Алексеем Федоровичем, что мне кажется, вряд ли оно было написано потом, много лет спустя. Хотя, кто знает, быть может, гений поэта – это его ничего не забывающая память?

И когда годы спустя Алексей Федорович впервые прочел эти стихи, он ошеломленно опустил книгу и только сказал: “Прочти”. Я на всю жизнь запомнила его взгляд и оценила всю высоту и целомудрие этого его запоздалого признания.

Не знаю, облегчит ли выданная мной тайна Ваши сомнения. Но их обоих нет, не станет когда-нибудь и меня, а тайна должна кем-то храниться, раз они были и прожили свою пленительную жизнь^[442].

Жизнь двора на Жуковской менялась. Многие бывшие обитатели уехали, но теперь на балахану к Анне Андреевне Ахматовой стали стекаться поклонники и подростки, которых в Доме пионеров Надежда Яковлевна Мандельштам учила английскому языку. Надежда Яковлевна решила не проводить занятия в официальной обстановке и перенесла их в домик на балахану.

Ксения Некрасова

Жить как поэты могли немногие, и Ахматова всегда отличала людей, отмеченных судьбой, и очень бережно относилась к ним.

На Жуковской снова стала появляться странная поэтесса Ксения Некрасова. Она приходила к Ахматовой и в ее “келью” на Карла Маркса.

Н.Я. Мандельштам в письме от 31 июля 1943 года раздраженно писала Борису Кузину:

Некрасова – юродивая поэтесса. Мусор и чудесные хлебниковские стихи вперемешку. Она живет в горах и приехала гостить к Анне Андреевне, а кстати, устраивать свои дела. Т<о> е<сть> у нее мания, что ее должны печатать^[443].

Она спала на полу в комнате Ахматовой.

Опекавшие Ахматову дамы (они получили прозвище “жен мироносиц”), – вспоминал Валентин Берестов, – советовали Анне

Андреевне прогнать Ксению. Один из таких разговоров был при мне. И я помню царственный ответ: “Поэт никого не выгоняет. Если надо, он уходит сам”. И я понял: для того чтобы быть и оставаться поэтом, нужно жить по каким-то высоким правилам. <... > Ксения привезла Анне Андреевне свои стихи. Многое она написала уже в доме Ахматовой. Стихи стали в списках распространяться среди эвакуированных интеллигентов. Нравились они не всем. Критик Корнелий Зелинский, как записано у меня в дневнике, назвал их “кискиным бредом”¹.

Галина Козловская вспоминала:

Некрасову, трудную, непохожую на других, она очень ценила, верила в нее и бесконечно много ей прощала. Так было в Ташкенте, что потом было – не знаю. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрично агрессивную было легко пихать, высмеивать и отталкивать. Но Анна Андреевна была самой прозорливой и самой доброй. Она прощала ей все ее выходки, грубости, непонимание, словно это было дитя, вышедшее из леса, мало знавшее о людях и еще меньше о самой себе^{[444] [445]}.

В письме от 15 августа 1943 года, когда Некрасовой уже не было в Ташкенте, она просит Оренбурга помочь ей:

Милый Илья Григорьевич,

посылаю Вам стихи Ксении Александровны Некрасовой. Мне они кажутся замечательным явлением, и я полагаю, что нужно всячески поддержать автора.

Стихи Некрасовой уже появлялись в журналах до войны. По эвакуации она попала в горы, на рудники. Потеряла ребенка. Муж сошел с ума и терроризирует ее. Сама она на границе всяких бед. Не знаю, что можно для нее сделать, может быть, вызвать ее в Москву, может быть, снести с Фрунзе (она в Киргизии), чтобы ее вызвали в центр и снабдили всем необходимым.

Конечно, самое лучшее было бы напечатать стихи Некрасовой в журнале или газете – Вам виднее.

Пожалуйста, передайте мой привет Любви Михайловне. Надюша целует вас обоих.

Ахматова.

Адрес Некрасовой: Сюлюкта, К. С. С. Р. Ошская обл., Советская ул. № 102, кв. **20** Кс. Ал. Высоцкая.

Мой адр<ес>. Ташкент, ул. Жуковская, 54¹.

Нина Татаринова, ходившая к Ахматовой заниматься, вспоминала о Ксении Некрасовой:

Доброта Ахматовой была безгранична. Она умела, как никто, поделиться последним. В этом я убедилась все в том же белом доме, где впервые увидела Ксению Некрасову. Округлости форм со всех сдуло ветром войны. И все-таки на Ксении платье висело как-то угрожающе свободно. Прямые, реденькие, кое-как собранные на

затылке волосы, открывали всем ветрам худенькое, сероватого оттенка, некрасивое лицо, с полной, всегда влажной оттопыренной губой. Тоненький голосок, редкие фразы с долгими паузами между словами. Я спросила, не больна ли Ксения? – Нет. Она прошла пешком через прифронтовую степь с мертвым ребенком на руках, – пояснили мне. Позже выяснилось, что все это фантазия самой Ксении. На самом деле она приехала из Алма-Аты. Ей очень не хватало тепла. Вот и выдумала она историю с ребенком, стремясь вызвать сочувствие у окружающих. Война отняла у Некрасовой все, оставив только то, что невозможно отнять – ее дар:

Когда неверие ко мне приходит,
Стихи мои мне кажутся плохими,
Тускнеет зоркость глаза моего,
Тогда с колен я сбрасываю доску,
Что заменяет письменный мне стол,
И собирать поэзию иду
Вдоль улиц громких.

“Исток”

Ксения Александровна, думается, хорошо знала цену своим стихам. Может, поэтому прямо с вокзала пришла к Ахматовой с выдумкой о прифронтовой степи и неживом ребенке. Обогревшись, Некрасова сказала: “Я буду... жить... здесь”. Попросила для начала матрасик Ахматовой: “Я вот здесь... на полу переночую”. Потом взяла единственную подушку из-под головы пятидесятилетней Анны Андреевны. Неизвестно, чем бы все это кончилось (Ахматова со своей христианской кротостью отдала бы и последнюю нитку). К счастью, Ксению Александровну поселили в освободившуюся поблизости комнату^[446].

В архиве Луговского обнаружилось письмо, видимо, того самого мужа (Сергея Софроновича Высоцкого), который “сошел с ума”, оно действительно производило странное впечатление. Написано оно после смерти Сталина в 1953 году. Приводим отрывок из него.

...Мы случайно и совершенно неожиданно с Оксаной расстались.

Сначала съехались.

Правление С.П. Узб. приняло участие в ее жизни. Организовало ей два публичных выступления (кажется, в зале Дома ученых). Помогло ей выехать. Вы еще были в ту пору в Ташкенте? Она меня ждала. Но меня угораздило лечь в больницу в Ташкенте. За это время квартиру воры (соседи просто!) разгромили, включая даже мебель.

Я, как птица в обстрелянной стае, потерял и путь и ориентацию. Кое-как нашел сына. Вызвали его в г. Сулюкту Кирг. ССР.

Помог он мне доехать вот сюда, где я и окаменел по сей день. Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может... (люблю мысль, душу и слова Тютчева).

Что же с ней, бедной?

Счастлива ли она? Хоть обеспечена ли? И как т-а-к?

Почему она при таком ясно-утреннем начале поэтической жизни своей, своеобразном, звонком, обнадеживающем... кончила тусклым туманным вечером осени?

Или как она?

Во всяком случае – я слежу и не вижу россыпей ея самоцветных и самосветных камешков, ея калейдоскопа слов. Что с ней, бедной?

Как по-Вашему?

Имел ли я какое-то значение и влияние на развитие, на формирование и рост ея поэтических возможностей?

Помог ли я ей морально и материально? В Союзе, в Ташкенте, полагали, что я писал ей стихи.

Об этом не раз мне говорила литконсультантка Сомова (конечно, знали такую. Жила на окраине в отдельном маленьком домике, в глубине двора).

Так развитие ее и речь ея непохожи были на ея стихи.

Да! Казалось, что они сыпались на нее из каких-то радужных сфер.

Я сам видел, как люди разного возраста и разных развитий плакали при чтении ею своих стихов.

Что с ней, бедной?

Вспомнил интересную нашу азиатскую встречу.

В знойном безмолвном унынии (ведь там птиц нет!) черно-бурых, утомляющих и тело, и взор, и душу азиатских гор мы перевалили в одну из таких чудовищных могил земных великих битв за свое формирование – облегченно вздохнув, спустились вниз...

Впереди зеленело счастье: кишлак Караганча.

(К слову, сколько там разных Кара! А “Бешагач” помните? Не имели счастья отоваривать там свои талоны? Навстречу нам, на гору нашу карабкалась кавалькада на... одном (!) ишаке: детишек двое на пегасе гор, черный бравый узбек рядом и... нежная прелестная блондинка за ним.

Оказалось – семья. Разговорились... Блондинка – начитана, поэтична. Очень любит стихи... Ксении Некрасовой! Бережно хранит газету, журналы с ея, Некрасовой, стихами! Беседа была так искренна и так ярка, и так необычна вся встреча, что я забыл, где мы находимся.

Вот не помню – признались ли мы ей, что она беседует с Некрасовой.

К великому моему огорчению, мы в последующее наше посещение Караганчи никак не могли найти кибитки наших милых знакомцев.

Подумал я – раны души, страдания сердца, так же как раны физические – неизгладимы.

Рубцы их остаются на всю жизнь, только более чуткие, недотрожные.

Читаете? Прочли? Слава богу, значит живы и нашло Вас письмо. Бледное, слабое, но отражение жизни^[447].

Это письмо прежний муж Некрасовой посылал Луговскому, видимо, потому, что тот принимал какое-то участие в ее судьбе. Какое, до конца не понятно, но в его архиве было несколько стихотворений и жалобное письмо поэтессы с просьбой помочь напечатать ее стихи.

Ахматова и Луговской

Татьяна Луговская оставалась с братом до отъезда из Ташкента и вместе с ним вернулась в Москву. Атмосфера последнего года эвакуации была также печальна, иногда по-настоящему трагична, но наступило некое привыкание именно к такой, казалось бы, невозможной жизни.

Дом на Жуковской, 54, состоял из нескольких построек – направо, налево главный особняк и строение в глубине двора, – писала Г. Козловская. – <... > В жаркие, томительные ночи почти все обитатели этого дома выносили свои постели и спали во дворе. Однажды Ахматова озорно скаламбурила: “Все спят во дворе. Только мы с Луговским не спим во дворе”^[448].

“В том же дворе на улице Жуковской, где жила Анна Ахматова, некоторое время обитал и Владимир Луговской, отправленный в эвакуацию после недолгого пребывания в действующей армии”, – писал Эдуард Бабаев, который учился в кружке у Надежды Мандельштам и поэтому появился во дворе на Жуковской только в середине 1943 года. Владимир Луговской как раз жил там с самого начала, Ахматова поселилась позже, а потом, после отъезда Луговских, стала жить внизу в уютных комнатках с Надеждой Мандельштам.

Он был гигант в сравнении с другими, – продолжал Бабаев, – как будто вышел только что из свиты Петра Великого. Его память была полна воспоминаниями о XVIII веке. Он расправлял в руках воображаемую грамоту и читал государев указ с закрытыми глазами: “Оного Нарышкина, сукина сына, бить плетью нещадно...”

Не знаю, был ли тот указ подлинным или вымышленным, но звучал он “зело сильно”^[449].

Луговской, рожденный в начале века в интеллигентной семье, впитавший книжную культуру, обожал русскую и зарубежную историю, он знал много языков. Но после революции у него, как и многих его сверстников, не было выбора, и он должен был принять революцию по возрасту, по молодости лет, наконец, по самой жертвенности,

принесенной русской интеллигенцией на алтарь революции. Те, кто родились хотя бы на десятилетие раньше: Мандельштам, Ахматова, Гумилев, Булгаков, – имели большой опыт, который позволял им более объективно понимать, чем может обернуться такая жертва. Ахматова и Луговской принадлежали по рождению к одной культурной среде, в отличие, к примеру, от пролетарских поэтов – А. Жарова, А. Безыменского или М. Голодного, которым всегда было неуютно среди образованных людей.

Чем с большей готовностью поэты отдавали себя в руки партийных чиновников, думая, что так надо, ругая себя за то, что уклонились от истинного пути, тем больше испытывали разъедающее душу презрение к самим себе. Тот пыл, с которым они шли на заклятие, приводил к тяжелейшему похмелью во время войны. Поводья ослабли, у хозяев не было сил держать все в своих руках.

Пелена спала, и только те, кто не хотел слышать, – не слышали. И время черным падает обвалом.

Имеющие уши, да услышат,
Имеющие очи, да увидят,
Имеющие губы, пусть молчат.
Событья, не кончаясь, происходят,
Не мне остановить поход событий.
Но я, как прежде, населяю землю,
Но я, как прежде, запеваю песню,
Я это создал. Я всему виною,
Никто моим сомненьям не поможет,
Я все-таки, как прежде, человек.

Так Луговской писал в октябре 1943 года в поэме “Город снов”, абсолютно прямо указывая на свой путь от ирреального мира к реальному. Видеть и слышать мог каждый, кто желал этого, но говорить могли, безусловно, не все.

Когда он был пьян, то разговаривал с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Был у него излюбленный собеседник – почерневший карагач у ворот. Дерево было расщеплено надвое молнией.

Иногда он приходил к Анне Андреевне и читал ей отрывок из своих новых стихов.

Анна Андреевна тогда отодвигала свой стул в тень и молча слушала его.

Сегодня день рожденья моего.

– Ты разве жив?

– Я жив,

Живу в Дербенте...

Однажды я слышал, как он читал свою поэму “Белькомб”, одно из самых таинственных произведений его книги “Середины века”.

Там много неясностей, недомолвок биографических и исторических. Что привело поэта в этот курортный городок в Савойских Альпах и почему такая горестная интонация?

И, главное, откуда этот страх, нарастающий, как лавина, готовый поглотить весь мир:

И грохоча туманным колесом,
Пойдет лавина смертными кругами...

Страх завладевал вещами и душой мира. “И мертвые ходят ряд за рядом”... Как будто он один за всех “испугался”, пережил непобедимый страх. Он был в глазах Ахматовой одним из тех, кому пришла очередь “испугаться, отшатнуться, отпрянуть, сдаться...”.

Жара, жара, отчетливые гаммы,
Забиться бы, да запрещает совесть...

Видно, там, в Белькомбе, поэтом владело великое смятение. И началось оно еще до войны: “Ты думаешь, что я ищу покоя?... / Я очень осторожен, и за мною / Огромный опыт бедственного счастья...”^[450]

Бабаев размышляет над тем, что осталось в памяти пятнадцатилетнего юноши, приходившего на балахану к Ахматовой слушать стихи и говорить о поэзии.

В основу поэмы “Белькомб” легла, как это часто бывало у Луговского, конкретная история, превратившаяся в метафору. В 1935–1936 годах он с группой поэтов проехал по Европе с пропагандистскими поэтическими вечерами, которые должны были доказать заграничной интеллигенции и русской эмиграции преимущество советской жизни и советской поэзии. В поездке участвовали И. Сельвинский, С. Кирсанов, А. Безыменский. Во Франции Луговской познакомился с очаровательной переводчицей – Этьенеттой, с которой они поехали в горнолыжную поездку в Белькомб (маленькую французскую деревушку в горах). Там, буквально в нескольких метрах от них, сошла снежная лавина. Они чуть не погибли, и предчувствие гибели долго не оставляло поэта. Почти сразу он попал в автомобильную катастрофу и еще раз остро осознал границы жизни и смерти. Судьба Этьенетты оборвалась трагически. Участница французского Сопротивления, она погибла во время войны.

Но, разумеется, это была только внешняя канва поэмы. Ощущение, которое вынес поэт после поездки по Европе, было очень тревожным. Он видел и Англию, и Францию, и Германию, предчувствие грядущей катастрофы преследовало его. Но и в своей стране накатывало тупое, мертвое отчаяние жертвы, которую рано или поздно пустят под нож.

Книга, писавшаяся в Ташкенте, должна была начинаться поэмой “Верх и низ, или 1937 год”. Действие поэмы разворачивалось тоже в горах, но в горах Дагестана, где в уютном и тихом пансионате правительства в одну ночь арестовывали почти всех обитателей, в основном работников правительственного аппарата и их жен. Эти люди из дагестанского правительства, приехавшие в пансионат отдыхать. “Все кем-то преданы сейчас. А кто / Кем продан или предан – я не знаю, / Уж слишком честны, откровенны лица, / Кто на допросе выкрикнул неправду? / Судьба не в счет. Здесь все обречены”^[451].

Почему смерть отбирает одних и оставляет других, может быть, это просто наша вечная неподготовленность к смерти – ученика перед экзаменом. Почему мир в XX веке столь зыбкий, непостоянный? Случайно ли все происходящее с нами и где изгнанный нами Бог, незримо присутствующий в мире? – вот только часть вопросов, тревожащих героя в середине столетия.

В жизни поэтов трагедии играют особенную роль: через физическую и душевную боль художника доносится огромной силы истинный звук, прошедший сквозь его нервы и сердце. Отсюда произведения, рожденные “бездны мрачной на краю”. Это “Поэма без героя” Ахматовой – прощание с неспешным временем начала века, его героями, эпохой. Михаил Зощенко напишет не смешную, а пронзительно исповедальную “Повесть о разуме”, где на глазах изумленных читателей будет препарировать свой внутренний опыт, свои интимные тайны, делая это в надежде спасти не только себя, но и других от грядущей депрессии, отчаяния, которое охватит многих людей, психически и духовно не готовых вынести все тяжести, навалившиеся на их разрушенную войной жизнь.

25 июня 1943 года на балахане Луговской читал Ахматовой свою очередную поэму из “Середины века”. Может быть, это и был “Белькомб”, хотя утверждать наверняка нельзя.

Зоя Туманова простояла у двери Анны Ахматовой целый час, не решаясь войти, потому что там Владимир Луговской читал свои белые стихи из “Середины века”, – писал Бабаев. – Дослушав до конца, Зоя ушла потрясенная и написала замечательные белые стихи, начинавшиеся строкой: “Там было все, чем полон этот мир”^[452].

В архиве Луговского нашелся листок, написанный аккуратным детским почерком, со стихотворением, подписанным Зоей Тумановой 25 июня 1943 года. Начиналось оно не так, как написано у Бабаева, а несколько по-другому.

Вот лето воцарилось. Тяжкий зной.

И дни окрашены всего в три цвета:
Зеленый, синий и алмазный. Шумно,
Но шум не заглушает тишины.
В густую тень бросаешься, как в речку,
Прохладную, манящую... А выйдешь
На свет – и снова нестерпимый зной.
Был день такой. А я вошла во двор,
Чужой, невиданный ни разу в жизни.
Мне показалось – там красиво,
Впрочем,
Не знаю, не успела разглядеть.
По деревянной лесенке поднявшись,
Я услышала голос. Он читал
Какие-то стихи. И я застыла.
Войти не смея, не могла уйти.
В них было все, чем нынче полон мир:
Безвыходность сжигающего зноя
И музыкальность солнечных лучей.
Я слушала, не двигаясь. Они,
Хоть были и печальны, так звенели,
Что вдруг ужасно захотелось жить:
Писать стихи, мечтать, бродить под солнцем
И родину любить до самой смерти.
Все было тихо-тихо. Лишь поэт
Читал, невидимый и неизвестный мне.
Не знаю, много ль времени Прошло.
Он замолчал. Я в тот же миг очнулась.
Ступеньками не скрипнув, я Сбежала
По лестнице и снова окунулась
В прекрасный зной. Прохожие Смотрели,
Как я брела по мягкому асфальту,
Усталая, со странным выраженьем
Мучительного счастья на лице.

Метафорическое восхождение по лестнице в жилище поэтов и спуск в реальный мир обогащенной и счастливой прозвучит не только в детских стихах Зои Тумановой.

Светлана Сомова вспоминала: “Когда они с Ахматовой читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны Булгаковой, которая много помогала им обоим, – это был эстетический праздник”^[453].

Безусловно, Луговской преклонялся перед Анной Андреевной. Воспитанный с детства на стихах Блока, он много знал наизусть Гумилева и так же, как его друг Тихонов, был под его влиянием.

Трагедия его, кажется, состояла в том, – вспоминал Бабаев, – что он в 30-е годы придумал себе “лирического героя”, придав ему черты “героической личности”. Но при этом оставался элегическим поэтом, далеким от всех этих выдуманных идеалов “железного романтизма”.

Теперь он как будто искал снисхождения у Анны Ахматовой. Целовал ее руки, читал ей свои исповедальные стихи. Но она отмалчивалась. И только однажды, увидев, как Луговской вскапывал землю весной, после заморозков, когда зацвели деревья, сказала:

– Если вы хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского!

Луговской между тем перекопал уже не только грядки и цветники под окнами, но и добрую половину двора, уничтожив при этом кирпичные дорожки, которые потом пришлось перестилать заново.

А вечером его можно было увидеть на круглом чужом крыльце с наглухо заколоченной дверью. Он сидел на ступеньках, опустив крылья своего плаща, какой-то несчастный, чем-то потрясенный, как демон, в глубокой задумчивости^[454].

Никакой творческий кризис не мог сравниться с тем внутренним разладом, который был в душах советских художников. Растерянность и страх – главный мотив неофициальной, бытовой жизни литературы конца 1930-1950-х годов. В этих условиях возникала насущная необходимость нравственного авторитета, и, несмотря на изгнания, репрессии, смерти, в России на тот момент было два таких человека – Борис Пастернак и Анна Ахматова. Нельзя сказать, что они не боялись кровавой власти, но они, в особенности Ахматова, понимали, что такое власть, и старались держаться от нее подальше. Они сохраняли независимость суждений, честность и любовь к ближнему, продолжая жить не по советским, а по христианским заповедям.

Надежда Яковлевна Мандельштам в какой-то момент поселилась вместе с Ахматовой, 10 июня 1943 года она писала Кузину:

У меня сейчас новый быт. Лена в Москве. Женя в командировке в Узбекистане. Мы с мамой у них в комнате – в центре города, на той самой Жуковской, куда вы мне пишете.

Над нами живет Анна Андреевна. По утрам я швыряю ей камушки в окно, и она, проснувшись, идет ко мне завтракать. Хозяйство у нас общее, и живем мы хорошо. Для меня, конечно, это явление временное. Вернется Лена, и я отсюда выкачусь – и это обидно. Маме будет очень плохо с Женей и Леной. Я с ужасом жду конца идилии и благополучия^[455].

И спустя месяц:

Анна Андреевна ушла со своей приятельницей Раневской гулять. Я мыла голову. Сажу на втором этаже в Аниной скворешне. У нее живу. Вернулась Лена. Мама у них. С Женей ссорюсь в кровь. Т<о> е<сть> кровь бросается мне в голову, и я выкрикиваю какие-то страшные слова^[456].

И еще:

На втором этаже прелестнейшего домика в чудеснейшем дворике живет Анна. Я ее люблю. Нам вместе хорошо. Но она, наверное, скоро уедет в Москву^[457].

Все ждали и надеялись на скорый отъезд, война откатывалась все дальше. Можно было ехать в Москву и Ленинград, но необходим был вызов, так как города были еще закрыты. Надежда Яковлевна не надеется на вызов, очень тоскует в ожидании ее отъезда. Но он будет постоянно откладываться – из-за очередных болезней Ахматовой. В августе 1943 года, сразу после отъезда Пунина, который ненадолго заезжал в Ташкент, она неожиданно заболела детской болезнью – скарлатиной. И как это с ней бывало, тяжело.

Ахматова заболела скарлатиной, и шлейф из дам около ее дома исчез, – вспоминала Татьяна Луговская. – Я скарлатиной болела в детстве. Я скарлатины не боялась и из-за этого перестала бояться и Ахматову. Каждый вечер в назначенный час, когда темнело, Надя Мандельштам кричала сверху:

“Танюшо-о-ок!” Я снизу басом: “Надюшо-о-ок!” После этой переключки я отправлялась на балахану. Свет не горел. Электричество было в это время выключено, в комнате горела коптилка, ничего не было видно, мерцающий свет и тень клубились в комнате. Анна Андреевна лежала одетая на раскладушке. Темнота страшно ободряла, темнота скрывала ее строгие глаза и давала мне свободу. Не помню, что я рассказывала, помню только, что очень много смеялись. Несмешливая Анна Андреевна тоже смеялась^[458].

Татьяна Луговская после отъезда Елены Сергеевны жила вместе с братом на Жуковской. Во дворе их оставалось уже совсем немного. Ахматова снова заболела – на этот раз ангиной. Шла третья ташкентская осень – последняя. Весной 1944 года Анна Андреевна покинула город.

Уже в Ленинграде Ахматова записала в своих дневниках:

В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: я много и тяжело болела^[459].

Лестница. Вторая половина 1943 года

Нина Пушкарская, поэт и переводчица, у которой первое время жила Надежда Мандельштам, описывала новое жилище и легендарную лестницу:

Анну Андреевну переселили в более спокойный дом на улице Жуковского (Жуковской), 54, который пощадило даже землетрясение. <...> Крутая деревянная лестница с девятнадцатью шаткими

ступенями вела в просторную мансарду, разделенную на две комнаты. <...> Главную меблировку составлял большой дощатый стол на козлах и такие же грубые скамейки. Эту комнату Анна Андреевна назвала трапезной, хотя трапезы здесь были редки. Трапезная сообщалась с узкой комнатой-пенальчиком в одно окно. Там, вдоль перегородки, изголовьем стояла кровать. Поодаль, в углу, небольшой то ли стол, то ли тумбочка с маленьким зеркалом¹.

В дни болезни Ахматовой Татьяна Луговская записала за ней эпилог к “Поэме без героя” и, видимо, тогда же услышала рассказ о странной пьесе “Сон во сне”, действие которой происходило на лестнице, под лестницей. В пьесе причудливо перекликались герои, положения и интонации булгаковского “Мастера”. Присутствие Ахматовой в комнате “колдуны”, странная тень которой “стояла у порога”, несомненно, оживала в той пьесе.

Под лестницей ночью в душном восточном городе в третьем действии пьесы происходит суд над главной героиней.

Эту пьесу я помню очень смутно, – писал Э. Бабаев. – Там был такой эпизод – под лестницей. Секретарша стояла перед своим столом под лестницей, а за ее столом лежала раскрытая книга исходящих и входящих. Каждому, кто к ней подходил, она говорила: “Распишитесь!” – и, не оглядываясь, указывала в книге, лежащей у нее за спиной, нужную графу. Но к чему относился этот эпизод, я не знаю: пьеса была фантастическая, вроде “Мастера и Маргариты”^[460].

Название трагедии “Энума элиш” восходит к культовой трагедии или песне, основанной на вавилонском мифе о сотворении мира. Дословный перевод означает – “Когда вверху”, первые слова ритуальной песни, исполнявшейся во время празднования вавилонского Нового года.

Метафорический смысл названия “Когда вверху” для слушателей Ахматовой был очевиден, “вверху” находилась власть, которая всем распоряжалась.

В пьесе было три части: первая – “На лестнице”, вторая – “Пролог”, третья – “Под лестницей”. Писалась в Ташкенте после тифа в 1942 году, окончена на Пасху в 1943 году.

Главная слушательница пьесы Надежда Яковлевна Мандельштам описала ее в своих мемуарах наиболее ярко. Она присутствовала еще при зарождении замысла, до того, как пьеса была уничтожена.

Ташкентский “Пролог” (“Сон во сне”) был острым и хищным, хорошо утрамбованным целым. Ахматова перетасила на сцену лестницу балаханы, где мы вместе с ней потом жили. Это была единственная дань сценической площадке и формальному изобретательству. По этой шаткой лестнице спускается героиня – ее разбудили среди ночи, и она идет судиться в ночной рубахе. Ночь в нашей жизни была отдана страху <...>. Напряженный слух никогда не отдыхал. Мы ловили шум машин – проедет или остановится у дома? – шарканье шагов по

лестнице – нет ли военного каблука? <...> Но, ложась в постель, мы почему-то раздевались. Не пойму, как мы не приучились спать одетыми – несравненно рациональнее. И героине “Пролога”, то есть Ахматовой, не пришлось бы идти на суд в ночной рубашке. Внизу, на сцене, стоит большой стол, покрытый казенным сукном. За столом сидят судьи, а со всех сторон сбегаются писатели, чтобы поддержать праведный суд. У одного из писателей в руках торчит рыба голова, у другого такой же пакет, но с рыбьим хвостом. <...> Писатели с пайковыми пакетами и рукописями мечутся по сцене, наводя справки относительно судебного заседания. Они размахивают свернутыми в трубку рукописями (“Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба Архангела”). Они пристают с вопросами, где будет суд, кого собираются судить и кто назначен общественным обвинителем. Они обращаются к друг другу и к “секретарше нечеловеческой красоты”, которая сидит на авансцене за маленьким столиком с десятком телефонных аппаратов. Писатели демонстрируют секретарше свою готовность идти на суд и приветствовать все несомненно справедливые решения судей. Все распределение благ всегда проходит через секретаршу, следовательно, она лицо важное. В ее руках квартиры, пайки, дачи, рыбы хвосты и головы. “Секретарша нечеловеческой красоты” отмахивается от пайковых писателей и на все вопросы отвечает стандартной, но ставшей знаменитой фразой: “Не все сразу – вас много, а я одна”. У Ахматовой был отличный слух на бытующую на улицах и учреждениях фразу. Она их подхватывала и бодро употребляла: “Сейчас, сейчас, не отходя от кассы”^[461].

Открывается заседание. Весь смысл происходящего в том, что героиня не понимает, в чем ее обвиняют. Судьи и писатели возмущены, почему она отвечает невпопад. На суде встретились два мира, говорящие как будто на одном, а на самом деле на разных языках.

Драма была сожжена после возвращения в Ленинград. В своем странном фантазмагорическом тексте Ахматова почувствовала угрозу, ей показалось, что она пророчит себе, что не раз уже бывало, какую-то беду. Несчастье не замедлило явиться: вышло постановление 1946 года, где клеймили ее и Михаила Зощенко; был вновь арестован бывший муж Николай Пунин и сын Лев Гумилев.

Ремарка к третьей части “Под лестницей”: “Перед упавшим занавесом с грохотом съезжаются половины большого стола под зеленым сукном. На столе графины, стаканы, карандаши, блокноты и т. д.

Выходят (отовсюду) участники собрания и садятся за стол. Из-за железного занавеса выходит Х. Она в ночной рубашке, длинные темные волосы распущены, глаза – закрыты.

Вносят портрет Сталина и вешают (ни на что, просто так) на муху. Портрет от ужаса перед оригиналом держится (ни на чем) на мухе. Призраки в окнах театра падают в обморок.

Вбегает сошедший с ума редактор с ассирийской бородой. Ему кажется, что телефонная трубка приросла к его уху и его все время ругает некто с грузинским акцентом”.

В цикле “Новоселье”, посвященном Ахматовой жизни на Жуковской, есть стихотворение, явно написанное под впечатлением от приезда Николая Пунина в сентябрьские дни в Ташкент.

Пунин делился впечатлениями от той поездки с Харджиевым, их общим другом, находящимся в Москве, и писал ему, что месяц назад был в Ташкенте у Анны Андреевны и прожил в ее доме восемь дней “в полной дружбе”. Писал, что они все простили друг другу.

Пунин выехал из блокадного Ленинграда больным дистрофией, с ощущением близкой смерти; все счеты, взаимные обиды заслонило огромное общее горе, та любовь, которая была между ними и, видимо, еще тлела в душе Пунина. Ему очень неприятно было, когда Ахматова говорила о Гаршине “мой муж”, он писал в дневнике, что, наверное, она говорит так специально, чтобы показать ему, что между ними уже ничего невозможно, и чувствовалось, что слова эти он пишет с нескрываемой горечью.

Встреча

Как будто страшной песенки
Веселенький припев
Идет по шаткой лестнице,
Разлуку одолев.
Не я к нему, а он ко мне —
И голуби в окне...
И двор в плюще, и ты в плаще
По слову моему.
Не он ко мне, а я к нему —
Во тьму,
Во тьму
Во тьму.

Возможно, что в этом загадочном стихотворении Ахматовой спуск по лестнице вниз – спуск в некий уже отдаленный во времени “подвал памяти”, возврат к прошлому.

“Песенка страшная”, “лестница шаткая”... Они случайно встретились с давним мужем и возлюбленным на этой лесенке, и, возможно, только на мгновение.

Дети и подростки

В Ташкенте жили дети писателей, поэтов, ученых, просто эвакуированных. Многие из этих детей и подростков сами стали талантливыми поэтами, писателями, учеными. Дух той ташкентской жизни они не забыли никогда.

В Ташкенте существовала такая организация - ЦДХВД - Центральный Дом художественного воспитания детей. Сокращенно: вездеход, - писал Э. Бабаев. - Здесь, в этих залах и кабинетах, на площадках под деревьями, собирались маленькие музыканты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и поэты. Их искали и находили по дворам, по школам. Вездеход попевал повсюду, видел и слышал всех. Он был спасателем, наставником, верным другом, был нашим Лицеем.

А помещался он в правом боковом флигеле Дворца пионеров, занимавшего настоящий дворец великого князя. Здесь устраивались театральные и литературные вечера^[462].

В этом Дворце пионеров преподавала Лидия Корнеевна Чуковская, она занималась с детьми литературоведением. Надежда Яковлевна Мандельштам преподавала иностранные языки, а Татьяна Александровна Луговская - рисунок и живопись. В письме Малюгину Татьяна Луговская писала еще в начале 1942 года:

Работаю я в одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное "разбогатение" объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности^[463].

Не известно, встречался ли с Татьяной Луговской в Доме пионеров будущий поэт Валентин Берестов, который попал в Ташкент мальчиком. В дальнейшем он стал очень близким другом Татьяны Луговской и ее мужа Сергея Ермолинского, а жена Берестова, детская художница Татьяна Александрова, была ее ученицей.

В Ташкенте Валентин Берестов вел дневники, которые потом стали основой книги воспоминаний. Вместе с Эдуардом Бабаевым, будущим известным литературоведом, автором книг о Толстом, они ходили в кружок к Лидии Корнеевне и Надежде Яковлевне. Потом занятия были перенесены на балахану, где началась дружба мальчиков с Ахматовой. Валентин Берестов в Ташкенте страдал от дистрофии и много болел. Его спасло знакомство, а затем дружба с Чуковским.

Меня с помощью Чуковского подкормили, вылечили, обули, зачислили в лит. кружок и вместе с юными художниками, питомцами Абрама Эфроса и Елены Михайловны Фрадкиной, <... > и двумя школьниками, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зоей Тумановой, передали в ЦДХВД. Там дали нам карточки в столовую, 200 рублей стипендии и двух преподавательниц. Одна из них - Лидия

Корнеевна Чуковская, румяная, с юными сияющими близорукими глазами, но совсем седая. Мы не знали, что ее мужа расстреляли, а брата убили на фронте. <... >

Другая преподавательница – Надежда Яковлевна Мандельштам. В кожанке, носатая, быстрая, с вечной папиросой во рту. Похожа на нестарую и, скорее, добрую Бабу-Ягу. В пустом классе школы имени Шумилова, арендованном ЦДХВД, она усадила нас троих за столы: “Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обязана заниматься с вами, а то останусь без карточек на хлеб и без зарплаты. Получать их зря не хочу. Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не помешает. Какой язык хотите изучать?”^[464]

Надежда Яковлевна на выбор предложила им французский, немецкий, английский. Они решили изучать английский язык.

Некоторое время к Надежде Яковлевне ходил и Мур Эфрон. У нее Бабаев и Берестов познакомились с этим необычным юношей, который, однако, близко ни с кем не сходиллся. Иронично и зло в мае 1943 года он пишет об этих занятиях:

Зашел в литкружок при ЦДХВД, руководимый женой – кажется, первой – Мандельштама. Это женщина – длинноволосая, с выдающимися скулами, с толстенными губами и кривоногая. Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я смеюсь: поэтический мотоцикл!). Бесконечные разговоры о стихах, искусстве, жизни, войне, родине, чувствах, культуре, прошлом, будущем, чести... Уф! И все это с большой буквы. Неизлечимая интеллигенция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я ненавижу все эти словопрения; только опыт жизни, жизненная практика может чему-либо научить, а говорить с 16-18-летними детьми о таких материях – пустое и ненужное дело. И я стараюсь придать легкий тон всем этим нелепым заседаниям, пуская шутки, остря и смеясь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать, – и мой легкий скептицизм, и природная склонность к иронии всегда разряжают атмосферу^[465].

Будто Печорин писал эти строки. И что за ирония судьбы, именно пресловутый “опыт жизни, жизненная практика” унесут этого злого подростка.

17 августа 1942 года, за год до описываемого похода в кружок, не успев еще узнать смешных интеллигентных мальчиков, он писал сестре еще более жесткие строки:

У меня окончательно оформилась нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел несколько очень отталкивающих черт: невежество, грубость, пренебрежение ко всему, что вне своего “молодежного” круга интересов. Молодежь просто уродлива^[466].

И все-таки Эдуард Бабаев и Валентин Берестов считали Мура своим товарищем и даже пытались выпускать с ним рукописный журнал под названием “Улисс”.

Нас было трое, – писал Бабаев. – Встретились, познакомились и подружились мы во время эвакуации в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий Эфрон, или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались книгами, спорили, когда и где откроется второй фронт. Мур написал статью о современной французской поэзии, которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и обещал напечатать в журнале “Новый мир”. Валентин Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слушала вся ташкентская эвакуация. А я, начитавшись “Римских древностей”, сочинял роман из античной истории. <...>

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом. Здесь можно было бы собрать материалы для добрых десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над моими иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет еще другое наименование и в просторечии называется “лепрозорием”. <...> Но смех его был невеселый. Он был похож на Подростка из Достоевского, потрясенного неблагообразием какой-то семейной тайны. И в доме писателей, на “Олимпе” или в “лепрозории”, он был одинок. Я видел, как он медленно, как бы нехотя, поднимается по лестнице в свою фанерную комнату^[467].

Мур покинул Ташкент 27 сентября 1943 года, а в конце мая 1944 года его отправили на Западный фронт.

В конце апреля 1943 года, – вспоминал Валентин Берестов, – Надежда Яковлевна Мандельштам перенесла занятия английским языком из школы имени Шумилова на Жуковскую, 54, где они с Ахматовой теперь поселились. (Тут закралась небольшая неточность, потому что Ахматова появится на Жуковской только после отъезда Елены Сергеевны, то есть в самом конце мая, а сама она в дневнике указывает 1 июня, что, видимо, и соответствует действительности. Надежда Яковлевна жила тогда с больной матерью на Жуковской и звала детей заниматься на дом, так как не могла ее оставить. – Н. Г.) Их новое жилье (сначала они жили вверху, на так называемой “балахане”, потом внизу), – продолжал Валентин Берестов, – было неподалеку от школы. Весь апрель три ташкентских школьника-стихотворца, стипендиаты ЦДВХД Эдик Бабаев, Зоя Туманова и я, проявляли невероятные успехи в английском^[468].

Вниз Ахматова переехала, видимо, в начале декабря, Луговские выехали из Ташкента из своих двух комнаток 1 декабря 1943 года.

Братья Айтаковы

За несколько лет до войны в Ташкенте оказались братья-близнецы Айтаковы – Зелили и Эдуард, дети репрессированного в 1937 году председателя ЦИК Туркмении Недирбая Айтакова. Сразу же после ареста отца была арестована их мать Мария Осиповна Жилина, окончившая в Ташкенте медицинский институт. Братьев, за которыми пришли энкаведэшники, – а им было всего шесть лет – спасла русская бабушка, спрятавшая мальчишек под своей огромной юбкой, где они и просидели несколько часов, пока их искали. Бабушка отправила братьев в Ташкент к сестре матери Раисе. Перед самой войной дети, закончившие с похвальными грамотами первый класс, решили показать их матери, в тюремном вагоне проезжавшей мимо Ташкента в Карлаг, но охранники отогнали мальчиков от проходящего поезда.

Теперь братья – известные хирурги. Записывая рассказ одного из них – Эдуарда Айтакова – о ташкентском детстве на улице Карла Маркса, я не могла отсечь историю послевоенной жизни братьев с матерью в Карлаге.

Отвезла нас к себе мамина старшая сестра, она была просто бухгалтер. Привезла нас в Ташкент, где были две огромные комнаты, с высокими потолками – каждая по 29 метров, и коридор – 20 метров. Но никаких удобств, ни туалета, ни отопления, правда, были голландские печи. В начале века в Ташкенте жил Великий князь, брат Николая (Николай Константинович, считавшийся слабоумным), у него был большой, очень красивый дворец, расположенный недалеко от нас, из него сделали Дворец пионеров. Там было очень много прекрасных картин. Верещагин, например. Мы с братом туда ходили и слушали все лекции. На нашем доме стояла дата – 1902 год, и в нем когда-то жила вся челядь Великого князя. А двор был такой – одни ворота для дома № 5 и для дома № 7 по улице Карла Маркса. В доме № 7 помещалось афганское консульство, и жило много афганцев.

Мы с братом писали десятки писем – дорогому всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин. И соседи писали, у которых были посажены родственники. Потом одну из наших комнат отобрали. Подселили к нам какого-то алкоголика с тетей Зиной, который въехал в дом на кровати, лежа пьяным, и всю ночь матерился. Мы эти фразы запомнили и стали утром их произносить, а соседи стали отворачиваться. Но мы играли в шахматы, ходили во Дворец пионеров, где был хороший директор – Лидия Андреевна, теплая, русская женщина, чего нельзя было сказать об учителях. Полина Семеновна называла нас “детьми врага народа”. В футбол мы гоняли с утра до вечера и в войну, конечно, играли, камнями бросались, разбивали головы, играли в войну.

Когда началась война, то все сразу в один день стали мрачными, молодых ребят тренировали на Красной площади, и мы им подражали. Сделали себе две палки и ходили за этими солдатиками и пели с ними песни. Очень часто приезжал к ним генерал армии Иван Ефимович

Петров, который потом стал командовать 4-м Украинским фронтом, оборонявшим Севастополь. Его страшно ненавидел Сталин. А ненавидел, потому что тот был интеллигентным, порядочным. Его очень любили узбеки. И вот мы так ходили с ними, ходили, а потом остались вдвоем – в грязь, в слякоть, в дождь, в снег – маршировали, пока нас заметил фронтовик один – Штырь, он и отвел нас во Дворец пионеров. Во Дворце пионеров мы организовали юную армию. Нам пошили форму, мы организовали с братом больше тысячи человек по 30 взводов: 29 мужских и 1 женский. Там нас учили стрелять, разбирать ружья. И когда мы выходили на улицу, вот эти 30 взводов по 40 человек, и начинали петь “Вставай, страна огромная”, все замирали и плакали. В Ташкенте было столько беспризорных детей, сколько сейчас во всей России. И вот однажды мы увидели, как уезжают все эти афганцы из дома, а когда они выехали, мы пошли по комнатам посмотреть, что осталось, нашли маленькие афганские игрушки. Потом в них был ремонт, это было два двухэтажных дома старой постройки. И вот приехали писатели. Мы были рады новым людям, и вышли их встречать. Я помню, что первый приехал Сергей Городецкий вместе со своей дочерью, она нам очень понравилась, может, это детское воспоминание, но она нам показалась очень красивой. И они нас с братом сразу пригласили, мы им сказали, где у нас что. Где книжный магазин, их это интересовало. Они говорят, а молоко? Мы говорим, будет молочник приходить. Один будет кричать: “Кислый, пресный молоко”, а другой более интеллигентный – будет говорить: “Молочник. Молочник”. И тут же начали приезжать все остальные. Большая шевелюра, по-моему, Лебедев-Кумач. На втором этаже жил писатель Бородин, помню его дочку и жену. Были две семьи Левиных, один из них морской офицер. Помню, что приходил туда очень часто Корней Чуковский. Как-то мы с братом сажали помидоры, хотя они у нас никогда не созревали, а мы все равно их сажали; он взял мою руку в свою, а у него рука большая и пожал ее: “Славы вам желаю, славы”. Очень хорошо помню Ахматову и ее тень – Раневскую. Анна Ахматова жила на втором этаже, у ее комнатки окна выходили и в наш двор, и в соседний, уже далекий двор, к которому вход был с другой стороны улицы. И вот помню, что она носила вуаль и у нее на руках была муфта; приехали они все зимой, в октябре-ноябре. Зима была очень холодная – 24 градуса мороза, что редко для Ташкента. Туалета не было. Туалет – это была выгребная яма во дворе. Когда вывозили содержимое, запах на весь двор стоял на дня два-три. Вывозили все ночью. Водопровод был – одна колонка на два двора. Воду надо было таскать на себе. Бани работали очень далеко. А народу было! Обычно во всем Ташкенте 500 тысяч, а к этому моменту как минимум – 3 миллиона человек. Мы ходили в школу напротив Красной площади, входить надо было в арку через ступеньки. Арка была широкая, метра полтора-два шириной. И вот здесь рано утром, часов в восемь, проезжали огромные арбы и туда

грузили трупы замерзших. Люди замерзали ночью. Им негде было жить. Их бросали, как кули, со словами: “Илькиуч!” – “Раздватри!” И они падали, как чурки.

И помню, когда к нам подходили Раневская и Ахматова, они держались немного отчужденно от всех, мы слышали, как дети кричали Раневской: “Муля!” (Это из “Подкидыша”.) Но мы не кричали так никогда!

Лучше всех к нам относилась семья Лидина. Это была светлая, порядочная семья с очень милой дочерью Леночкой. Она не была красавица. Как все высокие женщины, немножко сутулилась. Видя, как мы голодаем, приносила нам белый хлеб, который мы не ели уже года два. Приносила прекрасные французские булочки, колбасу. Она подарила нам очень много книг: “Войну и мир”, “Наполеона” Тарле и многие другие. Мы прятали их за печкой, которая топилась саксаулом (азиатский уголь). Писатели жили у нас во дворе два или три года. 15 мая 1945 года я сижу дома и пою “На сопках Маньчжурских...”, открывается дверь и появляется женщина в черном плаще, и я только спустя 8 лет сказал ей: “Мама”. Она прилетела из далеких казахских лагерей, ее отпустили, чтобы взять нас. Она сидела в знаменитом Карлаге, который по территории был более полмиллиона километров. В нем сидело очень много известных людей. Там был Солженицын, пела Русланова и ее ученица Иванова и многие другие. Мы жили при больнице, за стеной оперировали, и мы слышали крики больных. Из водопровода текла соленая вода. Мамина работа на поселении (она уже отбыла срок) состояла в том, что она вскрывала трупы в яме, хотя была терапевтом. Она вскрывает и говорит санитару: а что это собаки подбежали сюда? А это не собаки были, а волки, они сидели на краю ямы и чувствовали запах крови. И настолько их было там много! Ночью в полнолуние мы видели на стогах для топки, как они сидят на них и воют. Диагноз почти у всех умерших был один: дистрофия. Как-то мы с мамой поехали по далеким участкам проверять работу и возвращались оттуда, когда уже стемнело, мы ехали на санях, и нас окружили волки. Мама встала на колени и начала бить лошадь, а та бежит, пена бьет вовсю. А волки все ближе и ближе. К счастью, у нас оказались спички, под нами было сено, и мы это сено накручивали и кидали, они сразу отбегали метров на сто в сторону и метров пятьсот давали нам еще проехать. А потом снова приближались. Гнались они за лошадью. А если бы они лошадь съели, то за это – под суд, и опять – срок. Так мы и въехали прямо в лагерь, который охранялся огромными псами. Но волки тоже вбежали в лагерь и по нему разбежались^[469].

Жалобы Фадееву

Письма-мольбы, письма-просьбы Фадеев в секретариат с начала 1942 года получал сотнями. Среди них истории по-настоящему страшные, когда люди попадали в далекие забытые поселки, без электричества, и буквально погибали вдали от цивилизации. Указ НКВД о том, чтобы эвакуированных назад в Москву не пускать, все равно любыми способами старались обходить. Квартиры заселялись многочисленными беженцами, которые не только занимали площади, но и беззастенчиво пользовались вещами: жгли книги, рукописи, брали все, что хотели. Но проблема была и в том, чтобы заново прописаться на оставленную площадь. А квартирный вопрос в Советском Союзе продолжал оставаться самым острым. И это тоже вынуждало эвакуированных стремиться в Москву.

Ольга Колесникова, секретарь партийной организации Чистополя, в отчаянии спрашивает Фадеева о том, имеет ли НКВД отношение к тому, что ее не пускают в Москву. Может, она в чем-то провинилась? Положение ее было безвыходным. На ее руках – неизлечимо больной туберкулезом сын, сама она еле жива. Она молит его о возможности выехать, взывая к прежней дружбе. Фадеев выражает удивление по поводу ее вопроса об НКВД, он раздраженно отвечает:

12.10.1942- Несмотря на ряд самых строгих указаний, которые я имею от директивных органов о недопущении какой-либо реэвакуации писателей в Москву, писатели и члены их семей так и прут. Должен предупредить, что очень многие из них так и не прописались до сих пор, или возвращаются обратно, либо испытывают сильные мытарства в Москве^[470].

Исаковский 30 ноября пишет Фадееву о том, что писатели, живущие в Чистополе, возмущены поведением секретаря писательской парторганизации Колесниковой, которая “бежала” из Чистополя, бросив парторганизацию. О. Колесникова была главным редактором чистопольской “Прикамской коммуны”. Колесникова умерла вслед за своим сыном, не успев дожить до победы.

Фадеев жаловался, что буквально истерзан материальнобытовыми делами писателей. Когда им разрешили вернуться из эвакуации, он должен разбираться с их квартирами, занятыми беженцами, обеспечивать семьи карточками. Система была устроена так, что все замыкалось на одном человеке, и оттого он превращался в глобального администратора, от которого зависела жизнь.

Фадеев в письме к Исаковскому от 11 января 1943 года объяснял свои распри с литераторами:

Писатели в кавычках, которые жалуются на то, что я не давал им вызова летом, не понимают, что положение в Москве и в продовольственном отношении, и в квартирном очень нелегкое, и просто не хочется обходить решение директивных органов для людей, которые не умеют и не хотят работать. Мне приходилось иногда давать командировки для выезда в Москву и членам писательских семей, и

членам семей сотрудников правления Союза писателей. Но я это делал только в тех случаях, когда писатель или работник Союза настолько сам зарекомендовал себя работой, что не было никакого основания не пойти ему навстречу в вызове его семьи. Но большей частью как сами писатели, так и члены их семей ухитрились приехать без всякой нашей помощи, используя всевозможные каналы. К сожалению, и эти также валяются на нашу голову. А основная беда, конечно, в том, что очень и очень многие писатели привыкли жить относительно легким, малоквалифицированным, побочным литературным заработком, который в условиях войны и эвакуации стал совершенно невозможен. Люди бедствуют. Ищут виновников своего бедствия, и, естественно, таким виновником, на котором можно отвести душу, является руководитель Союза писателей в лице тов. Фадеева^[471].

Пастернак ощущал нелепость такого рода отношений: литературный начальник и подчиненный поэт. И он обращается к Фадееву сразу после возвращения в Москву.

Дорогой Саша! Это ужасно, что у нас отдельный человек в ответственном отношении ничего, а организация – все, что я в ССП, а ты его глава, что после разорения мне приходится начинать жизнь сначала. Ты не можешь себе представить, как мне неприятно к тебе обращаться. Только вчера выселили зенитчиков, это помощь Щербакова, которому я написал снова. Но нельзя его беспокоить так часто. Нет просьбы, которые заключали столько хлопот, как квартирные^[472].

В ожидании вызова. Конец 1943 – начало 1944 года

Перелом в войне, который наступил после победы в Сталинградской битве, привел в движение эвакуированных в разных концах страны. Все мечтали об отъезде домой.

Только и слышно было друг от друга, кому и когда прислали приглашение в Москву.

Надежда Яковлевна горестно пишет Борису Кузину 29 августа 1943 года:

Уедет Анна Андреевна, уехали более или менее все, с кем мы здесь водились. На днях уезжает Раневская – киноактриса. Приятельница Анны Андреевны, которая вначале меня раздражала. Сейчас нет. Она – забавная. Показывает всякие штучки. Остается только слонообразная дочь Корнея Чуковского. Это омерзительное семейство, и дочь, вместе с которой я служу, меня сильно раздражает, главным образом за то, что

очень высоко держит знамя русской литературы, чести, доблести и пр., а при этом... Ну ее к черту^[473]1.

Перепад в настроениях Надежды Яковлевны, как обычно, был очень сильным, от симпатий к антипатиям, она легко попадала под власть интриг и наговоров, и ее отношение к человеку могло изменяться кардинально. Трагическая атмосфера подозрительности, поиск сексотов среди дальних и ближних делали свое дело.

В середине 1943 года Надежда Мандельштам переживала тяжелейший разлад с братом и его женой; их мать все более теряла разум, говорила, мечтала только о еде.

Мама очень слабеет, – писала она своему другу Б. Кузину. – Это – тень. Крошечный комочек. Сердце сдает. Ноги опухли. <... > Наш способ жизни – 1-2 карточки в столовые – и живем “обедами”. Так живут почти все служащие. Так живу и я. Я из кожи лезла, чтобы прокормить маму. Но мама голодала. У нее голодный понос, распухшие ноги.

Женя получал писательские пайки – у него не столовые, а дома обед. У него десятки килограмм овощей, рису, мясо. Всю зиму – масло, фрукты.

Я с удивлением убедилась, что он ничего не дает маме. Я говорила, напоминала. Он объяснял, что Лену это нервирует

<...>.

Чтобы не расстраивать себя неприятным зрелищем, он не ходил к маме. Он был у нее 3-4 раза за полгода, что я живу отдельно (очень далеко на окраине). Я говорила, что мама голодает, но они с Леной не верили – Лена просто кричит, что она жадная старуха. Они откупались от меня: после службы я бегаю по урокам. 2 раза в неделю в течение четырех месяцев (с ноября – после болезни Анны Андреевны) – я ночевала у них, и они меня кормили обедом. <... >

Мы жили без мыла. Мама вшивела, болела. Меня буквально спасала моя хозяйка – Нина – и едой, и заботой. <... >

Я всегда очень любила Женю.

Что мне делать?

Мама непрерывно требует еды. Она, в сущности, впала в детство^[474].

Трагически различались две семьи, Хазиных и Луговских, по отношению к умирающим матерям. Н.Я. Мандельштам приехала в Ташкент с матерью, надеясь на поддержку брата, которого очень любила. Сама она беспрерывно работала, жила первое время на окраине города у переводчицы Нины Пушкарской. Ей приходилось бегать из Дома пионеров кормить больную мать и после этого возвращаться обратно. Возможность жить на Жуковской, да еще приводить учеников непосредственно в дом несколько облегчала жизнь. Но Евгений Яковлевич Хазин с женой были людьми бездетными и очень эгоцентричными. Елена Михайловна любила знаменитостей, в Москве держала небольшой салон, пыталась и в Ташкенте вести

светскую жизнь. Но приехала больная старуха, возникла необходимость делиться пайком. Надежда Яковлевна 8 сентября пишет Борису Кузину:

Пишу кратко. Вот положение. Мама лежит. Она медленно умирает. А после этого она сидит, ест, живет. Сейчас уже почти не говорит. Отходить от нее нельзя хотя бы потому, что она не умеет сама садиться на горшок.

Анна Андреевна уезжает в Москву в конце сентября одновременно с Женей и Леной. Все москвичи уже уехали.

Скоро я останусь в Ташкенте одна^[475].

Мама Е.Я. Хазина и Н.Я. Мандельштам умерла спустя десять дней.

Она не болела, а угасала. Звала меня. Была совсем холодная, и мои руки обжигали ее. <...> Боже, Борис, как мне скучно без нее. Пусто и скучно. А ведь она ничего не понимала. Была совсем как ребенок. Уже давно^[476].

Похоронив ее, Хазин с женой уехали, у Н.Я. Мандельштам, фактически ссыльной, не было никакой надежды на вызов в Москву.

А Луговской писал свою книгу с каким-то невероятным упрямством и надеждой закончить ее именно здесь.

Татьяна Луговская писала Малюгину 1 октября 1943 года:

Брат мой загуливает понемножку, что не мешает ему быть довольно милым парнем и писать (написал уже больше 20 глав) интереснейшую поэму. Просто даже, мягко выражаясь, очень большая и талантливая вещь^[477].

Луговской радостно сообщил Тамаре Груберт:

Живу я, благодаря Бога, сносно и работаю много в кино для дела, над поэмой для души. Поэма гигантская, она теперь уже в 21 раз больше “Жизни”, а конца еще не видно. Такого творческого прорыва еще не испытывал. <...> Пишу сейчас самое лучшее, самое человеческое и подлинное, что мне дано за всю мою жизнь, – поэму “Книга Бытия”. Написал 19 глав. Будет 50 глав. Живу как птица, но судьба милостива еще^[478].

Эдуард Бабаев писал, что однажды Луговской пришел к Ахматовой в неурочный час из-за того, что в Ташкент приехал его младший друг, ученик и соратник и будто бы не захотел его видеть. Что расстроило Луговского до слез. Тут, безусловно, имелся в виду Константин Симонов. Правда, непонятно, о каком приезде шла речь, так как в архиве сохранилась телеграмма Симонова из Алма-Аты с просьбой встретить его на вокзале в Ташкенте. “Приезжаю – семнадцатого – новосибирским если можешь – встретить – Симонов”. Впрочем, все возможно. Бабаев рассказывает, как нетрезвый Луговской пришел к Ахматовой с томиком Пушкина в руках. Он читал перевод из Горация:

Кто из богов мне возвратил

Того, с кем первые походы

И браней ужас я делил,

Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил.

Это было похоже на какую-то исповедь, с раскаянием и торжеством над своей судьбой.
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросаю щит,
Творя обеты и молитвы.

Луговской задыхался, когда повторял эти страшные строки: “Как я боялся, как бежал...”

Он стоял в дверях комнаты Анны Андреевны, а со двора его окликала Светлана Сомова <...>.

Луговской захлопнул книгу и сказал:

– Вот что я должен был написать!

Но когда Луговской ушел, Анна Андреевна сказала, что такие стихи пишут только очень сильные люди. <... >

Потом она говорила о коварной роли “лирического героя” в жизни многих поэтов 20-30-х годов. И, между прочим, вспоминала статью Иннокентия Анненского “Мечтатели и избранники”, где сказано: “Кроме подневольного участия в жизни, каждый из нас имеет с нею, с жизнью, чисто мечтательное общение”.

Кажется, мысль Анны Андреевны состояла в том, что среди поэтов-воинов “избранником” был Гумилев, у которого оказалось много подражателей. Луговского она как будто относил к числу “мечтателей” с горестной судьбой^[479].

Ахматова, видимо, многое понимала именно в психологическом складе поэта и не могла обмануться ни внешностью, ни словами. Луговской был поэтом нервического склада: начиная с середины 1920-х годов в своих письмах он постоянно жалуется на нервные болезни, ездит лечиться на юг от расстройства нервов. Походы, путешествия, резкие перемены в жизни были попыткой придать себе тот облик поэта-воина, о котором говорила Ахматова.

У Луговского горестная мечтательность лирика, “унижающего”, по словам Гумилева, “душевной теплотой”, прорвалась до войны в цикле стихов “Каспийское море”, в “Алайском рынке”, придав абсолютно иное направление его жизни и творчеству.

Со своим нехитрым уютом прощался Корней Иванович Чуковский 26 января 1943 года:

Прощай, милый Ташкент. Моя комната с нелепыми зелеными занавесками, с шатучим шкафом; со сломанной печкой, с перержавелым кривобоким умывальником, с двумя картами, заслоняющими дыры в стене, с раздребезженной дверью, которую даже не надо взламывать, с детским рисуночком между окнами, выбитым стеклом в левом окне, с диковинной форточкой, – немыслимый кабинет летом, когда под окном галдели с утра до ночи десятка три одесситов^[480].

В Москве его ждет удар: в газете “Правда” о его сказке “Одолеем Бармалея” выходит статья П. Юдина “Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского”. Основанием для разносной статьи послужила вовсе не сама сказка, а донос художника П. Васильева. Он был соседом Чуковского в Москве, автором серии рисунков из жизни Ленина. Как-то по-соседски он зашел к Чуковскому, а на столе у того лежала “Правда” с репродукцией картины Васильева “Ленин и Сталин в Разливе”. Чуковский и сказал: “Что это вы рисуете рядом с Лениным Сталина, хотя все знают, что в Разливе Ленин скрывался у Зиновьева?” Васильев побежал прямо в ЦК и донес об этом разговоре, Чуковского вызвал Щербаков, кричал на него, матерился, топал ногами. Хорошо, что дело закончилось только разносом в “Правде”, а не чем более серьезным.

Перед отъездом Татьяна Луговская заболела: “Я опять больна (это превратилось уже в привычку). В самом деле, я соревнуюсь с А. А. Ахматовой, с которой мы, к слову сказать, подружились. Это была, пожалуй, одна из самых трудных побед в моей жизни”^[481], – писала она 21 ноября 1943 года Малюгину.

На прощание Ахматова подарила Луговской свою книгу, вышедшую в Ташкенте, – “Избранное”. На ее титуле было написано: “Милой Татьяне Александровне Луговской – на память о карантинных вечерах на знаменитой балахане – Дружески – Анна Ахматова. 29 ноября 1943. Ташкент”^[482].

Луговские пытались добиться получения пропусков, что было непросто, судя по тому, что телеграммы Фадееву шли с середины 1943 года, а отъехать они смогли только 1 декабря 1943 года.

“Телеграмма. Ташкент Жуковского 54 Луговскому Москвы 11.07.43.

Ближайшее время добудем пропуск тебе семьей срочно телеграфь имя отчество фамилию год рождения татьяны поли сердечный привет = фадеев”^[483].

“Телеграмма: Ташкент. Первомайская 20. Союз писателей. Луговскому. Москвы. 15.08.43.

Получением пропусков Москву обратитесь местные органы милиции куда главным управлением милиции Москвы дано, распоряжение = Фадеев”^[484].

Уезжая из Ташкента в Москву, – вспоминала потом Елена Леонидовна Быкова, – Луговской увозил дорогой подарок, который сестры <Яковлевы> сделали ему на прощанье. Это были десять записных книжек, переплетенных в ситец для чехлов.

“На эти книжки они не пожалели целого чехла с моего любимого кресла, а вы жалеете мне какой-то паршивый рукав со своей кофточки”, – говорил Луговской, требуя с меня очередную записную книжку.

“Вы видите эти цветочки – желтые, красные? Они как бы танцуют, и радуют, и согревают, – указывал он на выцветший ситец. – Когда я их беру, то вспоминаю Ташкент, сестер, их дом, тепло, их доброту. Я доверяюсь этим книжкам, как друзьям”^[485].

Всю войну Татьяна Луговская звала Малюгина в Ташкент, а он был то в Кирове, то в Ленинграде, то на фронте; звала не потому, что любила его, а просто нуждалась, хотя бы ненадолго, в его надежности, влюбленности, в восхищении. Один раз он попал в Алма-Ату, но до Ташкента так и не доехал. Может быть, благодаря этому Татьяна Луговская так красочно писала ташкентскую жизнь, чтобы он мог посмотреть на все ее глазами.

Татьяне Александровне удалось увидеть Малюгина в кинохронике, посвященной ленинградскому Большому драматическому театру. Театр со спектаклями приехал в блокадный город. Это запечатали, и многие ташкентцы получили возможность увидеть родной город. Татьяна Александровна смешно рассказывает, как один за другим выплывали в хронике лица известных всем режиссеров и актеров.

В последних письмах из Ташкента Татьяна Луговская дарила Малюгину свой Ташкент, который он так и не увидел.

И все-таки я вас столько ждала. По совести говоря, я кончила вас ждать только 3 дня назад. Ну, ладно, и не надо. И не приезжайте, пожалуйста. И вы не увидите Ташкента. Не увидите улиц, обсаженных тополями, дали, покрытой пылью, верблюдов – по одному и целый караван, звездного неба, полушарием покрывающего землю, нашего двора, убитого камнем, кота Яшку, бывшего еще недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка, вынутый из воды, душа, с проломанной крышей, под которым течет арык, еще много арыков, хозяйственную и сердитую Полю (впрочем, в последнее время заметно притихшую, т<ак> к<ак> у нее украли сумку с паспортом и всеми нашими карточками и пропусками), помидоры величиной с детскую голову, загулявшего Луговского, нашу соседку-стерву, узбечек в паранджах, Алайского базара, “старого города”, мои этюды, солнца, от которого можно закуривать папиросы, хмеля на наших окнах, скамейку в парке, на которой я писала вам

письма, мангалы, дымящие днем и волшебные по вечерам, москитов и мух, величиной с наперсток, луну, словно взятую из плохого спектакля, скорпионов, ишаков, виноград 20 сортов (правда, очень дорогой, но красивый), белую собачку Тедьку, которая кусает почтальонов и которой кто-то аккуратно и в абсолютно трезвом виде красит брови черной краской, тихое и прохладное ташкентское утро, телеграф, с которого я отправляю телеграммы, розовые стены и голубые тени в переулках, коз на всех улицах, ботанический сад и зоосад, где есть 3 дохлых крокодила, много козлов, еще больше кур, еще больше маленьких юннат, еще больше цветов и тишины и один маленький медвежонок (мой друг), Пушкинскую улицу, спекулянтов, карманных воров, торговков вареными яблоками и чесноком, ташкентских котов, особняков, самоваров, мою подругу Надю, Сашу Тышлера, Бабанову, дыню ростом в бельевую корзину, изюм, грецкие орехи на дереве и на базаре, поэму моего брата, 22 карандаша, 15 записных книжек и маленького Будду – которые находятся на его роскошном столе, моих учеников и мою злость, мой красный зонтик, дома под названием “воронья слободка”, девочку Зухру и девочку Василию, которая продает кислое молоко, спящих во дворе людей, желтые цветы под окнами, кухню с провалившимся полом, очереди в распреде, улицу Карла Маркса и улицу Весны, Бешаган и Урду, каменные ступени и траву, растущую на крышах нашего жилища, нашего уюта и беспорядка, старый веник, совок для угля, бумажные абажуры и лампу, сделанную из детской игрушки, глиняные кувшины, мебель, которую я сама красила, диван, на котором я пролила немало слез, папиросников на углу Жуковской, ташкентский трамвай, в который невозможно влезть, ярко-синего неба, белую акацию и Адамово дерево, решетки на окнах от воров, нашу дворничиху, вокзал, желтые занавески на моих окнах, привешенные на бильярдные кии, плиту в глубине комнаты, саксаул, Библию, сломанный штепсель, три разных стула и круглую черную печку в нашей комнате, мои самодельные карты, моих поклонников, и дворника Лариона в том числе, лесенку на балахану, Ахматову в веригах, звонок у калитки и булочную на углу, похожую на крысиную нору – всего этого вы не увидите^[486].

Тот “уют и беспорядок” в комнатках Луговских на первом этаже под лестницей по наследству перейдут в ведение Анны Андреевны и Надежды Яковлевны. Из рабочих тетрадей А. Ахматовой: “Ул. Жуковского, «Белый дом». Балахана с 1 июня 1943, и потом кварт < ира > Луговских. С Надей оттуда (13 мая 1944) улетаю в Москву. В Москве у Ардовых”.

Татьяна Луговская почти все в этих комнатках сделала своими руками, придумывая, проявляя хитроумие художника, который из куса материи может сделать красивое платье; утлые комнатенки она превращала в уютные, от которых возникало ощущение настоящего дома.

Видимо, именно в этих комнатах ночного заколдованного дома на Жуковской написано стихотворение Ахматовой 1944 года.

Когда лежит луна ломтем Чарджуйской дыни
На краешке окна и духота кругом,

Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая —
Как для обряда все. И лишь, не уставая
Грохочет тишина, моих не слыша слов, —
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже...

Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

После отъезда Луговских Ахматова писала в ответ на письмо Татьяны 21 апреля 1944 года:

Дорогая Татьяна Александровна! Письмо Ваше было приятной и трогательной неожиданностью. Все считают меня уже уехавшей или вот-вот уезжающей, и поэтому я перестала получать письма. Я живу в вашей квартире, плющ уже пышный, и в комнатах прохладно. Сегодня зацвел во дворе мак. Ташкент великолепен. Зимы в этом году совсем не было.

Мой муж просит меня дождаться здесь ленинградского вызова. Я рассчитываю быть в Москве в конце мая. Передайте мой привет Владимиру Александровичу и всем, кто еще помнит меня. Целую Вас. Ваша Ахматова. Надюша кланяется низко^[487].

И еще выслала телеграмму, так как письма не всегда доходили: "Благодарю за письмо. Привет всем друзьям. Целую Ахматова".

Спустя годы Татьяна Луговская вспоминала отъезд из Ташкента:

Отчетливо помню, как глубокой ночью в 1943 году мы уезжали из Ташкента в Москву. Среди немногих провожающих выделялся профиль Анны Андреевны Ахматовой. Она любила нашу осиротевшую семью и очень высоко ставила поэму брата, интересовалась ею и всегда просила читать ей новые главы. На вокзале было промозгло и сыро, я сидела с Анной Андреевной на отсыревших досках. Хотелось сказать и услышать какие-то последние слова.

Сутулый, совсем больной, с папкой в руке появился мой брат. — Татьяна!

— Что?

- Где моя поэма?
- Володя, она у тебя в руках, если хочешь, я уложу ее куда-нибудь.
- Ни в коем случае!

И, хромя, двинулся в неопределенном направлении, прижимая к груди папку с поэмой.

Потом Татьяна Александровна еще рассказывала: «... Когда мы уезжали из Ташкента с братом, Анна Андреевна провожала нас, я помню очень хорошо, как она была закутана и как она меня перекрестила три раза^[488].

В те же дни, когда Ахматова писала свое письмо Татьяне Луговской, ее брат, который привез из Ташкента самую огромную свою ценность – поэму, читал ее всем своим друзьям, ближним и дальним.

В апреле 1944 года Тарасенков – после того как пришел в себя, подлечился, – вернулся в журнал “Знамя”, где когда-то Луговской тоже работал в отделе поэзии. Спустя годы они встречаются, строгий Тарасенков, который писал из письма в письмо Марии Белкиной о том, что не подаст руки Луговскому, что не хочет ничего о нем знать, – утром, после чтения поэмы, ночных разговоров в чаду и дыму, убегая, оставляет записку на столе. Явно делает это не совсем для Луговского – они и так проговорили всю ночь, делает скорее для истории, чтобы осталась память.

Милый Володя.

Совершенно очарованный твоей поэмой (утром она мне кажется еще значительнее и лучше), гостеприимством, заботами Поли и яствами в количествах, достойных Гаргантюа, я покидаю твой дом. Мирись с ЕСБ и тащи мне статей. Люблю, благодарю, обожаю.

По гроб твой А. Т. (Тарасенков).

Утро 26 апр. 1944

Москва... Крыши в солнце, пар на окнах, Никола на Кукише, как писывал в дни нашей юности некий Пильняк^[489].

ЕСБ – это все еще предполагавшаяся партия с Еленой Сергеевной Булгаковой, о которой знали все друзья и привыкли к этой мысли. А вид из окна – до сих пор тот же из окон Лаврушинского. Намек на “некоего Пильняка” – это знак не умирающего в них прошлого. Расстрелянный писатель живет только в их памяти.

Записка Тарасенкова стала завершением обозначенного в самом начале конфликта тех, кто пошел на фронт и воочию столкнулся с ужасом войны, с теми, кто встретился с безднами собственного сердца в то время в тылу. Тарасенков узнал на войне нечто такое, что позволило ему – человеку очень прямолинейному, написавшему много раз о том, как и кого они будут судить за жизнь в тылу, – научиться понимать и прощать.

Перед отъездом из Чистополя

А тем временем дочь Луговского – Маша – за два с половиной года из девочки превратилась в подростка, с нетерпением ожидала встречи с мамой и писала все более взрослые письма, где пыталась рассказать именно о быте, который ее окружал, запечатлеть тот мир, где прошла в эти годы жизнь без родных. Она уже чувствует, что память о чистопольском детдоме останется с ней навсегда.

13.1.43. Вот уже и 1943 год. Неужели в этом году я с вами увижусь. Я себе не могу представить, что в этом году вас увижу; Москву, дом, квартиру, знакомые предметы. Музыкой я занимаюсь. Скоро у нас зачеты и я очень волнуюсь. Буду играть Баха “Маленький романс” и этюд неизвестного композитора. <...> Кормят нас ничего, только дают микроскопические порции. По субботам у нас в интернате бывает звуковое кино. Недавно смотрели “Свинарка и пастух”. Мне очень понравилась эта картина. <... > Я живу в трехместной комнатке. Живу я, Таня Зарина и Таня Никитина. На стенках у нас висят самодельные коврики. У Т. З. поросенок, у меня заяц, у Т. Н. лягушка с зонтом. Туалетный столик стоит у печки. На нем моя салфеточка, которую я вышила. Мешочек для гребенок. По бокам две ладьи со всякими мелочами: иголками, бритвами и т. д.

А столик этот просто тумбочка, поэтому поставили зеркало. На окнах висят занавески. (Они, хотя и казенные, а кружевные.) Посредине стоит стол и 4 стула. Стол накрыт скатертью, и на нем стоит вазочка, как у нас зеленая, но только белая, с елочками. Рядом с дверьми висит пальто и стул для портфелей. Абажур на лампе желтый из марли с оборочками. Делали мы его сами. Пол крашеный, стены зеленые, покрашены масляной краской, и одеяла зеленые, шерстяные. У каждого свое ватное одеяло и казенное, шерстяное. То белье, которое вы мне прислали, не пригодилось. Я пользуюсь только одеялом и подушкой, и поэтому у меня их две. Все здесь дали казенное. Я хочу продать свое старое пальто и купить шерсть и связать кофточку^[490].

В ответном письме ее мама, понимая, что девочка выросла, рассказывает ей о своем детстве, прошедшем в Екатерининском институте благородных девиц, тем самым предлагает ей сравнить ее детство со своим. По странному совпадению в Центральном доме Красной армии, бывшем здании Екатерининского института благородных девиц, она должна была устраивать выставку от Бахрушинского музея, где работала.

Трудно передать то странное ощущение, – писала она дочери, – которое было у меня, когда после процедуры получения пропусков я вошла в знакомый вестибюль. (Мы были приглашены на совещание по поводу выставки.) Итак, я вышла в вестибюль, в который вошла первый раз 32 года тому назад, вошла тогда, чтобы прожить в этом здании,

построенном еще в XVIII веке, семь лет. Я поступила в подготовительный класс в 6 лет. Странно мне было ходить по коридорам, столько раз исхоженным и избеганным моими детскими ногами. Многое изменилось, многое перестроили, и, должна сказать, изменилось к лучшему, стало уютнее. Нет той суровости и казенщины, которая была в институте. Проходя по коридорам 3-го этажа, я говорила себе: “Вот тут был дортуар (спальная) 7 класса, тут 6-го, тут был бассейн, а тут семольки (семолька – комнатка, в которой занимались музыкой, там стоял рояль, нотная этажерка и 2 стула)”. Классы у нас считались наоборот, 1-й был самый старший, 8-й подготовительный. Совещание происходило в кабинете начальника, а когда-то это был будуар нашей начальницы. Очень памятная комната. Обыкновенно в этот будуар классные дамы приводили к начальнице на отповедь воспитанниц, которые в чем-нибудь провинились, и я должна тебе признаться, что я не один раз там побывала.

Кроме того, раз в год, во время Великого поста, мы приходили в этот будуар, чтобы “просить прощения” у начальницы. Есть такой обычай церковный. Перед исповедью просить прощения у всех, перед кем ты могла провиниться, а часто ни в чем не была виновата. Ты у меня “нехристь” и не знаешь этих обременительных и ненужных обычаев. А исповедь___Хотя едва ли это интересно. Так вот мы приходили к ней, к начальнице, она позволяла нам “чувствовать себя как дома”, т. е. мы могли садиться на кресла, диванчики, всякие там пуфы, ковры и медвежьи шкуры. Начальница на этот раз говорила с нами по-русски. В другое время – только французский язык не только с воспитателями, но и между собой. Говорила она нам нудно и скучно, какие мы скверные девочки и как мы огорчаем своих родителей, воспитателей и Бога и как мы должны каяться. А мы в это время исподтишка рассматривали картины, фотографии и безделушки на стенах и этажерках, или смотрели в окно, за которым была видна площадь. Там была свобода, дорога домой, там был розовый закат, такой же, как и сейчас. Потом горничная начальницы, свирепая доносчица Даша, обносила нас чашками чая с пряниками, после Аделаида Федоровна (так звали нашу начальницу) выражала надежду на наше раскаяние и исправление, и мы с облегчением с постными минами покидали ее будуар. Сейчас я сидела с товарищами, с которыми так сработались, вокруг стола, и мы обсуждали выставку, которую развернули в каком-то бывшем классе или зале, а я еще думала, как все это расскажу тебе. Дочурка моя родная, как твое детство и проще и сложнее (в связи с войной), чем мое. Если мы тогда не так остро чувствовали войну, она была далекой, где-то там, на границе, то сколько лишнего и ложного было у нас. < > 27.1.43^[491].

Тамаре Эдгардовне Груберт казалось, что искусственный и казенный дух того женского заведения был ужасен рядом с советской школой, с советским интернатом. Однако столь ругаемый институт

благородных девиц давал запас прочности на всю жизнь: знания, умения выстаивать в сложных ситуациях, благородство и силу духа.

Чистопольский интернат помимо встреч с писателями и поэтами, театром, по воспоминаниям Марии Владимировны (Маши Луговской), одаривал их встречами с необычными людьми. Она рассказывала, что в 1942 году к ним в интернат пришел странный человек с котомкой в руках. Вид у него был измученный; его взяли преподавать в детдом историю живописи. Это был Николай Сычев, в 1920-е годы – директор Русского музея, арестованный после убийства Кирова. Ему удалось отстоять многое из музейных шедевров. В 1930-е его впервые арестовали, потом выпустили, без объяснения причин. Через три года за Сычевым снова пришли, с обвинениями в принадлежности к контрреволюционной организации. Потом – восемь лет лагерей с последующим поражением в правах, очередной арест. Только благодаря хлопотам Щусева и Грабаря Сычев вышел на свободу.

Перед самым отъездом Маша беспокоится о том, как бы ей устроить получше жизнь мамы и бабушки:

Опять меня мучит вопрос, как быть с продуктами. Денег у меня нет, а привезти продукты отсюда гораздо выгоднее. Сейчас я купила только пол-литра масла, а еще хочу купить кило меда и еще пол-литра масла. Не беспокойтесь, если долго не буду писать. Я буду очень много ходить на огород и буду очень уставать. Будем убирать урожай^[492].

Кама – Москва. 25 июня 1943 года

*Так и всех умчат отсюда,
Смоют с берега дожди:
Вековечная простуда
Человеческой вражды.
Одно в мозгу:
Домой, в Москву!*

Николай Асеев

Москву перестали бомбить, и чистопольскую колонию было решено отправить домой. 25 июня писателей и часть детей из интерната на пароходе “Михаил Шолохов” реэвакуировали в Москву. Интересно, что пароход, на котором везли вполне признанных классиков советской литературы, носил имя Шолохова. Пароход шел по Каме, затем Волге, Оке и, наконец, Москве-реке.

В день, когда наш “плавающий дом” должен был отчалить от пристани, – писала О. Дзюбинская, – мы с Борисом Леонидовичем Пастернаком сидели на берегу с утра, на чьих-то чемоданах: нас назначили “караульщиками”. Вещи свозились и сносились постепенно, их ставили к нашим ногам, и незаметно мы “обросли” барьером из корзин, баулов, тюков с зимней одеждой, чемоданов и чемоданчиков. Довольно часто встречались среди разношерстных вещей раздувшиеся “авоськи”, из которых выпирали кастрюли, сковородки, керосинки – кухонная утварь, представлявшая предмет первой необходимости.

Жара была изнуряющей. Мы сидели на открытом месте, кругом ни деревца, в небе ни облачка. Сидим, помалкиваем, перебрасываемся фразами о погоде, о Чистополе, приветствуем каждого вновь прибывшего с очередной порцией вещей, помогаем таскать корзины и тюки. А мне так хочется поговорить с Борисом Леонидовичем на “высокие темы”! Думаю, что бы такое спросить, – и тут замечаю, что он изнемогает в своем коричневом зимнем костюме. И вырывается глупая фраза: “Борис Леонидович, а вы бы сняли пиджак”. В ответ слышу: “Вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня такая рваная рубашка”^[493].

Смешную историю, случившуюся во время путешествия, вспоминал Вадим Белоцерковский.

В первом классе ехали “классики” литературы, во втором – все остальные, внизу – народ с мешками и грязью. <...> Семья Павленко – писателя, особо приближенного к Сталину, – ехала с собакой, здоровенным, как теленок, догом. Держать собаку во время войны, да еще такую огромную, мог позволить себе, конечно же, только близкий ко двору писатель <...> в один из прекрасных дней нашего путешествия дог Павленко наложил на палубе кучу, причем соответствующую своим габаритам. Уложил ее на самой середине. Движение фланировавших по палубе писателей остановилось. Перед кучей скопилась толпа.

– В чем дело? – напирали сзади неосведомленные.

– Безобразие! – возмущались передние. – Надо пойти за капитаном!

Но никто не шел, каждый писатель ждал, что пойдет кто-то другой, менее великий. Из невеликих, конечно же, нашлось бы много желающих услужить, однако они робели, знали, из-под чьей собаки куча. Боялись быть неправильно понятыми, будто бы имеют какие-то претензии к хозяевам по этому поводу. Надо заметить, что членов семьи Павленко в этот момент на палубе не было.

Итак, воздух на палубе был подпорчен, да и стоять перед кучей, словно на митинге, было как-то нелепо. И писатели стали тихо расходиться по своим каютам и заdraивать окна. Палуба опустела. Один я замешкался (дежурил по амурной части около одного окошка!) и стал свидетелем исторической сцены. Я вдруг увидел, что на палубе появился Борис Леонидович Пастернак с детским совочком и щеткой в руках. Пастернак подошел к куче и, вздыхая и воротя нос, начал

сгребать кучу на совок, потом выбросил ее за борт и удалился <...>. Через несколько минут приоткрылось какое-то окно, кто-то выглянул на палубу (в каютах все же было душно, да и скучно сидеть!), – увидел, что кучи не стало, и, обрадовавшись, скрылся. Приоткрылось другое окно, третье – и писатели с достоинством стали выходить на палубу. Променад возобновился^[494].

Исаковский писал В. Авдееву 12 июля 1943 года:

12 июля 1943. Доехали мы до Москвы очень хорошо, и Москва нас встретила также неплохо. На пристани оркестра, правда, не было, но зато был Твардовский с грузовой машиной, который и помог мне очень быстро перебросить свой багаж на квартиру, а это куда лучше оркестра. С квартирой же пришлось повозиться основательно: была она в таком состоянии, что трудно себе и представить – все загрязнено, обшарпано, поломано, поковеркано. Все, что можно было утащить, утащено. Но, в конце концов, это нас не очень огорчило.

Потом началась длинная процедура с прохождением санпропускников, с пропиской, с перерегистрацией паспортов, с получением карточек, с ходатайством об установке радио, телефона и пр., и т. п. И хотя мы с Лидией Ивановной действовали, как говорится, на пару, но все же на это ушел не один день”^[495].

Вселение проходило с ужасными трудностями. Зинаида Пастернак вспоминала о возвращении в Москву и квартире, которую они застали на Лаврушинском:

Окна были выбиты и заклеены картинами Л. О. Пастернака. Зенитчики, жившие у нас в Лаврушинском, уже выехали, и мы стали хлопотать о ремонте квартиры. Временно нам пришлось расстаться с Борей. Меня и Стасика приютили Погодины, а Боря переехал к Асмусам, у которых сохранились и мебель, и вещи, потому что они никуда не выезжали^[496].

Город стоял с разбитыми домами; такие “обкусанные” здания простояли в Москве до 1960-х годов, и следующее поколение застало отметины войны. В Москве появилось огромное число калек, безногих и безруких, катящихся на маленьких тележечках, с деревяшками в руках, которыми они отталкивались от земли.

Возникла целая сеть специализированных магазинов. 7 октября 1943 года утверждались новые “литерные книжки” для писателей.

В постановлении Наркомторга писатели делились на три категории:

1. Приказом Наркомторга литературное питание “А” с лимитом на снабжение на 500 рублей дано выдающимся писателям по особому списку <... >

2. Литерное питание “Б” с лимитом в 300 рублей дано писателям без более точного определения их квалификации. Но так же по особому списку <... >

3. Все остальные “В” – 200 рублей^[497].

Литера определяла для писателя очень многое: поликлинику, возможность лечения в больнице, очередность в публикации сборников и так далее. Но присуждение литер никогда не было случайным. Власть зорко смотрела на поведение каждого писателя во время войны. Еще в 1942 году Вс. Иванов, приехав в командировку из Ташкента, в письмах к детям описывал преимущество “литерного” человека над “нелитерным”.

Обедаем в Клубе писателей, в этом островерхом доме на Поварской. В клубе очень холодно, так что после обеда выходишь из него, и зуб на зуб не попадает. Накурено, грязно, и так как всю Москву сейчас кормят капустой, вернее, капустными листьями, то клуб писателей пахнет капустой, как крестьянская изба. Наверху, в комнате с камином, стоят два стола. За этими столами выдают так называемые “литерные” обеды. Что такое, например, литературный человек вроде меня? Сейчас вы увидите. Я – литературный, но мамка – отнюдь. Я сегодня получил мясную котлету, две картофельных и суп, который украшала кость какого-то животного. У мамки не было ни картофельных котлет, ни кости и, тем более, мясной котлетки. У нее просто был суп с капустой и немного печенки, тоже с капустой^[498].

По новой разнарядке Пастернак, вернувшись из эвакуации, внезапно был понижен из литеры “А” в литеру “Б”. Это было унижительно, и Пастернак обращается с резким письмом к Фадееву.

Со мной творятся обидные курьезы. Мне выдали литеру Б, а не А, и в зависимости от этого пошла вся музыка по-другому: прикрепили к распред второго сорта, вместо промтоварного лимита на юоо руб. дали на 750, <...> между тем Зина доработалась в Чистополе до чесотки, нуждается в глазном лечении. Прибавь к этому, что у меня ни кола, ни двора, Зина с детьми ютится у Тренивых и Погодиных, я живу в четырех местах, работы отца растасканы и уничтожены. <...> Когда и с какой стати я переведен из аристократов в негры? Твой Борис Пастернак^[499].

Скоро последует цепь жестких постановлений партии о литературе, а затем и выступление Фадеева на писательском пленуме в конце 1943 года, которое, по сути, и станет оценкой, которой наградят чистопольских и ташкентских эвакуированных литераторов. Однако досталось не только тем, кто был тылу; достанется и воевавшим, осмелившимся писать то, что видели.

Большие надежды

*До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья*

Оставалось лишь раз вдохнуть...

Анна Ахматова 23 марта 1944 года

И все-таки именно во время войны возникла надежда на изменение мира, страны. Слишком высокой ценой оплачивался каждый взятый рубеж.

В. Луговской с уверенностью писал:

Именно сейчас жду огромного расцвета искусств, ибо все отношения изменились, открылась новая протяженность мира, сорвались с петель старые замки, страшнее стало. Несет... Все перепуталось. К началу 20-го века все так определилось, что начали уже обозначаться немые правила мира. Очевидно, это было очень вредно и неправильно. Не выявились еще все страшные свойства человека. Уют мира 19-го века их анестезировал. Все занимались боковыми проблемами. Всю меру, неисчерпаемость человеческой подлости и самоотверженности никто не знал. Рождественские мальчишки. Елки. Взыскующие интеллигенты. Новое столетие принесло мощь худших веков истории и, следовательно, наиболее плодоносных веков. Обозначилась чушь человеческого существования. Обозначились новые, совсем новые требования уюта. Человек попал во власть новых стихий машины и ее производных, но эта стихия более победна – вызвана им, а не силами природы. Регресс был настолько величественен, что его трагедия стала обыденной... мысль о жизни в другом измерении, о катарсисе. Случайность стала законом, а закон случайностью. Смерть стала тривиальной и в искусстве потеряла свое острие. Жизнь стала пышна и однообразна, как жизнь растений. К счастью, осталось основное свойство, основной интерес человека – кто прошел через двор, кто с кем живет, кто подлец. Это спасительное для людей свойство, это благодетельная, трогательная и величественная сила должна послужить содержанием отдельной главы. Меню жалкого обеда, новый карандаш, новые подметки, новый распределитель у соседа спасают людей и сохраняют потенциальные силы человечества. Все возвращается, но в другой завитке. Счастлив, благословен тот, в ком сохранилась традиция. Несчастливы те, кто вверяется самозабвенно стихии этого страшного века, его проявлений. Чем проще формулирован закон, тем он сложнее. <... > Но, надеюсь, человечество все-таки будет существовать, хотя это базируется только на многочисленности людского населения земного шара и больше ни на чем^[500].

Луговской считал, что укорененность человека в простых вещах, в вещах “низменных”, делающая его нормальным обывателем, спасет человечество от новых и старых “трихин”, или от идей, про которые в

свое время написал Достоевский в знаменитом последнем сне Раскольникова. Но в то же время необходима традиция, в том числе и религиозная, те ценности, которые дошли от родителей. Это та ось, на которой возможно удержаться человеку и обществу, чтобы не соскользнуть вниз.

А Пастернак в июне 1944 года пишет близкие по смыслу слова о расцвете искусства:

Если Богу будет угодно и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век, и еще раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе, – поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет мне все остальное; неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. <... >

Война имела безмерно освобождающее действие на мое самочувствие, здоровье, работоспособность, чувство судьбы. Разумеется, все еще при дикостях цензуры и общего возобновившегося политического тона, ничего большого, сюжетного, вроде пьесы или романа или рассуждений на большие темы, писать нельзя, но и пускай. Это все промысел Божий, который в моем случае уберег меня от орденов и премий^[501].

И даже обласканный властью Алексей Толстой надеялся на изменения в стране:

Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйство. После мира будет нэп, ничем не похожий на прежний нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении основы колхозного строя, в сохранении за государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. <... > Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться^[502].

Удивительно, что осторожный А. Н. Толстой за пятьдесят лет до перестройки формулирует горбачевскую программу “социализма с человеческим лицом”. Правда, время показало ее нежизнеспособность. Однако главная мысль, которая приходила в голову большинству писателей, – мысль о том, что “народ ничего не будет бояться”. Это понимала и власть, оттого так страшно снова раскрутился в послевоенные годы маховик репрессий.

Анна Андреевна, – писалось в воспоминаниях о ней, – была переполнена оптимизмом.

– Нас ждут необыкновенные дни, – повторяла она. – Вот увидите, будем писать то, что считаем необходимым. Возможно, через пару лет меня назначат редактором ленинградской “Звезды”. Я не откажусь^[503].

Эти слова, если действительно были произнесены, продолжали роковую игру ее судьбы. Жизнь Ахматовой навсегда соединилась с докладом Жданова и постановлением о журналах “Звезда” и “Ленинград”. В магической драме Ахматовой “Сон во сне” или “Энума элиш” все это было предсказано.

Можно ли сказать, что надежды стольких умных и даже прозорливых людей были наивными? Ведь странно, когда столько человек говорят в один голос одно и то же: “Как жили раньше – больше невозможно!”

Но эти голоса хорошо расслышали наверху и сделали все, чтобы не дать осуществиться надеждам.

Реакция власти на свободу

Власть встретила писателей не так уж радушно. Опыт эвакуации как попытка освобождения от цензуры литературного начальства, желание писать по совести – все это никак не устраивало Сталина. Пока немцы наступали и было непонятно, чем может закончиться война, литераторам было позволено выражать свои чувства и даже публиковать стихи и прозу с правдивыми картинками военной и тыловой жизни. Но как только чаша весов перевесила в сторону победы над фашизмом, так последовал жесточайший окрик, требовавший от писателей одного – полного повиновения главному заказчику страны. Многие литераторы еще не понимали, что ветер поменялся, и продолжали писать, не оглядываясь на власть. 26 ноября 1943 года – докладная записка начальника пропаганды и агитации Г. Ф. Александрова о книге стихов Асеева. Там говорилось, что поэт в сборнике стихов “Годы грома” клеветнически изображает советский тыл. Жизнь в советском тылу, пишет начальник, представляется как “утробное существование”, азиатская дикость и бескультурье. Начальника также раздражает, что Асеев пишет стихи о том, что ненависть к врагу преходяща и, только освободившись от нее, можно снова стать людьми. “Насилье родит насилье, и ложь порождает ложь”, – писал Асеев в этом стихотворенье.

По материалам прослушанных разговоров (а за недовольными литераторами следили особенно тщательно) мы можем узнать о реакции Асеева.

Поэт Асеев Н. Н. по поводу своего вызова в ЦК ВКП(б), где его стихи были подвергнуты критике, заявил: “Написанная мною последняя книжка не вышла из печати. Меня по этому поводу вызвали в ЦК, где ругали за то, что я не воспитываю своей книжкой ненависти к врагу. Нашли, что книжка получилась вредной... Я, конечно, соглашался с

ними, но сам я считаю, что они не правы. Вступать с ними в борьбу я не видел смысла. Мы должны лет на пять замолчать и научить себя ничем не возмущаться. Все равно молодежь с нами, я часто получаю письма от молодежи с фронта, где меня спрашивают, долго ли им еще читать «Жди меня» Симонова и питаться «Сурковой массой».

“Я знаю, что написал те стихи, которые нужны сегодня народу... Надо перетерпеть, переждать реакцию, «которая разлилась по всей стране»”.

“Я продолжаю писать стихи, но я не показываю их. Я не имею права изменять себе, и поэтому эти стихи неуютны”. Оценивая в связи с этим состояние советской литературы, Асеев говорит: “В России все писатели и поэты поставлены на государственную службу, пишут то, что приказано. И поэтому литература у нас – литература казенная.

Что же получается? СССР как государство решительно влияет на ход мировой жизни, а за литературу этого государства стыдно перед иностранцами”.

“Слава богу, что нет Маяковского. Он бы не вынес. А новый Маяковский не может родиться. Почва не та. Не плодородная, не родящая почва...

... Ничего, вместе с демобилизацией вернутся к жизни люди, все выдавшие. Эти люди принесут с собой новую меру вещей. Важно поэту, не разменяв таланта на казенщину, дождаться этого времени. Я не знаю, что это будет за время. Я только верю в то, что это будет время свободного стиха”^[504].

В ноябре 1943 года И. Сельвинский за стихотворение “Кого баюкала Россия”, признанное политически вредным, был привезен с фронта в Москву и доставлен непосредственно в Кремль. Страх, который он испытал тогда, был намного сильнее того, что он ощущал на фронте. Но кошмарнее всего была фраза Сталина (Сельвинский спустя годы рассказывал об этом В. Огневу), которую он произнес товарищам из Политбюро: “Берегите Сельвинского, его очень любил Троцкий!”

В донесении агентов читаем:

Поэт Сельвинский И. Л. в связи с обсуждением в Секретариате ЦК ВКП(б) его стихотворения “Кого баюкала Россия” заявил: “Я не ожидал, что меня вызовут в Москву для проработки. Стихотворение «Кого баюкала Россия» для меня проходящее. Я ожидал, что, наконец, меня похвалят за то, что я все же неплохо воюю. За два года получил два ордена и представлен к третьему. Меня вызывали в ЦК, ругали не очень, сказали, что я молодой коммунист, ничего, исправлюсь. Я думаю, что теперь меня перестанут прорабатывать, не сразу, конечно, а через некоторое время... Мне очень не везет уже 15 лет, со времени «Пушторга». Бьют и бьют. На особый успех я не надеюсь. Видно, такова уж моя писательская биография”.

Обобщая свои мысли о положении в советской литературе, Сельвинский говорит: “Боюсь, что мы – наша сегодняшняя литература,

как и средневековая, – лишь навоз, удобрение для той литературы, которая будет уже при коммунизме.

... Сейчас можно творить лишь по строгому заказу и ничего другого делать нельзя...

На особое улучшение (в смысле свободы творчества) после войны для себя я не надеюсь, так как тех видел людей, которые направляют искусство, и мне ясно, что они могут и захотят направлять только искусство сугубой простоты”^[505].

Писателю Федину в Доме писателей устроили чтение и обсуждение его книги “Горький среди нас”, которая тепло была принята в Чистополе. В Москве все было иначе. Федина ругали и прорабатывали. Доносчики записывали за Фединым.

Писатель К. А. Федин, в связи с появлением в свет и критикой его последней книги “Горький среди нас”, говорил: “До меня дошел слух, будто книгу мою выпустили специально для того, чтобы раскритиковать ее на всех перекрестках. Поэтому на ней нет имени редактора – случай в нашей литературной действительности беспрецедентный. Если это так, то ниже, в моральном смысле, падать некуда. Значит, я хладнокровно и расчетливо и, видимо, вполне официально был спровоцирован. Одно из двух. Если книга вредна, ее надо запретить. Если она не вредна, ее нужно выпустить. Но выпустить для того, чтобы бить оглоблей вредного автора, – этого еще не знала история русской литературы”. По поводу статьи в “Правде”, критиковавшей его книгу, Федин заявляет:

“Юрий Лукин, написавший статью под суфлера, формально прав. Под формальной точкой зрения я понимаю точку зрения нашего правительства, которая, вероятно, прогрессивна в деле войны, понуждая писателей служить, как солдат, не считаясь с тем, что у писателей, поставленных в положение солдат, ружья не стреляют. Ведь это извечный закон искусства: оно не терпит внешнего побуждения, а тем более принуждения. Смешны и оголенно ложны все разговоры о реализме в нашей литературе. Может ли быть разговор о реализме, когда писатель понуждается изображать желаемое, а не сущее? <... >

... Не нужно заблуждаться, современные писатели превратились в патефоны. Пластинки, изготовленные на потребу дня, крутятся на этих патефонах, и все они хрипят совершенно одинаково. Леонов думает, что он какой-то особый патефон. Он заблуждается. «Взятие Великошумска» звучит совершенно так же, как «Непокоренные» (Б. Л. Горбатова) или «Радуга» (В. Л. Василевской). На музыкальное ухо это нестерпимо”^[506].

И даже Долматовскому в рамках критики художественного военно-патриотического журнала “Знамя” ставилось в вину, что в поэме “Вождь” неверно изображалось отступление Красной армии в первые месяцы войны. В официальной записке говорилось, что если судить по

этой поэме, Красная армия непрерывно отступала, не оказывая сопротивления немцам, начиная от наших границ почти до Москвы. Поразительнее всего то, что во лжи обвиняли именно Долматовского, который испытал все ужасы отступления, окружения и бегства из плена на собственной шкуре.

Кроме всего прочего было выпущено несколько постановлений о журналах “Знамя” и “Октябрь”, прозвучала жесткая критика М. Зощенко “Перед восходом солнца” – все это провозвестники ждановского постановления 1946 года с попыткой нащупывания будущих жертв.

30 декабря 1943 года Фадеев выступил на Общемосковском собрании писателей. Собственно, он лишь подвел итог тому, о чем уже говорилось наверху. Были подвергнуты критике Федин, Зощенко, Сельвинский, Асеев и Пастернак “за идеологическое искривление”. Фадеев отреагировал на попытку писателей из Чистопольской колонии заговорить несколько по-другому, по-человечески, что так радовало Пастернака.

Он резко высказался против “великодержавного шовинизма” в стихотворении Пастернака “Зима начинается”, позже названного “Зима приближается”. Назвал намеренно антипатриотичным “уход” Пастернака в Шекспира в напряженное для страны военное время.

На следующий день Пастернак пишет горестное письмо на фронт своему юному знакомому Даниилу Данину:

Я не верю в успешность своих нынешних усилий. Вы спрашиваете о поэме. Я начал ее с другими надеждами. Но общий тон литературы и судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой-нибудь мыслью, обескураживают. Проработали Зощенку, навалились на Асеева, после многих лет пустоты и холода позволившего себе написать по-человечески, кажется, очередь за Сельвинским. Все равно. Я теперь никого не люблю. Я стал взрываться по другим причинам, и с такой резкостью, что это меня когда-нибудь погубит^[507].

Удивительнее всего, что буквально через две недели, 19 января 1944 года, на расширенном заседании Пленума ССП Фадеева освободили от обязанностей секретаря правления, и председателем правления был назначен Николай Тихонов. Почему-то Фадеева сняли не в начале войны, когда все были уверены, что вот-вот его не только снимут, но и арестуют, а именно теперь.

Возвращение Мура Фронт

Георгий Эфрон, Мур, писал в мае 1943 года сестре Але, что на днях уезжает вся Академия наук, в том числе и три профессора, живущие в их доме: “Цявловский, Благой, Бродский (один – седой с бородкой, другой – лысый в очках, третий – с закрученными усами и пенсне)”. Просил Людмилу Ильиничну, жену А. Толстого, помочь ему вернуться из эвакуации. Скорее всего, Толстые помогли.

В сентябре-октябре Георгий Эфрон оказался в Москве. В ноябрьской холодной Москве 1943 года почти не было света, горел он только на главных улицах, на всех остальных люди вечером пробирались ощупью, натываясь на прохожих. По несколько часов стояли в очереди в баню. Зато работали филармония, консерватория, выставки.

Осенью 1943 года Георгий Эфрон поступил в Литинститут, в котором проучился чуть более трех месяцев.

26 ноября 1943 года за столом неподалеку от меня появился очередной новичок, и я на перемене узнал, что фамилия его Эфрон, зовут – Георгием; наш однокурсник Дима Сикорский называл его Муром, – писал в воспоминаниях Анатолий Мошковский. – Лицо у Георгия было очень интеллигентное: высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чувствовалась порода – в четких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке, даже в этой бледности... Достоинство, взрослость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать.

Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники – по восемнадцать, но он казался лет на пять старше, умудренней, образованней меня. На переменах к нему иногда подходил Дима Сикорский в авиационном синем кителе, рослый, крепкий, видный парень; они расхаживали по аудитории, разговаривали, посмеивались над чем-то. Дима был сыном переводчицы Татьяны Сикорской. “Наверно, и Георгий писательский сыночек”, – подумал я.

Вадим Сикорский говорил, что Мур остался в его памяти именно как студент Литинститута, того елабужского мальчика он вытеснил из памяти, почти не помнил. Но все время повторял, что Эфрон почти не общался ни с кем, молчал, был чрезвычайно закрыт. Мошковский далее вспоминал:

В первом семестре нам читал что-то вроде курса «Введение в творчество» бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский – пожилой, носатый, лощеный, одетый с иголки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом говорил^[508].

Их новое пересечение произошло после того, как они виделись издали в Ташкенте, а главное, после их краткой “дружбы” в

Голицыне, где Цветаева жила вместе с сыном в 1940 году. Когда Мур заболел, критик трогательно заботился о нем.

28.3.1940. Вчера навестил меня критик Зелинский – он умный человек, с хитрецей. Он был когда-то во Франции – служил в посольстве – и знает Париж. Он меня ободрил своим оптимистическим взглядом на будущее – что ж, может, он и прав, что через 10–15 лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от трудных бытовых условий, не нужно смотреть обывательски – это он прав. Сегодня он едет в Москву и привезет мне книжек советских авторов и, главное, несколько номеров “Интернациональной литературы”^[509].

В начале 1941 года Цветаева после того, как ей пересказали внутреннюю разгромную рецензию, запишет у себя в книжке: “Сволочь – Зелинский!”

А Мур снова будет в оппозиции к матери:

23. 12.1940. Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи – поэмы – может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. Вообще я думаю, что книга стихов или поэм – просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию^[510].

Как они воспринимали друг друга в Москве в 1943 году, осталось неизвестным, однако Зелинский был не из тех, кто мучился угрызениями совести.

Уже попав в армию, Мур с горечью вспоминал оставленный институт, где он столько еще мог сделать.

Часто думаю о Москве, об Институте, – писал он тетке, – который мне понравился, а еще чаще все думы сливаются в одно безразличное впитывание всех извне идущих звуков, запахов и впечатлений (это – в свободное время)^[511].

Он прошел унижительную службу в строительных ротах, куда отправляли таких, как он, с подозрительным происхождением. Обстановка в ротах была столь тяжела, что все мечтали о фронте как об освобождении.

Ротный старшина наш – просто зверь; говорит он только матом, – писал Мур теткам в Москву, – ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову. <... > 99 % роты – направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия, фронт заменила приговор^[512].

Он жалуется на жизнь, по-своему, наверное, вновь с высокомерием, противостоит хамству, оскорблениям, из последних мальчишеских сил старается не сломаться.

К сожалению, о нем некому было хлопотать, как это было в случае с Сережей Шиловским, сыном Елены Сергеевны и Евгения Александровича Шиловского, видного генерала. Ему не повезло, как Льву Гумилеву, сыну Анны Андреевны, который прошел войну и встретил ее окончание в Берлине. После войны на его долю, правда, опять выпадет очередное тюремное заключение и лагерь.

Неотвратимо надвигалась отправка на фронт. Он погибнет почти сразу, буквально через две недели.

26-го февраля меня призвали в армию, – писал он в одном из последних писем к Але. – Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв. Кормят несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто меняется, места – болотистые, много комаров, местность холмистая; есть и леса. Всё это – сведения чисто географического характера, но здесь – фронт, и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел (всё – нога), а теперь всё зажило; бесспорно, я слабее других, в одном – в отношении рук, которые у меня и малы и не цепки и не сильны. Пока что работаю по писарской части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего. Пиши обязательно; прости за бестолковое – спешное! – письмо. Крепко целую. Твой брат Мур!^[513]

Встреча Мура с настоящим оказалась роковой. По его же теории, прошлое удушило Марину Ивановну, будущее погубило Сергея Эфрона, его отца. Он же сам пал жертвой настоящего. В одном из последних писем он определил на то время главное в своей жизни: “Очень хочется верить, что, несмотря ни на что, мне удастся сохранить человеческий облик, что все неокончательно потеряно. Если бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими – и как ненавижу грубость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них”^[514].

В конце мая Мура отправили на Западный фронт, его рота находилась в составе 1-го Прибалтийского фронта. 7 июля 1944 года он был ранен где-то под Витебском, далее никаких сведений о нем нет, он исчез среди умерших от ран солдат, его тело, видимо, было оставлено медсанбатом где-то в тех местах. Его похоронили под деревней Друйка Белорусской ССР.

Эпилог: ташкентцы и чистопольцы

Как ожидали конца войны. Как мечтали о будущем. И вот наступила мирная жизнь. Ташкентцы и чистопольцы смешались между собой в Москве и Ленинграде. Началась новая жизнь. Но последовавшие восемь послевоенных лет стали для многих абсурдными и страшными. Война, несмотря на горечь потерь, была понятна – и победа стала часом истины для всего народа. Военные годы единения и взаимовыручки, свободы и надежды показались многим из героев этой книги настоящим счастьем.

В конце войны Крученых стал собирать альбом “Встречи с Цветаевой”. Кое-что из цветаевских автографов он купил у Георгия Эфрона. Пастернак подарил Крученых свое стихотворение о Цветаевой, написав на нем:

Задумано в Чистополе в 1942 году, написано по побуждению Алексея Крученых 25 и 26 декабря 1943 года, в Москве у себя дома. Борис Пастернак. – Была еще приписка: – Мысль этих стихотворений связана с задуманною статьей о Блоке и молодом Маяковском. Это круг идей, только еще намеченных и требующих продолжения, но ими я начал свой новый 1944 год^[515].

Ах, Марина, давно уже время,
Дан труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду

Стихотворение снова и снова отсылает в памятный для него Чистополь, 3 декабря 1944 года в письме Валерию Авдееву он возвращался к первым месяцам войны:

Мы приехали тогда взбудораженные историческим вихрем, смысл и направление которого я, наверное, идеализировал и слишком переоценил. Все было взрыто во мне – благодарная почва для обновленного, внутренне освеженного восприятия и всего на свете, как в молодости или в поворотные моменты каждого из нас. Вы, Ваш отец и брат, Ваша невестка, Ваш дом, круг были тогда для меня жизнью в жизни, явлением близкой силы и равнозначительного порядка, праздником души, в котором мне давно уже отказывал город моего уже теперь такого далекого рожденья и такой долгой жизни. Я не могу забыть Вас и всего вокруг Вас, ну хотя бы удивительной резьбы на коньках и наличниках некоторых домов. Физиономия некоторых углов,

особенно выразительных, врезалась в меня на всю жизнь! Что же сказать о людях! Я произвольно вызываю в себе целые движущиеся улицы со всеми встречными, для некоторых часов постоянными. Некоторые лица, светившиеся радостью глаза, стоят передо мной так отчетливо, что я их мог бы нарисовать. Я жалею, например, что не познакомился с одной служащей почты, она чаще всего сидела за денежным окошком и распоряжалась переводами – девушка с открытым, быстрым, легким и умным лицом.

Не удивляйтесь, что при такой верности месту, где меня уже нет, я почти не пишу Вам. Я долго кочевал и переехал на квартиру в Лаврушинском очень недавно. Кроме того, я в своих занятиях мечусь от одного к другому, и расстоянья между этими областями очень велики. Как это ни странно, – потому что он почти противоположен, но по-прежнему меня кормит чистопольский старик Шекспир^[516].

Радость победы смешивалась с тоской разочарования в перспективах развития страны. Народ-освободитель никак не мог освободиться сам.

Надо набираться впечатлений, – писал Вс. Иванов после войны жене. – Но сколько ни набирайся, на Союз писателей не угодишь. Мы пережили эвакуацию, отступления, голод, тифы, а в Союзе писателей – на последнем совещании – все еще говорят, что писатели мало знают жизнь^[517].

“Горе мое не во внешних трудностях жизни, – писал Пастернак в конце войны, горе в том, что я литератор, и мне есть что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет, и при данных условиях не будет и быть не может”^[518]. Для Пастернака в Чистополе открылась и подтвердилась истина, к которой он шел предвоенное и военное десятилетие: невозможно найти компромисс с коммунистической идеей и с властью, ее выражающей.

Роман “Доктор Живаго”, созданный после Чистополя, – это история самооценности художника, творца перед хаосом, уничтожением личности во благо общества. Это возвращение к мысли о личной ответственности каждого человека за жизнь вокруг себя. И, конечно же, даже хрущевская оттепель не смогла примириться с таким взглядом на мир. Пастернак после войны перешагнул через десятилетия интеллигентских заблуждений и компромиссов с властью и встал абсолютно обиняком. Это оказалось правдой. Это видно из того, кто из чистопольцев чего достиг после войны.

Марину Цветаеву после долгого перерыва напечатали сразу в двух альманахах – “Дне поэзии” и в “Литературной Москве” в 1956 году.

Александр Фадеев написал “Молодую гвардию”, а затем по указанию вождя переделал ее.

Павел Антокольский, Маргарита Алигер, Даниил Данин и многие их друзья были ошельмованы как “космополиты”.

Целый ряд еврейских писателей были уничтожены, среди них Лев Квитко, знакомый Цветаевой Ноях Лурье отсидел в лагере, но все-таки вернулся.

Книгу стихов Арсения Тарковского, подготовившего ее в 1945 году, рассыпали в 1946 году после выхода постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград”. Его первая книга вышла в 1962 году.

Мария Петровых печатала только переводы, ее впервые опубликовали в том же оттепельном “Дне поэзии”, где и Цветаеву.

Валентин Парнах после войны как поэт был напрочь забыт.

Послевоенная писательская судьба Константина Федина и Леонида Леонова, несмотря на лавры, которыми их осыпали, была печальна. Федин с трудом доводил трилогию, где самой неудачной была последняя книга “Костер”. Леонов сорок с лишним лет писал философский роман “Пирамида”, который остался незавершенным.

После войны был такой почин: старшеклассники чистопольской школы отправляли в Москву бывшим обитателям города просьбу прислать свои книги и написать коротенькое впечатление о прошлой эвакуации. Из фрагментов нескольких таких ответов складывается причудливая картина этого городка.

Асеев писал школьникам в 1950 году:

В памяти моей прочно остался Чистополь, с его плодородной почвой, замечательной водой, свежим чистым ветром. В особенности он мне вспоминается зимой: с широкими улицами, обстроенными одноэтажными домиками, над крышами которых нависли белые снеговые наметы, сверкающие днем при солнце радужной искрой. А вечером огоньки, огоньки по окнам и тишина, мягкая, снежная, пуховая^[519].

Сельвинский вспоминал странную картину, взятую будто бы из Средневековья.

Когда я бродил по этому городу и видел, как мальчишки бежали за одним из крупнейших наших поэтов и кричали ему: “Пастернак! Пастернак!”, я подумал: сейчас вы кричите это имя потому, что вас поразила необычайность и юмористичность фамилии Бориса Леонидовича, но придет время, и вы будете вспоминать о нем, читая его “Лейтенанта Шмидта” или “1905 год”. Может быть, среди вас, тех, кому я сейчас пишу, тоже имеются такие ребята!^[520]

Дети, бегущие за поэтом... Может, они даже кидали что-то в него, а может, просто так кричали. И вот Пастернак спустя несколько лет пишет с благодарностью и тем мальчикам тоже.

Хотя я совсем не то, что Вы думаете, и совершенно не гожусь в образцы и примеры того, как надо жить и думать, я в большом долгу перед Чистополем и рад это обстоятельство признать и в этом расписаться.

Я всегда любил нашу глушь, мелкие города и сельские местности больше столиц, и мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их увидел зимой 1941 г., когда приехал к эвакуированной в него семье. Я не говорю о личных связях, как, например, о дружбе с замечательной семьей Авдеевых или о каких-нибудь других знакомствах, это не зависит от размера городов и от поэтичности природы, это ценности самостоятельные. А я имею в виду именно связи безымянные, встречи с незнакомыми на улице, общий вид города, деревянную резьбу на окнах и на воротах. Все это мне нравилось, все это меня душевно питало^[521].

Ахматова

*Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.*

Анна Ахматова

Уезжая в те прекрасные майские дни из цветущего Ташкента, Анна Андреевна надеялась на счастье, на встречу с дорогим для нее человеком, на новый дом, на возвращение сына с фронта и на изменения к лучшему в стране.

Белым камнем тот день отмечу,
Когда я победе пела,
Когда я победе навстречу,
Обгоняя солнце, летела, —

писала она, полная ожиданий, в самолете 14 мая 1944 года.

Ахматова прилетела в Москву и остановилась на несколько дней у своих друзей Ардовых. Встретившаяся с ней Маргарита Алигер восхитилась:

Я никогда не видела ее такой радостной, как в третью нашу встречу, когда весенним московским вечером я пришла к Ардовым повидать Ахматову, только что приехавшую из Ташкента. Она была

оживленная, преображенная, молодая и прекрасная. <...> Больше я никогда не видела ее такой откровенно счастливой^[522].

31 мая, пообщавшись с московскими друзьями, Анна Андреевна выехала в Ленинград. Там ее ждал Владимир Гаршин. Он встретил ее. На перроне вокзала были и ее друзья. Они предполагали, что Ахматова сразу же уедет вместе с Гаршиным. Но он поцеловал ей руку и сказал: “Аня, нам надо поговорить”. По воспоминаниям Адмони, они ходили по перрону недолго. Гаршин снова поцеловал ей руку и ушел. Ахматова попросила, чтобы ее отвезли к ее друзьям Рыбаковым. Около двух недель Гаршин ходил к ней объясняться. Наконец, Анна Андреевна сказала ему, чтобы он больше не приходил. Они расстались навсегда.

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела, —

отвечала она самой себе спустя всего две недели.

До сих пор до конца не понятно, что же произошло между ними. Ведь он ждал ее, строил планы, это видно по сохранившимся письмам к сыну. Возможно, осознав перспективу общей судьбы с такой известной женщиной, как Ахматова, Гаршин испугался. Она же была оскорблена. Все знали, что Анна Андреевна едет к мужу. Она знала, что жизнь ее на виду. Были уничтожены его письма, она потребовала вернуть свои. Все посвящения, упоминания о Гаршине были убраны. Она истребляла даже память о нем. И только иногда в стихах звучали ноты отчаяния:

Я все заплатила до капли, до дна,
Я буду свободна, я буду одна.
На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест...

Гаршин спустя некоторое время женился на сверстнице Анны Андреевны, профессоре, с которой вместе работал.

Ахматову ждали постановление 1946 года, новые гонения, неофициальное почитание и огромная слава. Наверное, пережитый удар разучил ее надеяться на личное счастье. Она навсегда останется поэтом печали, достойно несущим крест одиночества. Судьба не дала ей семейного счастья, оставив иной удел.

Ташкент она помнила всегда, он возвращался в стихах, в дружбе с Козловскими, Раневской, Татьяной Луговской и многими другими, кого Ахматова обрела именно там.

Елена Булгакова

Жизнь Елены Сергеевны Булгаковой после войны приобрела абсолютно иное направление.

Так или иначе, но дороги Елены Сергеевны и Луговского расходились все дальше. Судьба Булгаковой навсегда будет связана только с Татьяной Луговской и Сергеем Ермолинским.

В 1948 году умерла Ольга Бокшанская. Елена Сергеевна поехала в город их детства и юности – в Ригу. Она тосковала по рано ушедшей сестре. Татьяне Луговской пришло от нее из Риги письмо:

Дорогая Танюша, как давно мы с Вами не виделись. Как приеду, мы непременно встретимся.

Эти последние два месяца мне хотелось быть только с людьми, которые знали и любили Олю, ведь Вы это понимаете. От этого я и не звонила к Вам.

А вообще Вы же знаете, что мы с Вами не просто знакомые, а нас навсегда связала прочная веревочка.

Что Вы делаете, да и в Москве ли Вы еще? Как здоровье Вл<адимира> Ал<ександровича>? Когда я уезжала, я встретила Вашу Полю, и она мне сказала о его тяжелом состоянии.

Тусенька, мне все еще очень тяжело, и здесь тяжелее, чем в Москве. Рига так неразрывно связана с Олей, с нашей беготней по всем улицам, с нашими детскими и юношескими воспоминаниями, – что я как выйду в город – так и замираю от безвыходной тоски. Хожу одна, разговариваю сама с собой, твержу кому-то: никогда не возвращайтесь туда, где Вы были когда-то счастливы.

Напишите мне, голубчик мой, если Вы получите это письмо до 20 авг<уста>.

Целую Вас нежно. Ваша Лена^[523].

Впереди ее ждали публикация романа “Мастер и Маргарита”, вечера Булгакова, заграничные путешествия и долгая счастливая слава Маргариты.

Татьяна Луговская

Татьяна Луговская после войны стала жить в доме брата на Лаврушинском. Отношения с мужем не складывались. После войны, вернувшись к прежней жизни, многие чувствовали дискомфорт. Причины его сформулировать в тот момент было невозможно. Но известно, что переломы в личной судьбе происходили на каждом шагу: военные женились на медсестрах и женщинах, с которыми прошли

войну; многие писатели переживали личный кризис – Пастернак, Паустовский, Шкловский и другие.

Татьяна Луговская вернулась в семью, но ненадолго. В 1947 году на вечере у Фрадкиной она познакомилась с ссыльным на тот момент, проживавшим в Грузии. Он произвел на нее сильное впечатление: не был похож на московских знакомых твердостью и интеллигентностью: “...Навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный (так мне показалось), белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были Вы”. После чтения пьесы незнакомца “Грибоедов” все, как водится, выпили, поговорили. Когда вышли вечером, стало понятно, что ему некуда идти. Почему-то Татьяна позвала его к себе и очень обрадовалась, когда муж встретил ее нового знакомого с радостью. Оказалось, что они знали друг друга с незапамятных времен. Это был сценарист Сергей Ермолинский. После ареста и ссылки жизнь в больших городах ему была запрещена.

“Я проснулась наутро, – вспоминала Луговская, – от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой: «Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она взяла меня в свой дом»”.

Оказалось, что это был тот самый Сережа, который дружил с Михаилом Афанасьевичем и Еленой Сергеевной, а после смерти писателя буквально через полгода был арестован по “булгаковскому делу”. Потом Ермолинский для Елены Сергеевны нашелся в местечке недалеко от Алма-Аты, послал ей письмо. Счастливая Елена Сергеевна вместе с Татьяной собрали посылку для него. Их пути пересекались неоднократно, и, наконец, они встретились в Москве.

Вот так состоялось наше знакомство.

Потом Вы уехали и писали мне короткие скорбные письма.

И в каждом письме – грузинский рассказ. Получалось очень толстое письмо.

Вы пили грустное вино и тихо погибали в Тбилиси, а я в Москве все время думала о Вас^[524].

Почти десять лет испытаний потребовалось им, чтобы наконец оказаться вместе.

Бог подарил им еще одну жизнь. Они прожили ее в квартире возле метро “Аэропорт” долго и счастливо. Сначала умер Сергей Ермолинский, а спустя десять лет, день в день, – Татьяна Луговская. Можно даже сказать, что она задумала уйти в день его смерти, так и случилось... Их дом много лет был магнитом, центром притяжения для замечательных людей, здесь царили любовь, внимание к собеседнику, неторопливая, несуетная беседа не любые темы.

Татьяну Александровну Луговскую я узнала давно. Будучи уже немолодой дамой, она поразила меня своими язвительными

суждениями, ироничностью и в то же время глубочайшим интересом к людям. Ее низкий, хриплый голос невозможно забыть, он сразу же выплывает из памяти, достаточно только щелкнуть невидимым переключателем. “Почему вы носите длинные волосы, вы считаете это красивым?” Я нервничала, меня удивлял допрос этой необычной дамы, похожей на постаревшую Мэри Поплине, и отвечала, что не думаю об этом, ношу и все. Она забрасывала меня вопросами, пристально следя за моей реакцией, и вела нить разговора в ту сторону, которая была мне интересна. Она была обаятельна и умела захватить собеседника буквально сразу, с первых минут. Ей было абсолютно все равно, кто перед ней – женщина, старик, ребенок, молодой мужчина, ей было важно, чтобы все уходило от нее влюбленными.

История с письмами Малюгину, которые ее племянница Л. В. Голубкина нашла и расшифровала после ее смерти, очень характерна для Татьяны Александровны, ее эксцентрического характера. Как все это было, рассказала Людмила Голубкина в предисловии к публикации писем в книге Т. Луговской.

Однажды, уже в последние годы жизни Татьяны Александровны, я пришла к ней и застала ее сидящей на постели, а вокруг нее весь пол был засыпан изрезанной бумагой.

– Что это? – в потрясении спросила я. – Что вы делаете?

– Уничтожаю свои письма к Лёне, – спокойно ответила она. – Зачем?

– Это мое дело, – сказала она надменно.

Потом рассказала, что они переписывались в течение многих лет, но в 1946 или 1947 году произошла ссора, как тогда казалось, навсегда. И Татьяна Александровна потребовала, чтобы он вернул ей ее письма. Он долго медлил, наконец после неоднократных напоминаний вернул. И она их уничтожила. А после его смерти ей позвонила сестра Леонида Антоновича и сказала, что они обнаружили в его бумагах перепечатанные копии. Вот эти копии она и кромсала у меня на глазах.

По ее просьбе я подобрала бумаги, сложила их в полиэтиленовый мешок.

– До другого раза, – сказала она.

Но когда после ее смерти я стала разбирать бумаги, то нашла аккуратно свернутые, перевязанные ленточкой листы. Это и были те самые письма. Она их не уничтожила, а “отредактировала” – вырезала какие-то места, которые ее не устраивали.

У нее был трудный характер, она одновременно и понимала, и не понимала этого. Но что-то мучило ее. Незадолго до смерти вдруг сказала:

– Боюсь, что не встречу там с Сережей (ее покойный муж – Ермолинский), не заслужила.

Владимир Луговской

Вернувшись в Москву в начале 1944 года, Луговской работал над поэмами, показывал друзьям, читал. Москва возвращалась к мирной жизни. Все жаждали перемен, и государственных, и личных. Отношения с Еленой Сергеевной, которая в первые месяцы 1944 года ездила к сыну в Кировскую область в военное училище, куда устроил его отец, были теплыми, но не более того. Внутренне они все более отдалялись друг от друга.

Он вспоминал о Ташкенте и мечтал, надеялся на счастье:

Пустая балахана. Дворик с чужой жизнью. Улица Жуковская. Куда же все это ушло? Ушло в песни. Только там оно и живет. Где ты, горе мое? Страдания мои нечеловеческие. Первая свеча. Гибель вселенной. Горе мрака и бешеного упоения. Заслужил ли я крестной муки моей души, этот скрип кровати за стеной. Сырые ростки, огороды, лопаты поутру. Радуюсь этому движению маленьких ростков, ледяных и острых. Грозная сила вещей толкнула меня на край света и принесла обратно. Отставной поэт. Меня вызвала к жизни, к спору, к жадности холодноватая московская весна, мышь-землеройка, запаханные окопы, диковатая и горькая твоя любовь. Сначала снег в своем полете покрыл все, и выморозил, и заставил заснуть. Потом пришла весна, и вышли твердые ростки, и я вернулся к отцовской могиле. Так возвращается ветер в свои кручи. Из горя моего выросло чужое горе, из груди моей поднялся зеленый мир.

Ничего еще не решено в мире, но будет решено во славу жизни. Гимн ее зеленым превращениям. От жертвенного безумия матери к мудрости отца. Будем жить.

Будем жить сначала. Пора снова возводить города. Все это было и будет. Смертная воронка поросла юной травой. Приходит снова пора юности.

Ничего не понимающая жизнь раскрывает свои холодноватые, ясные глаза. Они – как твои, и они смотрят на меня, и я слышу тебя, я иду навстречу горю и радости^[525].

Они познакомились в метро, на станции “Новокузнецкая”. Елена Быкова работала поблизости в химическом институте, и Луговской время от времени встречался ей – красивый, высокий седой мужчина, опирающийся на палку. Везде и всегда он носил с собой папку с поэмами, боясь, что она может пропасть.

Елена Леонидовна была химиком. Очень красивая, замужняя, моложе его почти на двадцать лет. Начался роман. Он не мог не начаться: уж очень Луговской ждал весны, обновления всего – страны, природы, себя. Елена Быкова познакомила его со своим немного чудаковатым мужем, Александром Стрепехеевым, тоже химиком, который впоследствии стал ближайшим другом Луговского. Они ушли

из жизни друг за другом в 1957 году, сначала от инфаркта умер Стрепехеев, потом – Луговской.

Дочка Луговского рассказывала, как Елена Леонидовна Быкова ее, четырнадцатилетнюю девочку, пригласила в “Националь”. Это после трех голодных лет!.. Их кормили чем-то необыкновенно вкусным. Подавали бесшумные официанты.

Когда же отец, может быть шутки ради, спросил дочь, на ком ему жениться: на Елене Сергеевне или Елене Леонидовне, Муха, вспомнив дымящиеся серебряные судки, почти не раздумывая, сказала, что, конечно же, на Елене Леонидовне. Смеясь, она признавалась спустя годы, что ее выбор произошел через “желудок”.

Е[осле войны, в 1946 году, они с Еленой Быковой только-только начинали строить общую жизнь. Луговской вылетел в Ташкент для очередной переводческой работы, а вслед за ним туда прилетела Елена Леонидовна. Он столько рассказывал ей о Ташкенте, об эвакуации, об Ахматовой, что ей было ужасно любопытно посмотреть на все своими глазами.

На улицу Жуковскую он повел меня, чтобы показать дом, в котором жил во время войны.

Небольшой дом и дворик, балахана, в которой жила Елена Сергеевна, были мне уже хорошо известны по его рассказам. Вошли в дом и оказались в затрапезной прихожей. Луговской постучал своей палкой в дверь. Ее открыла маленькая, очень некрасивая женщина. На худом, загорелом, морщинистом лице как-то особенно выделялись светлые, прозрачные глаза. Женщина, увидев Луговского, улыбнулась, обнажив торчащие желтые зубы.

– Луговской! Какими судьбами?! – Платье на ней было обтрепанным и грязным, как на нищенке.

Луговской почтительно склонился к ее маленькой, темной и сухой, как у обезьянки, ручке и поцеловал ее с совершенно непонятным мне подбострастием.

– Проходите, – сказала она, – проходите. Это ваша жена? Хорошенькая.

В закопченной, полутемной комнате царил бедлам. На столе и грязной постели – книги, бумаги, газеты, тарелки. Перевернутый табурет, везде окурки. <...> Я ничего не могла понять. Что это? Кто это?

– Почему ты с ней здороваешься как с королевой?

– Она и есть королева. Это Надежда Яковлевна Мандельштам! <...>

Очень довольная, Н<адежда> Я<ковлевна> появилась с четвертинкой в руке. Взяв с полки два грязных стакана и чашку с отбитой ручкой, разлила водку на троих.

– Выпьем! – сказала она весело.

Все это могло бы шокировать, если бы не ее глаза, смотревшие с таким умом и пронзительностью, что я невольно тушевалась под этим взглядом, чувствуя свою несостоятельность и малость.

– Это великая женщина, – говорил мне на обратном пути Луговской. – Она может служить примером подвижничества и верности. Надежда Яковлевна хранит в памяти все его стихи...^[526]

Надежда Яковлевна оставалась все это время в Ташкенте. Ей удалось устроиться работать в Ташкентском университете преподавателем английского языка. Однажды к ней заехал друг ее и погибшего Осипа Мандельштама, живший в то время в Алма-Ате Борис Кузин, адресат множества ее писем. Их житье на Востоке, вдали от столиц, было, конечно же, связано с тем, что негласно они имели статус ссыльных, и только в середине 1950-х им удалось вырваться в Москву и Ленинград.

Луговской прожил до 1957 года, успел опубликовать часть глав из “Середины века”, значительно переделав их, по его собственным словам, “к XX съезду партии”, написал две книги лирических стихотворений. Ушел он, по ощущению многих близких людей, на взлете. Ташкентские поэмы были напечатаны, но та трагическая логика, которая связывала их, тот резкий и обнаженно исповедальный тон были убраны. Татьяна Луговская как-то привела разговор, который состоялся у нее с Владимиром Александровичем в присутствии его учеников:

Мы сидели на диване. Огромное окно было перед нами...

На диване с нами сидел его бывший ученик, имя которого мне не хотелось бы называть.

– Интересно, когда я умру, кто из них меня оболжет, кто предаст, кто забудет? Кто будет помнить? Кто поймет и объяснит меня? – раздумчиво спросил брат.

Третий, сидящий на диване, точно и быстро ответил на этот вопрос. Ответ был так неожидан и печален, что у меня перехватило горло, но брат начал хохотать так весело и беззлобно, что мне стало страшно за него и обидно.

– Предадут тебя, – сказала я. – Они ведь предадут себя?

– Черта лысого! – хохотал Володя. – Черта лысого! Это очень хорошо, если из моей шкуры сделают трамплин для себя. Это жизнь, Татьяна! Я-то буду уже мертвый, а мертвые сраму не имут. А защищать меня будет Поэма (он называл так “Середину века”).

Этот разговор мне приходится вспоминать иногда. Грустно мне его вспоминать, но приходится^[527].

Мария Белкина

Под конец войны в отношениях с Тарасенковым возник кризис; как она говорила, люди отвыкли друг от друга и очень устали. Хотела даже написать роман о том, как после войны мужьям и женам, оставшимся в живых, надо было заново привыкать друг к другу.

Тарасенков после войны работал в “Знамени”, “Новом мире”. Умер он в день открытия XX съезда, в 1956 году, оставив после себя самый полный библиографический справочник поэзии первой половины XX века.

Воспоминания М. И. Белкиной о ташкентской эвакуации станут частью ее книги “Скращение судеб” о Марине Цветаевой, Георгии и Ариадне Эфрон. Книга задумывалась в те печальные годы, когда можно было только мечтать о возможности опубликовать такой труд. Но письма, домашние архивы, устные рассказы множились и превращались в цепочки глав. С этими главами-историями Мария Иосифовна ехала на “Аэропорт” в дом Татьяны Луговской и Сергея Ермолинского и рассказывала будущую книгу как Шахерезада. Они с удовольствием слушали. Шли месяцы, годы. Книга складывалась. Но напечатать ее стало возможным только в 1988 году. Тогда она произвела на читателей сильнейший эффект.

Никого из слушателей уже нет, а себя Мария Иосифовна иронически называет “уходящая натура” из писательского дома на Лаврушинском.

И все-таки опыт эвакуации не прошел бесследно ни для самих писателей, ни для обитателей Чистополя. Осталось два города, где в пространстве навсегда отпечатались след присутствия талантливых людей: поэтов, художников, писателей. Это Ташкент и Чистополь. Так и хранили они в душах свой Ташкент, свой Чистополь, не забывая те годы – никогда.

А Ташкент и Чистополь по сей день хранит отпечаток их следов...

Приложение

Вокруг Чистополя - Елабуги

Рассказ Л. Б. Либединской о проводах Цветаевой

Либединская (Толстая) Лидия Борисовна – автор книги мемуаров “Зеленая лампа”, где описана их единственная прогулка с Мариной Цветаевой, ее сыном Муром и Алексеем Крученых в парке “Кусково” 18

июня 1941 года (в память о той встрече была сделана фотография). Цветаева уезжала 8 августа 1941 года; Лидия Борисовна провожала ее вместе со Львом Александровичем Бруни.

Я: Скажите, Лидия Борисовна, как вы оказались на Речном вокзале? Что Вас заставило туда поехать?

Л. Б.: Меня Лев Александрович туда потащил. Почему я стала работать в госпитале? Там лежал Ваня Бруни, очень тяжело раненный. Я за ним ухаживала, но там нельзя было находиться все время, я стала там работать бесплатно. Там же сдавала кровь. Мама с бабушкой и дочкой были на даче во Внуково. А Лев Александрович приходил каждый день в госпиталь, навещал сына. Нины Константиновны не было, она отдыхала в Крыму с двумя детьми, война ее застала в Судаче, она вернулась только в октябре, когда Лев Александрович достал для нее пропуск. Он мне сказал, когда я была в госпитале: "Завтра будем провожать Цветаеву, поедем со мной". Я приехала к нему на Полянку. Обычно, когда я выходила из госпиталя, то не шла домой на Воротниковский, а ехала на Полянку. Я уж не помню, в который час это было, знаю только, что переменила дежурство, чтобы освободиться днем. Я переночевала на Полянке, и мы, позавтракав со Львом Николаевичем, сели на трамвай. Этот трамвай, я не помню, там 25-й ходил, он же ходил к нам в Воротниковский, на Дмитровку. Он останавливался прямо под их окнами на Полянке; они жили в четвертом доме, на пятом этаже. Мы сели на трамвай, долго пилили куда-то, но тогда я не придавала этому значения. Мы туда приехали, была целая толпа народу. Он всех спрашивал, а я за ним тихо шла. Ко мне он относился как к Ванькиной жене. Я не помню, то ли автобус при нас подъехал... – нет, они уже стояли. Они стояли там, среди груды вещей. Марина Цветаева стояла, но у нее вещей было мало; она все время говорила: "Левушка, вот рис кончится, что будет? Рис кончится..." – она это все время повторяла. У нее была наволочка с рисом. А Мур все время уходил, я не знаю куда. Потом Боков рассказывал, что он им помогал. Но я тогда не знала, кто такой Боков, и никто не знал. Он меня тоже не видел. Мы не были знакомы. Просто никто из нас ничего из себя не представлял.

Цветаева разговаривала в основном со Львом Александровичем, потом подошел Борис Леонидович, совсем уже в конце – приехал Оренбург. Оренбурга, по-моему, я вообще первый раз видела, потому что потом мы вместе с Брунями бывали у них в гостинице "Москва", когда вернулась откуда-то Любовь Михайловна. Не знаю, где она была. Они жили в нашем подъезде (имеется в виду дом в Лаврушинском переулке. – Н. Г), у них разбомбило квартиру, и они переехали в гостиницу "Москва". Потом он жил в "Красной звезде", потому что Любовь Михайловна отсутствовала. У них были странные отношения.

Он на меня никакого внимания не обращал, разговаривал с Цветаевой и со Львом Александровичем. Оренбург очень любил Бруни и Нину Константиновну. Он спрашивал его про сына, потому что знал, что Ваня очень тяжело ранен. Второй сын уже был на фронте, потом погиб. Коротко это все было, мне хотелось скорее уехать в госпиталь. Тогда Цветаева меня поцеловала на прощание и сказала: “Жаль, что вы с нами не едете”. До этого я с ней по телефону разговаривала, не помню: один или два раза. Она меня спрашивала, что брать с собой. Я, дура, конечно, говорила ей (тогда все считали, что война кончится 18 августа), что ничего не надо брать. У нее, наверное, и так ничего не было. Я бы ничего не взяла. Мама меня уже записала на пароход. Мы должны были плыть. Но 18 июля привезли Ваньку; он был ранен под Борисовым. Ранение было такое тяжелое, что его сразу в Москву привезли. На месте не могли ничего сделать. Лев Александрович принес мне записку в Историко-архивный институт, что Ваня тяжело ранен, и я кинулась в клинику.

Ну вот, пришел Эренбург, и я сказала, что поеду в госпиталь. Тогда Эренбург говорит: “Левушка, – он так его называл, – тут машина за мной придет, я тебя довезу”. Не потому что Лев Александрович один не мог, он не старый был, только плохо слышал, у него когда-то менингит бы в детстве, и глаз был немножко поврежден. Он сказал мне: “Я приеду еще в госпиталь”, – так что это было, наверное, еще в середине дня. И я побежала опять на какой-то трамвай...

Письмо Натальи Соколовой Марии Белкиной

Соколова Наталья Викторовна (Ада Типот) – прозаик, до войны гражданская жена Константина Симонова, ей он посвятил довоенную поэму “Пять страниц | Расстались они в 1938 году, когда Симонов женился на Евгении Ласкиной. Все вместе, в том числе и Белкина, они учились в Литинституте. Соколова была дочерью известного эстрадного режиссера, сценариста В. Я. Гинзбурга (1893–1960), выступавшего под псевдонимом Типот. Это прозвище он получил в дружеском кругу за длинный нос – чайник, его английский эквивалент (teapot) и стал псевдонимом. В. Я. Типот был родным братом Л. Я. Гинзбург, родственником Троцкого и В. Инбер. Л. Я. Гинзбург, бывая в Москве, останавливалась в квартире брата в Лиховом переулке.

В Чистополе Наталья Соколова оказалась с самым первым эшелонем 6 июля 1941 года, будучи беременной и с полуторагодовалым сыном на руках. Цветаеву не видела, так как провела те дни, которые та была, в Чистополе в больнице рядом с больным сыном. Но Цветаева общалась с ее матерью и близкой подругой Жанной Гаузнер. На их воспоминаниях о Цветаевой и собственных впечатлениях от Чистополя основано это письмо, отправленное Марии Белкиной после выхода ее книги “Скрещение судеб”.

Маша!

Хочу рассказать тебе то немногое, что я знаю о пребывании Марины Цветаевой в Чистополе (причем знаю главным образом с чужих слов).

Почему с чужих слов? Я уехала из Москвы в Татарию с самым первым эшелонем от Союза писателей и Литфонда (6 июля 1941 года), беременная с полуторагодовалым сыном. У сына обнаружили дизентерию, в результате я с больным ребенком оказалась в больнице у замечательного старого врача Дмитрия Дмитриевича Авдеева, который его спас, выходил. В последних числах августа (когда Цветаева приезжала в Чистополь) сына еще не выписали из больницы, я находилась при нем неотлучно, за больничную ограду не выходила.

Моя мать Надежда Германовна Блюменфельд (жена драматурга и режиссера Виктора Типота, театральная художница) приехала в Чистополь со вторым эшелонем. Она и Жанна Гаузнер (молодая писательница, дочь Веры Инбер, моя подруга детства) решили поселиться вместе, получили от горсовета бумажку (ордер?) на право вселения к каким-то частным хозяевам. Адреса я не знаю, сама там не была, так как из больницы меня с сыном привели уже не на эту квартиру, а на другую, по второму адресу (мама и Жанна переехали). <...>.

Вот что я слышала – и не раз от мамы – от мамы, от Жанны. В Чистополе Цветаева заходила к знакомым людям, зашла она и к Жанне, которую знала по Москве как дочь Веры Михайловны (первый адрес). Одну из своих чистопольских ночей (не знаю, какую именно) Цветаева провела у наших, ночевала на кровати, приготовленной для меня и пустующей. Нехитрую мебель – кровати, столы, табуреты – выдавал эвакуированным Литфонд, чтоб можно было хоть как – то существовать. Кровати были самые простые, с металлическими крашеными решетками, с жиденькими стегаными матрацами, матрацы клались даже не на сетку, а просто на железные полосы. Я потом просидела на этой “цветаевской” кровати почти полных два года, проведенных в Чистополе.

К сожалению, я в свое время не расспрашивала подробно мою маму, теперь уже покойную, о чем она разговаривала в тот вечер с Цветаевой (многое мы в жизни упускаем – безвозвратно). Но иногда мама все же вспоминала о своей встрече с Цветаевой, как бы между прочим, к случаю: кое-что мне запомнилось. Цветаева была усталая, измученная, забегавшаяся.

Говорила, что непременно хочет перебраться из Елабуги в Чистополь, в Чистополе она будет спокойна за Мура, его возьмут в интернат Литфонда, он будет там в тепле и сыт, окружен сверстниками, сможет нормально учиться в школе, а она одна как-нибудь устроится, неважно – как. И еще говорила, что вот Мура скоро

призовут в армию, отправят на фронт, этого она не вынесет, не переживет – ждать писем, не получать месяцами, ждать и получить последний страшный конверт, надписанный чужим почерком... Так и будет, ничего нельзя изменить, иного не дано. Именно это ей предстоит. Нет, нет, она не согласна, не желает, ей отвратительна, невыносима такая зависимость от обстоятельств, от непреложности, такая обязательность всех этапов трагического пути, “пути Марии”. Сил на это нет...

Разумеется, я восстанавливаю рассказ мамы приблизительно, не могу ручаться за точность (сколько лет прошло), но оборот “зависимость от непреложности” фигурировал, отпечатался в памяти. Надо отметить – все, что говорилось от имени Цветаевой, было разительно не похоже на собственный словарь моей мамы, на обычную стилистику ее речи. Не могу себе представить, чтобы могла придумать и сама сказать: “путь Марии”, это немыслимо, высокий стиль был ей совершенно чужд.

В конце пятидесятих годов я поехала в командировку в Ленинград, заболела там гриппом, довольно долго лежала у Жанны (Жанна после войны вышла замуж за ленинградского кинорежиссера и переехала к нему). Зашел разговор о Чистополе, Цветаевой. “Она плохо понимала реальную жизнь, – сказала Жанна. – Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением: «Я готова на это». Ты же помнишь войну? Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребятишек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относил Пастернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место помойки на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?.. Помню, мы шли с Цветаевой по улице, подошел кто-то (кажется тот же Парнок) и сказал: «Мы все теперь грызем очень горькую кисть жаркой рябины». Это была цитата из ее стихов, изящно преподнесенная. Но она не откликнулась, она уже никого и ничего не слышала, была где-то далеко. У нас дома, укладываясь спать, все повторяла: «Если меня не будет, они о Муре позаботятся». Это было вроде навязчивой идеи. «Должны позаботиться, не могут не позаботиться». «Мур без меня будет пристроен». У нее болели ноги, Наталья Германовна согрела ей на керосинке воду, чтобы их попарить. Цветаева сидела перед тазом на низкой скамеечке, усталая, опустила голову на колени, волосы спутанные». Еще Жанна что-то рассказывала о Цветаевой и предвоенной Москве, но этого я уже напрочь не помню. <... >

В этот период несколько раз заходила к Жанне и Юре, я его видела, разговаривала с ним. Это был высокий красивый юноша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и очень светлыми глазами. “Настоящий ариец”, как кто-то о нем шутя сказал. Аккуратный, подтянутый, вещи на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фамиллярности, панибратству, похлопыванию по плечу. Он казался замкнутым, холодным, пожалуй, даже высокомерным, но это, очевидно, было у него защитное – пусть не смеют жалеть, сочувствовать, оплакивать его горькое сиротство. Холодность, сдержанность были, конечно же, продиктованы гордостью, самолюбием.

Тогда было много всяких разговоров о Муре. Говорили, что он не хотел ехать в Россию, что в Москве и потом в Елабуге попрекал мать, зачем она настояла на поездке, погубила семью. Его будто бы раздражали беспомощность матери в житейских делах, ее хозяйственная неумелость, некоторая неряшливость. Не берусь судить, насколько это верно.

Когда Мур приходил, моя сердобольная мама (которая всех жалела, а его особенно, без лишних слов наливала из бидона в железную миску холодный казенный суп) нам с Жанной, ей кормящей, мне беременной выдавали в Литфонде питание на дом, второе от обеда бывало строго отмеренное, скудное, а жижу супа наливали довольно щедро, можно было иногда и угостить, во всяком случае, в сентябре, когда голодная карточная первая зима войны была еще впереди. Мур неизменно отказывался. Не надо, спасибо, уже поел у Асеевых или еще где-то, сыт. В конце концов он все съедал под чистую.

Те писатели и жены писателей, которые составляли мое окружение в эвакуации, с которыми я общалась, были уверены, что Цветаевой отказали в чистопольской прописке, что она вернулась в Елабугу ни с чем. Впервые в твоей книге, Маша, я прочитала, что дело обстоит иначе. Многие из побывавших в Чистополе и сейчас упорствуют: отказали, это точно, такой-то был на заседании, такой-то слышал от самой Цветаевой, что ей отказано... Во всяком случае, известно, что маститый драматург Тренев, фактически глава нашей чистопольской колонии, противился переезду Цветаевой в Чистополь, не хотел за нее ходатайствовать, его тогда за это осуждали, Цветаеву жалели. Не все, конечно, знали ее стихи, понимали масштаб ее дарования, но кое-кто понимал (среда профессиональная, квалифицированная, были люди высокой эрудиции); остальные жалели ее просто как человека в беде, как одинокую женщину, у которой близкие арестованы. Сочувствие большинства было на ее стороне. Рассказывали о Треневе следующее. Цветаева якобы ему бросила реплику: “Всем можно в Чистополь, даже дальним родственникам. А я разве не такая, как другие?” А он ей на это ответил: “Да, вы не такая, как другие”. Рассказ этот варьировался, некоторые утверждали, что протестующую реплику подал один из

доброжелателей Цветаевой, Тренев ответил именно ему (“Да, она не такая, как все!”), лично с Цветаевой не встречался.

Через много лет (в Москве, в Центральном доме литераторов) я попробовала выяснить у дочери Тренева, очень славной Натальи Треновой-Павленко, виделся ли ее отец в Чистополе с Цветаевой. Лицо Наташи помрачнело, она сказала с несвойственной ей резкостью: “Я на эту тему раз и навсегда не разговариваю”.

Помню разговор с умницей Лизой Лойтер, которую я знала давно, еще до эвакуации (она у нас в Литинституте читала факультативный курс истории музыки, сидя у рояля и сама себе подыгрывая, читала талантливо, артистично, с блеском). Лиза высказала такую мысль – Цветаева допускала возможность своего ареста, понимала, что в этом случае она, скорее всего, потянет за собой Мура, так не лучше уйти, без нее он затеряется в толще людей, не будет привлекать внимание. Лиза употребила выражение: “опасная мать”.

Говорила ли сама Цветаева об этом или это были просто домыслы Лизы, ее предположения, сожалению, не знаю.

Вопрос об отношениях Асеева – Цветаевой достаточно сложен. Напишу, что помню, без выводов. В шестидесятых, семидесятых годах я не раз слышала обвинения в адрес Асеева, что он “предавал Цветаеву”, “топил Цветаеву”. В Чистополе в сорок первом году его считали другом и защитником Цветаевой, хотя, правда, многие добавляли, будто защищал он ее несколько вяло, с воркотней, жалобами на то, что вот перегружают, заездили, но, дескать, такой у Колечки характер – жалея других, помогая другим, прежде всего жалеет себя. Во всяком случае, ни о каком “предательстве”, ноже в спину тогда речи не было. Однажды в Чистополе на улице (в очереди за керосином? за продуктами?) Асеев при мне читал стихи Цветаевой, ему поддакивали “четыре грации” – жена Оксана и ее сестры Синяковы, которые всегда роились возле Асеева. <..>

... В конце сентября мы с Жанной шли с сумками, кастрюльками, бидонами за очередной порцией литфондовского пропитания. Встретился Мур, теперь уже интернатский. Он сказал, что хочет уехать в Москву, но не знает, получится ли. Уточнил у Жанны адрес московских общих знакомых. День был невеселый, хмурый и Мур тоже. Моросил дождичек. Мур простился с нами, перешел через улицу, меся вязкую грязь проезжей части, потом зашагал по деревянным мосткам, которые в Чистополе заменяли тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный, с высоко вскинутой головой и прищуренными глазами, он, казалось, не замечал одноэтажных деревянных домов с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесовых ворот, замурзанных ребятишек, которые гоняли в большой луже самодельный плотик, бабьей очереди с ведрами у водопроводной колонки. Жанна сказала с каким-то печальным недоумением: “Европеец, а вон куда занесло. Кто бы мог предсказать... И один. Совсем один”.

Больше я никогда Мура не видела.

Прости, что мало фактического и много эмоционального. Что мало о Цветаевой и много – вокруг Цветаевой. Собрала по крохам что могла.

Твоя Н. С. 7 августа 1989 года

Перебирая старые письма, нашла клочки конвертов, чудом сохранившиеся. На них два адреса – Вахитова, 36, и Октябрьская, 59. Кажется, первый из них – Вахитова, 36, надо будет еще определить по содержанию писем. Если так, то значит, в этом доме побывала и провела ночь Марина Цветаева.

Из архива М. И. Белкиной

Письмо Натальи Треновой (Павленко) Маргарите Алигер
<Зима 1942 >

Милая Рита!

Спасибо, спасибо Вам за стихи. Среди них есть вещи прекрасные, и если некоторые и послабее, но и их нельзя читать без волнения. Я плачу редко, но должна признаться, что едва могла сдержаться от слез. А Вы знаете, по-моему, одно из самых больших наслаждений в жизни плакать над стихами.

Как хорошо, что Вы мне пишете! Мне очень понятно, что Вы истосковались по Тане. Но осталось потерпеть всего полтора – два месяца, и там начнется навигация и Вы поедете ее навестить. Здесь говорят, что пароходы пойдут в середине апреля. И все-таки лучше быть в Москве и тосковать о ребенке, чем сидеть где-либо в Челнах или Чистополе с детьми и грызть пальцы от сознания своей беспомощности и бесполезности.

Но, пользуясь безвыходностью положения, мы тут тем временем воспитываем в себе качества добротных жен-домохозяек. Мы становимся практичными и хозяйственными. Мы научились на вкус отличать гнилую муку от хорошей. Мы изобретаем печенье из кофейной гущи с отрубями (да, да – факт!). Мы умеем делать студень. И, наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем.

Театр тут любопытный. Последняя сенсация Чистополя – “Обрыв”, где Веру играет тучная женщина 52-х лет, а бабушку – молодая, стройная актриса. В общем, здесь живется сравнительно неплохо. Бытовые трудности уже не терзают, как в первое время, ибо мы притерпелись. С продуктами, хоть и трудно, но лучше, чем во многих местах.

Особенно приятно, что здесь есть дом, где почти забываешь о том, где и как и почему живешь. Это у здешнего врача Авдеева. У него, вернее, у его сына – художника – чудесная библиотека, главным образом поэтов, и совершенно замечательная коллекция пластинок. Я, одурев от хозяйства, от возни с детьми, от вечной сосущей тревоги, иногда окунаюсь в совершенно изысканное времяпровождение – позирую для портрета трем художникам зараз под музыку Скрябина и Чайковского и обсуждаю перевод Пастернака “Ромео и Джульетта”. Забавно, правда?

Кстати, хотите последние стихи Пастернака? Они у меня есть, могу Вам прислать.

Безумно хочется в Москву, голодную, холодную, прежде нелюбимую, а теперь ставшую самым родным городом на свете. Если бы не сознание, что я буду только балластом и что теперь не время для праздного времяпровождения, я бы добилась пропуска и съездила бы. Мы все, как, должно быть, и вы все, ждем весны с большой надеждой и большой тревогой.

Простите, что посылаю так мало меда. Дело в том, что человек, поехавший в район добывать мед (в городе его не достать), задержался, и Гольцев, видимо, уедет без него. Иначе бы мы с Софкой назначили бы его. Но думаю, что теперь оказии будут часто, и мы еще при шлем Вам и меду и масла.

Как Антокольский? Передайте им мой привет. Почему ничего не слышно о Вале Герасимовой? Где она и что делает?

Софка шлет Вам кучу приветов, но по лености писать не может, хотя собирается.

Целую Вас крепко. Наташа.

Пишите мне, Рита, и пришлите еще стихов. Ей-богу, это здесь единственное утешение.

Мой адрес – ул. Толстого, 59.

Из архива Н. Коваленковой (Алигер)

Письмо Григория Санникова о смерти жены Елены Санниковой

Это письмо поэта Григория Санникова Степану Даниловичу Лисициану (замечательному армянскому ученому, основателю географического общества Армении) – отцу первого мужа Елены Назарбекян, Левона Степановича Лисициана, трагически погибшего в 1921 году. В письме Санников рассказывает о днях, предшествовавших самоубийству Елены Санниковой (Беллы Назарбекян), здесь упоминается несколько драматических сюжетов из ее жизни, в частности гибель Левона Лисициана. Он был крупным армянским ученым-историком, работал в Эчмиадзине и Матенадаране. В 1921 году во время восстания в Армении он был схвачен и зверски убит дашнаками. От Левона у нее остался маленький сын, который умер в 1930 году от порока сердца.

В начале 1920-х годов в Грузии Белла познакомилась с Григорием Санниковым, который был там в командировке. В браке с Санниковым у нее родились два сына: в 1928 году – Никита, в 1931-м – Даниил.

В письме упоминается драматическая история ее взаимоотношений с матерью – Марией Ивановной (Маро Назарбекян), которая вместе с Аветом Назарбекяном – ее отцом – была создателем социал-демократической партии “Гнчак”. Многие годы они провели в эмиграции. Мария Назарбекян хорошо знала Ленина, Камо и других видных революционеров. По всей видимости, жесткий характер революционерки сохранился у нее до последних дней жизни, даже на расстоянии она продолжала держать дочь в постоянном напряжении. Однако мать не узнала о самоубийстве дочери, так как умерла с ней в один день.

Вокруг гибели Елены Санниковой было много слухов, вымыслов, сплетен. Даже близкий друг семьи театральный критик Борис Алперс в книге “Искание сцены” повторяет расхожее мнение о мотивах ее смерти: мол, была договоренность с Мариной Цветаевой вместе покончить с собой.

“Удивительно красивая, с тонкими чертами восточного лица, с большими, всегда немного недоумевающими глазами, непроизвольно изящная во всем своем облике, она как будто несла в себе от рождения изначальный душевный надлом. В ней проскальзывало что-то незащищенно-мечтательное или, вернее, отсутствующее, словно своими мыслями и чувствами она жила в какой-то другой сфере. <... >

Она покончила с собой через два месяца после того, как покончила с собой таким же образом Марина Цветаева в соседней Елабуге. Они заранее договорились об этом при своих встречах в чистопольской эвакуации”.

Письмо Григория Санникова опровергает это предположение.

15 марта 1944 года

<...> Степан Данилович! Как я рад слышать Вашу речь, чувствовать Ваше близкое, родное участие и скорбь по поводу Белки.

Да, не думал я, что могу потерять ее. Очень любил я ее, любил до болезненности, так любил, что иногда (бывали такие минуты) видел в своем чувстве нечто сковывающее, поработщающее, нечто такое, что ни переболеть, ни преодолеть невозможно. Но, странное дело, Белке часто казалось, что я недостаточно сильно ее люблю, и у ней появлялся страх потерять меня.

Только с началом войны и нашей разлуки она по-настоящему многое поняла и в ответ на мои признания писала мне на фронт письма, проникнутые такой беспредельной любовью, каких я никогда от нее раньше не получал. В этих письмах она со всей откровенностью становилась на мою сторону в вопросах давней моей тяжбы из-за нее с Марией Ивановной, и, странно тяжело переживая нашу разлуку, с возрастающей тревогой повторяла в письмах – “оказывается, я без тебя не могу жить”. Потеря ее была для меня страшным ударом, от которого я и сейчас не могу оправиться и чувствую перед собой какую-то пустоту и часто пребываю в состоянии подавленности.

Вы спрашиваете – как могло это случиться, что побудило Белку решиться на такой шаг? Прежде всего, несомненно, ее нервное заболевание, начавшееся, по-видимому, с первых же дней войны, явившейся большим для нее потрясением.

За несколько дней до войны она собиралась в Тбилиси к матери. У ней даже был билет на 23 июня. Слова “война” она страшно испугалась. При первом известии о войне разрыдалась, сразу почувствовав что-то катастрофическое. Но одновременно с этим она обрадовалась, что явился такой страшно большой и убедительный предлог, избавлявший ее от поездки к матери. Ехать ей очень не хотелось, и она откровенно радовалась, что события отменили эту поездку.

Вскоре началась эвакуация детей. Странно, что она почему-то не провожала (почему она не поехала на вокзал – не могу вспомнить). Я провожал их один.

Затем, когда возникла необходимость в эвакуации женщин (это было в июле), я уже находился в армии, но мне удалось проводить Белку. Всю ночь я провел на вокзале: поезд ушел под утро и увез ее навсегда. Потом начался для меня фронт. Письма от нее и детей поначалу были бодрые, спокойные. Она всячески старалась, по-видимому, в тон моим письмам к ней, вносить спокойствие в мои чувства и сознание. А на самом деле в это время, находясь в Чистополе, страшно металась. То, под влиянием отчаянных телеграмм и писем М. И. и ее доверенного лица – недалекого и глупого человека Габо, – хотела вместе с детьми ехать в Тбилиси, то к нашей Марусе в станицу Клетскую (под Сталинградом), то, отвергая и то и другое, начинала

убеждать себя, что никуда ехать не нужно. Она буквально не находила себе места, ей начинало казаться, что катастрофа неизбежна, что если она предпримет поездку, то вместе с детьми погибнет в дороге, если же останется тут, то непременно, неминуемо зимой замерзнет или умрет с голоду. Она начала во всем себя ограничивать, все припрятывая и сберегая на завтрашний день. Получаемые от меня и от редакций деньги тоже прятала, не расходовала их, а всем знакомым говорила, что она сидит без денег. После смерти в чемодане у ней нашли более трех тысяч рублей. По тому времени это были большие деньги, и на них она могла в этом городке сделать запасы на всю зиму. От меня она, помимо переводов, имела аттестат на 800 р. ежемесячно.

Дети находились в интернате на все готовом, и за содержание их я платил особо. Это ограничение себя и припрятывание денег – несомненно, есть результат какого-то психического заболевания.

Психическое состояние ее осложнялось еще тревогой за умирающую в это время М. И., от которой поступали письма и телеграммы с проклятиями по адресу дочери, не пожелавшей приехать к ней.

Белка стремилась встретиться последний раз с матерью и в то же время ужасно боялась одной встречи с человеком, который в последнее время ее преследовал. Это – Габо (не помню его фамилии). Пользуясь расположением М. И., он пытался распространять какие-то свои права на Белку. Он в категорической форме предлагал ей “немедленно приехать, иначе она потеряет все”, то начинал пространно уговаривать ее и рисовать ей какие-то туманные перспективы. (Осталась целая пачка его глупейших писем к ней.) Белка терпела его как единственного друга М. И., но относилась к нему с уничтожающим пренебрежением, называя его в разговорах со мной – “дураком, тюфяком” и т. п. Боясь этих встреч и не находя в себе сил отказаться от поездки прямо, как от очень трудного и неосуществимого предприятия, Белка сначала обещала приехать, а потом в своих письмах и телеграммах М. И. и Габо (остались черновики ее писем) стала объяснять невозможность своей поездки материальными условиями, тем, что у нее нет денег, что ей не только не на что выехать, но и не на что жить. Проклятия, которые она получала с помощью Габо от М. И., приводили ее в состояние крайней растерянности и самоуничтожения.

Жила Белка в Чистополе одиноко, снимала комнату у одной хозяйки. Дети находились в интернате и иногда утром перед школой и вечером после школы забегали к ней. Это одиночество усугублялось выездом в колхозы на теребление льна, т. е. полным отрывом от детей, действовало на нее угнетающим образом. Вот в такой обстановке застало ее известие о моей гибели на фронте. Нашлись, как в таких случаях бывает, необычайно осведомленные люди, которые передавали со слов очевидцев подробности гибели Санникова на линии обороны в Ржеве в борьбе с немецкими танками. Слух этот дошел до Белки. Писем

в это время от меня она уже не получала. (Я действительно находился в сложных условиях боевой обстановки и в продолжение месяца почта у нас не работала.)

Белка, пережившая однажды катастрофу, связанную с потерей Левона, сразу же поверила слухам обо мне. Писем нет. Немцы подошли к Москве (она знала, что я находился в Ржеве). Многие писатели, находившиеся на фронте, приехали в Чистополь к своим семьям, а от меня даже нет никаких вестей. Знакомые, вместо того чтобы проявить к ней внимание, стали при встречах с ней на улице отворачиваться, боясь, что она начнет расспрашивать обо мне. Встретившись за день до смерти с одной знакомой, она пожаловалась ей – “зачем от меня отворачиваются, ведь я знаю, что муж погиб на фронте. Напрасно это пытаются скрыть от меня”.

О “гибели” моей знал и Никита, он рассказывал, что мама в эти дни много плакала и вела себя как-то странно. Однажды вечером он условился с ней, что утром перед школой зайдет к ней за тетрадками, и ушел в интернат. (Мальчики иногда оставались у Белки ночевать).

Утром, забежав в комнату, он увидел мертвую маму и тут же, упав, начал кататься по полу в ужасе и отчаянии.

Затем побежал в интернат. Доктор появился только через два часа. Доктор говорил, что если бы его немедленно вызвали, он мог бы спасти.

Белка, проводив Никиту, по-видимому, всю ночь не могла уснуть, мучилась и под утро решила покончить с собой. Она взяла тоненькую веревочку (этой веревкой была перевязана моя посылка, полученная ею из Ржева, когда у нас работала еще почта) и, укрепив ее на вьюшке голландской печи (на уровне плеча), сделала петельку. Встав в углу у печи на колени, стала понемногу затягивать на своей шее. Можно представить себе, как велико было ее страдание, если она этим мучительным и постепенным затягиванием петельки пыталась довести себя до потери сознания.

Белка оставила письмо на имя моей сестры Клавдии Александровны, в котором говорит, что она решила покончить с собой, и высказывает ряд завещаний. В это письмо сестре она вложила письмо мне, написанное ею еще до слухов о моей гибели и почему-то не отправленное ею. Письмо исключительно нежное, проникнутое такой великой любовью, о которой я всю жизнь мечтал. Вкладывая это письмо в свою посмертную записку моей сестре, она, должно быть, хотела показать сестре, каково было ее чувство ко мне, с каким чувством она умирает.

Да, когда я приехал в Чистополь и мне было вручено ее письмо, оно было Белкиным голосом из могилы.

Поражало меня самообладание Никиты, в то время 12-летнего мальчика. Он все вынес один и сумел скрыть от Дани, которому в то

время было 9 лет, кончину мамы. Он сказал ему, что мама уехала к бабушке, чему Даня продолжал долгое время верить.

В союзе писателей считали, что дети остались круглыми сиротами, и было оформлено опекуновство. Жена одного писателя взяла заботу о детях на себя и окружила их большим вниманием. Но Никита очень тяжело переживал потерю отца и матери. В его сознании смерть мамы была как результат гибели его отца. Он избрал себе местом жительства в интернате комнату изолятора. Целыми днями сидел в ней один, запираясь и прячась от товарищей, и только иногда допускал к себе Даню, с которым держался нежно и бодро. Месяца через полтора после смерти мамы Никита узнал, что я жив, и получил наконец мое письмо, он воспрянул и начал поправляться от потрясения.

От меня, когда в Союзе писателей узнали, что я жив, долгое время скрывали гибель жены. Наше командование, получив известие, не решалось мне объявить об этом. Наконец, член военного совета вызвал меня к себе и с соответствующей подготовкой объявил мне о том, что произошло. Мне был предоставлен отпуск для поездки к детям.

За эти годы я три раза побывал у детей. В прошлом году после освобождения от немцев станции Клетская (куда Белка хотела ехать с детьми) мне удалось вызвать и направить к детям нашу Марусю. А затем я сам, получив отпуск, поехал за ними и перевез их в Москву. <...>

Из архива Даниила Григорьевича Санникова

Вокруг Ташкента и Алма-Аты

Впервые эти письма (в сокращенном виде) были опубликованы в книге "Все в чужое глядят окно" с согласия М. В. Седовой (Луговской). Они составляют единый блок с письмами в Алма-Ату и Ташкент к Татьяне Луговской, с которой Е. С. связывала дружба в течение всей последующей жизни. Подробнее об их дружбе см. в книге Т.А. Луговской "Как знаю, как помню, как умею..."

Е. С. Булгакова - В. А. Луговскому 4 июня 1942 года^[528]

ДОРОГОЙ ВОЛОДЕНЬКА, Я РЕШИЛА ТЕБЕ НАПИСАТЬ ПИСЬМО НА МАШИНЕ И ПРИТОМ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, А ТО ИНАЧЕ ТЫ НЕ СМОГ БЫ НИЧЕГО ПРОЧЕСТЬ, СТАЛ БЫ ПРОСИТЬ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ИЛИ СВОЮ ПОДРУГУ МАДАМ ПУДОВКИНУ, И ВСЕ БЫ УЗНАЛИ, ЧТО Я ТВОЯ СОДЕРЖАНКА. А ТАК ТЫ ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ – САМ ПРОЧТЕШЬ, И ВСЕ БУДЕТ ШИТО-КРЫТО. Я ПИШУ ТЕБЕ В ТВОЕЙ КОМНАТЕ, НА ТВОЕМ ПИСЬМЕННОМ СТОЛЕ – МАШИНКУ Я ПЕРЕТАЩИЛА СЮДА, СПЛЮ НА

ТВОЕЙ КРОВАТИ, ВОТ. СПАТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО, МОСКИТЫ НЕ КУСАЮТСЯ, ОНИ ВСЕ ПЬЯНЫЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВИННОГО ЗАПАХА В ЭТОЙ КОМНАТЕ И ПОТОМУ ДОБРЫЕ. Я ПОСЫЛАЮ ТЕБЕ ГРЕБЕНКУ ТАКУЮ ЖЕСТКУЮ, ЧТО ТЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕШЬ ЕЕ СЛОМАТЬ. ПРАВДА, ЗАТО ТЫ МОЖЕШЬ ПОТЕРЯТЬ ЕЕ. НУ, СМОТРИ, ЛУЧШЕ НЕ ТЕРЯЙ. Я СЕЙЧАС – ТО ВЕСЕЛАЯ, ЗАТО, КОГДА ТЫ УЕЗЖАЛ, Я СОВСЕМ ОБАЛДЕЛА ОТ СТРАХА. КОГДА Я ПЕРЕБРАСЫВАЛА ВЕЩИ ИЗ МАЛЕНЬКОГО ЧЕМОДАНА, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ЕГО НИКИТЕ БОГОСЛОВСКОМУ, ПАЧКА ТЫСЯЧНАЯ КУДА-ТО ЗАСУНУЛАСЬ В ТРЯПКИ. КОГДА Я ПОШЛА ЗА ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ТВОЕГО БИЛЕТА И ДЛЯ ТЕБЯ, Я УВИДЕЛА, ЧТО У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО ДЕНЕГ, А ТОЙ ТЫСЯЧИ НИКАК НАЙТИ НЕ МОГЛА, НАВЕРНО, ОТ ВОЛНЕНИЯ И СПЕШКИ. ТЫ МНЕ ГОВОРИШЬ НА ДВОРЕ – ЧЕГО ТЫ НЕ ПРОЩАЕШЬСЯ – ЧЕГО ТЫ НЕ ПРОВОЖАЕШЬ? А Я ДУМАЮ – СКАЗАТЬ ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ, ТЫ ВЗВОЛНУЕШЬСЯ. НУ, СЛАВА БОГУ, ВЕЧЕРОМ, КОГДА Я В СПОКОЙСТВИИ ВСЕ ПЕРЕРЫЛА, Я НАШЛА ДЕНЬГИ. ИЗ ТВОИХ ПОРУЧЕНИЙ: 1/ ДВА ЗВОНКА, КОТОРЫЕ ТЫ СКАЗАЛ СЕРЕЖЕ СДЕЛАТЬ – ОН СДЕЛАЛ. 2/ К ЛЕНЕ АРМАН ЗА БУСАМИ ОН СХОДИЛ. 3/ ГУСЕВУ ЗАПИСКУ Я НАПИСАЛА, ПОДДЕЛАЛА ТВОЮ ПОДПИСЬ, И ТАК КАК НЕ ЗНАЛА, НА ТЫ ИЛИ НА ВЫ, ВИКТОР ИЛИ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, – ТО Я ОЧЕНЬ ЛОВКО СОСТАВИЛА ТЕКСТ, ЧТО НИКАК НЕ ПОЙМЕШЬ, И ВМЕСТЕ С ТЕМ – ОЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННО. Я С НИМ ГОВОРИЛА ПО ТЕЛЕФОНУ ОЧЕНЬ ЛАСКОВО, ОН ОБЕЩАЛ РАБОТАТЬ И ИСКАТЬ В МОСКВЕ РАБОТНИКОВ ДЛЯ МИКРО. МЫ НЕЖНО ПОПРОЩАЛИСЬ, ПОТОМ СЕРГЕЙ ОТВЕЗ ЕМУ ЗАПИСКУ (20 Р. В НЕЙ) И ПЛАН МИКРОФИЛЬМОВ. ПИСЬМО ЛЕОНИДОВЫМ С ПОЛНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ (ПЛАНА МИКРО И ПИСЬМА ТИХОНОВУ – В КОПИИ) ПОШЛО ТОЖЕ. 4/ К АЛИМДЖАНУ Я ЗАХОДИЛА, ЕГО НЕ ЗАСТАЛА. А СЕЙЧАС ТОЛЬКО ПОЗВОНИЛА ЕМУ ПО ТЕЛЕФОНУ И ГОВОРИЛА С НИМ. ОН СКАЗАЛ, ЧТО НИЧЕГО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ, ОЧЕНЬ ЗАНЯТ. – НО ВЫ ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАЙТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО. – ДА, НЕПРЕМЕННО ПОСТАРАЮСЬ И ТОГДА ВАМ ПОЗВОНЮ.

ДА, У ГУСЕВА, ВЕРНЕЕ У ТОГО ЖУЛИКА, (НАВЕРНО, ВРОДЕ ХОРОШАНСКОГО), КОТОРЫЙ ЕМУ ПОКУПАЛ БИЛЕТЫ, УКРАЛИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ГУСЕВА, ОРДЕНСКУЮ КНИЖКУ И ТРИСТА РУБЛЕЙ. ПОТОМ НАШЛИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В СКВЕРЕ, А ДЕНЕГ НЕ БЫЛО ПРИ ЭТОМ. НО ВСЕ-ТАКИ ОН УЕХАЛ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, А ИХ НАШЛИ ПОТОМ. ПОЛЯ ХОДИЛА К ИННЕ ИВАНОВНЕ, ПРИШЛА И СКАЗАЛА, ЧТО ЕЙ ДЕЛАЛИ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ (ПО ПОВОДУ ЕЕ ПОСТОЯННОЙ БОЛЕЗНИ) И ЧТО ОНА СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО (ЭТО БЫЛО ВЧЕРА), ОДЕЛАСЬ КРАСИВЕНЬКО В НОВОЕ ПЛАТЬЕ ПОЛОСАТЕНЬКОЕ, НАПУДРИЛАСЬ, ПОШЛА НА БАЗАР, КУПИЛА ХОРОШЕНЬКИЙ ГЛИНЯННЫЙ КАШПО, НАПОЛНИЛА ЕГО ПЕРСИКАМИ, ПОКРЫЛА РОЗАМИ В ЦВЕТ ГОРШОЧКА И ОТНЕСЛА ИННЕ ИВАНОВНЕ. ПОСИДЕЛА У НЕЕ ЧАСА ПОЛТОРА, ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА И ПРОСИЛА ПРИХОДИТЬ, НЕ СЧИТАЯСЬ С ТЕМ, ЧТО ЕЙ ТРУДНО ПРИХОДИТЬ

КО МНЕ, ОНА ОЧЕНЬ УСТАЕТ. УСЛОВИЛИСЬ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ Я К НЕЙ ПОЗВОНЮ НАСЧЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ СЕРГЕЯ, КОТОРУЮ ОНА ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕТ. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ СЕРГЕЙ В КОРОТКОЕ ВОЗМОЖНО ВРЕМЯ СДАЛ ЭКЗАМЕНЫ ЗА ПРОПУЩЕННЫЙ ГОД. ОДНОМУ ЕМУ БУДЕТ ТРУДНО ЭТО СДЕЛАТЬ. СЕЙЧАС Я ЗВОНИЛА ИННЕ ИВАНОВНЕ, ОНА ПРИДЕТ ЗА МНОЙ СЕГОДНЯ В 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, И МЫ ПОЙДЕМ ВМЕСТЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЕ. ХОТЕЛА ТЕБЕ НАПИСАТЬ ЧТО-НИБУДЬ СМЕШНОЕ ПРО ОГУРЧИКА, НО У ТЕБЯ ИНОГДА ПРОПАДАЕТ ЧУВСТВО ЮМОРА, ТЫ ВЗОВЕШЬСЯ, И ПОЙДЕТ ЧЕРТОВЩИНА. НУ, ЛАДНО, ЛАДНО, ПОШУТИЛА. СИДЕЛИ МЫ КАК-ТО РАЗ ОЧЕНЬ МИЛО ВЕЧЕРОМ ВО ДВОРЕ. ВСЕ ВМЕСТЕ УЖИНАЛИ ЭКСПРОМТОМ, ВСЯКИЙ ПРИНЕС, ЧТО БЫЛО ДОМА, ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ СЛАВНО. ПОГОДИНЫ, КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, УЕХАЛИ В ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР, ЧТО И ТЫ. ОН БЫЛ, ПО-МОЕМУ, ФЕЕРИЧЕСКИ ПЬЯН. ХАЗИН ПРИВЕЗ СВОЮ МАТЬ И СЕСТРУ, – ОНИ ВСЕ НА ОДНО ЛИЦО, ВСЕ ПЕРЕОДЕТЫЕ ХАЗИНЫ.

ДИМОЧКА, МИЛЕНЬКИЙ, ЧТО ТЫ ТАМ ДЕЛАЕШЬ, КАК ИДЕТ РАБОТА? ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ БЫЛА КАКАЯ-НИБУДЬ ОКАЗИЯ СЮДА, ЧТОБЫ ТЫ МОГ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ОБО ВСЕМ И ВСЯКИЕ НЕЖНОСТИ. Я О ТЕБЕ МНОГО-МНОГО ДУМАЮ ВСЯКИЕ РАЗНОСТИ, НО ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я ВСЕ ЖДУ, ЧТО ТЫ ПРИЕДЕШЬ ОПЯТЬ С ТАКИМИ ЖЕ ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ И ТАКОЙ ЖЕ УВЕРЕННЫЙ, ТАКОЙ ЖЕ МУЖИК НАСТОЯЩИЙ, КАК ПРОШЛЫЙ РАЗ. НЕПРЕМЕННО.

(От руки.) Ну, душенька моя, целую тебя очень крепко. Веди себя там как я люблю, как будто я рядом. Твоя Тюпа.

Работаешь ли над поэмой?

Е. С. Булгакова – В. А. Луговскому

Москва, 20 июня 1943 года^[529]

Мой дорогой, сначала нечто вроде отчета: поездка, прибытие, речи, дела, Пушкин, Москва, люди, выводы.

Дорога прошла даже как-то удивительно легко, я ведь плохо переношу ее вообще. Спутников приятных не было, только соседка, показавшаяся в Ташкенте стервой (молодая, в тюбетейке), оказалась симпатичной. Зато другая, старуха, оборотилась совершенной сволочью. Соседа, развязного молодого человека, сняли через два дня с поезда (замели), так как он ретиво занимался тем, что продавал за деньги чай в большом количестве. Весь вагон одобрил это действие милиции. Ну, а за всем этим, сначала – пустынный Казахстан, богатые станции, на которые население выносит яйца, масло, молоко, простоквашу в большом количестве и очень дешево (первые руб. по 8-ю. Второе – от 350 до 400, и третье – как и яйца, в той же цене), – это

специально для Поли справка. Потом с необыкновенным волнением и радостью начинаешь видеть, как зеленеет земля, как покрывается кустиками, кустами, деревьями, рощами, лесами. Вспоминала, конечно, при этом: “А в темных окнах реяли, летели, клонились, кланялись и поднимались снова беспмятные полчища деревьев...”^[530]

Богатство земной коры связано с удорожанием продуктов: чем ближе к Москве, тем дороже цены, примерно они становятся как в Ташкенте, а главным образом все желают менять на соль.

Очень волнуешься при последних минутах, или часах скорее. Когда поезд начинает бежать без остановок на маленьких дачных станциях, а названия их все же мелькают перед глазами, напоминая всякие веселые минутки жизни, – когда напалзает сумерки и в окне появляются совершенно невероятные по окраске дымчатые, серебристые картины, какой-то неожиданный Париж, который я, правда, знаю только по импрессионистам, – тогда только становится понятным, что это такое – возвращение в Москву, на родину, на родину, в Итаку...

Поезд запоздал, встретили меня только Калужские (Нежный разминулся в дороге), по дороге домой машину несколько раз задерживал патруль (после 11-ти ночи нельзя ехать без разрешения), я объясняла, в чем дело, и очень корректно, просмотрев документы, откозыряв, нас пропускали.

Сергей и шофер носили вещи наверх, я сидела в машине, размышляя о том, как тоскливо из-за отсутствия света, о том, что нужно будет скорее продать всю обстановку и уехать куда-то, где нет затемнения, – поднялась наверх, вошла в свою квартиру и поняла, что никогда я не уеду отсюда, что это мой дом.

Я вся погружена в прошлое, просматриваю архивы, письма, книги, альбомы, просто сижу и смотрю вокруг. Ольга предложила мне обмен квартиры, я отказалась. Я не уеду из этой, она моя.

Люди встречают необыкновенно приветливо, горячо. Я так привыкла к этому, что когда кто-нибудь, вроде Ив. Титова или еще кого-нибудь из далеких в театре людей, встречают без энтузиазма – я вроде удивляюсь. Обычно же это – объятия, расспросы, радости и

восторги. Считают, либо что не изменилась, либо что похудела, либо что к лучшему.

Люди в большинстве случаев очень похудели, постарели, посерьезнели. Один Саша Фадеев все тот же, внешне нисколько не изменился, так же бодр, весел и смешлив. Оля решительно изменилась^[531]. Ну, конечно, смерть Немировича сказывается сильно. Но, кроме того, у них с Калужским совсем чужие отношения, и это трудно. Мне, например, очень тяжело бывать у них в доме, а вместе с тем Оля очень хочет меня видеть чаще, я – единственный человек, с которым ей легче, и посмеется иногда, когда я ей начну рассказывать всякую ерунду или показывать какие-нибудь штуки. Она и Женя Калужский внешне – похудели, а душевно – состарились, нет ни былых Жениных анекдотов, пенья – в помине. Между собой они почти не разговаривают. В доме тихо, только игра с насекомыми изредка внесет искусственное оживление в день.

Вильямс, Виленкин, Конский, Леонтьевские дамы (за исключением некоторого старения), Нежный, Леонидовы – без перемен. Дмитриев – очень, ужасно постарел и похудел. У него определена язва желудка, и это видно сразу. С Мариной я еще не виделась, но условилась, что позову скоро. Дмитриев очень обижен на меня, так как я еще не успела за две почти недели его позвать. Евгений Александрович^[532] – блестящий генерал, вчера был у меня вечером, я его позвала, чтобы поговорить о Сереже, – был очень свеж и мил, а дома – в первый раз, когда виделись, – устал и мрачноват. Обещал завтра съездить разузнать, нельзя ли Сергея определить в какую-нибудь военную школу. Пока же Сергей поступил в какой-то экстернат при Инженерно-строительном институте.

Была на Пушкине^[533] (единственное зрелище – вообще же отказываюсь от всяких других). Спектакль мхатовский, и если бы дать настоящую Наталью, скажем Тарасову хотя бы, чтобы была красива и обаятельна (а она очень похудела – к лицу, помолодела и к тому же влюблена в одного генерала), и настоящего Дантеса, т. к. Массальский стал играть какого-то смазливого, сентиментального офицера провинциального, а не убийцу – Дантеса, – то получился бы просто чудесный спектакль. Есть ошибки и у режиссера, и у художника, которые я им заметила. Сговорились с Месхетели и со Станицыным, что устроим разговор специальный о моих впечатлениях о спектакле. На самом же спектакле меня вызывали и женщины (Пилявская очень хорошая Александрина, и Соня Баррель), и мужчины – Станицын, Топорков, Соснин, чтобы узнать мнение, но я стеснялась, сказала, что

надо, хорошенько чтобы осело впечатление, но все-таки про некоторые вещи сказала прямо, что думаю, – в частности, об устранении дуэли.

Спектакль разрешено ставить 2 раза в месяц, актерам трудно так редко играть новый спектакль.

Завтра только выезжает Виленкин в Молотов за рукописями Миши, все тянули, т. к. думали, что рукописи здесь, в здешней Ленинской библиотеке.

Взяли для чтения одну Мишину вещь (“Полоумный Журден”), но больших надежд у меня нет, хотя поговаривают...

Было в театре чтение Маршака “Двенадцать месяцев” – прелестной его сказки, будут ставить, наверное, только медленно, т. к. очень трудно технически, говорят, будут выписывать даже из Англии какое-то оборудование для сцены. Чтобы получился спектакль вроде советской “Синей птицы”.

Маршак нежен со мной, заботлив. Завтра будет выступать на заседании, где будет ставиться вопрос о принятии меня в члены Литфонда. Это предложил Саша. Дал со своей стороны письмо, т. к. сам он не состоит в этой комиссии. Говорила, кроме Маршака, с Конст<ином> Фединым^[534], который при этом не знал, как мне посмотреть в глаза. Между прочим, от него осталась только тень.

Иг. Вл. помогает устроить дело с телефоном, что очень трудно. В Литфонде достают лимит на электричество и т. д. и т. п. Прописка, устройство всех дел с карточками – все это занимает массу времени, хотя у меня и идет не так, как у всех, так как очень помогают люди. Леонидовы, вернее Эся, из себя выходит по части гостеприимства, угощений, укладывания меня отдохнуть у них, душа, ванны и т. п. Нежный тоже очень старается. Ну, об Оле уж и не говорю. Саша Ф<адеев> тоже на высоте, как выражается моя Поля. Сразу поставил вопрос – чем питаюсь, что нужно сделать и все в таком роде.

Он считает, что ты, Дима, можешь быть прекрасно устроен здесь, что работы найдется сколько угодно (это же я поняла по разговорам с Леонидовыми, Ол. Леон, массу работает и хорошо зарабатывает), что никаких причин ждать тебе не хорошего к себе отношения нет, что если и были когда-нибудь какие-нибудь глупые разговоры, не имеющие никакой подкладки под собой, то и эти уже давно забыты, что у тебя много друзей, которые тебя любят верно и хорошо (как он сам и Коля Тихонов в первую очередь, а за этим и Павел, с которым я еще не успела повидать), и твоих учеников. Вызов тебе будет послан для всей семьи, т. е. для тебя, Туей и Поли.

С. Ф<адеев> сказал: во-первых, он получит все то, что получают писатели с его именем и положением, т. е. рабочую карточку (примерно это – 2 кг мяса, 800 гр. жиров и столько же сладкого, 2 кг крупы, соль, спички, папиросы, овощи и т. д., кроме хлеба 600 гр.). Я могу ошибиться, но очень немного в смысле количеств, я ведь не видела такой карточки, а только спрашивала про нее. Кроме же нее, можешь получить литерный обед или же сухой паек: 6 кг хлеба, 5 кг мяса, 2 – крупы, 500 гр. сахару, 10 яиц, и еще какая-то мелочь – в месяц. Кроме этого – писатели получают или ужин, или еще одну карточку, силой как рабочая... Ну, а затем надо работать, как работают все в Москве, и тогда будут и деньги, и душевное удовлетворение. По иждивенческим карточкам дают мало, почти ничего. Про работу, повторяю, С. Ф<адеев> сказал, что ее сколько угодно. В ГАБТе я не была, никого не видела.

Нина была у меня вскоре после моего приезда, и мы условились, что пойдем скоро на твою квартиру, пока еще у меня нехватило времени, но обещаю сделать это на днях^[535]. Также не была на квартире Туей, но тоже пойду на днях. Я просила Нину подробно написать тебе о твоей квартире, которую она недавно видела. Я только спросила, считает ли она возможным прибрать квартиру в уютный жилой вид, после того как в ней побывали какие-то лица чужие, она сказала – да. В Тусиной квартире был Сергей (можете себе представить, что парикмахер, поселившийся в Тусиной квартире, оказался моим Петром Ивановичем, который меня причесывает много лет). Сергей говорит, что никаких следов пожара не заметил. Да и Нина сказала, что последствия пожара незначительны, и парикмахер обещал исправить все это и освободить квартиру к Тусиному приезду...

Антология выходит, только будет называться сборником, и там будут помещены много твоих, Димочка, стихов. Так сказал тоже С. Ф<адеев> с большим удовольствием. Я попросила его вспомнить, что именно, он смог вспомнить только “Венгерку”, “Песню о ветре” – а больше не мог – сказал, что знаю только, что Володя очень полно представлен и что я им много стихов его напомнил.

Симонова я не видела, но знаю со слов Фад<еева>, что он очень хорошо (так же, как и Павлик) говорил о тебе, что посерьезнел, поумнел (не так грубо он говорил, как я пишу), что гораздо лучше стал, просто хорошо, очень хорош.

С Татьяной С<трешневой> тоже не успела еще повидаться. С Дмитр<ием> Ивановичем тоже. Тихонов в Ленинграде, я еще не написала и не послала ему письма. Но сделаю непременно. Тот, по рассказу Ф<адеева>, просто очень любит тебя.

Про “Знамя” – забыла спросить. А вот про песни из Ивана Грозн<ого>^[536] говорили, я рассказывала, как они выигрышны, когда ты их исполняешь сам. Но и так они очень нравятся Фад<ееву>.

Про библиотеку и вещи Нина сказала, что самое ценное Тамара вынесла. Но для того, чтобы реально что-нибудь знать, мне надо будет с самой Тамарой повидаться. Обещаю.

Что из всего этого сумбура можно вынести: ехать в Москву стоит. Не век же сидеть в Ташкенте, или уж решаться тогда действительно (как говорит Петя Вил<ьямс>), что в Москве труднее работать для души, а надо ехать в какой-то маленький городок и там устраивать жизнь, близкую к природе и дающую возможность собираться с мыслями. Иметь небольшой кружок друзей и т. д.

В Москве, конечно, шумно, беспокойно, всегда есть масса каких-то дел, встреч, устройств и т. д. Я-то лично очень счастлива здесь, и вот почему: здесь я знаю, что я Булгакова (пишу это, зная все отрицательное отношение Володи к этому афоризму), здесь у меня есть много друзей, здесь мой дом, мои – дорогие для меня – памятные книги, архив, рукописи, вещи, вся атмосфера жизни, без которой мне было очень тяжело в Ташкенте и которая меня поддерживает в Москве. Сейчас я погрузилась целиком в прошлое, я сижу часами над чтением тетрадей, писем, рассматриванием альбомов. Я – дома. Я не боюсь ничего.

Пока я еще не работаю, но веду переговоры о службе и думаю, что скоро поступлю на работу. Но мне хочется получить такую, чтобы иметь время на приведение в порядок моих тетрадей, Мишиного архива и вообще всего в квартире. То есть сама-то она в идеальном порядке, так красива она не была никогда, так чиста, так блестяща, внутри – в письменном столе, в бюро, в шкафах – нужно все пересмотреть и привести в порядок.

Поэму читала пока только Виленкину, которому она по-настоящему понравилась, особенно Одиссей^[537]. Другим – не было подходящего настроения. Да и мне кажется, что если ты скоро приедешь, то будет выигрышнее, если будешь читать ее сам, в моем чтении многое пропадает.

Вот я и устала, хотя написала, наверно, не все, что думала. Голова у меня болит часто, а главное, сон нехорош – от волнений. Думаю попросить в театре бехтеревку, чтобы выспаться, тогда и поспокойнее буду. Вообще – еще не улеглось внутри от всего. Все время на душе неспокойно, все кажется, что что-то забыла важное. Сейчас пойду к Там. на квартиру и уговорю ее пойти на Лаврушинский.

Целую тебя. Пиши. Целую Туею, Полю. Якову – привет. Тюпа.

Нина похудела, но выглядит очень молодо.

Е. С. Булгакова - В. А. Луговскому

26.06.1943

Мой милый! Сейчас сообразила, что ты м.б. не доволен, что я пишу на машинке. Это ведь только мы с Олей предпочитаем эту манеру, и я даже не люблю получать от нее почерковые письма, а ты – кто знает? Напиши. Но я-то делаю так, потому что еще не купили (а м.б. и нет) чернил, перьев, все это еще не налажено. Вчера говорила со Спешневым, который сообщил, что опустил твое письмо в ящик. Буду ждать, когда придет по почте. Раннее утро, все спят. Я вчера легла в 10 ч., поэтому и проснулась. Всего красивее Москва ночью – широкая необычайно, почему-то стала чем-то похожа на Ленинград. Освещение новое какое-то. Теперь не зажигают летом, и так светло. И вроде как белые ночи, очень короткие. Сегодня иду опять на “Пушкина”. Вчера Петя Вил<ьямс> показывал свои работы, потом завтракали у них (кофе, зернистая икра, белый хлеб, масло), потом театр – дела, обед дома – отвратительный (случайно), дома не готовили, взяли из столовой, рано спать. Твое большое письмо еще не пришло. У Оли дивный котенок Кузька, скажите Яшуше. Будь здоров, весел, дорогой. Целую нежно. Поцелуй Туею, что не пишет? Целую Полю и Яшку.

Тамара не приходила, из-за этого и вопрос о квартире стоит. Тюпа.

Е. С. Булгакова - В. А. Луговскому

27.06.1943

Милый друг, получилось письмо, посланное через Спешнева, он его опустил в почтовый ящик. Вчера я опять ходила в Тусину квартиру,

чтобы попросить Тамару пойти со мной на твою квартиру, но там никто не ответил, я долго стучала в дверь собственно Тамарину. – Сейчас опять пойду, хотя сегодня воскресенье и, может быть, она куда-нибудь уехала на выходной. Здесь теперь все ездят в выходные дни на свои огороды, всех встречаешь с лопатами. Удивительно холодное лето – за все время ни одного жаркого дня, какой-то холодный ветер. Настроение взволнованное. И если не устроюсь скоро на работу, развинчусь совершенно. При моей полной погруженности в прошлое, при безмерной тоске, которую испытываю, единственное, что может помочь, это очень сильная занятость. Вначале я боялась очень большой ответственности, а теперь даже хочу, и если Иг. Вл. поможет мне устроиться на одно место, возьму непременно. Если же нет, то надо уезжать отсюда. Это ясно мне. Сергей скоро уезжает в училище, выправляет всякие нужные документы. Будь здоров, милый. Целую тебя, Туеу, Полю. Тюпа.

Е. С. Булгакова – В. А. Луговскому

Москва, 1 июля 1943 года

Дорогой мой!

Наконец, вчера была на квартире. Условились мы встретиться с Ниной Ал. и Тамарой, пришли туда с Эсей, которая, конечно, не могла меня не сопровождать. Да, и Сергей, жаждавший получить мундштук. В квартире (лифт не работает, как ты понимаешь) живет сейчас жена некого писателя Корнева с двумя трехлетними мальчиками, она помещается в комнате Ольги Михайловны. Кто-то спит на кровати, кто-то на диване и третий – на составленных вместе креслах. Грязь невообразимая. Корнева жалуется, что убрать нет никакой возможности, так как ни вода, ни канализация не действуют. Кроме того, только что была проверка и починка отопления, так что валяется на полах мусор, старые трубы и т. д. В столовой, которой они тоже пользуются, тоже грязь, ну, словом, во всей квартире. И обвинять ее даже нельзя – воды нет, дети есть. Она производит даже симпатичное впечатление. Но сказала, что на днях она выезжает в 67 квартиру и будет там жить, пока не починят ее собственную. А в твою въезжает опять же Чумак (в той комнате просто свинарник) и Пастернак, которому дали твою квартиру, пока не кончится ремонт в его собственной, – словом, ненадолго. Я понимаю, что никому не интересно жить в таких условиях и, конечно, это даже хорошо, что Пастернак будет здесь: они невольно приведут хотя бы в какой-то порядок эту квартиру и задерживаться не будут, будут торопиться со своей. Перед вашим же приездом надо, по-моему, взять каких-нибудь двух уборщиц, чтобы они вынесли ведрами всю грязь, потом, таская воду снизу,

вымыли бы полы. Перетерли бы мебель и выбили бы ее на балконе, одним словом, привели бы квартиру в такой вид, чтобы вы не очень бы были ошарашены при приезде. В твоей комнате из стекол остались только два, остальные шесть (я считаю по квадратам – в каждом окне по четыре квадрата) затянуты каким-то вроде картоном крепким. Я думаю, что Туся может для украшения нарисовать что-либо на этом картоне и будет даже хорошо. Стекол, говорят, достать почти невозможно. Мебель некоторая попорчена, надо будет звать краснодеревщика, ну, это после войны можно. Я спрашивала Тамару Эдг. относительно книг, она сказала, что ходила вначале туда с понимающим человеком, и он посоветовал, какие сохранить, она их взяла себе. Говорит, что, по ее мнению, кое-что украдено. Но Нина Ал. не думает, и я, глядя на полки и примериваясь (ведь у Тамары Эдг. есть), думаю, что вряд ли унесли. Да, кроме того, это не деньги, говорят, что книги очень дешевы. Я еще не была в книжных магазинах. Вещи, представляющие какую-нибудь ценность, Нина Алек, взяла к себе сразу же, а так в столе лежат какие-то мелочи, но это надо разобраться уж самим. Наверное, Поленька будет лучшим специалистом в этих вопросах: что есть и что исчезло.

Теперь о пропусках: я видела Сашу один раз, когда я писала после этого тебе. Говорят, он загулял, но не знаю. Так как у меня телефона нет, он позвонить не может, а я не звоню туда. Поэтому я и дала тебе совет телеграфировать ему на Союз. Но кроме того, я вчера была у Маршака и, узнав, что он увидит сегодня Сашу, просила передать ему, что ты ждешь быстрой высылки пропусков себе, Тусе и Поле. Потом попросила Эею, чтобы она – лично или через П. Антокольского – нашла возможным передать Саше это же.

Конечно, Москва встретит страшными трудностями. Надо будет вертеться, бегать, просить, умолять, устраивать, чистить, доставать и т. д. до бесконечности. Я живу здесь неплохо – только благодаря МХАТу, Оле, Игорю Вл. (который, кстати, сильно болен, у него нашли процесс в легком, и, следовательно, мои дела тоже застопорились). Но все-таки, повторяю, это очень помогает. А то бы я пропала. Я только прописана, у меня и у Сережи есть карточки. Если бы не МХАТ, я бы по этим карточкам ни шиша бы не получила. Но меня приписали к мхатовскому распреду. Домком, благодаря моей пенсионной книжке, дал мне служащую карточку, это лучше. Кроме того, театр, т. е. Игорь Вл., устроил мне обеденную карточку. Сергей ходит не регулярно – но все-таки часто – к отцу. Ольга постоянно тащит меня к себе, но я хожу к ней только на ее выходной день, чтобы ей не было так тоскливо. Со службой у меня пока не устраивается, правда, я, как разборчивая невеста, все выбираю. Но служить буду непременно и хочу, чтобы служба меня очень заняла и увлекла. Сейчас жду одного человека, он должен приехать ко мне с предложением – очень и очень интересным,

но при личном свидании скажу, почему я думаю не брать это место, несмотря на все плюсы.

Телефон тоже в периоде обещаний – ездила к директору, оказался приятнейшим человеком, обещал наверно поставить в течение недели-двух.

Сергей на отлете, поданы все документы, ждет теперь приказа.

Настроение трудное, хмурое. Голова болит почти всегда. Принимаю много порошков. Как будет время, пойду к доктору. Сплю плохо. Но одно счастье, не сказывается внешне.

Вчера у Маршака рассказывала ему про твою поэму. Он очень заинтересовался и хочет непременно почитать. Я обещала дать. Думаю на днях его позвать. Он очень приятен, ну, в общем, остался как был. Эта старая сволочь, его экономка Розалия, только портит все дело. Она так негостеприимна, что не хочется ходить туда. Положим, сейчас сообразила, что, наверно, и моя Поля производит такое впечатление. У нее характер стал абсолютно адовым.

Вообще я решила так: сейчас будет проделан последний опыт с Москвой. Если получу хорошую службу, буду работать на службе и дома – над приведением в порядок своих записок и архива М. А., и обрету душевное спокойствие – останусь в Москве. Нет – распродам все и уеду куда-нибудь в деревню, в глушь, в Саратов – но только чтобы было на душе хорошо. В Москве очень хорошо для меня в смысле отношения людей, я встречаю столько любви, столько внимания, заботливости, что надо быть просто тупицей, чтобы не понять этого. И все-таки я нервлюсь. Значит, не то. Вот я и думаю – если служба и вообще режим не вылечат, то надо удирать.

Вчера днем была у Леонидовых, очень мило провалялись с Эсей на диване: у обоих болела голова, приняли порошки, взятые напрокат у Антокольских, и болтали. Везде, где ни бываю, одни и те же жалобы: вот зарабатывает (имярек) 16 тысяч, а толку никакого, есть, пить нечего. И Олег Ленидов. ворчал, что не желает больше есть преснятину. Но в общем они веселы, как всегда, и милы, и выглядят чудесно. Аронович наврал, что они постарели.

К себе я никого не зову, почти никуда не хожу, очень мало. Взяла меня как-то Оля на балет – до чего они все-таки молоды душой, – я им говорю: мне это на дух не нужно. Оживилась я ровно на пять минут, во время увертюры. А потом скука. А Женя Калужский потом говорит: “Люсенька, следующее воскресенье опять балет «Дон-Кихот» – пойдешь? Ведь не Дудинская, а Балабина будет танцевать!” Ей-богу, сумасшедшие!

Сережка взял у тебя на квартире какие-то ржавые сабли и шашки, и кинжалы, чистил долго, весь вечер, а потом развесил на ковре над своей кроватью. Приедешь – возьмешь опять себе. Это он в целях сохранения. А мундштука не нашел. Но от этого не огорчился – уж очень был в упоении от этого оружия. Сейчас послала тебе телеграмму

– поздравительную. Я из-за московской суматохи не сообразила чисел, опоздала с поздравлением.

Будь здоров! Пишу отдельно Поле и Тусе о хозяйственных делах. Целую крепко. Елена.

Е. С. Булгакова – В. А. Луговскому

12 сентября 1943 г.

Дорогой Дима, все – или, вернее, почти все твои письма получила. Не все, т. к., например, третьего дня в МХАТе случайно встретившийся Раскин сообщил, что у него есть письмо для меня от Луговского, что, конечно, ему очень стыдно, но что у него есть жена Фрида и маленький ребенок, что вот и последние их фотографии. Одним словом, как всегда – укорительным тоном, словно ты и я виноваты во всем этом. Обещал занести письмо в Литфонд. Вчера в Литфонде этого письма не было.

Сердитые и ласковые телеграммы твои тоже получаю. Не пишу, потому что не писалось. Очень много могла бы сказать, а написать все это – сложное – как-то не могла. Зная твою способность ругаться и предполагать всякие штуки, сразу оговариваюсь – ничего особенного, ничего нового я бы тебе и не написала. Просто все мои мысли, ощущения, выводы приобрели более законченный характер. Вроде того, что чувство твое ко мне – не любовь, или может быть, с твоей точки зрения – любовь, а для меня не убедительно.

В общем, конечно, получается глупо – я упрекаю тебя за то, что ты не такой, как мне хотелось бы. Ты, наверно, получил мою телеграмму о службе – хозяйкой в доме творчества. Две недели честно ездила в Переделкино, что-то делала – и вдруг ясно поняла, что служить мне там ни в коем случае нельзя. И отказалась. И стало легко на душе. Может быть, буду служить в МХАТе, хотя надежды на это очень мало. Вернее, буду работать на дому (работа из артели).

Людей вижу много – появились какие-то новые, неожиданные. Мало интересные, впрочем.

Почти нигде не бываю – из зрелищ, не хочу. Скучно и в театре, и везде. Но люди интересуют. Люди и мужские глаза. Очень часто двойные.

Письмо все время прерываю, бегаю то открывать дверь, то к телефону. Я одна, Поли нет, Гриша Широков сейчас забежит за письмом, повезет на вокзал. Что это он сказал, что пропусков тоже нет у вас? Когда предполагаете выехать? Видишь ли ты Женечку? Он мне не пишет. Почему? Не понимаю.

Гриша пришел, мы с ним немного закусили. И сейчас он должен бежать. Татьяне я не успею написать сегодня. Я ее крепко, крепко

целую. Передай ей, что за квартиру твою уплочено – управлением. Я видела жировки.

Будь здоров, милый. Целую тебя. Елена.

Письма Е. С. Булгаковой Т. А. Луговской

Ташкент. 10.06.1942

Дорогая моя Тусенька, откладывала ответ на Ваше чудесное письмо, т. к. ждала okazji. Наконец, сегодня, по-видимому, Таня Кондратова едет и берет с собой письмецо и маленькую посылочку Вам.

Родненькая, если бы Вы видели, на что я стала похожа, Вы взяли бы назад все хорошие слова, которые Вы когда-либо мне говорили. Дело в том, что москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, – москиты, о которых все упоминали мимоходом, – искушали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше юо-300 открытых ран, т. к. я не выношу, когда у меня появляется хоть какое-нибудь пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что я испытываю при этом физическое наслаждение. Истинное слово, я не шучу и не преувеличиваю.

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему твердит, что милей мово на свете нет никого.

Затем – жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов, уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжет зад, приходится подкладывать подушечку, а Поля с трудом ходит босиком по этим ступеням. Из-за того, что москиты летят на огонь, надо закрывать окна, а тогда – так душно, что потом и ночью не отдыхаешь. Я сплю голая и без простыни даже, никогда в жизни со мной этого не бывало.

Двор значительно опустел, уехали Вы, Леонидовы, Уткин (слава Богу), Файко – Зузу, наконец, – нас осталось здесь 21 человек. Двор большей частью пуст, это, впрочем, хорошо, т. к. если, напр., зачнется такое веселье, как было вчера, когда вытащили стол на улицу, пили, танцевали под патефон, Погодин хамил, – я посидела для приличия 5 минут и ушла наверх. Через полчаса пришел Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги “Жизнь”. Боюсь сглазить – но, кажется, это будет замечательная вещь.

Володя – молодец, с ним хорошо и легко.

Сергей вчера прыгнул неудачно (подвязывал Поле хмель на крышу), сегодня прихрамывает. В общем же благополучен, днем ходит в трусах, вечером в белых брюках и при галстуке. Сидят на скамейке каждый вечер: Валя, Утя, Нил, Сергей. Флирт!

От Зузу приходят масса писем, из которых выяснилось, что она пишет во все города и никто не отвечает. Пишет, что любит меня, скучает. Работает как вол и стала такая, как я хотела. Писала в это же время, что в ее роскошном номере ванна с зеркалами, что приятно особенно потому, что она там проводит большую часть дня. Я ей не ответила, не знаю, что писать. На сердце пусто, Женя на Западном фронте, пишет чудесные письма. Боже мой, только бы мне его не потерять.

Танечка, все Ваши заметки частью исполнены, частью будут исполнены. Поле я выдала 200 р. и сказала, что она будет получать так каждый месяц – 100 р. жалованье и 100 р. в счет долга. Вите отдала 100 р. долга и бутылку масла подсолнечного. Вместо долга за сахар. Она довольна. Мухе первый раз послано, 13-го пошлю опять. На распределитель деньги даются. Одеяло и брюки получены.

Всю душевную картину своей жизни могу выразить в Сережиной формуле в детстве: мухи портят советскую власть. А я скажу: Зузу и москиты портят мою жизнь. Это – два больных вопроса.

Тусенька, я очень хочу, чтобы Вы помнили наш разговор о медовом месяце и т. п., хочу, чтобы Вы были счастливы и довольны.

Целую Вас и Гришу крепко.

Володя, который сидит сейчас и работает, просит вам обоим передать привет и поцелуй. Сергей также. Поля также.

В посылке – забытые Вами вещи: кольцо, зеркало, бант и щипцы. Напишите о получении их.

Как я понимаю Ваши чувства по отношению к Л. Ужасно мешает чужой человек дома, как она не понимает, или не хочет понимать.

Целую, целую. Ваша Лена.

23.07.42. Алма-Ата

Милая моя Танечка, привез мне Володя Ваше письмо, очень грустное по существу. Да, очень было бы замечательно поговорить! Володя приехал совсем больной, еле дошел до дома, два дня лежал, не вставая. Сегодня пошел в комитет – говорит, нужно. Сегодня приехала Ирина Соломоновна с Милочкой. Недели на полторы-две. Милочка сейчас сидит у меня и читает Гулливера. На днях приезжает Зюка, как она пишет, проездом – надеется попасть в Москву. Попросила разрешения остановиться у меня. Да-а... Володя привез ворох работы, а у меня, как на грех, сломалась пишущая машинка. Иду в город за мастером. Целую Вас, родненькая. Эта открытка не в счет. Напишу еще. Целую Вас. Ваша Лена.

Дорогая Туся, не удивляйтесь странному ассортименту посылки, это все, что выдавали в эти дни в военном магазине. Поэтому простите и скушайте на здоровье. Лид. Льв. Пришла, и так молниеносно все надо делать, что я не успеваю ничего путного Вам написать. Просто целую Вас и Гришу крепко. Ваша Лена.

Володи нет дома, он в столовой. Он – молодец.

13/9-42

Ташкент, 23.xi.42

Дорогая Туся,

Володя Вам, конечно, рассказал про Сережину болезнь. Сейчас ему лучше, я надеюсь, что через дней десять он будет дома. Он дико худ, бледен, зелен, покрыт прыщами. Ну, да ничего, вот попадет домой – постараюсь привести его в порядок. Тем более что написала Евг. Ал. – что прошу его устроить лучшую столовую и распред.

Сегодня Сергей в письме написал: “Тюпа, как я тебя люблю, передать невозможно. И Володю тоже. Он очень хороший. Я тут думал о нем и решил, что он хороший человек”.

Прочтите это Володе.

Тусенька, если бы мы встретились – то, наверное, суток двое просидели в разговорах – ведь все пришлось бы рассказать. Но главное – это Ваша любимица м-ме Зузу. Это Вам не фунт изюма. Грандиозно!

Туся, не сердитесь, что не писала. Очень сложное было время, очень. Думаю, что по Володиным рассказам многое станет Вам ясным.

Сейчас привожу в порядок все, начиная от корреспонденции и кончая платьями.

Сумятица в душе и неразбериха в шкафу и чемоданах. Кроме того, занимаюсь сборами вещей для продажи.

Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе М. А.?

Целую Вас, Туся, целую Гришу и целую Володю.

Бегу на свиданье с Сергеем.

Ваша Лена.

Ташкент. 10/01-43.

Дорогая Тусенька,

наконец-то собралась побеседовать с Вами. Спасибо за все – за нежность, за память, за чудно вкусную дыню. Ваши письма волнуют и чаруют своей полнейшей неопределенностью и английским туманом. Мне это напомнило один прелестный рассказ Грина, забыла, как он называется, когда человек знакомится на рынке с девушкой, сразу

пленяется ею, она закалывает ему воротник своей английской булавкой, дает ему номер своего телефона. Потом ночь. Голод. Он идет ночевать в помещение банка. И оттуда хочет позвонить ей. И вот напряжение памяти – забыл телефон. Наконец, набирает номер. Шум в трубке, неожиданно ее голос. Потом пропадает. И вот это-то – его муки, его безумное напряжение, его ужас при потере – все это я испытываю при чтении Ваших писем. Вот-вот, кажется, сейчас услышу что-то чрезвычайно важное, вся вытягиваюсь, впиваюсь в строчки... Ничего. Голос пропал.

Ах, Таня, Таня!

Володя очень хорош. Не только по моим наблюдениям, пристрастным, по всей видимости, но и по посторонним мнениям. Конечно, я человек дотошный, мне всегда кажется – ну-ка еще протереть раз тряпочкой, потом помыть, потом еще зубным порошком потереть – и тогда уже чистое золото получится! Всегда я так поступала, потому думать мне непривычно, больше я чувствую да делаю. А теперь что-то неожиданно подумала – а вдруг не надо оттирать, а оставить как есть.

Сергей выправляется. Повзрослел, стал получше.

От Женечки письма приходили все время чудесные, а последние два-три – прямо чистый шизофреник, хрен его возьми! Из-за этого дрянца, как эта Дзюка (так ее назвала одна Володина приятельница), мальчик себе душу надрывает.

Кроме того, в балахане поселилась одна знакомая девочка. Но утомила всех нас безмерно, и теперь никак не могу ее упросить поискать себе другое “водоизмещение”. Я сегодня спросила ее: ну, а если бы меня не было в Ташкенте, ты где бы жила? Отвечает: в общежитии. – Так почему же?!

Прожила у Володи в его отсутствие Паустовская – с неделю. Очень мне понравилась. Разрисовала мне комнатку. Очень остроумно: над кроватью моей с белым покрывалом – на стене нарисовала дорожку – рисунок с покрывала. Потом еще очаровательно – на печке сделана как бы крышка футляра мирленовских духов: тоненькая девушка в пышной юбке, с крестиком на шее. С букетом цветов и корзиной в руках. Фотографии – в рамках, нарисованных на стене. Много милых выдумок.

Танюша, Вы пишете, что в начале января приедете. Жду вас с нежностью, целую и обнимаю крепко, хотя Вы ведь всегда стыдливо отворачиваетесь, когда Вас целуют.

Это – всегда?.. Ваша Лена

Сердечно целую разлюбившего меня Гришу и благодарю вас обоих за телеграмму.

Письмо Т. А. Луговской – Л. А. Малюгину

Напрасно вы обижаетесь на меня за то, что я не пишу вам ничего о своей работе. Уверяю вас, что если бы было хоть что-нибудь маломальски интересное – я давно бы похвасталась. Работаю я в одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное “разбогатение” объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности. Все очень просто и очень скучно, и никаких больших работ, как вы предполагаете, я не сделала. Да их тут что-то и не заметно этих самых больших работ-то. (Только давайте уговоримся, что о моих неблестящих делах никто, кроме Тамары, не знает. Я здорова, и богата, и знатна. Ладно?)

Сейчас утро. Мне еще рано идти трудиться. Поля спит. Солнце жарит вовсю. Я с 7 часов уже встала. Мне ужасно милый, но грустный и безнадежный сон приснился. Приснилась мне мать – такая ласковая, заботливая (готовая пожертвовать всем чем угодно – лишь бы мне было лучше) и всепрощающая – какой только она одна умела и могла быть. И руки, и голос ее – такие милые и знакомые. Вот такая она, какой была до этой страшной болезни. И очень ласково и жадно она смотрит на меня и ничего не говорит, но все понимает. А мне так ужасно нужно ей что-то объяснить и рассказать, и пожаловаться (как в детстве), но я только могу сказать: мама, голубушка – и реву – очень отчаянно и с наслаждением. И такое забытое чувство горячей волной нахлынуло на меня: что есть опять человек, которому все важно во мне, который все простит, будет любить бескорыстно и позаботится, и заступится, и пожалеет. Ну а потом, как это всегда бывает во сне, я ничего не сумела расспросить, ни сказать и проснулась. Было уже утро, горели мангалы и со звоном наливались ведра под краном. И жарило солнце. И я вскочила со своей зареванной подушки и подумала – откуда я черпала этот источник ласковости и тепла, и нежности в жизни? Все-таки от матери. <... >

<...> Провожала я тут своего приятеля-художника на фронт. Посидели с ним на его вещевом мешке в привокзальном садике (кругом спали его товарищи курсанты, по их лицам ползали мухи), погрызли солдатских сухарей, поговорили о жизни, об искусстве, о моих работах, которые он незадолго до этого видел. Это очень талантливый художник, а сидел он рядом со мной бритый, обгорелый, в страшных грязных бутцах, нескладный, понурый и грустный. И очень захотелось немножко ободрить его и наделить теплом, и заменить на минутку и мать, и жену. Ноя, наверное, не сумела этого сделать. Мы простились, и он уехал...

Тут как-то пришел к Ахматовой какой-то человек, кажется Янковский, и сказал, что видел в кино ленинградскую хронику. Когда я

вечером пришла домой, Лида уговорила меня пойти: ну и пошли. Летний сад, парочки, военные, очереди у киосков с анилиновой водой. Очень странно все это.

Подождали сеанса и уселись. Потух свет, и сердце сразу переместилось в горло. Показали несколько открыточных ленинградских видов, потом кусок крыши вашего театра. Потом вокзал и кучу людей, мимо которых проплыл аппарат, потому что он понимал, что эти люди мне не нужны. Запомнился какой-то верзила, занявший удачную позицию вполоборота – почти красавец, но уж очень длинный нос. (Лида всплеснула руками и сказала: Рудник!) Не успела я его обругать – зачем он вас обижал, как произошла небольшая давка из-за первого места перед аппаратом и вынырнула ваша подруга Казико с какой-то мочалкой на голове вместо волос. Она быстро-быстро затрясла мочалкой, давая этим понять, что она кокетничает. (Старушке уже пора ложиться в гроб, а она все упорно настаивает на том, что в молодости была травести и носила мальчишеские штанишки.) Потом выплыл какой-то огромный блин, одетый в капор с оборочкой. Блин этот зашевелился, переместился, и мне удалось догадаться, что это Никритина. Потом поплыли еще какие-то незнакомые люди, все без исключения, как и предыдущие, делавшие вид, что они самые главные и что, если бы они не приехали в Ленинград – город бы погиб. (Все чувствовали себя героями.) И тут я поняла, что вас я проглядела...

Но судьба изменчива, и уставший от актерских рож аппарат решил отдохнуть и задержался на одном лице, явно неактерского вида... Помните детскую книжку “Макс и Мориц”? Это были очень озорные мальчишки, и автор рассказал детям про все их шалости. И нарисовал их. Вот однажды они попали в чан с тестом и, когда выскочили, – оказались похожими на какие-то гигантские плюшки своей собственной формы. И нос их, и хохолок на голове, и руки, и ноги, и штанишки – все их, но все стало какое-то большое (круглое, без морщин и сделанное из теста)... Вот таким, покрытым тестом, предстало перед нами ваше лицо.

Все-таки было очень приятно встретиться хотя бы с вашей меховой шапкой, которая сохранила свою фактуру. Потом был красивый, но неправдоподобный кадр, как снимали чехлы в партере. Затем дядя в темном костюме осматривал сцену.

Опять трясла мочалкой Казико, но уже перед зеркалом, и еще кто-то сидел перед зеркалом. Потом мы ушли домой.

Я рада за вас, что у Акимова идет ваша пьеса. Раневская видела спектакль и очень хвалила. Говорила, что зрелище очень приятное, хвалила она и оформление.

Лида с дочкой днями едет в Москву – я не очень-то оплакиваю эту свою потерю.

Желаю вам всего доброго. Не забывайте меня. Т. Л.

Иллюстрации



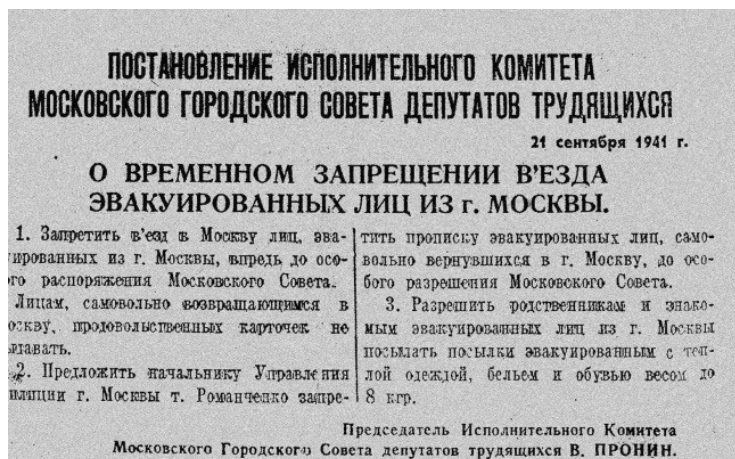
Москва. Бомбоубежище в метро “Маяковская”. 1941 г.



Москва. 1941 г. Вверху: Улица Горького.



Внизу: Эвакуация.



Воззвание

Ко всем гражданам и гражданкам Советского Союза,
честным командирам и бойцам Красной Армии.

ПРОБИЛ ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ для всех народов многонационального СССР. Победоносная Германская Армия сбросит цепи коммунистического и жидовского ига.

Активно помогайте Германскому командованию в создании нового строя.

Ваше счастье и жизнь в ваших руках.

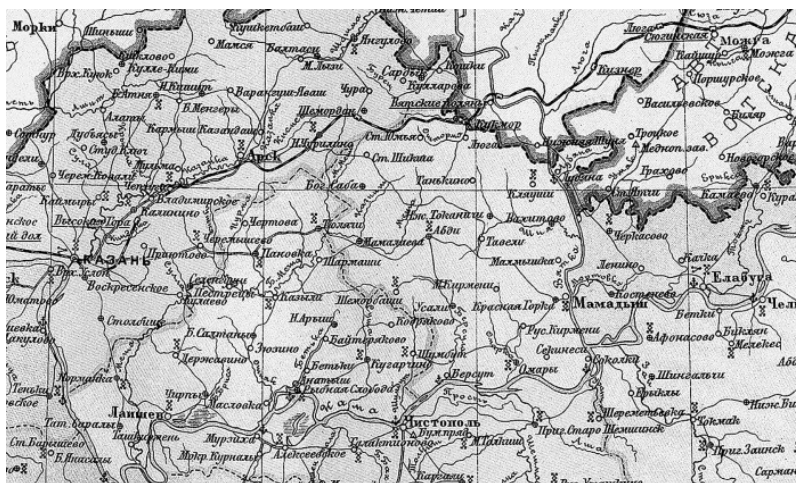
Не верьте лживым словам коммунистическо-жидовской пропаганды.

Коммунистическая партия и ее вожди, Ленин и Сталин, только на словах обещали вам свободную и счастливую жизнь, и не выполнили ни одного из своих обещаний.

Народы СССР превращены в рабов. Неужели вы хотите защищать это рабство?

Всходит заря новой культурной жизни и работы.

БРОСАЙТЕ ОБОРОННУЮ РАБОТУ И БЕРИТЕСЬ ЗА ОРУЖИЕ ПРОТИВ СВОИХ УГНЕТАТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ И ЖИДОВ. Переходите на сторону Германии. Этим вы ускорите свое освобождение и прекратите бесцельное кровопролитие своего народа. Соберите урожай. Не допускайте разрушения народного хозяйства, как это уже сделано в некоторых городах. Помните, что оно принадлежит



Вверху: Карта Татарской АССР 1930-х гг. от Казани до Елабуги.

Цветаче
мее 5
до Елабуга
8.11.11



Елабуга. Вверху: Вид с Камы.



Внизу: Дебаркадер.



Марина Цветаева. 1941 г.



Георгий Эфрон в интернате для детей писателей.
Чистополь. 1941 г.

ЕЛАБУЖСКИЙ
РАЙОННЫЙ В О Т Д Е Л

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Отдел Актов Гражданского Состояния

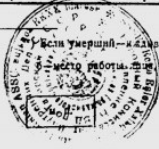
1 * 18 1941 г.
в Елабуге ТАССР

ЗАПИСЬ АКТА О СМЕРТИ № 283.
(Первый экземпляр)

1. * число сентября месяца 1941 г.

1	Фамилия	<u>Цветаева</u>			
2	Имя	<u>Марина</u>	3	Отчество	<u>Ивановна</u>
4	Пол	<u>жен</u>	5	Национальность	<u>русская</u>
6	Время смерти	<u>31 числа августа</u> месяца 1941 года			
7	Возраст	Истекло <u>49</u> лет. Для детей младше <u>одного</u> года Для детей, умерших до 5 лет, указать дополнительно, когда родился <u>...</u> года			
8	а) Причина (на службе, в умственной или другой деятельности, вследствие заболевания "б")	<u>Эвакуированная.</u>			
9	б) Где работала, название предприятия, учреждения, колхоза и т. д.	<u>В Москве Гослитиздат.</u>			
10	Где постоянно проживал умерший	Город <u>Елабуга</u>	Район <u>Елабужский</u>	Село <u>...</u>	Область (край) <u>ТАССР.</u>
	Улица	<u>Ворошилова</u>		Дом № <u>16</u>	

10	Причина смерти	Асфиксия при задушении.
11	Какие предъявлены врачебные документы о смерти, кем и когда выданы, за какими но- мером, свидетели	справка врача от 31/III-41г.
12	Номер паспорта и во- евого билета умер- шего и справка о том, куда и когда они даны	даны в милиции.
13	Фамилия, имя и адрес заявителя	Зарян. ул. Ворошилова дом №10.
14	Подпись заявителя	<u>Зарян</u>
15	Особые отметки	Св-во о смерти выдано 1/IV-41г. из выдана Гильовичев <u>М.И.И.</u> мать или сестра <u>Жури</u> 21/IX-85


 Зав. бюро ЗАГС
 Делегированные

Акт о смерти Марины Цветаевой.



Вверху: Елабуга. Дом на улице Ворошилова, куда поселили Марину Цветаеву с сыном.



Внизу слева: Нина Саконская. 1930-е гг.



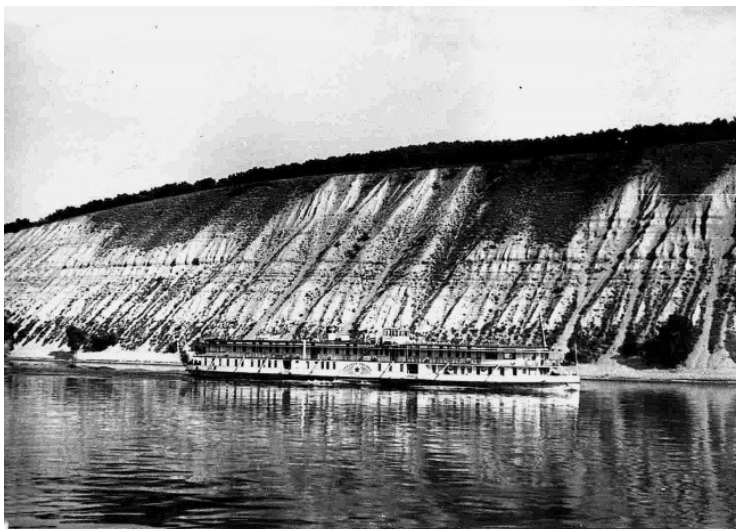
Внизу справа: Марика Гонта. 1920-е гг.



Вверху: Семья Лозинских на даче в Кавголове. 1948 г. Все, кто жил вместе в эвакуации в Елабуге: дедушка Михаил Леонидович Лозинский; внучка Катя Толстая; сын Сергей Лозинский; няня Груша, растившая всех детей и внуков Лозинских; дочь Наталья Лозинская; бабушка Татьяна Борисовна Лозинская; внуки Наташа и Миша Толстые.



Внизу: Татьяна Сикорская, ее муж Самуил Болотин и Ариадна Эфрон. 1956 г.



Вверху: Кама.



Внизу: Пристань в Чистополе.



Вверху: Улица в Чистополе.



Внизу: Дом учителя в Чистополе, где проходили вечера писателей.



Вверху: Исидор Шток, Валентин Плучек, Алексей Арбузов и Александр Гладков. 1930-е гг.



Внизу слева: Всеволод Багрицкий. Конец 1930-х гг.



Внизу справа: Валентин Парнах. Конец 1920-х гг.



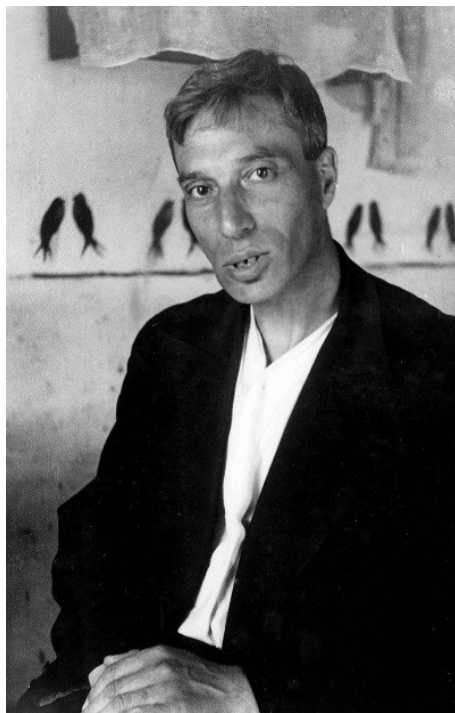
Вверху слева: Григорий и Елена Санниковы. Конец 1930-х гг.



Вверху справа: Флора Лейтес перед войной.



Внизу: Николай Асеев, Мария Петровых, Илья Сельвинский, Борис Пастернак. Чистополь. 1942 г.



Чистополь. 1942 г. Слева и вверху: Борис Пастернак.



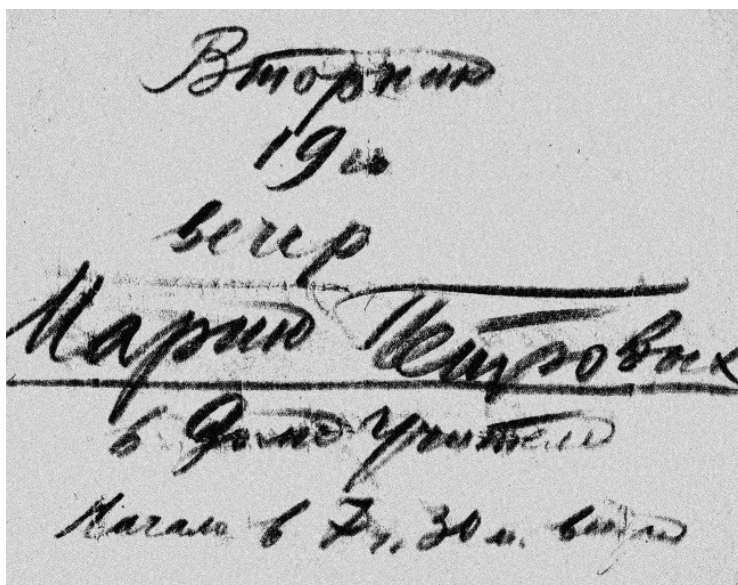
Внизу слева: Борис Пастернак с сыном Леонидом.



Внизу справа: Зинаида Пастернак с сыном Леонидом.



Вверху: Мария Петровых. Чистополь. 1942 г.



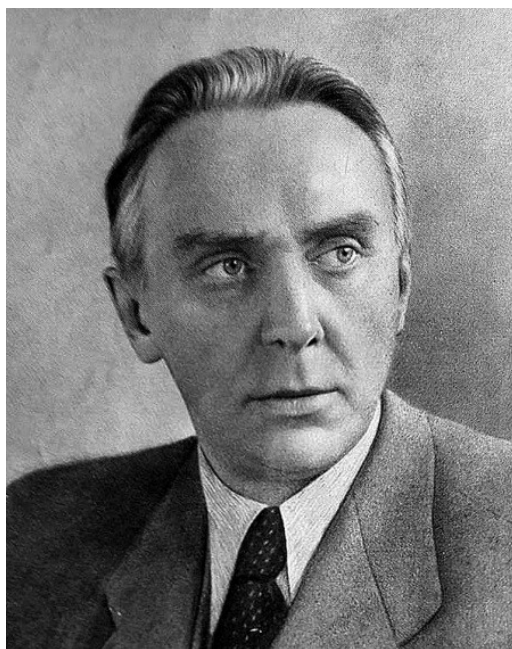
Внизу: Объявление о вечере М. Петровых, сделанное рукой Б. Пастернака.



Вверху: Программа литературно-музыкального вечера в Чистополе.



Внизу: Маргарита Шор-Ивенсен ведет передачу на Чистопольском радио. На фото также: Н. Павленко, Н. Чертова, М. Шамбадал, А. Авдеев и другие. Зима 1943 г.



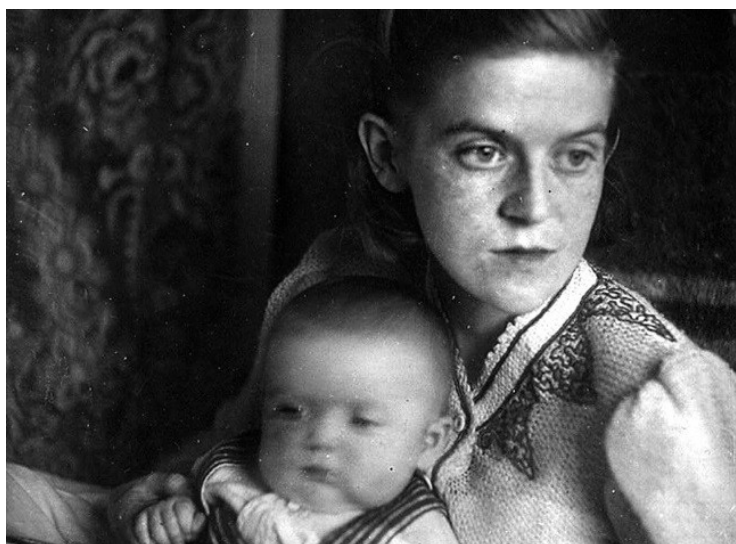
Вверху слева: Константин Федин. 1940-е гг.



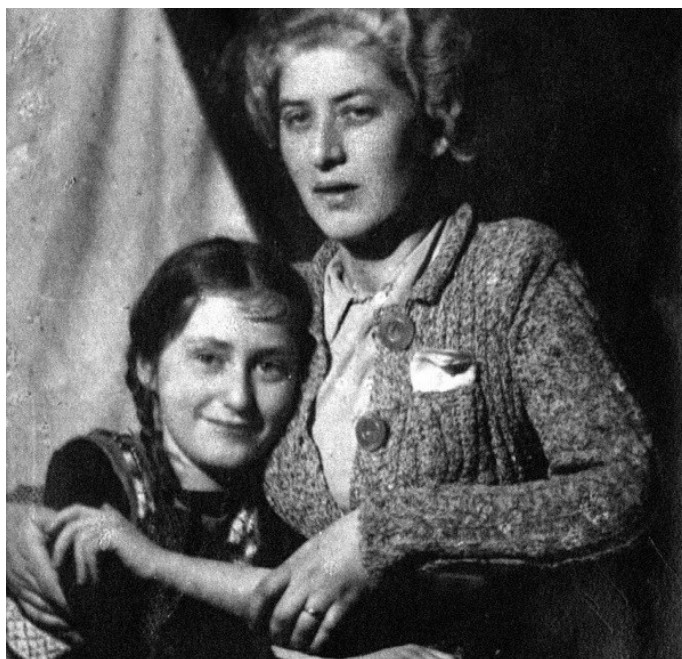
Вверху справа: Александр Фадеев. 1930-е гг.



Внизу: Маргарита Алигер с дочерьми в эвакуации.



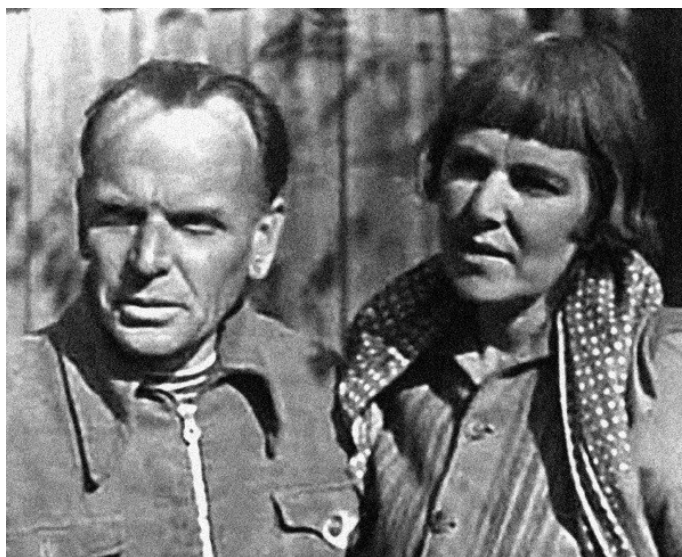
Вверху: Наталья Соколова с сыном. 1940-1941 гг.



Внизу: Лидия Чуковская с дочерью Люшей (Еленой) Чуковской. 1943 г.



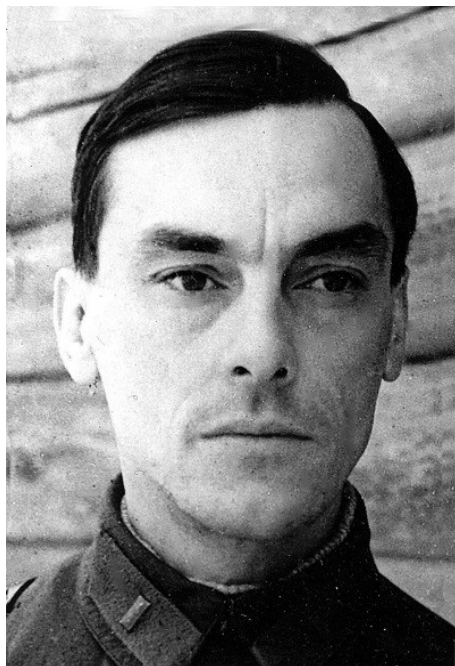
Вверху: Лидия Толстая (Либединская) и Иван Бруни. Москва. 1941 г.



Внизу: Константин Паустовский и Валентина Навашина. Конец 1930-х гг.



Вверху слева: Евгений Долматовский. 1942 (?) г.



Вверху справа: Арсений Тарковский на фронте.



Внизу слева: Андрей и Марина Тарковские.



Внизу справа: Вторая жена А. Тарковского Антонина Бохонова.
Конец 1930-х гг.



Вверху: Чистополь, ул. Володарского (Ленина), д. 52. Во время войны – интернат Литфонда, ранее Дом колхозника.



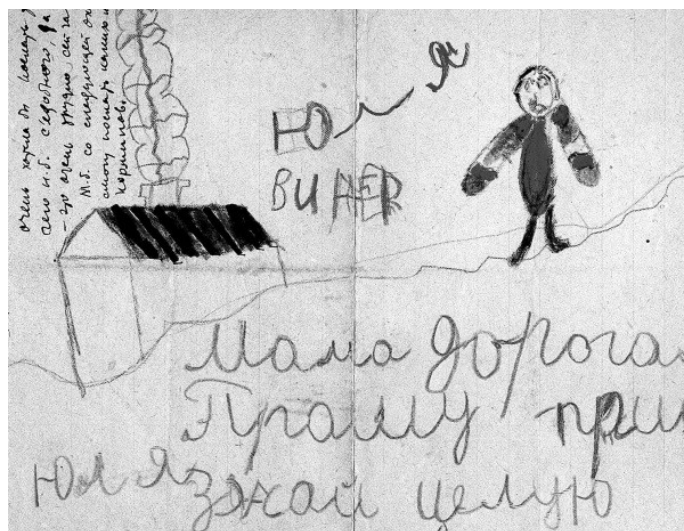
Внизу: Дети писателей. Надя Павлова, Лена Левина, Нина Николаева, Мика Васильева, Гедда Шор. Внуково. 1940 г.



Вверху: Старший педагог интерната Анна Зиновьевна Стонова после войны.



Внизу: Дети чистопольского интерната среди писателей. В центре Михаил Исаковский, Алексей Сурков (второй справа). Чистополь. 20 июня 1942 г.





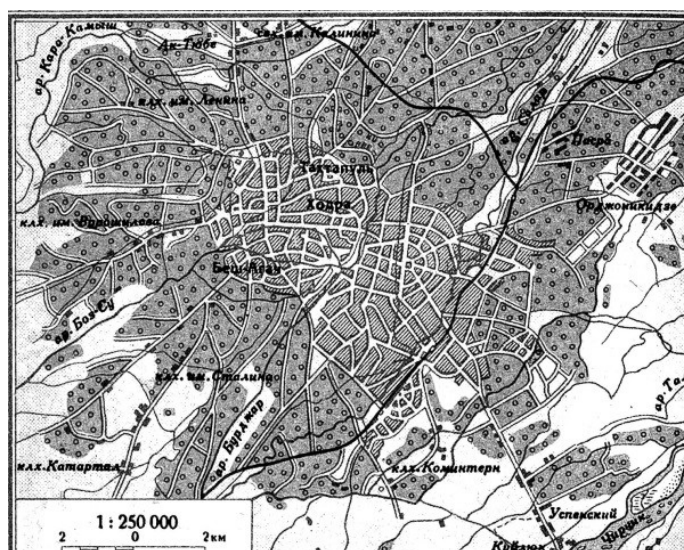
Рисунки и письмо шестилетней Юли Винер.



Арык в Ташкенте. Довоенная фотография.



Вверху: Карта СССР: Поволжье и Средняя Азия. 1940 г.



Внизу: Карта Ташкента. 1940 г.



Довоенный Ташкент.



В городе и в окрестностях.



Слева: Галина Козловская в саду своего дома в Ташкента. Конец 1930-х гг..



Вверху: Композитор Алексей Козловский, играющий на домбре. Алексей и Галина Козловские, жившие в Ташкенте с 1936 г.



Ташкент, улица Жуковская, д. 54. Двор, где жили Ахматова, а также семьи Луговского, Погодина и Вирты.



Вверху: Анна Ахматова. Ташкент. 1942 г.



Внизу: Комната на балахане, где жила Елена Булгакова, а после ее отъезда – Анна Ахматова. Здесь же, у нее останавливалась Надежда Мандельштам. Акварель Татьяны Луговской. 1942 г.



Лестница на балахану, в комнату Ахматовой.

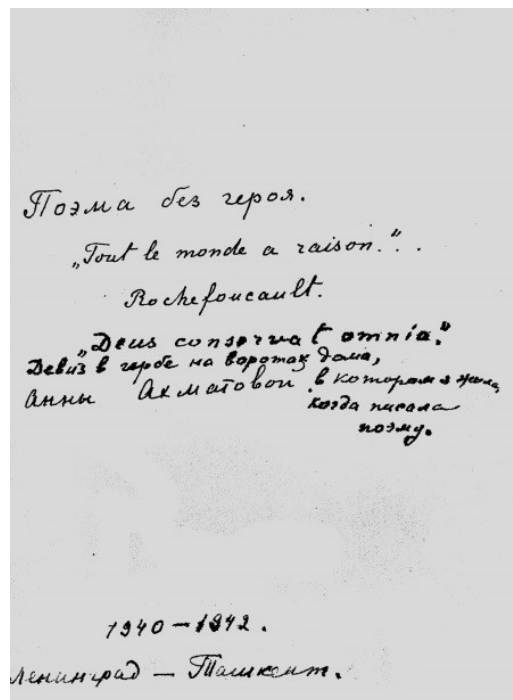




Шуточные рисунки Сергея Эйзенштейна, изображающие "булгаковку", - комнату Е. С. Булгаковой на балахане и ее обитателей. Бумага. Чернила. Рук. отд. РНБ.



Анна Ахматова. Ташкент. 1942 г.



Первая страница рукописи "Поэмы без героя" А. Ахматовой.



Вверху слева: Мария Белкина. Конец 1930-х гг.



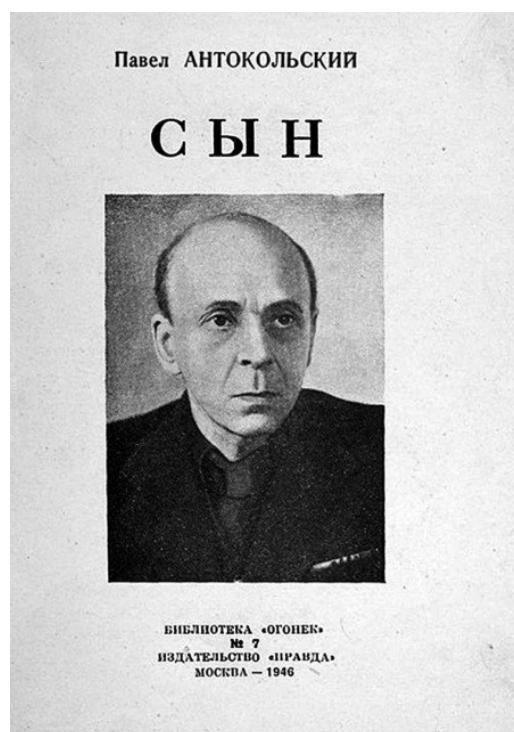
Вверху справа: Анатолий Тарасенков. Ладога. 1942 г.



Внизу: Мария Белкина с сыном Дмитрием. Ташкент, зима 1941 г.



Вверху: Лидия Чуковская и Корней Чуковский. 1940-е гг.



Внизу: Владимир Антокольский и обложка поэмы Павла Антокольского "Сын", посвященной его гибели.



Вверху: Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям.
Сидят: Надежда Пешкова (Тимоша), Екатерина Пешкова, Тамара
Иванова. 1942 г.





Внизу: Ксения Некрасова. Фото с сыном перед войной и портрет работы Р. Фалька (1950 г.)



Вверху слева: Валентин Берестов перед войной.



Вверху справа: Н. Я. Мандельштам. 1947 г.



Внизу: Надежда Мандельштам, Евгений Хазин, Елена Фрадкина.
1950-е гг.



Вверху: Соломон Михоэлс и Алексей Толстой в роли плотников. Ташкент. 1942 г.



Внизу: На торжественном мероприятии. Третий слева – Николай Вирта, далее – Алексей Толстой и Всеволод Иванов. Ташкент, 1943 г. Фото Макса Пенсона.



Вверху слева: Ташкент. Ул. Почтовая. Дом А. Толстого.



Вверху справа: Ташкент. Жена А. Толстого Людмила Ильинична.



Вверху: Елена Сергеевна Булгакова. Москва. 1946 г.



Внизу слева: Сергей Ермолинский. Конец 1930-х гг.



Внизу справа: Софья Магарилл, первая жена Г. Козинцева. Конец 1930-х гг.



Вверху: Константин Симонов и Владимир Луговской. Ялта. 1940 г.



Внизу: Валентина Серова и Константин Симонов во время войны.



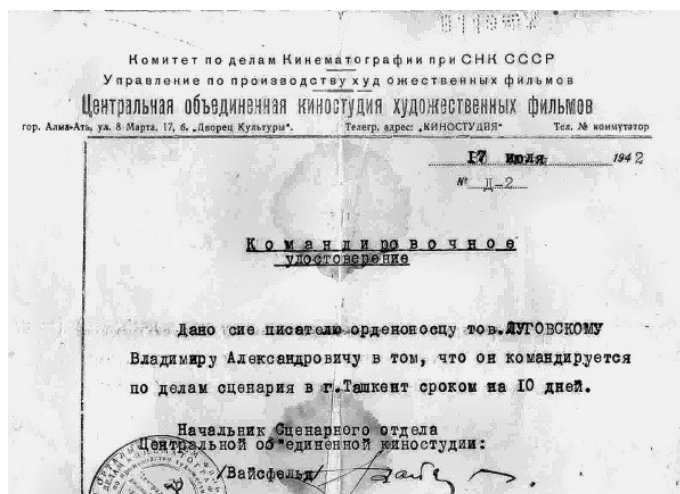
Вверху: Маша Груберт-Луговская и Татьяна Луговская. 1939 г.



Внизу слева: Татьяна Луговская. 1940-е гг.



Внизу справа: Владимир Луговской. 1940-е гг.



Вверху: Командировочное удостоверение для поездки В. Луговского в Алма-Ату.

Перед Богом клянусь
Клятвой тяжкою,
Клятвой крепкою,
Клятвой страшною —
На Руси государю, как псу, служить,
Города и посады метлой метсти,
Государеву делу мечем беречь,
По цареву приказу крѣпкими лечь —
Ради русского царства великаго!
Перед Богом клянусь
Клятвой крепкою
Погубить врагов государевых,
Отказаться от роду, от племени,
Позабить отца, мать родимую,
Друга вернаго, брата кривнаго, —
Ради русского царства великаго!
Перед Богом клянусь

Внизу: Машинопись “Песни опричников”, написанной В. Луговским для второй серии фильма С. Эйзенштейна “Иван Грозный”.



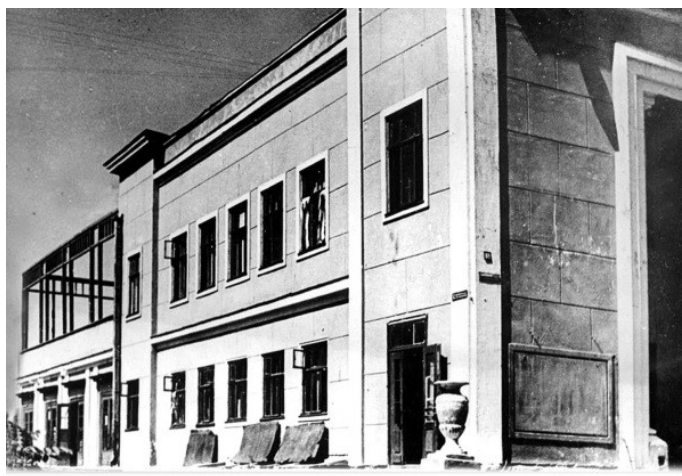
Вверху: вид снаружи.



Внизу: вид изнутри (план бельэтажа и второго этажа).
Наталья Венжер. Рисунок алма-атинского “лауреатника”.



Вверху: Дом “лауреатник”. Алма-Ата. Угол улиц Кирова и Ленина
(ныне улицы Богенбай батыра и проспекта Достык)



Внизу: Алма-Ата. Киностудия. Здание, в котором находились кинопавильоны. До войны - Дом культуры. Теперь в нем расположена Казахская государственная филармония им. Жамбыла.



Вверху: Обсуждение макетов декораций.



Алма-Ата. С. Эйзенштейн на съемках второй серии “Ивана Грозного”. Внизу: На съемочной площадке фильма.

notes

Примечания

1

Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего*. М., 1995. С. 95.

2

Белкина М. *Скращение судеб*. М., 2005. С. 96-97. (Далее: Белкина.)

3

Белкина. С. 412.

4

Соколова Н. *Два года в Чистополе. 1941–1943.* М., 2006. С. 17.
(Далее: Соколова.)

5

Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего.* М., 1995. С. 18.

6

Белкина. С. 421–422.

7

Пастернак Б. *Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак.* М., 1993. С. 158. (Далее: Пастернак Б. Письма к З.Н. Пастернак.)

8

Иванов Вс. *Дневники.* М., 2002. С. 84–85.

9

Шкловский В. *Жили-были.* М., 1966. С. 432.

10

Пастернак Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма.* С. 405.

11

Эрлих. А. *Нас учила жизнь: Литературные воспоминания.* М., 1960. С. 179–182.

12

Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ. М., 2002. С. 32.

13

Эфрон Г. *Дневники. В 2-х тт. Т. 1.* М., 2004. С. 478.

14

Эфрон Г. Т. 1. С. 475.

15

Эфрон Г. Т. 1. С. 404.

16

Иосиф Горелик начал работать в “Известиях”, когда главным редактором был Бухарин, тогда же, как рассказывала Берта Михайловна, он познакомил ее со своей молодой женой.

“– Барышня, – говорил он, – вы не знакомы с моей женой? Очаровательная женщина.

Был остроумный, веселый. В то время входили в моду танго и фокстрот, он как-то пошутил: «Я думал, такое только ночью делают, оказывается, можно и днем».

Когда пошли аресты, ее муж приходил с работы мрачный:

– Ты знаешь, у нас каждый день на собрании все каются, а мне не в чем себя обвинить.

Они жили на даче между Удельной и Отдыхом; там находился поселок «Известий». И каждый день забирали, из того домика, из того... ” (Устные рассказы Б. Горелик. Архив автора.)

17

Эфрон Г. Т. 1. С. 492. Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться... Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось”.

18

Дзюбинская О. Город сердца моего... // Чистопольские страницы. Стихи, рассказы, повести, дневники, письма, воспоминания. Казань, 1987. С. 166-167.

19

Соколова. С. 127.

20

Чуковский К., Чуковская Л. *Переписка. 1912-1969*. М., 2003. С. 295. Кроме того, в этом же письме Л. К. жаловалась на условия, связанные с обустройством детей в лагере: “Пока дела идут так... В Берсут детей не принимают. Обещают взять, когда перевезут тамошних сюда. Но у меня на руках нет документа об уплате денег, и его надо прислать мне возможно скорее.

Все, что касается жизни детей в Берсоте, – совершенно законспирировано. Матери, приехавшие сюда с нашим эшелонем, до сих пор не попали к детям и попадут недели через 3. Там кто-то сильно болен, но кто и чем – тайна. Тут всем распоряжается *Косачевская*, особа фантастически грубая (по рассказам матерей).

Ходят слухи, что в детском саду там хорошо (у Фани Петровны), а в лагере для старших – худо. На даче холод, и дети без конца болеют гриппом, ангиной, кашляют и т. д.

Чистополь и Берсут – малярийное место. Сюда необходимо прислать хинин и акрихинин”.

21

Там же. С. 296.

22

Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника] // Чистопольские страницы. С.107-108.

23

Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно*. М., 2003. С. 48.

24

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 108.

25

Там же. С. 110.

26

РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 37.

27

Шор Г. Война, семья, эвакуация. Из воспоминаний о Чистополе (1941-1943) // Грани. 1998. № 188. С. 192-193.

28

Левина Е. От Клязьмы до Камы // Странники войны. Воспоминания детей писателей / Сост. Н. Громова. М., 2012. С. 114-115.

29

Алигер М. В последний раз // Чистопольские страницы. С. 139-140.

30

Эфрон Г. Т. 1. С. 515.

31

Эфрон Г. Т. 1. С. 522.

32

Эфрон Г. Т. 1. С. 524.

33

Там же. С. 531.

34

См. письмо Натальи Тренивой к Маргарите Алигер в приложении.

35

См. письмо Натальи Соколовой к Марии Белкиной в приложении.

36

Там же.

37

РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 4. Ед. хр. 628.

38

В моей переписке с Ирмой Кудровой (автором биографии М. Цветаевой) я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого (секретаря Паустовского), который я привожу: "...Она (Ирма Кудрова. – Н. Г.) считает, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констатацией того, что К. Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нем Тренева. Тогда, когда шел этот разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устроить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ивановны, К. Г. в Чистополе еще не было". Однако теперь можно достоверно утверждать, что Паустовский приехал 10 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 августа. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа в письме Л. К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского (К. Чуковский, Л. Чуковская. *Переписка: 1912–1969*. М., 2003. С. 302). Вторая дата находится по той же переписке Л. К. Чуковской с отцом (это письмо от 4 сентября 1941 года) на странице 306, здесь все вместе – и отъезд Паустовского, и гибель Цветаевой. "Паустовские, – пишет Л. К., – уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – тоже <...>. Сегодня 4.9. в Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась". Эти сведения, несомненно, привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали до этого, письмо длинное и пишется частями.

39

Чуковская Л. Предсмертие // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Т. 3. Возвращение на родину. М., 2002. С. 180–181.

40

Татьяна Алексеевна Арбузова, бывшая жена драматурга Арбузова, в будущем жена Паустовского. Из интервью ее дочери Галины: "Мама

вышла во второй раз замуж за блистательного человека, Михаила Яковлевича Шнейдера. В Москве тогда были две литературно-философские школы. Во главе одной из них стоял Шкловский, а во главе второй – Шнейдер, сейчас совершенно забытый. Он был сценаристом, но, главное, написал книгу «Наедине с дураком», которую тогда, конечно, нельзя было напечатать. Она так и не была издана, затерялась, но те, кто ее читал, говорят, что это была выдающаяся вещь. Началась война. Мы все попали в Чистополь, откуда было трудно выбраться, и именно Паустовский взял нашу семью с собой в Алма-Ату, в эвакуацию. Именно там, в 43-м году, Константин Георгиевич признался маме в любви”. (“Огонек”. 2001. № ю). Судя по письму Л. Чуковской к отцу от 4 сентября 1941 года, Паустовский с женой и Арбузова со Шнейдером уехали еще в начале сентября.

О Шнейдерах см. также очерк Лидии Чуковской “Предсмертие”. (Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Т. 3. С. 194-195.)

41

См. о нем: Белкина М. *Скращение судеб*. С. 190-193; а также в воспоминаниях Льва Славина *Портреты и записки*. М., 1965. С. 101-104.

42

Личный архив автора.

43

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 112.

44

“они не бросят” (франц.).

45

Эфрон Г. Т. 1. С. 538–539.

46

Сикорский В. "...Не моя златоглавая". Незабывтое о Марине Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях... Т. 3. С. 215.

47

Эфрон Г. Т. 2. С. 8.

48

РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 759 (1).

49

РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 488 (2).

50

Семейный архив Пастернаков.

51

Там же.

52

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. боб. По поручению группы эвакуированных писателей М. Загорский и В. Ржановская писали в Союз советских писателей 9 октября 1942 года: "После смерти члена советских писателей Н.Е. Добычина остался в Москве его лит. архив, в котором содержатся начатые работы <...>".

53

РГАЛИ. Ф. 631. Оп.15. Ед. хр. 761 (2).

54

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]. Чистопольские страницы. С. 118; вторая часть записи РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.*

55

РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.

56

Дзюбинская О. Из статьи "Город сердца моего" // Марина Цветаева в воспоминаниях... Т. 3. С. 177.

57

Мгебров А. *Жизнь в театре*. В 2 томах. М.-Л., 1932. Т. 2. С. 206. См. также о Елене Санниковой: *"Еще меня любите за то, что я умру..."*. Марина Цветаева и Елена Назарбеян 11 Григорий Санников. *Лирика*. М., 2000. С. 115-122.

58

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 118; РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.

59

“...Вечно милый мне Чистополь”. Дарственные надписи и письма Б. Л. Пастернака В. Д. Авдееву // Чистопольские страницы. С. 260.

60

Эфрон Г.Т. 2. С. 8.

61

См. приложение.

62

Чуковский К., Чуковская Л. *Переписка*. С. 306.

63

Копия письма в архиве автора.

64

Пастернак Б. Письма к З. Н. Пастернак. С. 180.

65

РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 133.

66

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 114.

67

Эфрон Г. Т. 2. С. 11, 14.

68

См. приложение.

69

РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 295.

70

Шор Г. Война, семья, эвакуация. С. 183-186.

71

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 115.

72

См. приложение.

73

Пастернак Б. Письма к З.Н. Пастернак. С. 180.

74

Кирпотин В. *Ровесник железного века*. М. 2006. С. 453.

75

Там же. С. 456.

76

Инбер В. *Страницы дней перебирая*. М., 1977. С. 73–74.

77

РГАЛИ. Ф. 631. Оп.15. Ед. хр. 644 (2).

78

Алигер М. Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах. М., 1980. С. 342.

79

Герштейн Э. О Пастернаке и об Ахматовой // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 397.

80

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. М., 2001. С. 252–253.

81

Архив автора.

82

Семейный архив Владимира Седова.

83

Белкина. С. 412.

84

Копия письма в личном архиве автора. См. у Белкиной тот же случай в “Скращении судеб”: “...Я, завидя Пастернака, старалась сесть в другой вагон. Я не могла превозмочь робости, меня стесняло не только мое положение, но главное – о чем ему со мной говорить? Конечно, из вежливости он будет занимать меня разговорами, проклиная в душе! И я заранее представляла себе мучительные паузы, когда не знаешь, что сказать... Но однажды мы все же оказались в одном вагоне, и он, шумно и радостно со мной здороваясь, словно мы были с ним миллион лет знакомы, уселся напротив меня у окна. Оказывается, он видел меня не один раз, но ему казалось, что я ищу одиночества. Он так это понимает! Иногда так хочется быть совсем одному, и любое постороннее вторжение воспринимается почти как физическая боль... Он сам ищет уединения... Ему так надо сосредоточиться, подумать, но совершенно невозможно, он мечется между Москвой и дачей, собственно говоря, дача – это и есть теперь его дом, его рабочее место, но считается, что раз дача – то все едут ins

grum! – без дела, без предупреждения, когда кому заблагорассудится, и вовсе не те, кого хотелось бы видеть, кто тебе нужен... Он не станет мне докучать своим обществом, он только хочет узнать, где Тарасенков, что с ним, и, пожалуйста, ему большой, большой привет и всякие добрые и самые лучшие пожелания... Он уверен, что все будет хорошо и мы все встретимся – обязательно встретимся! Иначе не может, не должно быть... Это так ужасно, война всех разбросала, все рушится вокруг! Порвалась связь времен... Люди теряют друг друга... Зинаида Николаевна где-то там, в каком-то татарском местечке под Казанью, а Евгения Владимировна с Женечкой уехала в Ташкент и даже не простилась, даже не успела сообщить, что уезжает, все было так внезапно, теперь даже нет времени присесть на дорогу...” (Белкина М. *Скрещение судеб*. М., 2005. С. 423–424).

85

Копия письма в личном архиве автора.

86

Там же.

87

Твардовский А.Т., Твардовская М. И. *Несгоревшие письма* / Публикация М.И. Белкиной. Послесловие В. А. Твардовской. Комментарии А. Твардовской // “Знамя”. 1997. № 10.

88

Иванов Вс .*Дневники*. С. 78.

89

Эфрон Г. Т. 2. С. 39.

90

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 288.

91

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПб-ВКПб-ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-195} / Сост. А. Артузов и О. Наумов. М., 1999. С. 476, 477.

92

Семейный архив Владимира Седова.

93

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 294.

94

Копия письма в личном архиве автора.

95

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 294.

96

Копия письма в личном архиве автора.

97

Семейный архив Владимира Седова.

98

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 289.

99

Копия письма в личном архиве автора.

100

Белкина. С. 507.

101

Копия письма в личном архиве автора.

102

Белкина. С. 440.

103

Копия письма в личном архиве автора.

104

Там же.

105

Семейный архив Владимира Седова.

106

Грудцова О. Довольно, я больше не играю... // Минувшее: Исторический альманах. Т. 19. М., 1996. С. 74.

107

Там же. С. 89.

108

Эфрон Г. Т. 2. С. 51.

109

Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е годы. М., 2003. С. 144.

110

Рунин Б. *Мое окружение*. С. 83. В начале ноября Борис Рунин и его товарищи, вышедшие из окружения, сумели прорваться в Москву. Им

необходимо было доказать самым различным компетентным органам, что они не дезертиры и не шпионы. В РГАЛИ обнаружилось их письмо, направленное в оборонную комиссию Союза писателей.

“Дорогие товарищи! – писали они. – Считаю необходимым сообщить некоторые сведения о своей судьбе. Вначале сведения о своей судьбе. В начале октября наша часть после упорного боя попала в окружение. Месяц мы – Фурманский и Рунин в содружестве с одним товарищем из МГУ – пробыли на территории, занятой противником. Твердо решив выйти из окружения и избежать плена, мы шли по компасу на восток в течение тридцати суток. Прошли по тылам немцев километров пятьсот, обходя насыщенные противником районы и преодолевая всякие препятствия. Стали мы опытными бродягами и, думаю, неплохими разведчиками. Во всяком случае, собранное нами представляет не только литературный интерес”.

111

Данин Д. *Строго как попало*. Вопросы литературы. № 6. 2005.

112

Лубянка в дни битвы за Москву. С. 90–91.

113

Багрицкий Вс. Дневники. Письма. Стихи / Сост. Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. М., 1964. С. 91–92.

114

Алигер М. *Тропинка во ржи*. С. 342–343.

115

Там же. С. 343–344.

116

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 116–117. Там же. С. 343–344.

117

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 1938–1941. М., 1997. С. 234.*

118

Там же. С. 235.

119

Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно. С. 49.*

120

Чуковский К. *Дневник. 1930–1969. М., 1997. С. 160.*

121

Семейный архив Владимира Седова.

122

Чуковский К. *Дневник*. 1930–1969. С. 158–159.

123

Сомова С. Анна Ахматова в Ташкенте 11 Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 369.

124

Белкина. С. 385.

125

Козловская Г. Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 379–379.

126

Пастернак Е. Понятое и обретенное // Несостоявшийся юбилей дружбы с Михаилом Львовичем Левиным. М., 2009. С. 551.

127

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 294.

128

Белкина. С. 386–387.

129

Анна Ахматова в записях Дувакина. М., 1999. С. 194.

130

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1. С. 416.

131

Белкина. С. 427.

132

Там же. С. 426.

133

Белкина. С. 508.

134

Копия письма в архиве автора.

135

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 254-255.

136

Там же. С. 256.

137

Там же. С. 257.

138

Там же. С. 293.

139

Архив автора.

140

Алигер М. *Тропинка во ржи*. С. 346.

141

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 293.

142

Луговская М. *Научи оправданиям*. Биографический роман. Неопубликованная рукопись.

143

Семейный архив Владимира Седова.

144

Громова Н. *Все в чужое глядят окно*. М., 2002. С. 68–69.

145

Там же. С. 69–70.

146

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 294.

147

РГБ (Рукописный отдел). Ф. 562. Оп. 61. Ед. хр.

148

См. приложение.

149

Булгакова Е. *Дневник*. М., 1990. С. 294.

150

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 289.

151

Там же. С. 192.

152

Там же. С. 287–288.

153

Семейный архив Владимира Седова.

154

Семейный архив Владимира Седова.

155

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 259.

156

Семейный архив Владимира Седова.

157

Семейный архив Владимира Седова.

158

Там же.

159

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 260.

160

Семейный архив Владимира Седова.

161

Совпадение или действительно сердечная прозорливость друга, но для Луговского память об отце в эти годы становится основной опорой в жизни. В записных книжках читаем: “Все возвращается, но в другом завитке. Счастлив, благословен тот, в ком сохранилась традиция. Несчастливы те, кто вверяется самозабвенно стихии этого страшного века...”

Ужасная переключка. Его товарищ – Фадеев – именно тот несчастный, что вверился самозабвенно стихии страшного века.

Но есть на свете старое кладбище

В тени, под Алексеевской слободкой,

Что за Сокольниками.

Там в могиле

С кривым бугром, заросшим сорняками,

Вьюнками, подорожником, ромашкой,

Лежит спокойно, гордо мой отец.

Он, полнотелый, с мягкими губами

И мягкой сединой, в пенсне давнишнем,

Романтик радостный, педант ученый,

Он, Луговской А. Ф., родной, беззлобный.

Он это знал. Он был началом века.

Подробнее о семье Луговского см. в моей книге “Узел. Поэты: дружбы и разрывы. Из истории литературного быта”. М., 2017.

162

Фадеев А. *Собр. соч. в 7 томах*. Т. 7. М., 1971. С. 127–130.

163

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 908.

164

Левин Л. *Четыре жизни*. М., 1969. С. 149.

165

Там же. С. 151–152.

166

Семейный архив М. Алигер-Коваленковой.

167

Там же.

168

РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 2. Ед. хр. 65.

169

Копии писем – в личном архиве автора.

170

Семейный архив М. Алигер-Коваленковой.

171

Там же.

172

Отрывки из дневника, посвященного сыну, в кн.: Левин Л. *Четыре жизни*. С. 174.

173

Там же. С. 176.

174

Белкина. *Скращение судеб*. С. 385.

175

Левин Л. *Четыре жизни*. С. 176.

176

Шор Г. *Война, семья, эвакуация*. С. 169.

177

Семейный архив Владимира Седова.

178

См. приложение.

179

Бабаев Э. *Воспоминания*. М., 2000. С. 154.

180

Кузин Б. С. *Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б. С. Кузину*. СПб., 1999. С. 470.

181

Там же. С. 471.

182

Там же. С. 678.

183

Кузин Б. *Воспоминания*. С. 698.

184

Иванов Вс .*Дневники*. С. юо, 120.

185

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 297–298.

186

Семейный архив Владимира Седова.

187

Воспоминания о Михаиле Булгакове. М.1988. С. 352.

188

Семейный архив Владимира Седова.

189

Иванов Вс .*Дневники*. С. 101.

190

Там же. С. 118.

191

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 300.

192

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 298.

193

Письмо О. Бокшанской к Е. Булгаковой. Саратов, 12 июня 1942 г. Музей МХАТ. № 4106/1-4 РГБ (Рукописный отдел). Ф. 562. Оп. 32. Ед. хр. 34.

194

РГБ (Рукописный отдел). Ф. 562. Оп. 32. Ед. хр. 34.

195

Уборевич В. 14 писем Елене Сергеевне Булгаковой. М., 2008. С. 60.

196

Чуковский К. Т. 2. *Дневник*. С. 161.

197

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. С. 403.

198

Берлин И. Из воспоминаний "Встречи с русскими писателями" // Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 443–444.

199

Левин М. Жизнь, воспоминания, творчество / Сост. Н.М. Леонович, М.А. Миллер. Нижний Новгород, 1998. С. 481.

200

Эфрон Г. *Письма*. Калининград (Моек. обл.). 1995. С. 66.

201

Дейч А. *Голос памяти*. М., 1966. С. 75.

202

Дейч А. *Поэт печали и счастья* // Неман. 1982. № 9. С. 164–165.

203

Пастернак Е. *Понятное и обретенное. Статьи и воспоминания*. М., 2009. С. 548.

204

Пастернак Б. *Существования ткань сквозная. Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами Е.Б. Пастернак и его воспоминаниями)*. М., 1998. С. 430–431.

205

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 148.

206

Бережных Л. *Ташкентские мальчики* // Вечерний Ташкент.
20.04.1976.

207

Там же.

208

Эфрон Г. *Письма*. С. 41.

209

Там же. С. 125-126.

210

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 149-150.

211

Эфрон Г. *Письма*. С. 59.

212

Там же. С. 64–65.

213

Там же. С 108.

214

Там же. С. 108.

215

Эфрон Г.Т. 2. С. 136.

216

Архив автора.

217

Иванов Вс .*Дневники*. С. 167.

218

Цит. по: Громова Н. *Все в чужое глядят окно*. С. 80.

219

Копия письма – в архиве автора.

220

Иванов Вс .*Дневники*. С. 95.

221

Там же. С. 93.

222

Там же. С. 162.

223

Цит. по: Громова Н. *Все в чужое глядят окно*. С. 82.

224

Иванов Вс .*Дневники*. С. 167.

225

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПб-ВКПб-ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-19\$}. С. 536.

226

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой. Т. С. 384.*

227

Иванов Вс. *Дневники. С. 102.*

228

Мандельштам Н. *Вторая книга. М., 1990. С. 293.*

229

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 385.*

230

Архив автора.

231

Там же.

232

Там же.

233

Там же.

234

Мандельштам Н. *Вторая книга*. М., 1990. С. 293.

235

Там же.

236

Архив автора.

237

Белкина. С. 512.

238

Копия – в архиве автора.

239

Иванов Вс .*Дневники*. С. 133.

240

Шкловский В. Анна Ахматова. Anna Domini. MCMXXI. Анна Ахматова: Pro et contra. – СПб., 2001. С. 414–415.

241

Копия – в архиве автора.

242

Левин М. Жизнь, воспоминания, творчество. С. 130–131.

243

Там же. С. 479.

244

Архив автора.

245

Эфрон Г. *Письма*. С. 82.

246

Цит. по: Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. 1935–1945. М., 2001. С. 71.

247

Архив автора.

248

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1. С. 349.

249

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 148.

250

Там же. С. 149.

251

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1. С. 432.

252

Берестов В. *Избранные произведения в 2-х томах*. Т. 2. М., 1998. С. 207.

253

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1. С. 23.

254

Сомова С. *Анна Ахматова в Ташкенте // Воспоминания об Ахматовой*. С. 371.

255

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 2. С. 25.

256

Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000. С. 354–355.

257

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1. С. 405.

258

Архив автора.

259

Архив автора.

260

Архив автора.

261

Архив автора.

262

Белкина. С. 532.

263

Там же. С. 533–534.

264

Архив автора.

265

Иванов Вс .*Дневники*. С. 142.

266

Там же. С. 97.

267

Эфрон Г. Т. 2. С. 136.

268

Иванов Вс. *Дневники*. С. 105.

269

Эфрон Г. Т. 2. С. 137.

270

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПб-ВКПб-ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953. С. 531-532.

271

Пастернак Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма.* С. 415.

272

Цит. по: Воскресенская Ц. Что вспомнилось // Чистопольские страницы. С. 165.

273

Пастернак Б. Собр. соч. Т. 5. Письма. С. 415.

274

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника:].* С. 117.

275

Гладков А. *Встречи с Пастернаком.* М., 2002. С. 105.

276

РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 108.

277

Встречи с прошлым. Вып. 4. С. 299.

278

Семейный архив Алигер-Коваленковой.

279

Пастернак Б.Т. 5. С. 412.

280

Нагибин Ю. Ночью нет ничего страшного // Воспоминания о Нейгаузе. М., 2002. С. 316-317.

281

Томашевский Ю. Мы чистопольцы - гвардия! // Чистопольские страницы. С. 214-215.

282

Семейный архив Владимира Седова.

283

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 606.

284

Соколова. С. 162.

285

Левина Е. От Клязьмы до Камы 11 Громова Н. Странники войны. Воспоминания детей писателей. М., 2012. С. 141.

286

Пастернак Б. *Письма к жене*. С. 311.

287

Лейтес Л. "И никакого розового детства..." // Громова Н. Странники войны. Воспоминания детей писателей. М., 2012. С. 211-212.

288

Шор Г. Война, семья, эвакуация. С. 169-170.

289

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 601 (1).

290

Белоцерковский В. Путешествие в будущее и обратно. С. 53.

291

Зингер Е. Компас судьбы // Громова Н. Странники войны. Воспоминания детей писателей. М., 2012. С. 324-327.

292

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 566.

293

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 605.

294

Тренина Е. "С той стороны зеркального стекла..." // Знамя. № 11. 2011. <http://magazines.russ.ru/znamia/20ii/ii/pe5-pr.html>.

295

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 645 (2).

296

Багрицкий Вс .Дневники. Письма. Стихи. С. 48.

297

Там же. С. 51.

298

Соколова. С. 68.

299

РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 133.

300

Багрицкий Вс .Дневники. Письма. Стихи. С. 109.

301

РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 133.

302

Караганова С. В *“Новом мире” Твардовского* // Вопросы литературы. 1996. № 3. С. 318–319.

303

Долматовский Е. *Было. Записки поэта.* М., 1983. С. 75.

304

Архив автора.

305

Письмо от 10.1.1942. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. боб.

306

Соколова. С. 172.

307

Твардовский А. "Я в свою ходил атаку..." Дневники. Письма. 1941–1945. М., 2005. С. 65–66.

308

Встречи с прошлым. Вып. 4. С. 300.

309

РГАЛИ. Ф. 2847. Оп. 1. Ед. хр. 15.

310

Гладков А. Встречи с Пастернаком. С. 77.

311

Дзюбинская О. Город сердца моего // Чистопольские страницы. С. 171-172.

312

Соколова. С. 40.

313

Там же. С. 44.

314

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 601.

315

Там же.

316

Федина Н. Дом окнами на Каму // Чистопольские страницы. С. 224.

317

Там же.

318

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПб-ВКПб-ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953. С. 526.

319

Несмотря на соседство дач в Переделкино, Федин и Леонов посещали друг друга нечасто. 23 сентября 1955 года Федин записал в дневнике после посещения леоновского сада: “Мы потом вели долгий разговор, и он провожал меня. Подарил мне «Русский лес» и настоял, чтобы я сделал надписи на всех томах моего собрания, так же, как сделал он на своем.

Я совсем не похож на него. Но дороги наши вьются поблизости, и мы идем почти рядом уже тридцать лет. Мы никогда не пойдем по одной дороге, как никогда не вырастили бы одинакового сада, но в чем-то мы схожи все-таки, должны быть схожи, иначе наше přátельство оставалось бы объяснить только полной противоположностью. Вряд ли это возможно”. (Федин К. *Из дневника. Леонид Леонов в воспоминаниях, дневниках, интервью*. М., 1999. С. 252).

320

Пастернак Б. Письма к З.Н. Пастернак. С. 167.

321

Овчаренко А. *В кругу Л. Леонова*. М. 2002. С. 35.

322

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 122. Интересный отзыв о характере Леонова содержится в дневниках проницательного К. Чуковского, изредка общавшегося с ним в Переделкино. 21 августа 1946 года он записал о Леонове: “У него не только нет ни тени

хвастовства, но, напротив, он всегда говорит только о своих неудачах, провалах и проч. У него золотые руки: он умеет делать абажуры, столы, стулья, он лепит из глины портреты, он сделал себе великолепную зажигалку из меди, у него много станков, инструментов, и стоит только посмотреть, как он держит в руках какие-нибудь семена или ягоды, чтобы понять, что он – великий садовод. При видимом простодушии он всегда себе на уме. Это породистый и хорошо организованный человек, до странности лишенный доброты, но хороших кровей, в нем много поэзии, – типический русский характер”. (Чуковский К. *Из дневника. Леонид Леонов в воспоминаниях...* С. 234.)

323

Овчаренко А. *В кругу Л. Леонова.* С. 55.

324

Воскресенская Ц. *Что вспомнилось... // Чистопольские страницы.* С. 149.

325

Соколова. С. 112.

326

Из письма от 1942 года. Цит. по статье: С л о м о в А Н. “*Вы являетесь частью жизни моей...*”: *Письма К. Федина к С. Алянскому // Фединские чтения.* Вып. 3. Саратов, 1993. С. 110-111.

327

Письмо К. Федина цит. по кн.: Иванова Т. *Мои современники, какими я их знала: Очерки.* М., 1984. С. 127.

328

Пастернак Б. Т. 5. *Письма*. С. 412-413.

329

Речь идет об их сыне Евгении Борисовиче Пастернаке, которому исполнилось 18 лет. Существования ткань сквозная: Пастернак Б. Переписка с Евгенией Пастернак (доп. письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями). М., 1998. С. 438.

330

РГАЛИ. Ф. 336. Оп. 5. Ед. хр. 153.

331

Гладков А. *Встречи с Пастернаком*. С. 123-124.

332

Переписка семьи Асеевых // Чистопольские страницы. С. 97.

333

Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980. С. 155-156.

334

РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 295.

335

Там же.

336

Воскресенская Ц. Что вспомнилось... // Чистопольские страницы. С. 155.

337

Федина Н. Дом окнами на Каму // Чистопольские страницы. С. 232.

338

Семейный архив Алигер-Коваленковой.

339

Авдеев В. Вспоминая Пастернака 11 Чистопольские страницы. С. 252-253.

340

Дзюбинская О. Город сердца моего 11 Чистопольские страницы. С. 175.

341

Соколова. С. 48.

342

Петровых М. *Избранное*. М., 1981. С. 347–348.

343

Пастернак Б. *Полное собрание сочинений в 10 томах*. Т. 9. М., 2005. С. 292.

344

Там же. Т. 9. С. 310–311.

345

Фадеев А. *Материалы и исследования*. М., 1977. С. 183.

346

Семейный архив Алигер-Коваленковой.

347

Пастернак Б. *Собр. соч.* Т. 5. С. 416.

348

Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно*. С. 53–54.

349

Семейный архив Владимира Седова.

350

Черняк Е. *Пастернак // Воспоминания о Борисе Пастернаке*. М., 1993. С. 128; также: Вопросы литературы. 1990. № 12. С. 51–52.

351

Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]* // Чистопольские страницы. С. 117.

352

Пастернак Б. *Полное собрание сочинений*. Т. 9. С. 293.

353

Там же.

354

Семейный архив Владимира Седова.

355

Там же.

356

Там же.

357

Там же.

358

Архив автора.

359

Семейный архив Б. Пастернака.

360

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 488 (2).

361

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 602.

“Болотин в том же отчете о Елабуге указывает, что писатели продолжают там литературную работу. Находятся там писатели члены ССП:

- 1) Загорский – театральный критик;
- 2) Добычин Н.Е. – прозаик, очеркист.
- 3) Марголис Е. М. – совр. писатель.
- 4) Саконская Н. П. – дет. писательница
- 5) Лозинский М. Л. – переводчик”.

362

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 760 (1).

363

Там же.

364

РГАЛИ. Ф. 2165. Оп. 1. Ед. хр. 47.

365

РГАЛИ. Ф. 1364. Оп. 4. Ед. хр. 272.

366

РГАЛИ. Ф. 1364. Оп. 4. Ед. хр. 378.

367

Мы знали Евгения Шварца. Л.; М., 1966. С. 96.

368

Тарасенков А. Из военных записей 11 Литературное наследство: Сов. писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Т. 78. Кн. 2. М., 1966. С. 1.

369

Переписка семьи Асеевых // Чистопольские страницы. С. юо.

370

Кузин Б. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб., 1999. С. 689. Далее: (Кузин Б. Переписка. Мандельштам Н.)

371

Данин Д. Бремя стыда. М., 1996. С. 203.

372

Белкина М. Скрещение судеб. М., 2005. С. 331.

373

РГАЛИ. Ф. 2867. Оп. 1. Ед. хр. 51.

“Некоторые из немногочисленных публикаций Ярополка Семенова вызывали в 1930-е годы большой резонанс. Например, 24 и 29 августа 1935 года он напечатал в двух номерах «Литературной газеты» статью о Пастернаке, в которой обвинил поэта в изолированности от общественной жизни и в субъективном идеализме. О реакции литераторов на эту статью I докладывал А. А. Сурков в письме к А. С. Щербакову: «Очень у нас народ возмущен статьей Семенова о Пастернаке. Пастернак в полном расстройстве» (Перхин В. *Русская литературная критика 1930-х годов*. СПб., 1997. С. 117). Правда, позиция Семенова была неоднозначна: он отдавал должное мастерству поэта. А. К. Тарасенков записал слова Пастернака по этому поводу: “Я, – говорит Пастернак, – на месте Семенова, сделав такой, как он, анализ, ругал бы меня, а он хвалит” (Тарасенков А. *Пастернак. Черновые*

записи. 1930–1939 // *Воспоминания о Борисе Пастернаке*. С. 160). Из комментариев к кн.: Тимофеев Л. И. Поспелов Г. Н. *Устные мемуары* / Сост. и предисл. Н. А. Паньковым. М., 2003. С. 160).

374

Лубянка в дни битвы за Москву. С. 115–116.

375

Тимофеев Л. *Дневник военных лет* // Знамя. 2002. № 6. С. 183.

376

Письменный А. Фарт: Дневник, из записных книжек, письма, рассказы. М., 1980. С. 118, но.

377

Долматовский Е. *Было*. С. 76. Письмо от 15 января 1942 года.

378

Семейный архив Владимира Седова.

379

Там же.

380

Там же.

381

Там же.

382

Существованья ткань сквозная. С. 444.

383

Семейный архив Владимира Седова.

384

Там же.

385

Существованья ткань сквозная. С. 451.

386

Иванов Вс .*Дневники*. С. 181.

387

Существованья ткань сквозная. С. 448.

388

Иванов Вс .*Дневники*. С. 179.

389

Существованья ткань сквозная. С. 451.

390

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 263.

391

Грудцова О. Довольно, я больше не играю... С. 61-62.

392

Шкловский В. Добро и гений. Воспоминания оЛуговском. М., 1981. С. 92-93.

393

Цит. по: Громова Н. *Все в чужое глядят окно*. С. 195.

394

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 127.

395

Громова Н. Все в чужое глядят окно. С. 180-181.

396

Копия – в архиве автора.

397

Грудцова О. Довольно, я больше не играю... С. 64.

398

Там же. С. 196.

399

Там же. С. 64-65.

400

Семейный архив Владимира Седова.

401

Там же.

402

Там же.

403

Там же.

404

Там же.

405

Там же.

406

Там же.

407

Войтоловская Л. Л. *Воспоминания*. М. [б.г.]. С. 98.

408

Семейный архив Владимира Седова.

409

Ермолинский С. *О времени, о Булгакове, о себе*. М., 2002. С. 295.

410

Там же. С. 324–325.

411

Там же. С. 326.

412

Впервые: Киноведческие записки. 2003. № 63. С. 275–276.

413

РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 908.

414

Архив автора.

415

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 270.

416

Там же. С. 271.

417

Кузин Б. Переписка. Мандельштам Н. С. 692.

418

Эфрон Г. *Письма*. С. 100.

419

Семейный архив Владимира Седова.

420

Там же.

421

Там же.

422

Булгакова Е. *Дневник*. С. 296.

423

Архив автора.

424

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею.* С. 294.

425

Семейный архив Владимира Седова.

426

Там же.

427

Там же.

428

Там же.

429

Булгакова Е. *Дневник.* С. 294.

430

РГБ РО Ф. 562. Оп. 36. Ед. хр. 2. (Предоставлено Т. Rogozovskoy.)

431

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 276–277.

432

Семейный архив Владимира Седова.

433

Там же.

434

Там же.

435

Там же.

436

Щеглов А. *Раневская*. М., 1998. С. 85.

437

Кузин Б. Переписка. Мандельштам Н. С. 693.

438

Козловская Г. Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 393.

439

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 302.

440

Цит. по: Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. С. 86.

441

Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. 1924–1925. Т. 1. Париж, 1991. С. 88.

442

Козловская Г. Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 384.

443

Письмо Г. Козловской к А. Межирову от 1978 года, частично опубликованное в американском журнале “Слово-Word”.

444

Берестов В. Избранные произведения. Т. 2. С. 209.

445

Кузин Б. Переписка. Мандельштам Н. С. 614.

446

Эренбург И. *Почта. 1916–1967. Я слышу все...* М., 2006. С. 127.

447

Татаринова Н. *Звездный кров Анны Ахматовой // Мангалочий дворик. В 2-х т. Ташкент, 2003. С. 20.*

448

Козловская Г. *Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 391.*

449

Бабаев Э. *Воспоминания. С. 83.*

450

Бабаев Э. *Воспоминания. С. 85.*

451

Там же. С. 85–86.

452

Татаринова-Пушкарская Н. *Звездный кров Анна Ахматовой // Мангалочий дворик. Вып. 2. Ташкент, 2003. С. 20.*

453

Сомов С. Анна Ахматова в Ташкенте // Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 369.

454

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 86.

455

Кузин Б. Переписка. Мандельштам Н.Я. С. 710.

456

Там же. С. 713.

457

Там же. С. 715

458

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 314-315.

459

Ахматова А. *Сочинения*. Т. 2. М., 1987. С. 238-239.

460

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 53.

461

Мандельштам Н. *Вторая книга*. С. 290–291.

462

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 156.

463

Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 257.

464

Берестов В. *Избранные произведения в 2 томах*. Т. 2. М., 1998. С. 212.

465

Эфрон Г. *Письма*. С. 148–149.

466

Там же. С. 61.

467

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 148.

468

Берестов В. Т. 2. С. 213.

469

Архив автора.

470

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 601 (1).

471

Фадеев А. *Письма и документы*. М., 2001. С. 123.

472

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 644.

473

Кузин Б. *Переписка. Мандельштам Н. С.* 715.

474

Там же. С. 702.

475

Там же. С. 716.

476

Там же. С. 717.

477

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 277.

478

Семейный архив Владимира Седова.

479

Бабаев Э. *Воспоминания*. С. 86–87.

480

Чуковский К. *Дневник (1930–1969)*. М., 1997. С. 163.

481

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 278.

482

Рукописный отдел музея Ахматовой.

483

Семейный архив Владимира Седова.

484

Там же.

485

Луговская М. *Научи оправданиям: Биографический роман.*
Неопубликованная рукопись.

486

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 275-276.

487

Рукописный отдел музея Ахматовой.

488

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. С. 316.

489

Архив автора.

490

Семейный архив Владимира Седова.

491

Там же.

492

Там же.

493

Дзюбинская О. Город сердца моего // Чистопольские страницы. С. 176–177.

494

Белоцерковский В. Путешествие в будущее и обратно. С. 55–56.

495

Письма. Записные книжки. Дневники // Чистопольские страницы. С. 91.

496

Пастернак Б. Письма к З.Н. Пастернак. С. 324.

497

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 644 (2).

498

Иванова Т. Мои современники... С. 171-172.

499

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 644 (3).

500

Семейный архив Владимира Седова.

501

Пастернак Б. Биография в письмах. М., 2000. С. 305.

502

Толстой А. Записные книжки // Литературное наследство. Т. 74. М., 1965. С. 345-346.

503

Бахтерев И. Тот месяц в Ташкенте // Об Анне Ахматовой. М., 1990. С. 223.

504

Власть и художественная интеллигенция... С. 522.

505

Там же. С. 526.

506

Там же. С. 524.

507

Пастернак Б. Собр. соч. Т. 5. Письма. С. 424.

508

Мошковский А. Георгий – сын Цветаевой // Октябрь. 1999. № 3. С. 130.

509

Эфрон Г. Т. 1. С. 30.

К. Л. Зелинский действительно в конце 1920-х годов работал во французском посольстве в должности секретаря посла А.Х. Раковского (впоследствии репрессированного). С чем и был связан его постоянный страх. В 1926 году Пастернак в письмах обращался к нему с просьбой прислать книги Цветаевой, предлагал зайти к ней. Поэтому шапочное знакомство с Цветаевой у Зелинского было еще с 1920-х годов.

510

Эфрон Г. Т. 1. С. 252–253.

511

Эфрон Г. *Письма*. М., Болшево, 2002. С. 187.

512

Там же. С. 197.

513

Там же. С. 192.

514

Там же. С. 109.

515

РГАЛИ. Ф. 1364. Оп. 1. Ед. хр. 108.

516

“И вечно милый мне Чистополь...” // Чистопольские страницы. С. 258.

517

Иванова Т. *Мои современники...* С. 103.

518

Пастернак Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма. С. 427.*

519

Страницы писем (1950–1966 гг.) // Чистопольские страницы. С. 252.

520

Там же. С. 273.

521

Там же. С. 275.

522

Алигер М. *Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах. С. 348.*

523

Ермолинский С. *О времени, о Булгакове, о себе. С. 379.*

524

Архив автора.

525

Семейный архив Владимира Седова.

526

Луговская М. *Научи оправданиям: Биографический роман.*
Неопубликованная рукопись.

527

Семейный архив Татьяны Луговской.

528

Это письмо было послано в Алма-Ату, где Луговской работал с Эйзенштейном над песнями к фильму “Иван Грозный”.

529

Елена Сергеевна доехала до Москвы 10 июня 1943 года. Она подробно рассказывала обо всем, что встречалось на ее пути, давала смешные дорожные советы, чтобы Луговские могли воспользоваться ее опытом.

530

Цитата из вступления к “Середине века”, которое печатала Е. С. Булгакова: “А в темных окнах реяли, летели, / Клонились, кланялись и поднимались снова / Беспмятные полчища деревьев. / Деревья жили вечной жизнью / И осеняли каждое мгновение”.

531

Ольга Бокшанская, сестра Е. С., накануне пережила тяжкую драму: умер Немирович-Данченко, которому она была очень преданна, с его уходом в ней самой, видимо, что-то надломилось; она умерла спустя три года после войны, в 1948 году.

532

Здесь перечислены почти все друзья Булгакова последних лет. Вильямс – художник МХАТа, Виленкин – завлит МХАТа, Конский – актер, Леонтьевские дамы – все это околomхатовская публика. Дмитриев, художник Большого театра, близкий к Булгакову человек, умер сразу же после войны. Евгений Александрович – бывший муж Булгаковой, отец ее сыновей – Жени и Сережи. У Сергея наступал призывной возраст, и Шиловский устраивал его в военное училище в Кировской области.

533

Елену Сергеевну МХАТ вызвал затем, чтобы решить проблемы, связанные с первыми постановками “Пушкина”, тем более после смерти Немировича труппа была лишена существенной поддержки.

534

Федин состоял в комиссии по литературному наследию Булгакова, и от него зависели не только хлопоты о публикациях – понятно, что он тут ничего сделать не мог, – но и материальное обеспечение Елены Сергеевны как вдовы писателя, во время войны она не могла даже получить разрешение на пенсию.

535

В эти дни, так как Тамара Эдгардовна была занята на работе, ключи от квартиры в Лаврушинском, куда должна была наконец попасть Елена Сергеевна и рассказать, что там и как, отправили отнести дочь Луговского Муху, незадолго до этого вернувшуюся из Чистополя, из детского писательского интерната.

“Уже в конце 1943-го, я помню, как иду в Фурманов переулок, возле Арбата, поднимаюсь по лестнице, звоню. Мне открывает женщина в шелковом китайском халате, лицо ее покрыто толстым слоем крема. Она просит меня подождать, прощается с косметичкой, стирает крем. Я помню комнату, потом я поняла, что это был кабинет М.А. Булгакова. На темно-синей стене терракотовый профиль Булгакова, сделанный художником Вильямсом.

Мы отправились в Лаврушинский переулок на квартиру отца. Там повсюду лежали стекла; были разбиты окна. Елена Сергеевна схватила ведро, тряпку и начала разбирать завалы, мыть полы. Она готовила кабинет к приезду отца из Ташкента”.

536

Имеются в виду песни из фильма “Иван Грозный”.

537

Имеется в виду поэма Луговского из “Середины века” – “Одиссей”.